Иностранная литература

3 1969

Иностранная литература

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

РОМАНЫ

ШЕРЛИ ЭНН ГРАУ — Стерегущие дом . . . 10

ПОВЕСТИ

МЕША СЕЛИМОВИЧ — Чужая земля . . . 137

РАССКАЗЫ

РЕЙНГАРД ФЕДЕРМАН — Голос 165
ЛУЧАНО ДЕЛЛА МЕА — Семейное торжество 170

СТИХИ

ИЗ ВЕНГЕРСКОЙ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ПОЭЗИИ
ГАБОР ОЛАХ. ЖЕНИ ВАРНАИ ЗОЛТАН ШОМЬО. МЕНЬХЕРТ САС. АНТАЛ ФАРКАШ ДЕРДЬ ШАРКЁЗИ. АЛАДАР КОМЬЯТ 3

ИЗ АФРИКАНСКОЙ ПОЭЗИИ
ДЖОЗЕФ КАРИУКИ. ЭВЕРЕТ СТАНДА. Е. С. АТИЕНО-ОДХИАМБО (Вступление О. Тугановой) 133

ИЗ ТУРЕЦКОЙ ПОЭЗИИ. РИФАТ ИЛГАЗ (Вступление Р. Фиша) 179

ИЗ ИРЛАНДСКОЙ ПОЭЗИИ. ОСТИН КЛАРК 184

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

АНТОНИО МАЧАДО — Стихи 189

3

МАРТ

1969

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ»
Москва

КРИТИКА

Е. КНИПОВИЧ — Об умении «думать вперед» 193
В. ИВАШЕВА — В дебрях абсурдного мира 203

ЧТО ЧИТАЮТ СЕГОДНЯ

ЭЛЬВИО РОМЕРО — Парагвайская хроника 217

ПУБЛИЦИСТИКА

М. Б. МИТИН — О так называемых «новых вариантах» марксизма 220

ДНЕВНИКИ, ВОСПОМИНАНИЯ

ХИЛЬДА БЕРНСТАЙН — Этот мир был наш. (Послесловие А. Давидсона) 227

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Заметки на полях зарубежных газет и журналов

Г. АНДЖАПАРИДЗЕ — «Самовыражение» или протест? 251
Д. ВЛАДИМИРОВ — В битве идей 254
А. ПИОТРОВСКАЯ — О гражданской ответственности писателя 257

НАШИ ГОСТИ

Ю. ДОБРОВОЛЬСКАЯ — Бунт писателя (Гоффредо Паризе в «Иностранной литературе») 260

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

Алим Кешоков — Поэтическое созвездие двух континентов ◇ Е. Николаев — Как в капле воды ◇ Тамара Жирмунская — Гостеприимство русской музы. ◇ В. Макаренко — Новеллисты острова сокровищ. 262

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

Е. Бочарникова — Мемуары Эндре Шика. ◇ М. Салганик — «Ненастоящие» по-настоящему 268

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

Хроника 272

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА 287

На обложке: «Пейзаж» монгольского художника Б. ЧОГСОМА.

ИЗ ВЕНГЕРСКОЙ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ПОЭЗИИ

■

ГАБОР ОЛАХ

Революция

Земля колыхнулась — и воды Дуная
вот-вот повернутся вспять.
На лбу у небес — еще мрачность ночная,
но утра недолго ждать:
встает Революция, ало пылая.

Мы битву Цезарей проиграли —
немалой была цена!
И реки скорби иссякнут едва ли,
пока на могилы луна
набрасывает голубые вуали...

Я знаю: страшна и цена революций
в кровавом крещенье, в бою.
Дары свободы не богом даются!..
И все-таки я пою:
пусть в песне рыданье и радость сольются.

Оплачем братьев своих миллионы —
кто пал и кому еще пасть...
Но в новую эру на рваных знаменах
внесем справедливую власть —
и нам улыбнется мир искупленный.

И то, что не выплакали наши муки
у неба за тысячу лет,
о чем лишь мечталось в извечной разлуке —
свободы заветный свет,—
возьмем, как звезду, навсегда в свои руки!

Публикуемые стихи взяты из сборника «Март 1919», подготовленного к печати в издательстве «Художественная литература».

Тот светоч взнесем на вершину желаний,
чтоб сбросить с дороги тьму;
омоем в бессмертном его полыханье
души нашей горькой тюрьму —
и узники, вырвавшись, канут в сиянье.

За сто баррикад, через все границы
мы весть о себе расплеснем —
и мир осчастливится, опьянится
рождения нашего днем,
и радость лучами высветит лица...

Король бежит! Корона помята,
в крови утонула она.
И рушится гроб огромный куда-то —
да будет могила без дна,
да сгинет в ней прошлое, тьмою объято!

Ты видишь, Петёфи? Зреют пожары —
и ты ль их разливу не рад!
Ты видишь? Как факел яркий и ярый,
в сердцах твои песни горят,
твой дух впереди — и *встают мадьяры!*

31 октября 1918 г.

ЖЕНИ ВАРНАИ

Рука занесена

Рука занесена. Я славлю руку,
карающую зло и преступленье.
Нависли клювы хищные над ней,
лазури нет, и небо все красней...

Вот человек, сдирающий лохмотья
со своего измученного тела,
на шрамы, на рубцы свои глядит —
и ворох унижений, мук, обид
вдруг вспыхивает гневом ураганным,
охватывает города, деревни...
Из горя гневный великан встает —
и содрогаются дома господ.

Трепещет все, что перед ним виновно:
на золоте, спрессованном из крови,
дворцы свои закрыв со всех сторон,
сидят банкир, заводчик и барон.
И нет надежды вымолить пощаду —
их черные грехи неисчислимы:
братоубийство, голод, нищета,
вражды и гнета тяжкая пята...

Нет милосердия немилосердным!
Гигантской тенью на восток, на запад
уже разросся красный великан,
уже коснулся всех краев и стран.
Он завладел уже землей, морями,
глубинами сердец... Народы видят
его взметенный мстительный кулак —
и, веря, говорят: да будет так!

Да, только так порядок новый, светлый
создастся на развалинах былого!
И в страхе только тот удара ждет,
кто глуп или преступен,— только тот!
Рука — кующий будущее молот —
лишь вековое зло крушить готова,
и клеветой ее не очернят
ни мещанин трусливый, ни магнат.

Пусть знают все, кто видит эту руку:
в ней ласка есть и мягкость, как в ребенке;
она, покончив с кривдою и тьмой,
бальзамом станет, нежностью самой.
И судорожно стиснутые пальцы,
раскрывшись тихо, станут лепестками
огромного цветка среди страны,
в которой сбудутся людские сны...

Рука занесена. Все злое — в страхе.
Рука занесена. Пусть в этом взмахе
узнают люди попранную прошлым
и все же не погибшую мечту:
Мир,
Справедливость,
Братство,
Доброту.

«Непсава»,
2 февраля 1919 г.

ЗОЛТАН ШОМЬО

Рабочий класс

А знаете ли вы, кто он таков —
тот, в чьих устах стал громом стон веков,
чьи руки превращают грязь в алмаз?
Вот он и есть рабочий класс.

А знаете ли вы, где он рожден?
Не из дворцов — с задворок вышел он,
где нищета копила жертв запас,—
вот он и есть рабочий класс.

Там жесткая подстилка — весь уют,
там «De profundis» птицы лишь поют,
на теле — рвань, и никаких прикрас...
Вот он и есть рабочий класс.

Там нет карет, затянутых в шелка,
там койка всей семьи — одна доска,
улыбку придавила горечь глаз...
Вот он и есть рабочий класс.

Гнуть спину он под окрики привык,
с семи годов он сгорблен, как старик,
и каторгой — вся жизнь, за часом час!
Вот он и есть рабочий класс.

Да, было так... До нынешнего дня...
А нынче сделал молот из огня
тот, чья душа, лучась, над тьмой взвилась,—
вот он и есть рабочий класс.

На ржавые оковы, как копье,
нацелил он орудие свое,
чтоб их рассыпать в пыль на этот раз.
Вот он и есть рабочий класс.

Он в руки взял весь мир, как старый дом,
чтоб рухлядь — прочь, чтоб жить просторно в нем!
Себя от бед лишь сам, лишь сам он спас!
Вот он и есть рабочий класс.

Пусть бури еще треплют белый свет —
одно священно: тирании нет!
Ее разбил вожак народных масс,—
вот он и есть рабочий класс.

«Боршсем Янко»,
20 апреля 1919 г.

МЕНЬХЕРТ САС

Красные солдаты

Были ничем. Ныне, в званье высоком,
вы — упований народных опора.
К бою, солдаты! Грязным потоком
катится с Тисы наемная свора.
Время гревогу грубит солдатам.
Мы — еще крепость! Еще не поздно!
Выбор такой: или — в рабство к богатым,
или — в свободу, в полет краснозвездный.

Видите? Алая наша подкладка
в голоде, в громе вот-вот загорится!
Будто петля, будто мертвая хватка,
стягиваются наши границы.
Смотрит на нас весь мир тревожно:
не потеряем ли то, что свершили?

К бою, солдаты, пока еще можно!
Вы еще в силе! Еще на вершине!

Вы — упований народных опора.
В страхе не могут белеть ваши губы!
Мало штыков? Опустели затворы?
Есть еще ногти! Есть еще зубы!
Вы умирали за прихоть магната...
Издавна пули для вас не преграда...
Ныне за правду готовьтесь, солдаты,
сотней смертей умереть, если надо!

«А вёрёш катона»,
4 мая 1919 г.

Перевод В. КОРЧАГИНА

АНТАЛ ФАРКАШ

Иван возвращается домой*

Уходишь, Иван?..
На родину — в светлый, просторный дом,
где грянул свободы весенний гром...
Уходишь домой и жалеешь нас:
забитые слуги лживых господ,
печальные птицы во власти тенет,
которым заказан полет...

Неверно, Иван!
Постой, задержись хоть на пять минут.
Историю делать — нелегкий труд,
но нам ли, привычным, бояться труда?
А если умрем, ну что ж, не беда...
Ворочали камни — окрепла рука,
возьмемся теперь, поднатужась слегка,
и будем ворочать века.

Ты видишь, Иван?
Душа у нас чистая, словно снег,
и крови на этих ладонях нет.
Но чистому сердцу неведом страх,
и сила огромная в наших руках:
трухлявые троны рассыплем во прах,
избавим страну от традиций гнилых
и к жизни вернем больных.

Взгляни-ка, Иван!
Сегодня у нас не то, что вчера —
в мадьярской глуши разгулялись ветра,
деревья и травы шумят с утра,
и в Буде идет большая игра,
и старая крепость шепчет «Люблю!»
пришедшему к нам кораблю...

* В этом стихотворении Антал Фаркаш обращается к русским солдатам, которые находились в Венгрии как военнопленные и в конце 1918 года возвращались на свою свободную советскую родину.

Ты веришь, Иван,
весна наконец наступит для всех,
и пахота будет, и будет сев,
и Венгрия жатву начнет сама,
потомкам зерно потечет в закрома.
А если мука́ темновата пока,
не страшно — своя мука́!
Спокойно иди, Иван!

Иди, а мы — за тобой!
Запомни, Иван, дорога твоя
отныне и нашей стала судьбой!

1918 г.

Перевод НАТЭЛЛЫ ГОРСКОЙ

ДЁРДЬ ШАРКЁЗИ

Гимн любви

Ты, мой брат,
карабкающийся по сверкающим айсбергам Северного полюса
и раскосо глядящий на замерзшее озеро неба,
и ты,
смуглый усталый путник, едущий на длинноногом, заморенном,
свесившем язык верблюде по истерзанной ветрами, иссушенной Сахаре,
и ты,
меднокожий угрюмый сын Америки, яростно воющий в клетке из
впивающихся в небо скал, куда тебя швырнули в сотый раз,
и ты,
идущий неверными шагами по своей заспанной, жаркой,
опиумной родине,
безжалостно топящий свои мечты в ленивых желтых водах,
и вы, все вы,
мои братья, миллионы зерен одного осыпающегося колоса,
живущие ныне, и те, что будут жить завтра, и те, что завтра умрут:
любите друг друга!

Я говорю это
беспрерывно, одержимый веселой покорностью, взываю к вам:
любите друг друга!
Глядите:
небо озарено светом, взывающим: любите друг друга!
И сердце земли отзывается трепетно: любите друг друга!
Внимайте:
океаны взревели, гремят: любите друг друга!
Молнии чертят среди гор: любите друг друга!
Внезапно,
быстрее молний проносятся тысячелетия,
на нас бросаются, над нами щелкают ножницы третьей Парки.
Братья!
Наши губы тянутся друг к другу.
Да не загрязнит мрак ненависти это драгоценное мгновенье.

Если когда-нибудь остывшая земля помчится снежком вокруг
студеного Солнца
и все планеты вокруг задрожат от холода —
и тогда воссияет на потемневшей вселенной
одинокий, сиротливый
луч любви
прежней, любящей, светолюбивой.

«Нюгат»,
16 марта 1919 г.

Перевод Б. СЛУЦКОГО

АЛАДАР КОМЬЯТ

Большевики

Земля — ходуном.
А мы на земле —
одни только мы! — как вкопанные.

Есть слово — как пыль.
Наше слово — закон,
на камне провиденья высеченный.
Мы — всюду, всегда.
Мы — костяк бытия.
Нас не исчислишь и тысячами.

Не обойдешь нас.
И не прервешь
в нас революцию вечную.

Вырвать, выплавить
новый строй
из кровавой сумятицы, ложью отравленной!
Мир этот вывернуть
наоборот,
чтобы стоял правильно.

1918 г.

Перевод В. КОРЧАГИНА

■

ШЕРЛИ ЭНН ГРАУ

Стерегущие дом

РОМАН

■

Перевод с английского
М. КАН

«В тот день, когда задрожат стерегущие дом, и согнутся мужи силы; и перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось, и помрачатся смотрящие в окно;

и запираться будут двери на улицу; когда замолкнет звук жернова и будет вставать *человек* по крику петуха и замолкнут дщери пения;

и высоты будут им страшны, и на дороге ужасы; и зацветет миндаль; и отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс. Ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его по улице плакальщицы;—»

Екклесиаст, глава 12, стих 3—5.

Абигейл

Вечера в ноябре спокойные, тихие, сухие. Оголенные заморозком деревья и жухлые травы искрятся и поблескивают в скудном свете. В опустелых предзимних полях, белые и застывшие, мерцают жилы гранита. Кости земли — зовут их старые люди. В самой глубокой складке почвы — чуть в стороне от того места, где недавно, плотное и красное, закатилось солнце,— слабо отсвечивает серым речка Провиденс. В такое время года, выпитая летними засухами, это совсем маленькая речушка. Она отражает небо, тускло, как старое зеркало.

Вечера в ноябре так покойны, так завершенны. Вот хоть сегодняшний. Он чист, как стекло,— во все стороны видно на многие мили. На востоке и на севере, по гребням холмов, каждое деревце выступает отчетливо и ясно. Ни единого дымка там, наверху, хотя прежде, в октябре, от лесных пожаров на Смоки-маунтенз наносило грязные полосы пепла. Ни следа тумана вдоль лощины, в которой прячется река Провиденс. Все четко и ясно. Только ровный, постепенно меркнущий свет,

В прошлом месяце вокруг дома все ночи напролет с писком носились два козодоя. Я не думала, что мне будет их не хватать, но, оказывается, не хватает. Сейчас.

Дом притих у меня за спиной; дети готовятся к ужину — раннему ужину, потому что здесь только двое младших. Мои старшие девочки уехали в Новый Орлеан, в школу. В округе об этом еще не знают, но со временем выведают: у нас тут всегда все знают. Скажут: «На них это похоже, на Хаулендов. Вечно они мудрят, как же — важные птицы. Ничего, в прошлый раз свернули себе шею, достукались...»

У меня такое чувство, будто я здесь сижу неживая. Будто я, как гранитные жилы, кости земли, бестелесна и нетленна.

Я зажигаю свет на веранде. Я вышла полить герань и теперь принимаюсь за дело. Беру в руки большую жестяную лейку и опрыскиваю густую гряду разлапистых красно-белых цветов. Меня учили, что, если корни влажные, герань лучше перенесет ночные холода. Вот эта, например: ее сверху защищает крыша веранды, а сзади — теплая стена дома, и она не вянет до самой стужи.

Я поливаю кое-как, и на веранду летят брызги. Я смотрю на наш двор, на газон перед домом. Даже при этом сумеречном свете заметно, что он изрыт и истоптан. Слегка похоже на морскую рябь. От частокола вообще ничего не осталось; лишь видно, как мягко, фонтаном, раскинулись ветки розы, которая росла возле него раньше.

Новой ограды я ставить не буду. Я хочу помнить.

Я стою здесь вечером прозрачным, и мне не странно, что я вступила в единоборство с целым городом, со всей округой. Я — одна; да, разумеется, но меня это не очень страшит. Дом и прежде был пустым и одиноким — я просто не замечала,— так что теперь не хуже. Я знаю, что нанесу столько же боли, сколько нанесли мне. Разрушу столько же, сколько потеряла сама.

Знаете, это тоже способ жить. Способ заставить сердце по-прежнему стучать под защитным сводом твоих ребер. А пока и этого довольно.

Вокруг лампы на веранде порхают большие белые мотыльки; какие-то пузатые жуки хлопаются спинкой вниз и беспомощно копошатся на полу. Удивительно, как это они перенесли холодную погоду. Должно быть, вывелись под домом, в тепле, или в щелях между досками. Из-за угла веранды, неслышно взмахивая крыльями, держась подальше от света, вылетает сова-сипуха.

Я туже запахиваю на себе вязаную кофточку; я опираюсь на перила веранды и смотрю, как наступает ночь. Она из тех ночей, которые надвигаются ниоткуда, расползаются по земле сразу, как влажное пятно по губке. Ветра еще нет; он поднимется позже. Так бывает всегда.

Слышен короткий визг кролика: сова добыла себе ужин.

Я стою на веранде дома, который построил некогда мой пращур, и сквозь открытую дверь слышу, как мои дети топочут через холл; пора ужинать. Малышка Мардж заливается смехом, а Джонни ее подразнивает: «Ай да ты! Ай да ты!» Звонко разносятся слова в тихом, недвижном воздухе, пока их не обрывает стук двери.

Я тоже когда-то росла в этом доме, носилась по этим комнатам, бегала вверх и вниз по этой лестнице. Тогда здесь было не так красиво— до войны, до того, как мой дед разбогател,— но дом был тот же самый. Как для них, так и для меня. Я ощущаю сзади натиск поколений, они подталкивают меня вперед в круговороте рождений и смертей. Да, это я была когда-то той девочкой, которая брела наверх спать, шепотом разговаривая сама с собой, чтобы отогнать ночные страхи. Моя мать спала в южной комнате, на массивной кровати с балдахином. А дед стоял там,

где я сейчас, вот на этом месте... А до него — другие. Садились на этой веранде и смотрели вдаль на поля, отдыхая от дневной жары, скользя взглядом по плавным скатам земли, сбегающим к темному лесу. В те времена лес начинался куда ближе.

Все они умерли, все до одного. Я поймана, опутана тем, что содеяно ими. Как будто их жизнь оставила после себя в воздухе этого дома, этого городка, этих мест сплетение невидимых нитей. А я споткнулась и упала в сеть.

Сова, уже где-то вдалеке, издает свой прерывистый замирающий клич. На миг мне кажется, что я вижу ее крылатую тень на фоне неба над рекой. Я стою в густой тьме, и прислушиваюсь к неумолчному гулу голосов у меня в голове, и вглядываюсь в людские тени; они вереницей проходят перед глазами, настойчиво требуя внимания. Мой дед. Моя мать. Маргарет. Дети Маргарет: Роберт, Нина, Крисси.

Уже несколько лет я не получаю вестей ни от Крисси, ни от Нины. Я не знаю, где они. Не знаю, что они делают. Даже не знаю, живы ли они. Роберт — другое дело; Роберт вернулся. И давно ли, кажется? Всего лишь три месяца назад. Вернулся, глумясь и ненавидя. Он отделяется от остальных там, у меня в голове, и становится рядом со мной на веранде. Не мальчишка, с которым я вместе росла, не ребенок, которого знала, а мужчина, которого я увидела ровно три месяца назад.

Он моих лет или около того, хотя держится стариком: потирает ладонью рот, торопливо мигает глазами. Но все-таки он — живой. И когда я с собой откровенна — вот как сейчас, в этот вечер,— я знаю, что хочу его смерти.

Уильям

Я хочу рассказать вам историю моего деда, и Маргарет Кармайкл, и мою собственную. Трудно решить, где тут начало, когда все так уводит тебя в прошлое и одно так переплетается с другим. Мой дед был Уильям Хауленд. Маргарет была родом из «фриджеков», из Новой церкви. Хотя началось, в сущности, даже не с этого.

Если вдуматься, то видишь, что началось все гораздо раньше, давным-давно, еще в 1800-е годы, когда Эндрю Джексон со своей армией двинулся от Нового Орлеана к северу. То была славная война, победная и короткая, и не скажешь даже, чтобы из-за нее людям пришлось чересчур надолго оторваться от дома — для весеннего сева времени оставалось вдоволь. Война вместо зимней скуки — не так уж плохо, и к тому же теперь у них до скончания века было о чем порассказать. Как гнали англичан по полям и болотам Шальмета. Как после с победой вступали в город. Большой город, каких они до той поры не видели. Красивый, богатый город, где на реке стояли огромные парусные суда и где был католический собор и священники в длиннополых черных одеждах. И женщины, каких они тоже не видывали: круглолицые, с гладкой кожей, темноглазые — мягче, нежней, чем их собственные мосластые жены. Все, даже матери с детьми, разряжены в цветные шелка, все стрекочут на непонятном языке.

Солдаты возвращались домой героями, рабы и те глядели веселей. А рабов было немало — Эндрю Джексон прихватил их с собой, когда в тревоге и сомнении выступал на юг, еще не зная, что за неприятель ждет его на поле брани. Рабы шагали вместе с армией, вместе с ней воевали, вместе вернулись назад. Уходя домой, каждый из них получил бумажку, подписанную Эндрю Джексоном: вольную. А почерк у генерала был ко-

рявый, и подписывался он небрежно, так что ясно разобрать можно было только первые четыре буквы. Значилось на этих бумажках лишь слово «фри» — «свободен», а внизу стояла каракуля, похожая на «Джек». Так вновь испеченные вольноотпущенники стали зваться «фриджеками», а вслед за ними — и дети их, на все времена.

Они были горды своим положением и держались особняком от других негров. Со временем к ним примешалась доля индейской крови, они переняли многие повадки и обычаи индейцев-чоктавов и стали жить еще обособленней. Они селились по всему штату, небольшими общинами. И, в частности, осели на поросших сосняком взгорьях и топких низинах меж восточным и западным рукавами реки Провиденс. Это были добрые, плодородные земли, хотя и малярийные. Здесь, разбросанные там и сям, жили семей пятьдесят; ты мог родиться, сам нарожать детей, да так и умереть на треугольнике земли между двумя речными протоками, в общине под названием Новая церковь. Здесь и появилась на свет Маргарет Кармайкл.

А с той же самой армией брел назад на север весной 1815 года солдат по имени Уильям Маршалл Хауленд. Он был родом из Теннесси, этот малый лет шестнадцати-семнадцати, а может, и восемнадцати — он и сам твердо не знал: мать у него умерла давным-давно, а другие — тетки и прочая родня — не трудились считать. Он был долговязый, худой, темно-русый, с синими глазами. Когда окончилась война и он с товарищами пустился в дальний путь домой, голова у него трещала с похмелья, а в мозгу мутилось от всего, что довелось перевидеть. Через день-другой он немного отошел и начал поглядывать по сторонам. Он увидел покатую зыбь холмов и песчаную мягкую землю. Увидел бескрайние леса, сосны и орешник, большелистые магнолии и могучие виргинские дубы. Он увидел, как пышно цветут растения на прогретой почве, как вымахивают вдвое крупней против обычного — потому что их не сечет ветрами — кизил и иудино дерево, пламенные азалии и лавры. Ему вспомнился гористый край, куда он сейчас возвращался: остроконечные вершины, долины до того узкие, что в них никогда не заглядывает солнце, и лоскутки табачных участков на склонах такой крутизны, что надо тянуться кверху, ухаживая за сеянцами. Вспомнились и прогалины, открытые со всех сторон и пестрые от цветов, и сине-зеленые далекие дали, которые видны оттуда. Но его глазам наскучила ширь просторов, его тянуло в места поласковей, места, скроенные человеку по мерке, где и холм одолеть нетрудно, и земля податливо переворачивается под плугом.

Товарищи говорили ему, что раз уж вздумал стать землепашцем, нужно идти дальше, на жирные черноземы межеустья, которые лежат немного северней. Но Уильям Маршалл Хауленд покачал головой и ответил, что устал. И он остался — на свой страх и риск. Правда, ему предстояло еще немало побродить, потому что прошла не одна неделя, пока он выбрал место по вкусу. В конце концов он обосновался в почти незаселенной местности к востоку, недалеко от обрыва, нависшего красноватыми отвесными склонами над глубокой, быстрой рекой. Речка была безымянная, и он назвал ее Провиденс — так звали его мать, и это было почти все, что он знал о ней. Кругом стояли густые леса, за ними мало что можно было разглядеть. Поэтому он не спеша мерял шагами окрестность вдоль и поперек, как бы составляя мысленно ее карту. От речных откосов земля мерно повышалась грядой пологих длинных волн, постепенно поднимаясь к крутым холмам на западе. Свой дом он поставил на четвертом бугре, на полпути от реки к холмам.

Того Уильяма Хауленда убили индейцы; напали впятером как-то в апреле, когда он расчищал свои поля. Они забрали его топор и винтовку, и рог с порохом, и сшитую из сурковых шкурок лядунку с дробью, но до-

ма на бугре не тронули. Они были пьяны и беспечны, а может быть, просто не обратили на дом внимания. Сыновья Хауленда поскакали к соседям: к тому времени поблизости расселилось семей шесть. Прошло немногим более суток, и отряд из девяти человек выступил в путь, а с ним — старший, четырнадцатилетний сын Уильяма Хауленда. Индейцев настигли на дальней реке и там перебили — всех, кроме одного. Этого одного привезли назад, а еще привезли наполовину высохший скальп. Хаулендов позвали наружу, поглядеть, как того индейца будут вешать на дубу перед домом. Скальп Уильяма Хауленда пристойно похоронили на краю его могилы.

Так умер первый Уильям Хауленд — еще нестарым человеком, но успев оставить после себя жену и шестерых детей, так что дом не опустел.

Вообще же дела у Хаулендов шли недурно. Они возделывали землю и охотились; гнали виски и ром и по реке Провиденс доставляли на рынок в Мобил. Очень скоро они купили себе двух рабов, а там еще двух. К середине столетия в хозяйстве насчитывалось двадцать пять душ, так что оно не было крупной плантацией; это всегда была не более как богатая ферма, и содержалась она наподобие тех ферм, которые первый Уильям Хауленд видел в Каролине. Был хлопок — распускал свой розоватый цветок, тянул к летнему солнцу белую тяжелую коробочку; была кукуруза — шелковистые метелки, потом — ржавые стебли, обглоданные за зиму скотиной; было сорго — дарило свою водянистую сладость жидкому сиропу; были свиньи — в ноябре их кровь дымилась на застывшей земле; были маленькие табачные поля — их каждые два года переносили на нетронутые, свежие, целинные участки. Усадьба разрасталась; построили амбар, конюшню, четыре коптильни, навес для сушки табака. Поставили мельницу с кипарисовым колесом и гранитными жерновами. В изобильные годы перед Гражданской войной в обстановке дома стали появляться даже намеки на изысканность: фисгармония, столики с инкрустацией, горки с фарфоровыми фигурками. К тому времени за округой закрепилось твердое название — Уэйд, а на месте маленькой вырубки у лодочного причала, расчищенной руками первого Уильяма Хауленда, встал Мэдисон-Сити, чистенький городок с кирпичным муниципалитетом, с площадью и единственной улицей, тесно застроенной по обеим сторонам лавками и особнячками.

И в каждом поколении был свой Уильям Хауленд. Иногда он присоединял к своему имени девичью фамилию матери, иногда — нет. Сперва был Уильям Маршалл Хауленд, тот, что пришел из Теннесси. Сына его звали просто Уильям Хауленд; его мать была из скромной семьи, там своим именем не кичились. Дальше был его сын, Уильям Картер Хауленд. Этот погиб в Гражданскую войну: был искалечен и сожжен заживо в Уилдернесской чащобе — совсем юнец, ни жены, ни хотя бы внебрачного сына, чтобы мог взять его имя. Не прошло и трех лет, как его брат окрестил своего сына Уильям Лежандр-Хауленд, и имя возродилось. Тогдашняя миссис Хауленд, в девичестве Эмé Лежандр, вызвала в округе целый переполох. Во-первых, она была уроженка Нового Орлеана и католичка, обвенчанная патером, и ни разу не переступила порога баптистской или методистской церкви городка, в котором прожила всю свою замужнюю жизнь. Это одно. А тут еще ее отец. Мистер Лежандр торговал хлопком, а за хлопок фабрики Северных штатов и Англии давали под конец Гражданской войны бешеные деньги. Человек, не обремененный излишней преданностью конфедератам, мог в два счета нажить состояние. Мистер Лежандр так и сделал, а за годы Реконструкции преуспел еще более. Так что когда дождливым воскресным утром, выходя после мессы из собора святого Людовика, он упал мертвым на паперти, он был очень богатым человеком. Деньги достались дочери, и с их помощью име-

ние Хаулендов процветало и ширилось. Эме Лежандр-Хауленд питала ненасытную страсть к земле — возможно, потому, что сама была горожанка, и когда (в нищие 70—80-е годы) кругом стали продавать фермы, она начала скупать земельные участки. Любые. Низинные — под хлопок. Песчаные, поросшие сосняком холмы — под порубку.

Вслед за ее сыном появился еще один Уильям Хауленд. Это и был мой дед.

Я помню деда уже стариком; он был грузный, большой, с выцветшими, но еще синими глазами и блестящей лысиной, обрамленной темными волосами. Борода у него была такая белая, что не бросала больше тень на щеки, и они просвечивали сквозь нее, ярко-розовые, как у младенца. Таким его помню я. Но до этого был другой — того я видела на фотографиях и знаю по рассказам.

У нас тут всякий — рассказчик. Что ни место, что ни человек, то целый рой историй, прямо как нимб над головой. Первую историю я услышала, когда еще маленькой девочкой в замызганном фартуке, присев на корточки, копала лопаткой червяков у нас во дворе. С тех пор мне только и знают, что рассказывают. Кое-что я забыла, но главное помню. Поэтому моя память вмещает и то, что было до меня.

Стоит мне захотеть, и я вижу моего деда, Уильяма Хауленда, молодым: он рослый и уже грузноватый, но с русой головой и светлыми волнистыми усами. Красивый, спокойный человек. Он поехал в Атланту изучать право в конторе своего двоюродного брата Майкла Кемпбелла. Пробыл он там два года, не слишком утруждая себя работой, не чувствуя ни малейшего интереса к юриспруденции. Он не уехал оттуда раньше только потому, что так хотел его отец; сам он не любил городов, а этот к тому же был еще не обжитой, едва отстроенный, в нем не выветрилась гарь пожаров, не стерлись следы опустошений.

Уильям скучал, но жил в сущности сносно. Юриспруденция не занимала его, зато занимали развлечения: среди молодых знакомых своего брата он был нарасхват. Большой, не похожий на модных красавцев, он нравился женщинам. Они возили его на плантации, сожженные во время войны,— к обгорелым останкам домов и служб. Эти прогулки при луне, среди разрушенных строений, на местах былых битв были прямо-таки страстью в то время. Ему рассказывали длинные истории о дерзких вылазках, о геройстве; он кивал головой, серьезно и печально, хотя не верил ни слову, потому что сам тоже приехал из мест, выжженных войной, и знал, как быль обрастает небылицами. При всем том следовало признать, что руины — очень подходящее место для загородных прогулок. Времени после военных событий миновало достаточно, кирпич и щербатый камень заплело вьюнком и повиликой, линии сгладились. Тихой летней ночью совсем не трудно было забыть и пожары, и убийства и видеть лишь мягкие очертания юных женских фигур, смутные, зыбкие и романтичные в рассеянном лунном свете.

Он любил ходить на охоту с их братьями и отцами, а ни одна поездка в гости за город не обходилась без охоты, которая, как принято было шутить, пуще неволи.

Женщин с собой не брали никогда. Это была мужская забава. Охотились пешком, по старинке. (Женщины иной раз поговаривали о верховой охоте на английский манер, прикидывая, пойдет ли им черная строгая амазонка. Но никто из них не умел как следует ездить верхом, и к тому же местность вокруг была ужас какая неровная...)

Охота начиналась около полуночи. Сначала появлялись в фургоне негры-псари со сворой гончих; собаки подвизгивали, вились вьюном. Тогда и охотники со своими слугами набивались в фургоны и тряслись

по ухабам и колдобинам на облюбованное место. Псари спускали свору; собаки бросались врассыпную, кружили, тявкали, принюхивались. Охотники топтались возле фургонов, переговаривались, смеялись, прислушивались к лаю собак, поджидали, пока они возьмут след. Когда начинался гон, охотники трусили пешком вслед за сворой. Иной раз так проходили по много миль, продираясь сквозь подлесок, отдыхая на упавших стволах. Если оказывалось, что загнали на дерево рысь (ее еще называли «пойнтера»), негры стряхивали зверя наземь и отдавали на растерзание псам. Когда так случалось, Уильям спешил отойти подальше от короткой остервенелой схватки; потом он долго обходил стороной то место, где на изрытой земле валялись разбросанные клочья меха. (Он мог заколоть свинью и поздней осенью нередко помогал на бойне, но не любил убивать лесное зверье. И никогда не убивал, с того раза как пошел однажды с отцом на выгон стрелять голубей и его вырвало от вида всклокоченных, перепачканных кровью перьев.)

Чаще всего они даже не видели никакой дичи, и к тому же белым охотникам все равно почти никогда не удавалось ничего подстрелить. Их ружья несли слуги, и обыкновенно уже в начале травли ружьеносцы сильно отставали, так что стрелять при всем желании было невозможно. (Уильям не раз удивлялся, зачем они вообще берут с собой оружие.) Зверя забивали негры: енот или опоссум шли на варево, лисий хвост — на стенку хижины, для красы... В конце концов мясо енота или опоссума не станет есть ни один белый, разве что голь перекатная. Недаром говорится: опоссума только раз свари в доме, потом двадцать лет будет разить...

Часа через два охотников одолевала усталость. Они разводили костер и ждали, пока подоспеют ружьеносцы. Кое-кто из слуг нес кувшины с виски, пыхтя под неудобной ношей, спотыкаясь о кочки.

Уильям Хауленд, привалясь спиной к сосне, чувствуя, как гудят от непривычной ходьбы ноги и саднит в груди после лазанья по кручам, тянул теплое виски и глядел в пылающий огонь, слушая, как невдалеке кругами ходит свора. Но уже до всякого виски хмель ударял ему в голову. От этой гонки в ночи, когда ясный месяц так и вьется у тебя над головой и призывно лают собаки, учуяв неведомый след. От этого запаха ночи, прелых листьев и коры. От этой ночной, уснувшей земли под ногами.

Он пробыл в Атланте два года и уехал, когда женился. Ее звали Лорена Хейл Адамс.

(Фотографий ее не осталось. Ни одной. Однажды летним вечером он все их сжег.)

Никому в голову не приходило, что он на ней женится. Никому в голову не приходило, что он хотя бы познакомится с ней. Она не ездила на загородные прогулки и балы. Не бывала на концертах, торжествах и церковных праздниках. Она не ходила ни на званые чаи, ни на вечера, ни на воскресные обеды. И встретились они лишь по чистой случайности.

Вскоре по приезде в Атланту он завел любовницу. Это была Селма Морриси, вдова подрядчика, уроженка Ирландии — она сохранила чуть заметный ирландский выговор,— женщина лет под сорок, мать двоих детей-подростков. Она сдавала комнаты; Уильям Хауленд увидел ее уютный дворик под тенистым орехом, увидел широкую резную веранду и въехал к ней на квартиру. Недели через две он перебрался из своей тесной комнатки наверху в нижнюю, где было и просторней и куда удобней и где стояла широченная двуспальная кровать, которую мать Селмы привезла с собой из Ирландии.

Селма Морриси была приятная домовитая женщина, и они жили душа в душу. Надо сказать, что Уильям никогда не заходил днем домой. Он всегда обедал у своего двоюродного брата; обедали в огромной тем-

ной столовой, долго, плотно, не спеша — Майкл Кемпбелл с женой и он. Потом мужчины шли обратно в контору. В тот памятный день у Майкла Кемпбелла слушалось дело, и Уильям, в качестве клерка, мотался взад-вперед с бумагами и бегал по разным поручениям. Стоял май месяц, и было очень жарко. Обильные утренние ливни пробивали канавки вдоль улиц, влага поднималась маревом в душный воздух. Лицо Уильяма побагровело и покрылось грязными подтеками, усы взъерошились и обвисли. На полотняном пиджаке проступили сзади большие пятна пота. Крахмальная рубашка от жары липла к телу и издавала противный запах. В полуденный перерыв Майкл Кемпбелл отослал его переодеться.

Впервые за два года Уильям пошел днем домой, быстрым шагом, чтобы чувствовать, как воздух обдувает тело. Он миновал несколько кварталов, распахнул калитку, в два прыжка взлетел на крыльцо и, громко насвистывая, ворвался в гостиную. Он ожидал увидеть Селму. Или никого. А оказалось, что в столовой сидят за чаем две женщины. С учтивым поклоном он извинился за вторжение.

— Это моя родственница,— сказала Селма Морриси.— Мисс Лорена Хейл Адамс.

Он снова поклонился, давая глазам привыкнуть к мягкому полумраку: в комнате были закрыты ставни. Потом взглянул — один раз, другой.

Она вежливо поднялась, еще не как барышня, а как благовоспитанная девочка. Она была совсем молоденькая: щеки гладкие, округлые, с ярким румянцем. Носик и рот — очень маленькие, а глаза очень большие, лучисто-серые. И еще она оказалась на редкость высокого для женщины роста: она стояла по ту сторону стола, и лицо ее было почти вровень с его собственным.

— Мы пойдем в гостиную,— сказала Селма Морриси.— Уильям, хотите чаю?

— Мне надо идти обратно,— сказал он.

Все-таки он пошел в гостиную. Они сидели на мягких, набитых конским волосом стульях в полотняных чехлах, и он внимательно рассматривал Лорену Адамс. Круглое личико, очень белая кожа. Прямые, густые, черные волосы закрывают уши и собраны на шее в тугой узел. Уильям глядел, и ему казалось, будто она светится, и все стихи Эдгара По, которые он так любил, зазвенели у него в голове.

Примерно через полчаса он ушел, потому что было пора; переоделся и вернулся в суд. Весь этот долгий жаркий день он чувствовал, что кончики его усов топорщит глупая улыбка. Дело они проиграли, но ему было все равно. Когда он протискивался по людным коридорам к выходу, какой-то старик отхаркался и сплюнул, склизкий белый сгусток попал Уильяму на ботинок. Он аккуратно вытер ботинок пучком омытой дождями травы. И именно в эту минуту решил, что юриспруденция — неподходящее для него занятие. Что он фермер — и только фермер.

Гораздо позже, уже вечером — с севера, с гор, потянуло ветерком и стало прохладней — он лежал в постели, дожидаясь Селмы. В комнате было темновато. Из-за жары горела только одна, совсем маленькая лампа. Самая духотища от керосинового запаха, говорила Селма.

Она, как всегда, обходила дом на ночь: открывала ставни на западной половине, закрывала на восточной, чтобы уберечься от утреннего солнца. Уильяму было слышно, как она движется по комнатам; он заложил руки под голову и с удовольствием потянулся. Наконец она вошла, закрыла дверь, присела за туалетный столик, чтобы вынуть последние шпильки и по обыкновению расчесать волосы щеткой. Уильям впервые обратил внимание на ее ночную рубашку — батистовую, длинную, нехитрого покроя: у шеи туго стянута тесьмой, свободно ниспадает к запястьям, балахоном спускается до полу. Бесформенная, благопристойная ноч-

ная рубашка... рубашка для жены, для матери... наверно, любовнице полагалось бы что-нибудь позатейливей, пособлазнительней... Он усмехнулся: такого между ними и в помине не бывало.

— Ты что смеешься? — сказала она ему в зеркало.

— Я никогда прежде не замечал, какая у тебя рубашка.

— Они все одинаковые,— сказала она.

Он снова усмехнулся, и она оглянулась на него с улыбкой.

— Селма,— сказал он немного погодя,— я еду домой.

— Я и то думала...

— Не гожусь я в юристы.

Она продолжала расчесывать волосы, мерно, неторопливо.

— Ты это давно решил?

— Только сегодня.

— А-а,— сказала она.

— Так что лучше поеду-ка я домой.— Он помолчал, глядя на слабо освещенный потолок, думая о том, как будет дома. Потом сказал: — Тебе это ничего, да? У нас с тобой настоящего ведь не было, нас ничто не связывает.

Она уже кончила расчесывать волосы и теперь повернулась к нему, завязывая их, как всегда, широкой розовой лентой.

— Да,— сказала она.— Пожалуй, так.

Он приподнялся, пораженный ее голосом.

— Но ведь правда не было. Я не вводил тебя в заблуждение.

— Ты у нас джентльмен,— сказала она,— ты такой чинный. Да нет, конечно, не было.

Она забыла про ставни в спальне; он встал и начал их закрывать.

— А как ты думаешь,— сказал он,— к твоей родственнице я мог бы заехать с визитом?

Она медленно, с лампой в руке, подошла к кровати, поставила лампу на ночной столик.

— Ей уже семнадцать,— сказала Селма.— Я думаю, можно.

— Ты мне скажешь, где она живет?

— Скажу.— Селма вытянулась на кровати. Была такая жара, что они спали, не укрываясь даже простыней, и она лежала на открытой постели, глядя на свои босые пальцы.

— Что она тебе за родня?

Селма сказала:

— Ее мать — двоюродная сестра моего мужа. Их матери были двойняшки.

— Первый раз вижу такую красивую девушку.

Селма протянула руку и потушила свет, так что ему пришлось ощупью пробираться к кровати.

Он ухаживал за Лореной Хейл Адамс недолго, нетерпеливо, потому что хотел как можно скорей уехать из Атланты. Ее близких он почти не замечал; они не вызывали в нем ни симпатии, ни неприязни, хотя он понимал, что его собственные родители назвали бы их захудалой мелкотой. Миссис Адамс была тоща и некрасива, с жесткими, как проволока, черными волосами и привычкой нескладно размахивать руками; в холодном шкафчике на кухне у нее хранилась бутылка, из которой она то и дело потягивала джин. Был еще братец — Уильям все забывал спросить, как его зовут,— но он сбежал, нанялся матросом на пароход в Саванне и сгинул. Один раз, больше года назад, от него пришло письмо из Марселя. В семье считали, что он, по всей вероятности, погиб. Только мать упрямо твердила, что он жив-здоров, что он скрывается от них всех в Турции.

— Отчего именно там? — спросил Уильям и чуть было не прибавил: «Вы хоть знаете, где она, эта самая Турция?»

— Он был всегда трудным ребенком... Во сколько раз острей зубов змеиных... забыла, как там дальше.— Миссис Адамс встала.— Кажется, кошка забралась в дом.— Она юркнула на кухню, чтобы опять приложиться к бутылке.

Была и старшая сестра, жена машиниста. Она жила рядом, в чистеньком белом домике, растила четырех рыжих ребятишек и разводила на заднем дворе боевых петухов.

Мистер Адамс, тщедушный, тихий человечек, служил на железной дороге телеграфистом. Он вырезал фигурки из мягких желтых сосновых чурок; все столы и каминные доски в доме загромождали причудливые плоды его стараний. Его родители содержали когда-то лавочку в Мобиле; потом, в трудные времена сразу после Гражданской войны, их занесло в здешние края. Серые кроткие глаза его, большие, лучистые,— взгляд их был исполнен неизбывной нежности, скорби по всему сущему — никогда не меняли выражения. У его дочери Лорены были такие же.

Через две недели Уильям обручился. Через четыре был обвенчан и ехал домой.

Молодые зажили у родителей Уильяма, в старом доме невдалеке от реки Провиденс. К дому пристроили новое крыло и широкую веранду, которую Лорена обсадила белыми глициниями. Пристройка подоспела к тому времени, как у них родился первый ребенок — девочка. Ее назвали Абигейл.

Прошло меньше года, и в августе Лорена снова разрешилась от бремени, теперь уже мальчиком, которому дали имя Уильям.

Это был крупный ребенок, тяжелый и толстенький. Лорена лежала в постели и улыбалась, ее большие серые глаза сияли.

— И ничего страшного,— говорила она мужу.— С каждым разом все легче. Этот мне достался совсем легко.

Через три дня сиделка-негритянка заметила, что у роженицы как-то слишком ярко и лихорадочно блестят глаза. Она пощупала ей щеку, потом шею. Лорена сказала:

— Сегодня жаркий день, хотя в августе всегда так.

Сиделка улыбнулась ей и тихонько вышла в холл, чтобы позвать мать Уильяма. Та пошла к сыну.

— Горячка,— просто сказала она.— Езжай за врачом.

Уильям поехал; он так загнал коня, что пришлось его бросить и возвращаться на докторской бричке. Это было почти на закате. Кожа у Лорены стала сухая и шероховатая на ощупь, губы запеклись и потрескались.

— Такой жаркий день,— говорила она.— Хоть бы у маленького не выступила сыпь.

Она не переставала беспокоиться об этом, и наконец ей принесли показать ребенка. Она развернула бумажное одеяло, осмотрела все тельце и только тогда поверила, что у мальчика нет потницы. Жар все поднимался, она много смеялась и болтала, обращаясь к каким-то людям,— Уильям их не знал. Или принималась напевать обрывки песенок, чаще всего — той, которая называлась ее именем: «Лорена».

Ее оборачивали влажными простынями, сбрызнутыми камфарой. Ей, как велел врач, давали с ложечки виски с хинином. Послали даже за негритянкой-знахаркой. Та развесила по четырем углам комнаты мешочки из змеиной кожи, а потом вышла и примостилась на краю двора, сразу за новой верандой — развела там, несмотря на жару, небольшой костер и просидела над ним до утра: молилась своим богам.

Лихорадка не стихала всю ночь. Уильям прикорнул здесь же, в уг-

лу, под одним из знахаркиных мешочков. Его родители ушли спать — старые люди, боязливые, напуганные. Врач задремал, сидя на стуле. И только Лорена казалась безмятежной. Когда Уильям проснулся, очень рано, на самой заре, он увидел на себе ее лучистые глаза. Она тихонько что-то напевала; он взял стул и сел рядом. Он больше не сходил с ума от страха. Это прошло. Он отупел от изнеможения: чугунная голова покачивалась на шее, как большое ядро. Цвет ее круглого, юного лица; заострившийся нос; едва уловимый, смутный запах, который поднимался от постели,— он понимал все это с ледяным спокойствием безнадежности.

Лорена слабо махала рукой невидимым людям, улыбалась им и все что-то мурлыкала, теперь уже беззвучно. Уильям на всю жизнь запомнил, как он сидел и смотрел в эти большие серые глаза; смотрел, как в них гаснет свет, незаметно, мало-помалу, пока — он не мог бы точно сказать, в какой миг это произошло,— пока не погас окончательно. Пока все совсем не кончилось — и беззвучная песенка, и движения, пока не оказалось, что он сидит и смотрит в открытые мертвые глаза. Не серые, вообще никакого цвета; просто потухшие глаза. Он закрыл их сам.

Врач все еще спал, но сиделка-негритянка встретилась Уильяму в холле, когда он вышел за дверь. Он услышал, как шуршит ее крахмальная белая юбка, почувствовал, как от нее пахну́ло солнцем, горячим утюгом. Он отмечал свои ощущения отрешенно, словно вчуже. Он видел, как сиделка спешит к нему, как мельтешат под накрахмаленным полотном толстые черные ноги. Резким кивком он указал ей на дверь комнаты. И пошел через холл, вдоль веранды; заметил вскользь, как пахнет на солнцепеке свежими досками и краской. Он миновал двор, шагнул за ворота, и тут его настиг приглушенный стенами дома рыдающий вопль сиделки. Уильям зашагал через выгон, машинально отметив, что за спиной на этот крик отозвались другие голоса и на спаленные солнцем поля выплеснулось разноголосье звуков. Он перелез через забор на дальней стороне пастбища и вошел в лес. Он шел медленно, называя про себя все, на чем останавливался глаз; называя по именам, точно до сих пор ничего этого не видел. Он глядел на песчаную землю, почти без единой травинки под вечным дождем сосновых иголок, и видел, какая она зернистая. Видел муравьев, и личинок, и прочую мелкую живность, снующую по подземным ходам. Дольше всего он простоял возле густого куста сириллы, разглядел со всех сторон, раздвинул пышные ветки, заметил, что у основания белых цветков завязались желтые ягоды. Он обратил внимание, что дикая азалия отцвела, стала бурая и сухая. Уильям двигался не спеша, словно гуляя по парку, и все смотрел по сторонам. Смотрел на те самые кустарники и цветы, которые видел всю жизнь. Вот восковник, благоухающий на солнце. Ботодендрон, ядовитый красный боб-софора. Вот сассапарель, в которой прячут свою добычу птички-сорокопуты. Вот белый жасмин. Он беззвучно называл про себя кусты. Цветы тоже: шиповник, он уже распустился, полевая гвоздика и горечавка, млечник и иммортели, повилика и кошачьи лапки, трилистник. Он набрел на упавшую сосну и присел отдохнуть, сидел так тихо, что с деревьев к нему спускались белки, заглядывали в лицо, чокали и бранились.

Прошло время; два часа — наверняка, три — едва ли; Уильям встал и пошел назад. Он ступал легко, без усилий, как будто тело его стало невесомым. Он перестал ощущать себя в этом теле.

Он вышел из леса и увидел свой дом посреди зеленого, обсаженного цветами двора. Из кухни доносились причитания — то нарастали, то стихали в лад движениям плакальщицы. На заднем крыльце сидел негритенок, совсем маленький, лет четырех, не больше. Уильям как будто не видел его до сих пор. *Надо спросить, чей это,*— подумал он.— *Наверно, кого-нибудь из здешних, я его просто не замечал.* Маль-

чик сидел на верхней ступеньке не шевелясь, только чуть повернул головенку, когда Уильям проходил мимо. Уильям кивнул ему. Негритенок тоже кивнул в ответ.

Уильям пошел вокруг дома мимо нового крыла, которое выстроил для своей жены и для будущих детей. Широкая веранда была обвита белой глицинией; два года назад ее посадила здесь Лорена. Плети вытянулись и разрослись; пора их цветения миновала, и они были покрыты перистыми листьями. Уильям ходил вокруг дома, слушая, как ботинки припечатывают к земле мягкую, вялую от солнца траву. Когда перед ним оказалась входная дверь, он вошел в дом, и ему ударил в ноздри непривычный запах мебельной политуры. Видно, открыли парадные комнаты и наводят там чистоту, готовятся к поминкам.

Где мои родители? — спросил он у горничных и с удивлением обнаружил, что вслух не произнес ни слова. Горничные были заняты делом, никто не повернул головы в его сторону.

Родителей он застал в столовой. Старики сидели вдвоем на больших креслах-качалках в застекленном фонаре. Просто сидели и смотрели в открытое окно, на травяной косогор, спускающийся к полям с аккуратными зелеными рядами созревающего хлопка. Уильям остановился у обеденного стола, водя большим пальцем туда-сюда по глянцевитой полированной крышке.

— Склеп все-таки понадобится мне,— сказал он.— Вот как.

Его построили пять лет назад старики Хауленды, специально нанимали в Мобиле архитектора. Он стоял на самом высоком месте методистского кладбища в Мэдисон-Сити. Кирпичный склеп, побеленный, со сводчатой полукруглой кровлей и крестом на маковке. К нему вели две мраморные ступени, по бокам стояли две урны, а спереди была чистая гладкая мраморная доска, чтобы наносить имена.

Его сделали для стариков. Но когда Уильям пришел из леса и увидел широкую черную ленту на парадной двери и горничных за уборкой гостиных, запертых было на лето, он понял, что надо делать.

— Я не хочу ее зарывать,—сказал он родителям.— Пусть она лежит в склепе.

Они молча кивнули, соглашаясь. Позади скрипнул стул: горничные стали поворачивать к стене зеркала.

Наверху, поперек мраморной доски, Уильям высек свое имя — в томительные дни после похорон, когда из Мобила приехал каменщик. Дальше стояло имя «Лорена», а перед ним только два слова: «Моя жена». И больше ничего.

Через год Уильям высек еще две даты и слова: «Мой сын».

Потом была война, и он отправился в Кэмп-Мартин, в Новый Орлеан. Ближе этого к французским окопам Уильям не попал, хотя и тут чуть не расстался с жизнью — во время эпидемии испанки. Наконец он вернулся домой, долговязый, как палка, тощий, в чем только душа держится. Вернулся в родительский дом, к своей единственной дочери и больше почти никуда не трогался из округа, только раза три в год ездил по делам в Чаттанугу.

Была у Уильяма Хауленда младшая сестра по имени Энн. Она вышла замуж за троюродного брата, Хауленда Кемпбелла, сына того самого адвоката, который в свое время обучал Уильяма юриспруденции. (Браки с дальней родней были у Хаулендов не в диковинку. Так уж повелось среди них; и не сказать, чтобы намеренно — просто выходило само собой.) Энн, женщина высокого роста, шумливая и деловитая, беспоко-

илась, что брат в тридцать лет остался вдовцом. Она писала ему фиолетовыми чернилами бессчетные письма, уговаривая приехать погостить. «Тебе так полезно было бы переменить обстановку»,— повторяла она.

Уильям вежливо отвечал на каждое письмо, хотя терпеть не мог писанины; даже собственные конторские книги были ему в тягость. Из года в год он терпеливо объяснял, почему не может приехать. То в хлопке завелся долгоносик; то луг засеян на пробу новым видом клевера — красным; то выводят новый сорт кормовой кукурузы.

Энн Хауленд Кемпбелл сидела у себя в Атланте, в большом белом особняке на обсаженной деревьями улице, читала эти письма и показывала их своему дородному весельчаку мужу.

Тот фыркал и смахивал их в сторону.

— Душенька,— говорил он.— Перестань зря стараться, тебе его не женить.

— Я про это даже не заикалась.

— Он не хуже моего знает, что получится, если он хоть нос покажет сюда.

Энн смотрела на свой дом, где все прибавлялось ребятни; на свой круглый живот — она ждала следующего — и бережно прикрывала его ладонями.

— Ему нужна жена. Та, первая, совсем ему не подходила, и он очень скоро сам бы это понял.

— Хм,— произнес ее муж.— Похоже, что он считает иначе.

Много, очень много лет спустя Уильям Хауленд повез на кладбище свою внучку, прихватив с собой двух негров-садовников, чтобы прибрали вокруг,— и в тот день заговорил о своей жене Лорене.

— От нее исходил такой свет,— говорил он,— такое сияние. Помню, я думал, что она светится по ночам.

Он не оплакивал ее — во всяком случае так, как полагалось бы вдовцу. Казалось, вместе с ней умерла какая-то часть его самого, и, пожалуй, это было к лучшему, что умерла, а не осталась жить и страдать.

В то солнечное утро он глядел на склеп, на свое имя, высеченное сверху, и говорил:

— Она могла бы стать пьянчужкой, вроде своей матери. И, может быть, вся эта ее нежность обернулась бы такой же, как у ее отца...— Он пожал плечами и усмехнулся.— Да вот не обернулась.

Так он и жил вдовцом. Возможно, он был не очень счастлив, но и несчастлив, конечно, тоже не был. Дел у него хватало: и хлопок, и скот, и небывалый спрос на строительный лес и древесину. А надо было и дочь растить, и проводить в последний путь родителей. (Новый склеп построить так и не собрались. Родителей опустили в песчаную красноватую землю и положили в изголовье по глыбе серого гранита.) Дни бежали незаметно — короткая холодная зима, потом долгое жаркое лето... Он не был ни затворником, ни бирюком. Когда позволяли дела, ходил в церковь, ездил в гости по всей округе. Он прекрасно танцевал, играл на мандолине и приятным мягким баритоном пел все модные песенки. Он только не проявлял интереса к дочкам и вдовушкам. Никакого. Может быть, у него была любовница? Во всяком случае, не в Мэдисон-Сити. Или какая-то связь в Чаттануге? Но и об этом никто толком не знал. Посудачить было о чем, но не более того.

Возможно, если бы он жил в городе, все сложилось бы иначе. Возможно, если бы он чаще встречался с людьми, то нашел бы кого-нибудь. Но фермы в здешних местах стояли неблизко, а от одной до другой — никакого жилья, кроме хибарок испольщиков. Весной и летом работы

невпроворот, только и передышки что неделя-другая в августе, пока зреет хлопок. Ну, а как приспело время приняться за сбор хлопка, тут уж Уильям не отлучался ни на шаг, даже по воскресеньям, пока все не свезут на очистительную машину. Потом, глядишь, готова кукуруза, за ней — табак, а там и прохладные осенние дни наступили, пора варить патоку. И, наконец,— убой скота. Когда вся мелюзга разживется свинячьими пузырями для забавы, когда в холодном воздухе заблагоухают коптильни, тогда с работой на этот год покончено. Зима — самое время для веселья; только и забот, что приглядеть за рубкой леса, но зимы в этих краях короткие, и Уильям Хауленд так и не сыскал себе жены.

Потихоньку катились годы, и подрастала дочь Уильяма, Абигейл. В ней не было ни капли сходства с матерью, словно та ничего не дала ей своего — настолько девочка походила на отца. Не бог весть как хороша собой, зато смышленая, веселая, с легким нравом. И с интересом ко всему на свете. Школьницей она заставила отца выписать нью-йоркскую «Трибюн», хотя он долго ворчал, что в дом и так каждую неделю приходят три газеты: местный «Леджер», «Кларион» из Мобила и «Конститьюшн» из Атланты.

Он уступил, разумеется: он ей во всем уступал.

— Абигейл,— сказал он,— надеюсь, у них там хватит соображения завернуть во что-нибудь эту газету, да поплотней, а то разговорам конца не будет!

«Трибюн» пришла в таком же виде, как прочие газеты: никакой обертки, читай, кто хочет. На дом гогда почту не доставляли; Уильям два раза в неделю ездил за ней в Мэдисон-Сити. Он любил читать и получал целый ворох всякой всячины: «Сатердей ивнинг пост», и «Кольерс», и «Нейшнл джеографик», и все, что относилось к сельской жизни. Когда прислали первый номер «Трибюн», почтмейстер Роджер Эйнсворт положил локти на прилавок и объявил:

— Ей-ей, Уильям, никак ты сошел с ума.

Местная почта помещалась на одной половине фуражной лавки Эйнсворта «Корма-Зерно», прямо так, без всякой перегородки. В то утро в лавке собралось человек шесть, тут постоянно кто-нибудь да околачивался. Заходили сыграть в шашки или просто почесать языком, погрызть жареной кукурузы и земляных орехов — на железной плите всегда стояло блюдо этой снеди. По тому, как они сидели,— притихшие, с безучастными лицами,— нетрудно было понять, что они уже все знают и успели высказаться по этому поводу.

— Это почему же, Роджер? — спросил Уильям.

Роджер Эйнсворт шлепнул на прилавок кипу журналов.

— Твои.— Он достал отдельно отложенную «Трибюн», поднял, молча показал.

— Тоже мне? — спросил Уильям.

Эйнсворт кивнул. Люди выжидающе подались вперед. Скрипнул плетеный стул, скрипнула половица. Громко щелкнула у кого-то на зубах каленая кукурузина.

— Ну и что? — сказал Уильям.

Эйнсворт объяснил:

— Вроде бы ты до сих пор не имел привычки читать, что печатают янки.

— Это дочке захотелось,— сказал Уильям. И, чтобы не получилось, будто он прячется за спиной у девчонки, прибавил громче: — Но я полагаю, что буду почитывать и сам.

Позади раздался шорох, словно все разом перевели дыхание. Уильям сгреб свою почту.

— Роджер,— спокойно проговорил он,— я знал, что ты осел, но не думал, что до такой степени.

В дверь мячиком вкатилась прыткая низенькая толстуха Марайя Питерс и подскочила к прилавку.

— Три открытки, Роджер,— сказала она. И прибавила: — Ты что это, словно муху проглотил.

— Нет, до чего иные люди легко становятся предателями,— мрачно сказал Роджер.— Не поверишь даже, что у них родного деда убили на войне.

Уильям хмыкнул и с усилием вытянул газету из-под пальцев Роджера Эйнсворта.

— Во-первых, не родного, а двоюродного. А во-вторых, никому не известно, рад он был или нет отдать жизнь, хотя бы и за общее дело.— Он задумчиво встряхнул кипу газет.— Мне лично думается, он при этом не испытывал особого блаженства. Он сгорел заживо в Уилдернесской чаще, а я видел лесные пожары и знаю, что по доброй воле туда никто не полезет.

Он повернулся к выходу и заметил, как перед самым его носом в дверь прошмыгнул Эрнест Франклин и торопливо заковылял по улице растрезвонить последнюю новость. Он был стар и страдал артритом и, точно вспугнутый краб, раскорякой спешил к веранде гостиницы «Вашингтон». Поднялся по ступенькам, хватаясь за медные перила, и скрылся за плотно оплетенной вьюнком решеткой веранды.

Рассказывают, что Уильям Хауленд остановился посреди главной улицы, по щиколотку в сухой горячей пыли, и разразился хохотом. Люди высовывались из дверей Эйнсвортовой фуражной лавки и не могли понять: то ли его хватил солнечный удар, то ли спивается человек втихомолку и вот помешался. Наконец он отер слезы большим синим носовым платком, досуха вытер щеки, подбородок и без улыбки поглядел в их сторону. Он поглядел на ряд голов, на возню и толкотню — те, кому сзади было не видно, напирали и протискивались вперед — и очень громко, очень внятно сказал:

— Ну и сукины вы дети!

Беззлобно так сказал.

Городишко проглотил обиду не сразу. Люси Уитмор — ее голова тоже торчала в то утро из дверей фуражной лавки — даже раздумала было звать его на свадьбу своей дочери. Когда, эдак с неделю спустя, Уильям встретился ей на улице, Люси держалась с ним суховато: пусть знает, что она почти решила не посылать ему приглашение, только ему одному во всем городе, да еще младшей дочери Лайксов — та вышла замуж за католика, венчалась в католической церкви, и теперь с ней никто не разговаривал, хотя все любили родителей — она сейчас жила у них в ожидании первенца. Уильяма, казалось, лишь забавляли церемонные ответы Люси Уитмор. Он осведомился, как поживает ее дочь,— синие глаза его при этом лукаво поблескивали, смеялись.

— Ну, как она? Как молодой муженек?

— Они еще не женаты,— сдержанно ответила Люси.

— А-а, понимаю,— мягко заметил Уильям,— главное сперва, а прочее во благовременье.— Он кивнул и зашагал своей дорогой.

Люси Уитмор пошла дальше, с негодованием думая о дочери и яростно твердя себе, что другого и ждать нечего, когда у тебя в семье играют свадьбу, чтобы покрыть грех. И решила, что Уильяма Хауленда, несмотря на его грубые намеки, не позвать нельзя.

Городок не умел долго сердиться — особенно на Уильяма Хауленда. Ну, не пригласили, против обыкновения, на ужин к Фрейзерам в первое воскресенье месяца. Ну, к Петерсонам не позвали, когда приехала погостить их родственница из Лафайета. Но его это как будто не трогало, родственницу же не успели первый раз повезти собирать ягоды, как она

угодила в жгучие заросли ядовитого сумаха, и, кстати, не где-нибудь, а в Хаулендовом лесу.

Недели через две все пошло по-старому. Не то чтобы случай с «Трибюн» забыли или забыли это насмешливое «сукины дети» в жаркой тишине пыльного утра... Просто ничего не могли поделать; прибавилось, о чем посплетничать на его счет, и только. Как-никак он оставался самым завидным из местных женихов, и непонятно, почему ему так нравилось растить дочь в одиночку. Не было человека в округе, который не ломал бы голову над этой загадкой; немало находилось и таких, кто пробовал найти ей решение. Правда, к этому времени Уильям Хауленд был уже в годах, но все равно за него пошла бы любая вдова и любая разведенная и даже очень многие из молоденьких девушек на выданье. С виду он все еще был мужчина хоть куда, только усы сбрил и волосы стали редеть. А главное, он был Хауленд, чистокровный Хауленд — самый почтенный род в округе, самые лучшие земли, самые большие деньги.

Его сестра Энн — она приезжала каждый год (раз он никак не соглашался ехать к ней) и привозила ему на погляденье очередного отпрыска — одна только отваживалась заговаривать об этом открыто. И частенько заговаривала — где-нибудь у подружки детства, сидя под вечер за шитьем или вязаньем в плетеной качалке на затененной веранде или раскрашивая для Лиги женщин-евангеличек рождественские открытки. Подожмет губы и скажет:

— Нет, это неприлично. Жена ему необходима, значит, и надо жениться. А то шестнадцать лет как схоронил свою и ведет себя так, будто она отлучилась проведать родных.

Дамы кивали головами и соглашались, что это правда.

Дочка Уильяма Абигейл окончила школу. Высокая, худенькая, длинные белобрысые волосы. Почти у всех ее ровесниц был хотя бы один постоянный воздыхатель — у нее не было никого. Казалось, это ее не занимало. Она была так застенчива, что не получала удовольствия от балов, а танцевать вообще не умела. Все вечера просиживала дома в большой мягкой качалке и читала — читала без конца. «Трибюн», как выяснилось в первые же две недели, оказалась трудновата для нее. Газета приходила год за годом, но Абигейл в нее больше почти не заглядывала. Она вообще читала только стихи. Шелли в изящном сафьяновом переплете с монограммой ее прабабки. Йейтс — его она читала вслух. Сидела, смотрела сквозь тенистую завесу глицинии на блистающий день и роняла в пушистую зелень:

Из врат дневных рвется ветра порыв.
Одинокую душу он обовьет,
Ее дыханьем своим иссушив,
А феи где-то ведут хоровод.*

Отец и слуги скоро привыкли к напевным звукам ее голоса. И даже немножко гордились ею. Разве не поэтично, когда в доме сидит молодая девушка, совсем одна в вечерний час, и на ее устах журчат стихи и лишь в ясных, широко открытых глазах — пыл и томление семнадцати лет?

Потом она уехала в колледж Мэри Болдуин, в Виргинию. Ее отвез туда отец — так она впервые покинула пределы штата. Ей не очень-то хотелось ехать, но отец считал, что надо, и она послушно снарядилась в дорогу.

Она уехала, а в городке принялись пророчить ей будущее. Большей частью сходились на том, что быть ей старой девой, сидеть в пустом ог-

* Перевод В. Рогова.

ромном доме и переворачивать высохшими безжизненными пальцами страницы книжек. Прорицатели сокрушенно качали головами: повыведутся настоящие Хауленды, и ладно бы только имя, а то ведь и самый род...

В первое лето она приехала домой на каникулы худенькая, как тростинка, щеки чуть тронуты румянцем после холодной горной зимы. Мигом уговорила отца купить ей лошадь, смирную, почтенных лет кобылку, и стала надолго уезжать с раннего утра, всегда без провожатых. Люди судили да рядили, но вскоре толки затихли, потому что вечера она по-прежнему проводила дома, в беседке у края газона. Построил ее Уильям Хауленд — это был его сюрприз к приезду дочери. Беседка получилась как игрушечка; в городе каждый знал о ней все досконально, хотя мало кто видел. Решетки — изящные, точно кружево; карнизы и стропила в богатой резьбе — крутые завитки, виноградные гроздья. Вдоль ее стен шли диванчики, обитые голубым в белую полоску ситцем; посредине — стол, восьмиугольный, как и сама беседка. Сделан на заказ. Здесь и проводила летние дни Абигейл Хауленд; теперь она сама писала стихи. И еще письма. Роберт Эйнсворт из почтовой конторы живо подметил, что хотя бы раз в неделю ей непременно приходит письмо. Причем почерк один и тот же, а штемпели разные. Из чего мистер Эйнсворт заключил, что у Абигейл Хауленд наконец-то завелся поклонник, и поклонник этот — коммивояжер. А иначе откуда же на письмах разные штемпели, объяснял он кучке завсегдатаев фуражной лавки под щелканье каленой кукурузы и земляных орешков.

Все лето город следил и ждал, кто же объявится. Но не объявился никто. Не приехала даже сестра Уильяма: ее младший был еще слишком мал для дальней дороги. Письма, и больше ничего. К концу лета Абигейл уехала в колледж, и про нее забыли. Теперь все были заняты делами братьев Робертсонов, Кэлвина и Джона. Братья — а раньше их отец — уже который год занимались изготовлением крепких напитков. Их прозвали лесовиками за то, что они сторонились больших дорог и доставляли свой товар прямиком, через вершины песчаных, поросших лесом грив. Без малого три десятка лет снабжали Робертсоны спиртным оба соседних округа, работали на совесть и пользовались доброй славой. Из года в год набирал силу сухой закон, добрая выпивка дорожала, все трудней было ее доставать, и Робертсоны увидели, что заказов становится непомерно много и поступают они уже со всего штата. Двор перед их белым домиком (Кэлвин, удобства ради, перебрался жить в город) был постоянно запружен лошадьми, повозками; порой стояли и автомобили...

Торговля шла так бойко, что Робертсоны построили новую винокурню. Люди болтали, будто ее поставили прямо на болотах вокруг Медвяного острова. Места эти никто по-настоящему не знал, да и не стремился разведать. Одни утверждали, что посредине есть широкое родниковое озеро, заболоченное только по краям. Другие говорили, что ничего похожего там нет, а все сплошь трясина. Старики же иной раз поминали в рассказах про остров, где твердая земля и такая рыбалка, что ловятся синежабрые окуни фунта по два. И что ни дерево — то медовое дупло, а по ночам там ревут и грызутся медведи и аллигаторы. Никто таким рассказам не верил.

Болота Медвяного острова покрывали внушительное пространство; по карте видно было, что они занимают чуть ли не четвертую часть округа, весь юго-восточный угол. Начинались они сразу: песчаный откос, а дальше — широкая бугристая топь: черная береза и черный дуб, камедное дерево и кусты падуба вышиной со взрослое дерево. И кипарисы — бесконечные кипарисы, сумрачные, обомшелые, а внизу тяжелая, маслянистая вода. На краю болота любили играть мальчишки; весной ловили

раков, били острогой лягушек по вечерам; гоняли крупных сирен, угревидных тварей, шнырявших по воде. Но никто не отваживался заходить далеко — и вот теперь Робертсоны, если верить их намекам, отважились. Они хвастали, будто у них там стоит и курится вовсю прекрасная мощная винокурня, и каждый понимал, что, судя по количеству робертсоновского виски, она и вправду не маленькая. Дела у них шли гладко, потому что все было шито-крыто. Люди догадывались, что на берег товар доставляют на гребных лодках, а там уже грузят на мулов и развозят по местам. Встреч по дороге братья тщательно избегали — с кем бы то ни было, даже если ради этого приходилось пройти лишние мили по крутым склонам. А путь — он всегда сыщется, нужно только знать округу и не торопиться.

Уильям Хауленд покупал у Робертсонов спиртное не первый год: он всегда отдавал предпочтение кукурузному виски. Сначала он пропускал мимо ушей разговоры о новой винокурне. Сплетни, решил он. Но шло время, и ближе к осени он стал все чаще задумываться, где же она все-таки. Не иначе как нашли на болотах остров, и большой — не какую-нибудь кочку. Да, должно быть, так. Он и сам в детстве облазил почти все болота. Набредал на глубокие и чистые озера с песчаным дном, что само по себе достойно удивления, но остров ему никогда не попадался — такой, чтобы на нем поместилась целая винокурня: и большой, и высокий, и сухой. Где же такой мог быть?

Он размышлял об этом и в те долгие летние вечера, когда, лениво отмахиваясь от надоедливых комаров, сидел после ужина в беседке с дочерью. Абигейл читала ему стихи. Теперь, после школы, она пристрастилась читать вслух при ком-нибудь: читать самой себе ей было уже неинтересно. У них есть учитель, рассказывала она отцу, и он говорит, что только так можно оценить звучание стиха. В тот вечер она читала ему из «Потерянного рая», а он не слушал. Он никогда не слушал. Ее мягкий голосок долетал до него точно так же, как зуденье комаров, как внушительный гуд залетного жука, свист крыльев стрижа — пожирателя жуков, как шумные взмахи совиных крыльев. Квакши и гигантские лягушки. Саранча, сверчки. Он их и слышал и не слышал. Они были чем-то смутным и расплывчатым, чем-то далеким, как закатное небо, на котором сквозь розовую дымку все ясней проступала вечерняя звезда. Интересно, детям до сих пор говорят, что если взглянуть на небо в дымоход, то увидишь звезды средь бела дня? Надо будет спросить у Абигейл, говорила ли ей об этом нянька. Как много есть такого, о чем он ее не спросил, все как-то не получалось... Хм, эдакий яркий закат, пожалуй, к дождю, а дождь не сулит ничего доброго хлопку. Вот ведь занятная штука: если лето выдалось удачное для хлопка, значит, для кукурузы никуда не годится. А чтобы и то, и другое — так, видно, не бывает.

Мягкий, тихий голосок все читал, растворяясь в сумерках. Пахло с газона скошенной травой, пахло пылью с дороги. Сухие, добротные запахи. Уильяму припомнилось, как пахнет на болоте — густо, приторно. Припомнилось, как взбаламутишь воду палкой — и на поверхность поднимаются пузырьки газа; а к упавшим стволам цепляются снизу раки, и их обираешь, точно спелые яблоки. И какой след идет по воде, когда плывет щитомордник; шею высунет, а позади взбухают и расходятся под острым углом две волны. Тяжелый запах стоячей воды, гнили. Рев брачующихся аллигаторов, их неуклюжие движения, когда они вперевалку ковыляют к воде. Тошнотворно-сладкая вонь отмелей, куда приходят валяться в грязи обитатели болот.

«Найду,— беззвучно сказал Уильям сухой прозрачной полутьме.— Если винокурня там, я ее разыщу».

И Абигейл удивилась, почему это отец ни с того ни с сего сел прямо

и начал с усиленным интересом вникать в подробности битвы меж ангелами.

Потом, несколько недель спустя, она опять удивилась тому, что он так легко ее отпускает. Обыкновенно при расставании с ним у нее переворачивалось сердце, до того он бывал огорчен. А тут помахал ей вслед с широкой улыбкой, а на лице написано было какое-то тайное, но нескрываемое довольство.

Он остался ночевать в городе, потому что завтра был базарный день, суббота, и он хотел принанять еще людей на сбор хлопка. Суббота — самая суматошная пора, так уж водится: улицы забиты повозками, на тротуарах, на городской площади полно народу — кто куда-то спешит, кто просто стоит, глазеет на прохожих. Веранда гостиницы «Вашингтон» плотно заставлена стульями, но если не прийти пораньше, места все равно не достанется. А кому не досталось, те сидят рядком прямо на земле, прислонясь к веранде. На пари плюют табачным соком в больших зеленых мух. То и дело победитель подставляет ладонь и собирает выигрыш. В жарком, неподвижном воздухе пахнет пылью и потом. Если прислушаться, за людским гомоном можно различить мычание и блеяние на задворках. В городе была всего одна улица, рев скотины проникал сюда так же легко, как ее запахи.

Уильям Хауленд уладил свои дела и решил ехать домой. На людных улицах ему всегда было как-то не по себе. Он шагал туда, где оставил свою двуколку, и думал, сообразил ли негритенок, которого он взял с собой, вывести из конюшни лошадь,— и тут ему попался навстречу Кэлвин Робертсон. Уильям стал как вкопанный и вдруг улыбнулся.

— Кэл, а я тебя вспоминал.

— Тебе потребуется что-нибудь на этой неделе? — вежливо спросил Кэлвин.

— Может, и не на этой,— сказал Уильям,— да я сам приду заберу.

— Я тебе могу доставить все, что нужно.

— Нужно-то нужно,— сказал Уильям,— да только не совсем то.

Он повернулся и поймал за рукав доктора Армстронга; тот как раз проходил мимо с плетенкой, полной цыплят.

— Стой, Гарри,— сказал он,— я хочу, чтобы ты присутствовал при нашем разговоре.

Гарри Армстронг устало опустил плетенку на землю.

— Что, Уилл?

— Да вот, хочу предложить пари.

Гарри Армстронг вытащил большой коричневый носовой платок и вытер потное лицо.

— Задумал составить Кэлвину конкуренцию?

— Нет,— сказал Уильям.— Я задумал отыскать, где у него винокурня.

Гарри Армстронг вытаращил глаза.

— Пойдешь шарить по болотам Медвяного острова?

— Если верить слухам, она там и есть.

На лице Гарри Армстронга снова выступили капельки пота. Он отер их тыльной стороной руки, тряхнул кистью и опять полез за носовым платком.

— У меня мать была из Хаулендов, так что я вряд ли стану говорить зря, но только у вас в семейке всегда все были с придурью.

Уильям усмехнулся.

— Словом, вот так, Гарри: предлагаю ему пари.

— Не пойдет,— сказал Кэлвин.

— Ну, не жмись,— сказал Уильям.— Спорим на галлон твоего виски, что я вас найду.

Армстронг тяжело вздохнул.

— Вы лучше принимайте, Кэлвин,— сказал он.— А то не отвяжетесь.

— Нет,— сказал Кэлвин.

— Ладно, тогда без пари,— сказал Уильям.— Я и задаром найду.

Армстронг сказал:

— Уж сколько лет в семье все до единого вот такие.

— На всякий случай условимся,— продолжал Уильям.— Если меня не видно день-другой, стало быть, я на болоте. Если прошло дня четыре, со мной что-то неладно. Ну, а если неделя, доктор Гарри Хауленд Армстронг идет, собирает всю родню и объявляет, что руки мистера Кэлвина Робертсона запачканы моей кровью.

— Брось ты, Уилл,— сказал Кэлвин.

— Всё забавы,— сказал Армстронг.— И никогда-то эти Хауленды не взрослеют.— Он взял в руки плетенку, упер ее в свое круглое брюшко.— А людям дело надо делать.

— Что, кур собрался разводить?

— Наши все передохли,— сказал Гарри Армстронг.— Выходим утром, глядим — валяются по всему двору, ноги кверху, все дохлые и все смердят.

— Ну вот, а еще врач. Людей беретесь лечить, а у самих куры дохнут. Тут поневоле призадумаешься.

Гарри Армстронг вздохнул. Он уже опять взмок, пот струйками стекал у него по лицу, но вытереть было нечем: руки заняты. Он еще раз вздохнул, кивнул на прощанье и потащился дальше.

— Значит, теперь жди в гости,— сказал Уильям.

Кэлвин Робертсон что-то буркнул, круто повернулся и пошел прочь.

В тот вечер Гарри Армстронг за обедом сказал жене:

— Угадай, что еще собирается выкинуть Уилл Хауленд?

Она не стала спрашивать. Что толку? За тридцать пять лет семейной жизни она убедилась, что муж и так все расскажет — и непременно на свой лад.

— Отправляется искать винокурню,— хохотнул доктор.— А мне сообщил об этом, чтобы Кэлвин Робертсон ненароком не пристрелил его на болоте.

Миссис Армстронг соболезнующе поцокала языком:

— Ай я-яй. Неужели он покажет на них?

— Кто, Уилл? — вскинулся Гарри Армстронг.— Чистокровный Хауленд?

Она смутилась.

— Я ведь только спросила.

— Ему такое и в голову не придет,— убежденно сказал Гарри.— Это он так, игры придумывает себе на потеху.

Уилл Хауленд готовился к своей игре обстоятельно. Прежде всего он наведался к Питеру Уошберну, негру, который строил лодки. Он застал Питера на берегу реки у сарая; мастер что-то строгал, а вокруг шелестели ивы, трепеща на ветру узкими пыльными листьями. Уилл сторговал себе ялик — тот, что был только еще начат,— и стал с нетерпением ждать. Уошберн работал медленно — Уильям Хауленд специально два раза побывал в городе, проверить, как подвигается дело. Наконец все было готово, и они с Питером Уошберном спустили ялик на воду, чтобы древесина набухла и раздалась. Они привязали лодку к прибрежной

березе и затопили по самый планшир — пусть вылежится, дойдет в илистой воде.

Потом Уильяму стало не до того: поспел хлопок. Он повесил на плечо мешок и несколько рядов прошел сам, потому что не любил, чтобы рука теряла сноровку. Собирать хлопок — нетрудная работа, ребятишки и то собирали. Если рассудить, им даже и легче: с таким ростом, как у него, чересчур низко нагибаться. Зато, что ни говори, рука очень крепчает, когда кончиками пальцев выдергиваешь хлопок из зубчатой коробочки. У Уильяма Хауленда правая кисть была заметно шире левой, и он этим немножко гордился.

Сборщики хлопка работали, пока все поля не оберут дочиста,— работали неделями, без передышки, под нестерпимо синим небом, обложенным со всех сторон тяжелыми черными грозовыми тучами. Дождя в это время года почти никогда не бывало. Тучи громоздились все выше, но так и не трогались с горизонта. Они как будто навечно утвердились там наподобие гор. По утрам их первыми освещала заря, на закате они багряно пламенели в последних лучах солнца. Иногда сборщики хлопка работали ночами, но и тогда, выпрямляясь, чтобы разогнуть усталую спину, видели по краям земли все те же высокие тучи, серебристые, сияющие белизной при луне.

Вечером Уильям валился на кровать, не давая себе труда раздеться. Порой, в считанные мгновения перед сном, он успевал подумать о новом ялике, о болотах, о том, что сделает, когда кончится сбор хлопка и умолкнет грохот хлопкоочистительных машин... Они с Питером Уошберном стащат ялик с илистого мелководья и будут окатывать проточной водой, пока не отмоют дочиста. Потом погрузят в фургон и повезут по дорогам, которые поколения Хаулендов проторили через песчаные красные холмы, когда ходили здесь изо дня в день — кто за дровами, кто на охоту, а кто просто так, ради удовольствия протоптать новую тропинку по земле. И наконец они выведут ялик на речушку, прозванную Оленьим ручьем. Дальше Уильяму предстоит пробираться в глубь болот одному. Он был уверен, что сумеет.

Сбор хлопка шел к концу, и Уильям Хауленд заметил, что все чаще вспоминает про болота. «Скоро двинусь в путь»,— передал он Питеру Уошберну.

Однако вышло иначе. В тот самый вечер, когда он окончательно решил, что готов в дорогу, он получил письмо от дочери. Ее почерк, летящий, прихотливый, нечеткий, чем-то напоминал ее манеру читать стихи. Письмецо было нацарапано наспех и сложено раньше, чем просохли чернила. Уильям угадывал изящные очертания букв, старался прочесть смазанные, неразборчивые слова, вдыхая тонкий аромат духов, идущий от бумаги. Понять удалось одно: она едет домой.

Он встречал ее на станции.

Она была такая же, как всегда,— худенькая, высокая, белоголовая. Только куда-то делась ее обычная рассеянность. Она бросилась к нему и — до сих пор этого на людях никогда не бывало — повисла у него на шее.

— Папочка! — Она горячо зашептала ему в ухо.— Ты удивился, да? Правда, изумительно? Просто дивно, просто лучше не бывает...

Уильям Хауленд терпеливо объяснил:

— Письмо было все смазано, дочка. Я мало что сумел разобрать.— Он увидел, как у нее вытянулось лицо, задрожала нижняя губа.— Ты его слишком рано сложила,— мягко прибавил он.— Ничего, расскажи сейчас.

Она отступила на шаг и сказала громко, с расстановкой, точно обращаясь к глухому или иностранцу (и Уильяму вдруг подумалось, что, может быть, таков он и есть):

— Я выхожу замуж.

Он глядел на нее, а сознание отметило только, что станционный смотритель Руфус Мэттьюс схватил метлу и, притворяясь, будто ничего не слышит, стал подметать пыльную сухую платформу.

— Ты удивляешься, папочка? — ворковала Абигейл.— Чудесно, правда? Я знаю, ты думал, что меня уже вовеки не сбыть с рук.

— Да нет,— проговорил Уильям.— Не скажу, чтобы меня это особенно беспокоило.

— Знаешь, когда ты некрасивая... тревожно все-таки.

Вот оно что, подумал он. А казалось, она не замечает; казалось, ей совершенно безразлично... Новая, неведомая земля открывалась перед ним. Она думала, она тревожилась. Безмятежное, кроткое лицо, кроткие глаза, а за ними... Он до сих пор не представлял себе, что у нее могут быть свои мысли, свои чувства. Она всегда выглядела такой довольной...

— Пап, неужели ты ничего не скажешь?

— Тебе еще двадцати нет, рано мне было волноваться, что ты не найдешь себе мужа.

Она взяла его под руку, и они пошли к коляске. Уильям Хауленд не торопился покупать автомобиль. Дороги были почти круглый год скверные, на автомобиле не проедешь.

— Он такой замечательный.— Вспоминая, она прижала к себе отцовский локоть.

— Из здешних?

Она остановилась и прыснула:

— Упаси боже!

Руфус Мэттьюс уронил метлу. «Так тебе и надо,— мстительно подумал Уильям.— Хочешь подслушивать — тогда уж не гневайся».

— Я с ним познакомилась в колледже,— сказала она.

— Можно было бы догадаться,— сказал Уильям.

— Он там преподает. Английский.

Вот они откуда, все эти стихи, подумал Уильям. И стихи, и чтение вслух.

И спросил, неожиданно для себя:

— Так это он тебе письма писал тем летом? — Усмешку выдал голос.

Абигейл бросила на него зоркий взгляд.

— Откуда ты мог узнать?

— Весь город знал,— сказал Уильям. И нарочно прибавил громче, чтобы поймало жадное ухо Руфуса: — Старик Эйнсворт целое лето только и делал, что делился соображениями на этот счет.

По дороге домой Абигейл сказала:

— Его зовут Грегори. Грегори Эдвард Мейсон.

— Он что, из Виргинии?

— Боже упаси!— (Уильям поразился: отчего она так часто повторяет эту фразу, ведь раньше никогда не говорила.) — Он из Англии, лондонец. Просто учительствует здесь.

Уильям сказал:

— Твой прадед в гробу перевернулся бы, если б услышал, что ты выходишь за англичанина.

Она спокойно ответила:

— Я знаю.

Колеса тряслись и вихляли на колеях дороги. По гравию суетливо перебежали штук шесть перепелок и скрылись в стерне опустелого куку-

рузного поля. Уильям сказал:

— Наверно, мне бы следовало больше знать насчет свадеб... словом, что нам теперь полагается предпринять?

— Папочка, тебе — ничего. Я напишу тете Энни и попрошу приехать. Если ты в силах вынести ее присутствие в доме.

— Всю жизнь был в силах,— сказал Уильям, обращаясь к лошадиному крупу.— Как-нибудь потерплю еще немного.

— Ну, тогда все. Правда-правда.

Уильям сказал:

— Очень приятно слышать.

Когда они сворачивали в подъездную аллею к дому, Абигейл сказала:

— Кстати, чуть не забыла... В ту пятницу Грег приезжает сюда.

— На свадьбу?

— Ой, папочка...— Она укоризненно пощелкала языком, и на какой-то миг ему почудилось, что это вышло у нее совсем как у бабки, этой неряхи и пьяницы, которая, клохча, словно квочка, день-деньской наведывалась на кухню, где хранилась в шкафчике бутылка джина.

— Так зачем?

Абигейл хихикнула, и смешок получился опять как у той — самоуверенный, довольный.

— Грег — сама благопристойность. Он едет в такую даль только затем, чтобы просить у тебя моей руки.

— Ах, так,— сказал Уильям.— Что ж, насколько я знаю, это никогда не делается с расстояния.

— Теперь никто больше не ездит венчаться в родной город,— доверительно сообщила она.— Правда.

Уильяму не пришлось натягивать поводья: на привычном месте лошадь стала сама.

— Так скажи, дочка, что надо делать.

— Решительно ничего,— сказала она.— Напишу тете Энни, и тебе никаких забот.

Она повернулась в пируэте на пыльной аллее, длинные белокурые волосы захлестнули ей глаза.

— Такая уйма дел, папочка. У меня совсем нет приданого. Все получилось так неожиданно.

— И давно произошла эта неожиданность?

— За день до того, как я тебе написала. Ты, наверно, этого тоже не разобрал?

Уильям покачал головой.

— А как ты думаешь, мне можно съездить в Атланту за приданым? Тетя Энни уж конечно знает, что к чему.

Он только молча кивнул. И пошел за ней в дом, не стал звать слуг, сам внес ее единственный чемодан, впервые почувствовав себя старым, отяжелевшим, усталым. Та самая малютка, которую он нянчил на руках,— это она мочила ему колени, срыгивала на рубашку. Та — и не та... Ноги его как будто вросли в землю. Крутые ободья ребер мешали дышать, одеревенели, как бочарная клепка. «Мне сорок восемь лет,— думал он,— а это уже старость».

Абигейл что-то говорила ему, он кивал головой, не слушая, просто соглашаясь.

Наши дети растут, эхом пронеслось у него в голове; он слышал это когда-то давно и ни разу не вспоминал с тех пор: «Наши дети становятся взрослыми и теснят нас к могиле».

Уильям прошел в столовую и налил себе виски. Он глядел на светло-желтую влагу и думал про винокурню на болотах и про то, как собирал-

ся ее искать. А теперь, похоже, больше не хочет. Похоже, его уже не хватит на такое.

Он отхлебнул глоток и снова вышел на веранду. Сел в качалку, поставил виски на подлокотник. Поглядел через дорогу на свои поля, на свой лес за полями.

По крайней мере, думал он, земля — это прочно. Песчаная земля, такая знакомая, что начинаешь думать о ней, как о живой. Капризная, неподатливая, не слишком-то ласковая. Зато всегда та же, всегда одинаковая — для твоего отца, для тебя, для твоих детей. И это отрадно. Это уже утешение.

■

Энни Кемпбелл прислала из Атланты пространную, многословную телеграмму. Уильям подержал в руке желтый листок и заметил Руфусу Мэттьюсу — тот был не только станционным смотрителем, но и телеграфистом:

— Должно быть, стоила ей пропасть денег...

Руфус кивнул.

— А раз так,— продолжал Уильям,— естественно было бы рассчитывать, что ты выжмешь из нее побольше толку.

— Я принял в точности, как передавали,— обиделся Руфус.

В послании было невразумительным все, кроме общего смысла: сестра в восторге и замужество одобряет.

Уильям вздохнул.

— Хоть представляешь себе, о чем речь, и то хорошо.

Масса возни у него с перепиской за последнее время. Даже телеграммы шлют... С тех пор как умерла жена, он не получал ни одной...

— Венчаться будут здесь? — спросил Руфус.

— Наверно,— сказал Уильям.— Ты лучше спрашивай у моей сестрицы и Абигейл.

Грегори Эдвард Мейсон приехал, как обещал, и по всем правилам переговорил с будущим тестем. Уильям был уклончив и любезен: ему не слишком пришелся по душе этот человек — высокий, тонкий, рыжеватый, с очень скверными зубами,— но он ничего не сказал, лишь отметил, что Мейсон с исключительной грацией и свободой держится в седле.

Все два дня, что Грег у них гостил, он беспрерывно катался верхом с Абигейл. Уильям наблюдал, как они проносятся мимо,—спокойное, уверенное изящество, подчеркнутое неумелой напряженностью спутницы.

И Уильям вспомнил еще кое-что. Девочкой Абигейл не любила лошадей; сколько раз он предлагал ей пони, она всегда отказывалась. Только прошлым летом ей захотелось ездить верхом. Значит, это оттуда же, откуда стихи вслух... Он тут вовсе ни при чем. Он даже начинал сомневаться, дал ли дочери вообще что-нибудь, кроме плоти и крови.

Уильям повез ее в Атланту покупать приданое, шить подвенечное платье. Абигейл пробыла там месяц. А Уильям на другой же день вернулся домой, несмотря на протестующие вопли сестры.

Этого одного дня с него было довольно. Города он не узнал. Какие-то отдельные приметы были смутно знакомы, но искажены новым обрамлением. Даже дом сестры — перекрашенный, перестроенный — стал иным, как и его хозяйка, постаревшая, обрюзгшая. В холле играли незнакомые дети — ее первые внучата. А зять, Хауленд Кемпбелл, с которым он не виделся десять лет! Уильяма передернуло. И всегда-то был толстяк, а теперь и вовсе оброс подушками мяса. Лицо заплыло жиром, как торт глазурью, еле глаза видны. Шея чудовищная, воротник скрыт под много-

ярусным подбородком. Когда он снимал пиджак, его длинный галстук свисал до половины выпяченного живота: брюки под этим полукружием облепляли его так плотно, что он был похож на куклу, каких на рождество мастерят из яичной скорлупы дети и зовут Шалтай-Болтаями. Уильям встретил лишь подобие человека, который когда-то приходил к ним и ухаживал за его сестрой.

И так все в этом городе. Следы сходства, которые только больше тебя путают. В тот единственный вечер он пошел искать дом, где женился, где жили родители его жены, а по соседству — ее сестра. Старики умерли, сестра переехала во Флориду, но он все-таки пошел. Он не смог найти дом. Не смог найти даже тот квартал. Можно было спросить, но он не спрашивал. Просто шагал по улицам и не узнавал их, искал то, что было когда-то. Целый вечер он все ходил и искал — искал так долго, что даже пропустил ужин.

— Уилли, миленький, ты нас чуть не до смерти напугал, честное слово,— сказала Энни.— Давай-ка в одну минуту сварю тебе яйцо.

— Нет,— сказал он.— Я устал. Пойду, пожалуй, сразу лягу.

— Да как же, Уилли,— начала она, но он попросту не стал слушать. На мягчайшей чужой кровати он крепко уснул, решив таким образом все мучительные вопросы. Выбор сделало его усталое тело. Он спал и видел путаные сны о том, что молодость прошла, об утраченном, о поисках без конца.

Проснулся он поздно. За столом его ждала только сестра.

— Вот, Энни, мы уж и немолоды.— Ему стало стыдно; так глупо прозвучали эти слова при трезвом свете утра.

— Уилли.— Она положила ему на рукав пухлую руку.— Это все свадьба первого из детей. Ошарашит тебя, а родится первый внук — и все станет на место. Вот увидишь.

Он отстранил ее.

— Дело даже не столько в этом. Главное: куда все ушло? Как сквозь пальцы просочилось и исчезло, а я даже не заметил.

— Уилли, родненький,— сказала она,— ложись ты лучше опять в постель, выпей чайку. Я гляжу, ты вымотался вконец.

Он покачал головой.

— У меня куплен билет, да и потом на мельнице дела. Сама знаешь, с этими жерновами никому не справиться, кроме меня.

— Уилли, ты себя в гроб вгоняешь.

Он поцеловал ее на прощанье, вдохнул ее старушечий запах, ужаснулся и почувствовал, как по спине под рубашкой прошел холодок. Он погладил по голове ее внучат, взял свой чемоданчик.

Где-то под ложечкой легонько тянуло вниз, словно присасывало к земле. Октябрьский день выдался очень жаркий, рубашка на Уильяме взмокла от пота, а ему все было как-то зябко. В поезде он раза два глотнул из фляги — она всегда была при нем, но это не слишком помогло. Он глотнул еще, и тогда его слегка отпустило.

Это чувство, что тебя клонит к земле,— оно напугало его. Он снова выпил и откинул голову на спинку скамьи, ощущая, как горячий воздух из окошка, словно струя теплой воды, обтекает тело.

Когда Абигейл вернулась в Мэдисон-Сити, с ней вместе приехала Энни, и главный холл загромоздили дорожные сундуки и картонки.

— Уилли, в доме бедлам,— решительно заявила Энни.

Он пожал плечами.

— Распоряжайся, наводи порядок.

— Тебе известно, что в мамину комнату под балдахин забралась летучая мышь?

— Кто-нибудь не закрыл окно,— сказал Уильям.

— Черные девушки, Уилли, небрежны до безобразия. За ними нужен глаз да глаз.

Он только снова пожал плечами.

— Жмешься, точно какой-нибудь итальяшка,— резко сказала она.— А где люди будут спать? В спальнях творится нечто невообразимое.

— Какие люди?

— Ну, папочка, что ты в самом деле,— сказала Абигейл.— Гости, которые приедут на свадьбу.

Тогда он сдался.

— А, делайте как знаете,— сказал он.

И они взялись за дело. Вдвоем. Энни и Абигейл. Вот черт, думал Уильям, эти тоже похожи друг на друга...

Они наняли шесть горничных, вынули все серебро и вычистили на заднем крыльце — резкий запах нашатырного спирта разнесся по всему дому. Они перемыли и осторожно протерли до блеска всю стеклянную посуду, выскребли полки всех горок и буфетов, стараясь вывести застарелый запах фруктового пирога. Они вымыли стены и натерли вручную полы, ползая по всем комнатам, как большие жуки, и вращая перед собой суконки. Открыли все присгройки и флигели, которые годами стояли под замком. Позвали маляров и наскоро покрасили стены, каждую — одним слоем краски из-за недостатка времени. Все простыни и покрывала перестирали и выкипятили на заднем дворе, в громадном баке на жаровне с углями, а потом расстелили на траве, чтобы бурые лежалые пятна выбелила роса. Выстирали и накрахмалили занавески. Все места на солнцепеке были заставлены деревянными рамами, утыканными рядами крохотных гвоздиков, и к каждой был приставлен кто-нибудь из детей — отгонять птиц. Когда занавески наконец высохли, они были такие жесткие, что стояли сами по себе, и на каждой красовались в уголках капли бурой крови от острых гвоздиков. Абигейл показала их Уильяму.

— Тетя Энни говорит: на занавесках должны быть следы крови, иначе они давно не стираны.

— Твоя тетя,— сказал Уильям,— ужас как много знает.

Он был раздражен. Никогда он не мог с ней ужиться — с самого детства, когда они росли вместе. То ли это в голосе у нее что-то — во всяком случае, она действует ему на нервы...

— Я не привык к женщинам в доме,— говорил он.— А когда целых две переворачивают все вверх дном, самое время уносить ноги.

В конце концов он отдал дом в их распоряжение и перебрался на мельницу, поставленную его дедом на ручье Уилкокс. Когда-то в прежние времена, задолго до того как родился Уильям, там жил мельник, холостяк шотландец, которого сперва подрядили ее строить. Он странствовал по всему Югу, ставил мельницы то на одном ручье, то на другом. Случилось так, что первые старческие недуги подступили к нему, как раз когда он работал у Хаулендов. Тогда бродячий плотник сделался мельником и стал доживать свой век на последней мельнице, построенной его руками. Он соорудил себе тут же две комнатушки; они сохранились до сих пор — грязные, запущенные и вот уже пятьдесят лет нежилые: теперь в них держали всякую утварь. Уильям Хауленд притащил из дома складную койку, принес под мышкой пару одеял и водворился здесь.

Ему нравилось прохладное журчание воды и непрестанная возня мелких зверюшек, прибегавших по ночам грызть рассыпанное зерно. Он смотрел на кукурузные побеги, проросшие под мельницей,— вторая плата, как сказал бы его отец, пошлина за помол: ростки из просыпанных зерен.

Почти весь урожай был смолот, но время от времени подвозили еще. И тогда Уильям самолично шел на мельницу, открывал шлюзы и пускал воду. Он смотрел, как она бежит по желобу, лепеча, точно живая, и падает на лопасти кипарисового колеса. Потом заходил внутрь, включал привод, запускал лущилку и огромные гранитные жернова, и пол начинал грохотать и содрогаться от их движения. Он всегда стоял и пристально следил за ними, потому что стоило жернову хоть чуточку сместиться, как он мог треснуть и выйти из строя.

Водяные мельницы устарели; их и оставалось-то немного. «А мне нравится,— думал Уильям.— Я эту, пожалуй, сохраню».

Через неделю-другую обмолот был завершен — теперь уже окончательно; на мельнице чисто подмели, укрепили на зиму кровлю. Уильям проверил, что как сделано. Развесили табак в маленькой сушильне. Убрали сорго, выжали сок из стеблей, сварили патоку и свезли в бутылях на погреб под большим домом. На желудях и черной патоке нагуливали жир свиньи, дожидаясь убоя.

Негритянский мальчуган, случайный прохожий, занес по пути записку от Энни. Там была только одна строчка: «Можешь возвращаться.— P. S. Ребенку дай пятак».

Уильям покинул свою грязную тихую комнатенку — по ночам в ней становилось холодновато — и вернулся в большой дом.

Он был поражен переменой. Веранды заново покрасили — и большую, парадную, и кухонное крыльцо, и все прочие балкончики и террасы, навешанные на дом за много поколений. Во все окна вставили сетки от комаров — у самого Уильяма до этого никак не доходили руки,— и они поблескивали на солнце медью. В доме разило краской и мыльным порошком. От непривычных испарений у него защипало в глазах.

Из кухонного коридора прибежала озабоченная Энни.

— А, ты явился, Уилли. Я только что сменила у тебя насос.

Ее полную фигуру обтягивал широченный белый передник, голова была повязана марлевой чалмой.

— Очень ты смахиваешь на колбасу... Какой насос?

— Колодезный. И заказала новый большой водонапорный бак. Он уже в Мэдисон-Сити, дожидается, когда ты пришлешь забрать.

— Воды много понадобилось, папочка.— Абигейл, в длинном шелестящем шелковом пеньюаре, плавно скользнула с лестницы и нежно поцеловала отца.— Тетя Энни здесь сотворила чудеса, правда?

Энни взглянула на брата и фыркнула.

— Гляди, Уильям, у вруна язык отсохнет.

— Нет, правда, очень красиво,— настаивала Абигейл.

— Оливер, если не хочешь опоздать к поезду, собирайся,— повелительно сказала Энни.

Оливер Брендон был немолод, приземист, коренаст. За большую круглую голову, очень прямо посаженную на толстой шее, его прозвали Голован. Двадцать пять лет он проработал у Уильяма Хауленда подручным. В сущности, он управлял хаулендовским имением, хоть и не звался управляющим, потому что был негр. Сегодня он был при черном галстуке, в белой рубашке и черных штанах, в ярко начищенных ботинках. Курчавые редкие волосы его были напомажены бриллиантином, приглажены, разделены на пробор.

— Ты что это вырядился? — спросил Уильям. Он повернулся к Энни.— И к какому такому поезду?

— Уильям, их всего два в день, и до свадьбы Оливер будет ездить к каждому встречать.

— Господи, зачем?

— Слушай, Уилли, посуди сам,— сказала она.— К тебе едет тьма гостей: уже пора.— Она вытерла уголком передника потное лицо.— Даже если кто-нибудь известит о приезде телеграммой, Руфус Мэттьюс все равно умудрится либо потерять ее, либо что-нибудь перепутать.

Ничего не поделаешь, она была права.

— Так или иначе, мне не улыбается, чтобы ко всякому, кто ни сойдет с поезда в Мэдисон-Сити, подходил мой человек. Вы, мол, случаем, не на свадьбу к мисс Абигейл Хауленд?

Энни метнула на него уничтожающий взгляд.

— Неужели столько народу будет сходить, что он может обознаться?

Уильям махнул рукой и пошел налить себе виски. Чужие запахи в доме больше не беспокоили его: кажется, он уже начинал привыкать. В холле он остановился у стола, разглядывая огромную вазу для цветов, тускло отливавшую на свету серебром. Потрогал пальцем узор из листьев и гроздьев винограда, пущенный по верхнему краю.

— А это откуда взялось?

Абигейл восторженно рассмеялась.

— С чердака... Ручаюсь, ты даже не знал, что у нас там ящик с серебром.

Уильям покачал головой.

— Не знал...

— Я его иногда рассматривала и говорила себе: даю слово, все это будет у меня на свадьбе.

— Ты лазила на чердак? — Это строго-настрого запрещалось: там хранился крысиный яд.

— Ну что ты, папа,— сказала Абигейл.— Я ведь уже не маленькая. И могу не бояться рассказывать, что я делала.

— Да,— сказал Уильям.— Наверно.

— А ваза такая прелестная. Судя по монограмме, она, должно быть, принадлежала бабушке Лежандр.

— Про это я ничего не говорю,— сказал Уильям.— Я только хотел заметить, как много, оказывается, существует такого, о чем я не имел представления, хотя и жил тут.

— Ох, па-апочка,— сказала Абигейл.

Стали съезжаться родственники. Уильям глядел, как они заполняют дом — двоюродные братья и сестры, троюродные бабки, свойственники и свойственницы. Люди, с которыми он не виделся тридцать лет, старики, корявые и хлипкие от старости. Их степенные дети. Их внуки — юркая мелюзга кишела вокруг, путалась под ногами: то наступишь, то прищемишь дверью, а то сами исцарапаются в ежевике или залезут в неведомые доселе дебри ядовитого сумаха и ходят все в пятнах.

Один раз он увидел, как по двору тянутся гуськом негритянские ребятишки — мал мала меньше; старшему лет девять, и каждый — с огромной охапкой сассапарели.

— Это еще что за чертовщина?

— Надо,— невозмутимо сказала Энни.— На гирлянды.

— Я зашла в школу,— сказала Абигейл,— и объявила всем, что за охапку зелени ты платишь по десять центов.

Уильям заплатил. Кое-кто из детей так исцарапался в колючих кустах сассапарели и ежевики, что он дал им вдвое больше. Пока они сваливали свою ношу на тенистой веранде и бегали за водой и поливали зелень из ведер, Уильям разглядел в ворохе сассапарели жгучие ветки ядовитого сумаха.

Он ничего не сказал, только в голове шевельнулась праздная мысль: интересно, боится ли ожогов сестра. По-видимому, нет: она развешивала гирлянды собственноручно, без перчаток, и никаких разговоров про это не было.

В день свадьбы Уильям поехал к утреннему поезду встречать Грегори Мейсона. У Мейсона был усталый вид — Уильям это сразу заметил. Худое лицо было изможденным, долговязая сухая фигура в холодных зимних лучах казалась неестественно вытянутой, ломкой.

Уильям пожал ему руку, вновь поражаясь тому, что такого человека выбрала себе в мужья его дочь.

— Утомительная была дорога?

— Пожалуй, да.

С поезда валом валили люди, кружили по маленькой платформе, сбиваясь в тесное стадо.

— Уилл,— кричали ему,— вот и мы!

Уильям увидел, что это его родичи из Джексона. Странно. Он думал, что они приехали еще вчера. Хотя нет, те, у него в доме,— родня из Монтгомери. Совсем другая ветвь. Он двинулся по платформе навстречу гостям, думая о том, как глупо, что он их перепутал. Впрочем, различные ответвления его рода и всегда-то представлялись ему очень схожими.

Он начал здороваться, и вдруг у него мелькнула занятная мысль. Белые часто говорят, что все негры на одно лицо, а вот для него как раз негры-то разные...

Он спрятал смешок под радушной, любезной улыбкой и пошел по кругу, исправно тряся руки одним, целуя в щечку других. Потом отправился с Грегори Мейсоном в гостиницу «Вашингтон».

— Вам предстоит прощальный холостяцкий завтрак,— без предисловий сообщил он жениху.— Абигейл не говорила?

— Как будто нет.

— Побоялась, значит... Будут все мужчины, какие приехали на свадьбу — и сват, и брат, и десятая вода не киселе. Да вы сами увидите.

— Так принято, я полагаю,— сказал Грегори Мейсон.

— У нас — да. А гостиница — вот она,— показал Уильям, и в этот миг на обнесенную решеткой веранду вышел человек и помахал им рукой.

— Это Гарри Армстронг. Поскольку у вас тут никого нет родных, шафером будет он.

— Ваш родственник?

Уильяму почудилась насмешка — но нет: Мейсон был серьезен.

— Двоюродный брат. Гарри большой дока по части выпивки — ну да это, я думаю, вы тоже увидите сами.

Позже, днем, Уильям Хауленд сидел один в банкетном зале гостиницы «Вашингтон». Он сидел, облокотясь на длинный, заставленный рюмками стол, подперев кулаком голову, а вокруг кренились, каруселью крутились стены. Сидел и смотрел, как, направляемый черной рукой Оливера, пошатываясь, бредет из зала Грегори Мейсон.

— Поосторожней с ним! — крикнул он Оливеру. И прибавил тише, не обращаясь ни к кому: — А пить этот молодчик умеет. Кто бы мог подумать?

Уильям Хауленд убрал кулак и осторожно, медленно повернул голову. И убедился, что он не один. Почти невидимый за частоколом бутылок и графинов, положив голову на стол, прикорнул Гарри Армстронг.

— Эй, бедолага, просыпайся,— громко сказал Уильям.

Гарри Армстронг не шелохнулся, не издал ни звука.

— Вот бедолага,— повторил Уильям, оглядывая комнату.

Гости разбрелись: легионы слуг под командой Оливера развели их по постелям. Всех, кроме одного,— Уильям заметил его наконец. В дальнем углу комнаты кто-то спал на полу. Лицом к стене, накрытый серым одеялом, под головой подушка.

«Ай да Оливер,— подумал Уильям,— ай да его ребята».

Уильям осторожно встал, стараясь, чтобы пол не уплыл из-под ног. Медленно подошел к Гарри Армстронгу, тряхнул за плечо.

— Все ушли,— сказал он.

— Кто? — Гарри Армстронг оттолкнулся обеими руками от стола, с трудом приподнялся.

— Кто тут был.

Армстронг поглядел на часы.

— Ни черта не разберу.— Он протер глаза и скосился, вглядываясь.— Третий час. Пойду лягу.

— Гарри, кто это там на полу?

Гарри Армстронг взглянул на спящего.

— Лица не видно.

Вернулся Оливер. Белая куртка на нем была измята, в пятнах. Выдрана пуговица, обвис карман. По лбу, по шее с густо напомаженных волос растекся бриллиантин. Оливер пытался стереть его голубым, внушительных размеров носовым платком, но тщетно.

— Жениха уложил? — спросил Уильям.

Оливер кивнул.

— Вроде бы всех проводили.

Гарри Армстронг хохотнул и показал пальцем.

— Этого забыл, Оливер.

Оливер поглядел на свернувшуюся калачиком фигуру с ловко подоткнутой под голову подушкой.

— Хотите, чтобы я его увел?

Гарри Армстронг неуверенно поднялся на ноги.

— Взгляни-ка, кто это.

Оливер подошел, заглянул в лицо.

— Мистер Бэннистер.

Уильям сказал:

— Ему и так хорошо, не трогай. А я пошел купаться.

Гарри Армстронг на мгновение задумался.

— И я с тобой.

Тогда Оливер надел поверх белой куртки пальто и пошел следом за ними на другой конец улицы. Он смотрел, как они сбросили одежду и скользнули в ледяную воду реки Провиденс. Потом поднял воротник, отыскал подходящий пенек, сел и стал терпеливо ждать. Вокруг него, пересмеиваясь, собралась стайка черных мальчишек.

Вечером, чистые, выбритые, с ломотой в каждом суставе, мужчины — всем скопом, человек тридцать, если не больше,— поехали к Хаулендам на свадьбу.

Во время обряда в переполненной гостиной, пока методистский священник Джон Хейл со всевозможной торжественностью произносил привычные слова, взгляд Уильяма остановился на связке зелени, висевшей прямо над портретом его деда. Он мог бы поклясться, что видит в плотной массе перевитой листвы своеобразные очертания ядовитого сумаха.

Потом, когда жених с невестой уехали, Энни сказала:

— Дивное было венчание, я такого ни у кого не видала.

А он отозвался:

— Ты ядовитого сумаха не боишься?

— Боже праведный, Уилли... ну, нет.

— Я заметил несколько веток среди прочей зелени.

Она взглянула на него с усмешкой — такой он не видел у нее с самого детства. Да еще и подмигнула ему — чуть-чуть дрогнула веком.

— Зеленый, и ладно,— сказала она.— А зелени не хватало.

В тот вечер Энни хлебнула лишнего, хихикала, как молоденькая, подсела к роялю, играла, пела «Хуаниту», «Палисандровый спинет», «Кэтлин», «В траурной рамке письмо», покуда не заснула, уронив голову на клавиши. А так как особа она была грузная, никто не решился отнести ее наверх (к тому времени слуги перепились под стать гостям), и ее уложили спать на диване в столовой. А еще позже, когда взошла луна, большинство мужчин двинулось на охоту, спотыкаясь, горланя песни,— по полям, через заборы; за ними на нетвердых ногах поспевали негры с бутылями виски, впереди буро-белыми вспышками мелькали собаки.

Уильям, как того требует вежливость, проводил их, но вскоре повернул назад, вышел прямиком на дорогу и зашагал домой. Ему вспомнились свадьбы, на которых он гулял в молодости — здесь, среди этих самых лесов и холмов близ Атланты. Все они мало чем отличались от этой. Пьяные голоса мужчин и ныне звучали, как прежде. И тот же знакомый лай собак, и ночной ветер не стал иным, и все та же земля под ногами.

Мало-помалу, день за днем, гости разъезжались. К концу второй недели не осталось никого, кроме Энни. Ее муж уехал на другой же день после венчания — его ждали дела в конторе — и забрал с собой детей. Энни задержалась: надо было закрыть нежилые комнаты.

Уильяма она и спрашивать не стала. Взяла шесть горничных, нанятых к свадьбе (повариха Рамона была стара и с причудами, ее решили не трогать), и провозилась с ними целую неделю. Они закрыли и заперли ставни, сняли занавески и уложили в сундуки, скатали ковры и пересыпали их нафталиновыми шариками, чтобы не заводились мыши; накрыли матрацы листами плотной оберточной бумаги. Дымоходы заткнули газетами, чтобы не налетали стрижи и ласточки. Одну за другой заперли двери — двери комнат, двери пристроек. Пока наконец не было убрано все.

В последний вечер Энни сказала:

— А ты знаешь, что в доме одних спален двадцать две штуки, если считать с тремя верхними в дедушкином крыле?

— Нет, я не знал,— сказал Уильям.

— Всю жизнь здесь прожили, а как-то ни разу в голову не пришло сосчитать спальни.

— Забавно,— сказал Уильям.

— На мою свадьбу все-все пооткрывали,— сказала Энни, вспоминая.— Наверно, этим занималась мама. Я-то сама, помнится, пальцем не шевельнула.

Чтобы доставить ей удовольствие, Уильям сказал:

— У тебя знатная была свадьба.

Она широко улыбнулась.

— Все думала спросить у отца, во сколько она обошлась, да как-то не получилось... Но уж повеселились на славу.

...Под восторженный визг женщин мужчины выбили выстрелами все стекла в церкви; они въезжали верхом на лошадях в аптеку, в гостиницу, в здание вокзала. Дело было в июле, на железнодорожных платформах горами лежали арбузы, дожидаясь погрузки. Тысячи арбузов. А наутро вся главная улица была покрыта скользким месивом от мякоти и косточек раздавленных арбузов...

Она, посмеиваясь, вспоминала.

Уильям потрепал ее по плечу, довольный, что сумел сделать ей приятное. «Она — ничего себе,— думал он.— Не ее вина, если толста, стара, скучновата... Как и я,— подумал он,— совсем как я».

— Теперь эти комнаты, верно, откроют не скоро. Разве что когда у Абигейл детки начнут справлять свадьбы.

— Вероятно,— коротко сказал он.

Она плутовато покосилась на него.

— Уилли, а ты ревнуешь.

— Ты старая дурища, Энни,— сказал Уильям.

Она сидела и скалила зубы, как будто не слышала его, и в конце концов ему просто захотелось стукнуть ее чем-нибудь тяжелым по голове. Он уж совсем было собрался, но тут она встала, налила ему виски, подала; налила и себе.

Сидя на старых стульях, в старинном доме, вычищенном и выскобленном до неестественного блеска, опустевшем после отъезда людей, которым он служил кровом, они выпили друг за друга.

— За твою удачу! — сказал сестре Уильям Хауленд.

— За твое будущее, Уилли! — И снова, кажется, подмигнула.

— Энни,— сказал он,— езжай-ка ты домой.

— Утречком, Уилли.

Утром она уехала. А он остался один; только Рамона гремела на кухне кастрюлями или, ворча себе под нос, шаркала по комнатам, смахивая с краев мебели пыль метелкой из перьев. В доме было так же пусто, как когда Абигейл уезжала в колледж,— ни больше, ни меньше. Но казалось куда пустынней. Однажды утром, к концу первой недели, Уильям обнаружил, что разговаривает сам с собой. Он только что проснулся. Лежал на огромной кровати под балдахином, неподвижно глядя на рдеющий прямоугольник затененного окна, и вдруг сказал вслух:

— А ветер восточный.

И вскочил как ужаленный при звуке собственного голоса. Виновато оглянулся: и давно это я так?..

Он оделся и вышел на кухонное крыльцо, где его каждое утро ждал тазик с горячей водой. Побрился перед зеркальцем, висящим на столбе, стирая о перила пену с опасной бритвы. Потом придет Рамона и выплеснет тазик на перила, так что пена смоется — отчасти. Но все равно за многие годы на этом месте образовалось жирное темное пятно.

В тот день он решил пойти осмотреть скот. По обыкновению появилось несколько случаев копытной гнили — скотина требовала ухода; но Уильям терпеть не мог это занятие, ненавидел скрежет и вонь. Появились и накожные болячки — уж не вывелся ли овод в нынешнем году раньше обычного, вскользь подумалось ему. По закону полагалось бы позже, весной, как и мясной мухе. Надо сходить посмотреть, да бензола не забыть взять с собой и дегтя.

Так он думал, когда выходил из дому. Только почему-то повернул не в ту сторону, и получилось, что он шагает по дороге в город. Потому что он вспомнил про Питера Уошберна и новый ялик. И про игру, в которую задумал сыграть на болотах Медвяного острова.

■

Одеяло он положил на нос ялика, аккуратно, в самое сухое место, на сложенный дождевик. Припасы — поверх одеяла. Надо будет по дороге разжиться чем-нибудь съестным, иначе не пришлось бы основательно поголодать. Он взял с собой лишь толстый кусок свиной грудинки, солидную краюху кукурузного хлеба и мелких зеленоватых яблок из собственного сада. Страшная кислятина, но хорошо освежают рот и счищают с зу-

бов остатки свиного сала. Запасся еще небольшой флягой воды и кульком ячменных леденцов, найденных в кухонном буфете. Раньше он их там не видел, значит, остались от кого-нибудь из детей, приезжавших на свадьбу.

Он положил рядом с собой дробовик и оттолкнулся от берега. Час или около того греб на веслах по течению неторопливого ручейка, чуть сгорбившись над веслами, сберегая силы на то время, когда надо будет пересекать речку Провиденс. Он чувствовал, как по мере приближения к ней уплотняется вода вокруг весел. Вытащил их — заметив краем глаза, как падают с лопастей на дно лодки грязные капли,— и достал шест. Здесь, набирая скорость от течения взбухшей за зиму реки, ручей побежал быстрее. Через узкий просвет в хитросплетении кустов и деревьев ялик легче будет провести с шестом.

То место, где впадает ручей, с реки не было видно, так плотно сплелись подступившие к самой воде ивы, буки, эвкалипты, ежевика, кусты бузины. Со стороны ручья обнаружить его было проще. Путь указывало течение. Уильям перекинул шест через борт, с удовольствием отметив, что выбрал шест удачно: легкий, гладкий и сбалансирован хорошо, даже с поперечным сучком на конце. Такая поперечина полагается каждому шесту: не дает ему слишком глубоко уйти в рыхлое дно. Он гнал ялик по бурливой взбаламученной воде, обходя коряги, упавшие стволы и густые, спутанные плети лиан. Он не спешил, орудуя шестом с осторожностью, чтобы не задеть, не тряхнуть нависшую листву. А то, чего доброго, свалится прямо на макушку щитомордник.

Он вышел на реку, и ялик сразу круто развернуло на быстрине. Уильям дернул за конец шеста, но поперечина не пустила и он чуть не потерял равновесие. Он с трудом вытянул шест, ругая себя за неосторожность. Давненько не переправлялся он через реку, если успел забыть все ухватки и едва не окунулся из-за своей неповоротливости.

Он снова сел на весла и перебрался на ту сторону, ища глазами устье протоки, ведущей в глубь болота. Он не бывал тут с детства, а берега так изменились от паводков, что не узнать. Уильям вспомнил, что когда-то ему служил приметой одинокий кипарис в группе болотных дубков. Надо найти.

Оказывается, это гораздо ниже по течению, чем ему представлялось. Он был уже готов отчаяться, как вдруг увидел. Кипарис высох — много лет назад,— но ствол его все еще торчал коричневым столбом над вершинами дубов. Уильям повернул ялик носом против течения и стал мерно грести вперед, чтобы лодка стояла неподвижно, пока он оглядится. Он увидел вход в протоку, завел в него нос ялика и неловко задел разлапистую, низко нависшую ветку. Темная тень упала поперек носа лодки, соскользнула в воду. Уильям с облегчением чертыхнулся и, работая веслом, как гребком, выбрался из деревьев на свободную воду.

Он не любил змей, хотя мальчишкой за ними охотился: схватишь за хвост и хлестнешь, как кнутом, чтобы единым махом вышибить мозги. Кожу продавал отцу по четвертаку за штуку, но потом дозналась мать и потребовала, чтобы за ядовитых вознаграждение не выдавалось. Тогда он вообще их перестал ловить...

Он греб недолго, вскоре опять взялся за шест. Эти протоки часто бывают очень глубокими — он проверил, не достал до дна и принялся работать шестом, как галерным веслом. Вперед, назад, монотонно раскачиваясь, он потихоньку плыл и плыл.

Часам к девяти он уже порядочно углубился в болота. Протока виляла и вилась между затопленными кипарисовыми стволами, меж купами лиственных деревьев и пальм, шелестевших под легким ветерком. Течения здесь не было; для устойчивости он пристроился бортом к узлова-

тому колену на корневище кипариса, съел половину грудинки и кусок хлеба. Потом пил теплую, нагретую солнцем воду, следил глазами за птицами: рисовые стрепатки, пересмешники, два-три пеликана, цапли — белые, большие, голубые...

Мерно двигался шест по маслянистой, мутной воде. Впереди, вдали — если поднять глаза — тусклая жижа сверкала отраженным блеском неба и казалась хрустально чистой. Аллигаторы, повылезавшие на солнце, тяжело плюхались в воду с илистых берегов и исчезали. Втягивали головы черепахи, которые грелись на плавучих корягах. Проплывая мимо лесистого островка, Уильям заметил высокое камедное дерево с расколотым стволом. Не иначе как медвежья работа; должно быть, дерево с ульем в дупле.

Ближе к вечеру он вынул компас: небо затянули облака; никаких примет пути — лишь извилистые, петляющие протоки. Однажды, еще в детстве, он заблудился и просидел здесь двое суток под пухлым одеялом облаков, в тумане, спутавшем ему все направления. Пришлось сидеть и ждать, пока уйдут тучи. На вторую ночь он забылся тревожным сном, а проснулся, глядя прямо в чистое, усыпанное звездами небо. Еще затемно он выбрался из болот и с тех пор никогда не бывал здесь без компаса...

Он свернул с протоки и начал пробираться сквозь кипарисы. Здесь было мельче, шест доставал до дна, и лодка пошла быстрей. Уильям взялся было отмечать дорогу — уже занес мачете, чтобы сделать первую зарубку,— и остановился. Если он и вправду найдет винокурню, нет смысла оставлять торную тропу до самого порога.

Ствол к стволу росли обвешанные мхом кипарисы. Вода у корневищ тускло-бурая, непроглядная — болотная. Один раз, остановившись отдохнуть, он выудил плавучую палку, поскреб дно. На поверхность ниточкой побежали пузыри.

Да, она таковская, здешняя водица. Столько гниет на дне останков животных и растений, столько образуется газа, что нередко пузыри поднимаются сами собой.

А еще, вспоминал Уильям, здесь бегают по воде болотные огоньки, голубые и мерцающие, играют в прятки среди деревьев. Должно быть, воспламеняется все тот же газ...

Кипарисовая топь сменилась широкой полосой болотного тростника, осоки, стрелолиста. Уильям миновал ее, держа на разбросанные по той стороне высокие островки дубов и орешника. Там и заночевал — в лодке, на чистой песчаной отмели у подножия самой большой купы деревьев. Комары донимали не слишком, но спал он все же беспокойно. Отвык от болотных голосов. Громкий ноющий писк мошкары, уханье совы, шелест летучих мышей. Раз он даже подскочил и схватился за дробовик: где-то взревел крупный аллигатор. Уильям чутко прислушался еще раз — добрые полмили; в тишине показалось, что ближе. И зная это, тем не менее всю ночь просыпался при каждом рыке. А поутру, еще до рассвета, первыми, кого он услышал, были опять-таки аллигаторы. Резкий лязг — почти как выстрел — сомкнувшихся гигантских челюстей: завтракают.

Уильям открыл кулек с ячменными леденцами, размякшими, ноздреватыми,— все равно съел. Осушил фляжку и швырнул на дно ялика. Если всерьез одолеет жажда, всегда можно напиться болотной воды. Кой-кого от нее тошнит, даже рвет, но ему — ничего. Противный привкус, а так— вода как вода; сойдет, если нужно.

К полудню второго дня он вышел к тому озеру, которое открыл еще мальчишкой. Озеро посреди стоячей трясины, в бахроме кустарников и лиственных деревьев, в рамке песчаных пляжей. Питается, вероятно, от

подводных ключей, а дно — известняковая чаша. В здешних местах попадаются такие уголки.

Уильям зачерпнул ладонью воды, попробовал: вода была прохладная, свежая. Он перегнулся через борт, сполоснул лицо, попытался разглядеть дно. Искрящийся блеск солнца на поверхности слепил глаза, он глядел в воду, непроницаемую, как зеркало. Когда он был здесь первый раз, он наскоро искупался в этой слепой пучине, увертываясь от черепах, норовящих цапнуть его за ногу...

Сейчас их как будто здесь нет. Он вгляделся пристальней. Вывелись или просто скрыты сверкающей поверхностью воды? Искупаться-то он не рискнет — слишком стар, да и день холодноват.

Он сидел совсем тихо и глядел, как плывут по воде какие-то коротенькие белые перышки, а снизу их тщетно хватает ртом мелкая рыбешка.

Болота всегда усыпляли его, одурманивали. Движения стали замедленными, хотелось сидеть вот так и глядеть, как буйно кипит вокруг жизнь болотных обитателей... Но ведь он явился сюда что-то искать. Пари держал с Кэлвином Робертсоном. Ну, не то чтобы пари, положим... Что за физиономия была у Гарри Армстронга — Уильям фыркнул, вспоминая. Стоит, жонглирует своей клеткой с цыплятами и потеет, как запаленная кляча... Не очень-то ему, кстати, везет в жизни: отец разорился, а теперь вот у супруги какая-то женская хворь...

На дальнем конце озера вышла из зеленых дебрей черная пантера, лениво подошла к воде. С наветренной стороны, и до нее добрая четверть мили, прикинул Уильям; то-то зверь его и не почуял. Он продолжал сидеть не шевелясь, едва дыша. Нынче не так уж часто встретишь настоящую пантеру. Сколько раз за них назначались премии, вот почти всех и перебили. И по ночам нигде не услышишь больше их воплей — разве что на болотах.

Уильям следил, как мягко ступает по узкому песчаному берегу поджарое темное существо. Казалось, пантера была чем-то встревожена. Она макала передние лапы в воду, пытаясь что-то достать, потом раздумала и направилась обратно под укрытие деревьев.

Уильям стряхнул с себя сонную одурь, вставил весла в уключины и стал грести по пустынному притихшему озеру под непомерно громкий в тишине плеск весел.

Он приближался с оглядкой: известны случаи, когда пантеры нападают на людей, особенно если невдалеке их приплод. Но ничто не колыхнулось в листве—ни единого дуновения ветерка в полуденном зное,— и он подобрался вплотную к берегу. И сразу увидел, в чем дело. В мелкой воде валялась тушка зверька. Уильям поддел ее веслом — тотчас брызнули врассыпную десятки маленьких водяных пожирателей падали. Выдра, и притом освежеванная. Неудивительно, что пантера вела себя так странно. Ее манило кровавое мясо, а человеческий запах гнал прочь...

Уильям подтолкнул ободранную красно-серую тушку на глубину. Пускай обглодает рыба. Он втайне улыбнулся. Робертсоны не могли приготовить лучшей приметы. Неосмотрительны стали. А вот ему повезло. Тушка упала на мелководье, а пантера показала, куда именно.

Он начал размышлять. Для винокурни требуется высокое место, и свежая вода, и развесистые кроны, чтобы спрятать малейший дымок от костров.

Хм, где же это может быть? На севере, откуда он двигался, не найти такого укрытия. Эти лесистые островки, все до единого,— крохотные комочки ракушечника. Там места не хватит. К западу все больше трава да заросли кипарисов, не сыщешь сухой пяди. Если податься дальше на юг, там слишком близко жилье у Селезневых мостков и Тихой пади. Стало

быть, Робертсоны повернули отсюда на восток. Больше некуда. Но на востоке — просторы большие.

— Ладно, еще чуть-чуть,— вслух сказал себе Уильям.— Положимся на удачу.

Это была чистейшая удача. Не успел он пройти несколько миль, как поднялся ветерок и принес — яснее ясного — запах сусла. Уильяму он словно проложил столбовую дорогу и повел вперед, все усиливаясь по мере того, как лодка забиралась в глубь болотных зарослей. Впереди за двадцать шагов ничего нельзя было разглядеть сквозь лабиринт кипарисовых стволов и путаницу ползучих растений. Он и острова-то не видел, пока тот не очутился перед самым его носом. Только что ничего не было, одни кипарисы, бурая болотная вода да суетня и плескотня мелких тварей, которых он вспугнул мимоходом. А через минуту у него перед глазами возник крутой, поросший пальметто склон лесистого ракушечного острова.

Удерживая ялик на месте, он крикнул:

— Эй, есть тут кто-нибудь?

Болото вокруг разом пробудилось к жизни. Галдя на все голоса, поднялись в воздух перепуганные белые цапли, скворцы, малиновки. Большущая черная шумливая птица, которую в народе зовут боговой птахой, и та взмыла ввысь с верхушки островерхого кипариса.

— Эгей! — Еще раз крикнул он.— Это я, Уилл Хауленд! — Он подождал; в ответ — ни звука; тогда он повторил: — Уилл Хауленд!

Опять подождал. Кому охота, чтобы тебя подстрелили, приняв за чужака.

— Эй, Робертсоны! Тут вы, нет?

Он вытащил лодку на узкую ракушечную косу, хранящую отпечатки множества других лодочных килей. Запах сусла был всепроникающ, но обнаружить самую винокурню оказалось не так-то просто, до того она была искусно спрятана. Когда Уильям все-таки отыскал ее, он был разочарован: перегонный куб оказался не такой уж большой. Столько виски, сколько продают Робертсоны, отсюда никак не получишь. Возможно, правда, у них такие мелкие винокурни расставлены по разным островкам. Недаром говорится: чем меньше куб, тем слаще виски. К тому же, он усмехнулся, если и потеряешь одну, все равно не прогоришь...

А сработана славно — со знанием дела, чисто, не то что все эти самоделки, понатыканные по сосновым буграм. На одну медь, поди, Робертсонам пришлось изрядно раскошелиться... Уильям восхищенно обследовал устройство: ни к чему не придерешься. Фильтрами были дубовые кадки с древесным углем. Виски честь-честью выдерживалось в дубовых бочонках. Вон они ровнехонько поставлены в ряд, и добрая половина, кажется, с содержимым. Уильям заметил, что змеевики охлаждает струйка воды из узкой трубы. Он пошел вдоль трубы на середину острова. Небольшой родничок. Хитро, подумал Уильям, поставили аппарат чуть ниже, и вода течет сама собой. Похрустывая рыхлым ракушечником, он зашагал назад и по пути заметил две аккуратные поленницы дров. Спилено не здесь. Уильям одобрительно хмыкнул. На этом островке нарочно ничего не трогали, чтобы не привлекать внимания. Видно, доставляют топливо по воде, издалека. Он поднял одно поленце: сосна — и отменная, сухая. Основательно поставлено дело у этих Робертсонов.

Кто-то здесь хозяйничал на винокурне, причем недавно. Может быть, заметили его приближение и улизнули. А может, обходят по очереди одну винокурню за другой.

В ящике под пальмовым навесом стояла дюжина полных бутылок. Уильям достал их оттуда и выстроил на земле зигзагом, чтобы сразу бро-

силось в глаза. Потом вынул из кострища обгоревшую головешку и старательно написал на плоской доске: У. Хауленд. Получилось не очень-то разборчиво, но ничего, сойдет. В конце концов, они же его ждали.

Теперь он уже сильно устал, да и проголодался. Он пошарил по стоянке; обнаружились две находки: банка бобов — он ее вскрыл ножом и тут же съел. И четыре выдровые шкурки, тщательно растянутые на раме из прутьев и веток. Одна была свежая.

Он усмехнулся. Предприимчивые Робертсоны не только тайно гонят виски, но попутно понемножку промышляют браконьерством.

А ему пора поворачивать назад; он и так задержался дольше, чем рассчитывал. И сил ушло больше. Не молодой уже, хмуро посетовал он большому дубу, вот и сказывается напряжение.

Он набрал полную флягу воды, а еще, в маленькую пустую бутылочку, налил виски. Не обеднеют Робертсоны...

Уильям устало забрался в ялик, взял шест — сразу заломило спину и бока. Оттолкнулся от островка, сверился с компасом. И решил двинуть прямо на запад. Так будет короче. Выйдет на край болота где-нибудь возле Новой церкви, а оттуда — либо кто-нибудь найдется, подвезет, а нет, так можно и пешком дойти домой.

Он не переставая работал шестом, держа на запад, и заходящее солнце било ему прямо в глаза. Он надвинул кепку на самый нос и щурился из всех сил, но от нестерпимого блеска все равно разболелась голова. Уильям остановился, хлебнул виски. Милю за милей он пробирался сквозь заросли лохматых от мха кипарисов — с плеском шарахались из-под носа лодки аллигаторы, и щитомордники плыли бок о бок, не сводя с него блестящего и осмысленного взгляда. Он норовил ударить их шестом. Время от времени попадал, но шест был тяжелый, и вскоре Уильям отказался от этих лишний усилий. На закате он пересек травянистую топь, подгребая шестом по довольно широкой протоке. Солнце садилось все ниже, и из гущи трав — осоки, вешенки, утиной травы — тучами поднималась мошкара, застилая небо. Уильям почувствовал, как у него начинает зудеть все тело. Не только открытые места: руки, лицо, шея — горело все сплошь; крохотные насекомые забирались под одежду. Он бросил шест, схватил весла и стал лихорадочно грести вперед, пытаясь обогнать тучу. Ничего не выходило: то ли туча была такая огромная, что накрыла целиком все болото, то ли она двигалась вровень с ним. Он перестал стараться и вогнал ялик носом в илистый берег. Поспешно сорвал с себя одежду, гримасничая от боли, когда острые иглы сильней впились в голое тело. Начал полными пригоршнями хватать черную грязь и размазывать по всему телу, по голове, как можно более толстым слоем. Нос, рот и уши обвязал носовым платком. Когда грязь подсохла, снова оделся, так, чтобы все болталось свободно, не нарушая защитной спекшейся корки.

Потом опять взялся за шест. Болотная грязь воняла гнилью, стоячей водой, трухлявыми корнями, но от мошек она помогала. Уильям отпил еще немного виски, чтобы легче переносить зловоние.

Смешно представить себе, на кого он, верно, сейчас похож. Здоровенный, грузный, лысый, весь обмазан грязью, как индеец, и на чумазом лице — запавшие синие глаза.

Он миновал открытую топь, потом озерко. Это, скорей всего, питается от серных ключей: над почти недвижной поверхностью его навис тяжкий запах. С последним отсветом заката за спиной Уильяма, круглая, тяжеловесная, взошла полная луна. Все длинней, как резиновые, вытягивались впереди по воде тень человека и тень лодки. Где-то вдалеке вышли рыскать при луне дикие кошки. Раза два хрипло мяукнула пантера,

а потом он узнал скрипучий крик рыси. Водяные птицы устроились на ночлег, и на них стали охотиться аллигаторы: до Уильяма доносился громкий лязг гигантских челюстей.

За озером, следуя по компасу, он вновь углубился в болота. Под укрытием высоких деревьев яркий лунный свет сменился неясным свечением, рассеялся без остатка, пробиваясь сквозь путаные космы мха. Уильям мерно двигал шестом, проверяя направление, ухитряясь обходить стороной те места, где кипарисовые стволы, падая, громоздились друг на друга и узловатые корни торчали так густо, что лодке было не пройти. То и дело, потревоженные им, сверху падали древесные лягушки и мягко шлепались в воду. Он доел до последней крошки свою краюху, закусил грудинкой. У нее появился странный привкус: испортилась на солнце.

Появились мириады комаров, хоть их и не видно было в мутном свете луны. Они яростно звенели ему в уши, он чувствовал, как они задевают его по лицу и рукам. А кусались не очень, из-за ссохшейся грязи очевидно, а может быть, им не приспел еще срок пить кровь.

Нестерпимо клонило ко сну, но останавливаться здесь не хотелось. Слишком много змей притаилось в ветвях, хоть одна да свалится, если только не развести костер. Он вспомнил, что в старину у людей, которым случалось попадать на болота, всегда имелась в носу ялика или долбленого челнока маленькая жаровня. Огонь — защита, и, когда бы ни понадобился, он был под рукой. Ему же нельзя останавливаться, пока не попадется лесистый островок.

В конце концов островок подвернулся. С помощью мачете Уильям расчистил небольшое пространство среди карликовых пальм и плотно посадил на берег киль ялика. Ноги, затекшие, онемевшие за долгие часы, что он сидел в лодке, подламывались и дрожали, пока он собирал валежник. Уильям пнул сухой ствол пальмы и вспугнул гремучую змею. Он почувствовал, как скользнуло из-под ноги гибкое тело, услышал торопливое раздраженное шуршание гремушек, но в темноте ничего не увидел, пока змея не прыгнула. На нем были высокие охотничьи сапоги, и ядовитые зубы бессильно царапнули по грубой коже. Он убил змею несколькими быстрыми ударами, отшвырнул в сторону дергающееся туловище. Когда набрал дров и разжег их, то увидел мазок молочно-белого яда на голенище и стер его листом. Развел большой дымный костер и улегся в ялике. Спать — не уснешь, но хоть подремлешь до зари.

На другой день после полудня за глянцевыми, исполосованными ветром болотными травами он увидел ряд деревьев,— явно не островок, а что-то побольше. Он стал нетерпеливо грести шестом. Задолго до того, как лодка поравнялась с краем травяной трясины, он почувствовал, что ее потянуло вперед течением. Значит, между болотом и деревьями есть быстрая речка, а это может быть только восточный рукав реки Провиденс. Он выбрался из болот...

Уильям устал. Он пустил ялик на волю медлительного течения и не мигая глядел в густую, как сироп, маслянистую бурую воду, давая глазам отдохнуть от слепящего предвечернего солнца. Вспомнилось, как называла эти узкие болотные протоки его бабка-француженка: traînasse. Годами он не думал о ней, этой молчаливой женщине, худой и горбоносой. По-английски она до конца жизни изъяснялась принужденно, высокопарно, так и не освоилась с ним по-настоящему. Впрочем, своих детей и внуков она не пыталась учить французскому и не желала съездить во Францию, хотя денег на такое путешествие имела предостаточно. Казалось, ей было просто все равно, что она здесь чужая. Все равно, что живет, неловко примостясь где-то на краешке своего мира, как птица на насесте...

Потом он опять забыл про нее, соображая, как бы вывести ялик на реку и благополучно пройти на другую сторону, не наскочив на поленья-топляки и песчаные осередки и, главное,— избежав водоворотов. Этот участок реки, всегда стремительный, глубоководный, изобилует такими вихрящимися воронками. За две секунды они способны разнести лодку в щепки и засосать в глубину. И это еще не все. Приходится следить в оба и за тем, что все-таки попадает в воронки... Уильям помедлил на краю болота, внимательно озираясь по сторонам. Нашел всего один водоворот, чуть выше того места, где стоял. И как будто небольшой. Потом заметил топляк, уже старый, очень низко сидевший в илистой воде. Уильям крепко вонзил шест в дно, удерживая лодку на месте. Топляк шел прямо на воронку. Вот его вовлекло в неторопливое внешнее кольцо, плавно повело по кругу. Чем ближе к центру, тем больше скорость; быстрей, быстрей — и наконец он скрылся в воронке, медленно, неслышно, как в немом кино. Опираясь на шест, Уильям перевел взгляд ниже по реке и стал ждать. Топляк вынырнул неподалеку от водоворота, выскочил на поверхность концом вверх. Вылез торчком фута на два из воды, прошел так футов десять и опять бултыхнулся в воду.

Уильям взял весла и быстро переправился на ту сторону. Жилья поблизости что-то не было видно, и он решил вытащить ялик на берег и бросить здесь. Он достал мачете и по обе стороны носа сделал по планширу ряд зарубок-галочек. Легче будет опознать лодку, когда он потом за ней пришлет.

Он посмотрел на пустую бутылку на дне ялика — бутылку из-под виски с той винокурни. Куда какая скромная награда за трое суток, за пот и мозоли, за проклятущих комаров и мошкару. Дурацкая затея, если вдуматься. Казалось бы, могло хватить ума сообразить...

Он поспорил, и не отступился, и вышел победителем. И все равно затея идиотская. «Вот что получается, когда ты Хауленд,— подумал он,— все бы им чудить...»

Уильям поднял пустую бутылку и швырнул в реку.

Он не слишком точно представлял себе, где находится,— где-нибудь неподалеку от Новой церкви, определил он. Стало быть, и всего-то дела— махнуть прямиком через холмы, пока не выйдешь на зады собственной усадьбы. Он сложил одеяло, перекинул через плечо. Сверху положил дробовик, подтянул съехавшие штаны и настроился на долгую дорогу. Через несколько часов, сделав два крутых подъема, он обнаружил, что начинает смеркаться и что он очень устал. В лодке приходилось лишь дремать, да и то урывками, неспокойно. Уильям подыскал в рощице ежовой сосны уютное место с толстым настилом хвои, завернулся в одеяло и уснул.

Едва забрезжила заря, он проснулся. Закинув руки за голову, лежал, дожидаясь, пока рассветет по-настоящему, и слушал птиц, насекомых, нервный шорох сосновых иголок. Чу — издалека с набежавшим ветром донеслось журчание воды. Уильям встал, потянулся; из-за гребня холма, закрывавшего горизонт, выплыло солнце и ударило ему в глаза. Очень хотелось пить; несмотря на терпкие яблоки, во рту остался противный вкус, язык был как ватный. Он снова прислушался, где журчит вода, поймал ее звук, определил направление, пока все не потонуло в птичьем щебете.

Он приладил дробовик поверх сложенного одеяла и зашагал на звук воды, крепко потирая ладонью щетину — она легонько похрустывала в тишине свежего утра. Прошел негритянское кладбище, где на деревьях болтались синие бутылки с песком и тыквы — в них свили гнезда ласточки; сглаженные временем холмики были украшены осколками чашек, стаканов, блюдец — только стекляшки, и все лиловатые от многих лет на солнце. Он прошел мимо еле заметных остатков фундамента: когда-то

здесь стояла церковь; обгоревшие на пожаре кости дочиста обглоданы лесными мусорщиками. Журчание, звонко и чисто, доносилось с другой стороны.

Уильям ускорил шаги и вышел к воде. Он увидел, что поперек ручья, шагов на сто выше церкви, сложена купель. Прямо в нее сбегал естественный маленький водопад — набожные люди обложили дно кирпичом и запрудили ручей, чтобы получилась чаша для их обрядов. На дне, Уильям знал это, непременно должен быть водоотвод, но этой купелью (как и сгоревшей церковкой, которой она принадлежала) давно никто не пользовался, и сток засорился. Теперь вода переливалась через край.

Уильям решил подняться выше. Там будет чище — неизвестно еще, какая дрянь собралась и разлагается здесь на дне. Он увидел что-то вроде тропинки, еле намеченной, но все же различимой. Она бежала самым легким и нехитрым путем, послушно следуя изгибам почвы, широким полукругом отклоняясь от ручья. Уильям двинулся по ней. Когда решил, что отошел достаточно, повернул напрямик к берегу. Теперь он был намного выше купели. Он пил, свесив голову в холодную воду, пока не прогнал вчерашнюю натугу и усталость. Он мыл лицо, мыл шею, руки, пока не смыл все следы болотной грязи. Он окунал голову в ручей, словно утка, чтобы влага сбегала по шее, держал ее так подолгу, ощущая мягкий ток воды, мягкий вкус профильтрованной листьями воды. Потом, присев на корточки, вытер лицо руками и расчесал пальцами волосы.

Отдыхая, взглянул вниз по течению, на купель. Отсюда она была хорошо видна — без всяких затей, просто чашеобразное расширение естественного русла, обложенное кирпичом. Вода непрозрачная, сизая из-за палой листвы; кругом навалены кучи хвороста, бурелом. Его взгляд скользил по ручью к краю купели, потом — по сухощавым очертаниям ив, по виргинским магнолиям и падубам с красными ягодами, по усыпанным желтыми плодами кустам сириллы. Он дважды обвел глазами круглый прудик и лишь тогда увидел женщину. Так сливалась она цветом с землей.

Она стояла на коленях возле ручья, над самой купелью, и стирала белье. Платье на ней было коричневое, черные волосы, черная кожа. Только по ярко-желтому пятну, вспыхнувшему на материи у нее в руке, различил ее глаз Уильяма.

Она не слышала его. Она все так же приподнималась, нагибалась, выжимала белье, складывая его рядом на чистом камне.

Внезапный шум драчунов-пересмешников заглушил плеск стирки. На миг Уильям засомневался, настоящая ли она или, беззвучная, она — порождение утреннего тумана, который клубится в деревьях у нее за спиной.

Он глядел, и рассказы, слышанные невесть когда, приходили ему на память. Рассказы про Альберту, великаншу-негритянку, которая живет в горах со своим мужем Стенли Альбертом Томпсоном, пьет виски целыми днями и слушает, как отбивают время его массивные золотые часы. Делать ей совсем нечего, только белье ему постирать. Увидишь иногда, как к берегу ручья прибило пену, и женщины скажут: «Это здесь Альберта устраивала постирушку».

Статная женщина, Альберта, рослая, в движениях вольна и свободна, точно родилась с белой кожей. Большей частью они со Стенли Альбертом Томпсоном разгуливают по пикам Смоки-маунтенз, но изредка спускаются к югу. Изредка. В хрусткие, искристые зимние дни им становится слишком холодно в горах, и они ненадолго переходят на юг, смеясь и попивая виски. А по окрестным местам, по лесам их слышат люди — слышат, как они хохочут, как бьют их часы. И уж обязательно кто-нибудь да набредет на место, где ночевала эта пара, где сосновые иглы рас-

киданы и примяты от их неистовой любви. А реденькие клочья дыма на холмах — это от их костров, значит, они что-то варили вечером. Порою же, от скуки или от нечего делать, они начинают кидаться камнями — на многие мили разносится грохот камнепадов,— и Альберта швыряет камни не хуже любого мужчины. Когда же им эта забава надоедает, они уходят, а все склоны после них разворочены и искорежены летевшими камнями. Да, да, Альберта со Стенли Альбертом Томпсоном непременно оставляют после себя следы, а люди на другой день или через неделю читают по ним, как по книге.

Негритянка на берегу ручья встала, и Уильям увидел, что она тоже высокая, очень высокая. Движения у нее были молодые — большая, а гибкая. Руки в боки, она расправила затекшую спину. Подняла и опустила плечи, провела ладонями по ягодицам. Запрокинула голову, разгладила щеки, веки.

Ни звука; только птичий гвалт и суета и драки — пух и перья летят; журчание ручья, шелест трепещущей листвы. Уильям никак не мог стряхнуть с себя наваждение этих сказок про Альберту, шагая к этой женщине вдоль ручья. Так и ждал, что вот-вот послышится бой часов.

Она глядела в другую сторону, поверх засыпанной листьями купели, на деревья, они сбегали вниз по косогору, так что за их зеленью совсем не видна была сгоревшая церковь и кладбище. На кучку скрученного белья у ее ног налетали и садились осы; горбясь, копошились на растопыренных лапках, пока не припадали к лакомому местечку, высасывая из ткани влагу.

Она не слышала его шагов. При своем росте и немалом весе он сохранил умение охотника двигаться бесшумно даже по неровной земле. Наконец, шагах в пяти от нее, он умышленно наступил сапогом на ветку, чтобы хрустнула.

Она обернулась. Не вздрогнула при этом, не встрепенулась, как он ожидал. Обернулась не спеша, с любопытством. Большие карие глаза рассматривали его — без испуга, только с изумлением.

Не красавица — Уильям определил это с первого взгляда. Лицо слишком черное и длинновато. И потом, она из фриджеков. Скулы высокие: видна индейская кровь.

— Я иду издалека,— заговорил он.

Она не отозвалась. На черном, индейской лепки лице было терпеливое ожидание.

— Шел-шел, думаю, уж не заблудился ли. Это что за место?

— Новая церковь,— сказала она.

Голос ни низкий, ни высокий. Ни тихий, ни резкий. Когда она умолкала, невольно закрадывалось сомнение: да слышал ли ты что-нибудь вообще? Как будто с последним ее словом пространство вокруг нее опять плотно смыкалось, стирая всякий след, оставшийся в воздухе после нее.

— Значит, не так уж я был далеко,— сказал он.— Этот приток называется как-нибудь?

— Нет,— ответила она.

Она не сказала: «Нет, сэр». Другая негритянка сказала бы. Уильям полюбопытствовал:

— Сама здешняя?

Первый раз она повела головой, как делают негры,— точно желая стушеваться.

— Оттуда.

— Чья же?

— С фермы Абнера Кармайкла.

Он покачал головой.

— Сколько же народу в округе — я даже не слыхал такого имени.

— У которого плавучий дом.

На это Уильям кивнул.

— А-а, слышал, рассказывали.

Старик жил в пойме реки, а свой дом построил наподобие судна. Каждую весну, когда на реку Провиденс набегали гребни паводка и все ручьи вокруг выходили из берегов, участок, где стоял его дом, затопляло. И поэтому каждый год он со своей семьей (многочисленной и не такой уж своей: тут были братья и сестры, родные, двоюродные — всякого намешано) уходил и располагался жить под открытым небом где-нибудь на высоком месте, пока не спадет вода. Дом старик выстроил прочный, выносливый, как корабль, на фундаменте из камней и ила, который подтачивали и смывали вешние воды, и дом оставался на плаву, полусухой даже во время половодья. Хозяин и на якорь его поставил, тоже как корабль. Дом был небольшой, и Абнер обвязал его толстыми канатами, которые самолично привез из Мобила (он как-то работал там на пристани, чтобы сколотить немного деньжонок). Обвил дом канатами — прямо по стенам, точно хотел связать их вместе — и сквозь них пропустил другие канаты; они свободно лежали на земле, привязанные концами к деревьям по обе стороны дома. Когда схлынет паводок, дом будет стоять на месте. Абнер Кармайкл с мужчинами построит новый фундамент и поднимет на него дом. Женщины вымоют помещение внутри, вынесут грязь и утонувших животных, застигнутых здесь разливом. И снова на десять месяцев готово жилье.

— О нем слыхал,— сказал Уильям.— Дочка его?

— Внучка.

Он улыбнулся тому, что она так быстро его поправила.

— Ну конечно. Для дочки ты выглядишь слишком молодо.

— Мне восемнадцать лет.

Он только еще раз улыбнулся и кивнул. Она прибавила:

— Меня зовут Маргарет.

Вот так это и началось. Так он нашел Маргарет — за стиркой, у безымянного ручья. Она прожила с ним до конца его жизни, все тридцать лет.

Живя с ним, она жила со всеми нами, со всеми Хаулендами, и ее жизнь переплелась с нашей. У нее было черное лицо, у нас — белые, но все равно мы были связаны воедино. Ее жизнь и его. И наша.

Маргарет

Сначала не было ничего — только холод и шумные, полные шелеста и шорохов ночи. Это было самое первое, что она запомнила.

Потом она помнила очертания досок на полу и крышки столов с нижней стороны, грязные и в подтеках. Еще помнила, как на нее наступали, спотыкались, прищемляли полозьями кресел-качалок. Запомнила даже тяжесть полных штанишек — мать называла их подгузниками,— обвисших позади.

Странно все-таки: такое она сумела запомнить, а лицо матери — нет. Лишь неясный черный облик и имя. Маргарет просто удивлялась иной раз, как это она могла так начисто забыть лицо. Подумать только, руки — те запомнила: вот они держат на плите ржавую сальную ручку железной сковороды, вот чистят и потрошат рыбу на заднем крыльце... Даже один день запомнился, когда мать стояла на пороге крыльца, а сзади падал свет. Ее, маленькую Маргарет, посадили в углу крыльца. Перил не было, и ее загородили стульями, положенными набок, а за ними, не-

досягаемый, лежал весь мир — и лес, и болото, и сверкающее небо. Она подняла голову и увидела, что на краю крыльца стоит мать — черная фигурка на фоне яркого, просторного мира. Вот этого она не забыла. Маленькая ладная фигурка, босые ноги из-под платья, доходящего почти до лодыжек.

В конце концов такой и осталась в ее памяти мать — лишь руки да силуэт. Четкая фигура, одинокая, легкая. Отверженная — по своей же воле. Пригретая в своей семье, потому что ей некуда было деваться, но чужая. Жила в этом доме, в маленьком домишке, который во время вешних дождей, точно корабль, поднимался на волнах паводка с болот. Жила здесь — и отсутствовала. Ждала. Целая юность ожидания. Кто бы мог подумать, что в этом легком, тщедушном тельце найдется столько упорства?

Упрямый наклон головы, неизменное покачивание из стороны в сторону: нет. Он вернется. Он так сказал...

Вся молодость — ожидание. И ребенок; сначала грудное дитя, потом девочка, с каждым днем все больше похожая на мать — до того похожая на мать... Ни следа белой крови. Ни единого следа.

Черный младенец с курчавой головкой, с шишковатыми суставами на ручках и ногах... Черная девчушка, такая же, как все другие девочки в Новой церкви... Женщина — высокая, угловатая и черная. Отцовская стать, но ни проблеска отцовского цвета.

Когда ей пошел четвертый год, мать начала мазать ей лицо пахтаньем, мочить волосы и сажать ее на самый солнцепек, чтобы выгорали; посылала к знахарке за амулетом, чтобы как-то вызвать, вывести наружу ее белую кровь...

Когда Маргарет исполнилось восемь лет, мать ушла. И больше о ней не слыхали. Догадывались, что она подалась на юг, в Мобил. Пошла кого-то искать. Свою дочку Маргарет она оставила в доме деда, Абнера Кармайкла, и та росла вместе с другими детьми — только дичком.

Лет до одиннадцати Маргарет не осмеливалась спросить про своего отца. Боялась. Она замечала, что к ней относятся как-то особенно, что делают вид, будто ее тут нет. Но в конце концов все же набралась храбрости, и прабабка ей рассказала все. Пять-шесть фраз, не больше.

Началось это, когда в штате надумали проложить новое шоссе, от столицы до Мексиканского залива. И по всему было видно, что надумали не к добру. В то самое лето, как дорога потянулась через округ Уэйд, урожай хлопка полностью стравил долгоносик: люди ходили голодные, и работа за целый год пошла прахом. Кто говорил, что долгоносик вылез, когда стали выравнивать и рыть грунт, а иначе так и спал бы себе в земле. Другие полагали, что долгоносик тут вообще ни при чем, а нарушено стародавнее забытое заклятье, и это — кара. И правда: когда дорожные бригады пробивали взрывами путь сквозь Маккаренов холм, они разворошили индейский погост, такой старый, что никто про него и не знал. Долго еще с каждым ударом лопат выкатывались на свет божий черепа и посуда, и наконечники от стрел — а куда это годится? Ходили слухи, что покойники-индейцы бродят теперь как неприкаянные и стонут безлунными ночами, не находя себе приюта и кляня людей за то, что согнали их с места и заставили скитаться по сырым сосновым лесам. Ночами никто не выходил на улицу: как знать, чем обернется обрывок тумана, что означает кваканье гигантской лягушки. Скрипнет древесная лягушка — все вздрагивают. Даже лесовики, самогонщики и те поздними вечерами сидели дома — только лишних сосновых дровишек подбросят в очаг, чтобы не так темно было в комнате. Никто не ходил на охоту; собаки в одиночку гонялись за лисицами, за рысью, за кроликами. И по всей округе обнаруживались в домах верные признаки колдовства: то

отметина на столбе крыльца; то бутылка, висящая на дереве; то круг, выложенный из мощных валунов. Люди думать забыли про такое, а тут пришлось вспоминать, как отводить злые чары.

В те дни и родилась Маргарет. Ее отец был геодезистом на строительстве новой дороги. Тем летом он две недели прожил в Новой церкви. Жил с другим белым в палатке и давал указания головным бригадам. Недели через две линия строительства отодвинулась так далеко на юг, что туда стало долго добираться; тогда они сняли палатку, погрузили на свою казенную тележку и ушли дальше. Один сказал девушке-негритянке, что пришлет за нею.

Скорей всего он и не вспомнил об этом. Скорей всего вообще забыл. А она не забыла. Ее мать выходила из себя, и кричала на нее, и бранила дурой, но слова отскакивали от девушки как от стенки горох. И точно так же отскакивали слова мужчин, которые с радостью женились бы на ней,— мужчин, которых она знала всю жизнь, прекрасных людей из своей же общины. Она была маленькая, хорошенькая; ее взяли бы и с ребенком, рожденным в ту страшную пору, когда среди холмов блуждали духи индейцев.

Она предпочла ждать. А когда устала ждать, ушла. Одна.

Вот что рассказала Маргарет старая старуха. Рассказала коротко, будничными словами. Когда договорила до конца, вздохнула, шумно выдохнула, так что едва не выпал из-под губы комочек жевательного табака, повернулась и пошла. Дела не ждут; лето в разгаре, а помидоры требуют ухода. Никудышная та хозяйка, которая не вырастит столько помидоров, чтобы заставить на зиму банками все полки в кладовой.

Маргарет проводила ее глазами — смотрела, как шлепают по пыли пустого двора желтые ороговелые пятки. Потом и сама пошла. Не слишком хорошо соображая, что делает,— просто тронулась с места и пошла. Села в ялик, легонький, тот, что обыкновенно брали младшие мальчишки; переправилась с шестом через речку, углубилась в болота. Она налегала на шест со всего плеча так, что лодка пулей летела по мелководью, увертываясь от кипарисов,— только рыбы шарахались прочь с дороги, а над головой, возмущенные ее вторжением, взмывали птицы. Она пересекла широкую протоку, подгребая шестом в стоячей, свинцовой, покрытой глазурью пены воде. Наконец совсем запыхалась и остановилась, уперев ялик носом в торчащий гнилой корень кипариса. Вытащила шест, села, покачиваясь всем телом в такт прерывистому дыханию. Вороны вновь опустились на верхушки кипарисов, слетелись назад красно-черные рисовые стрепатки. Над самой водой заскользили, догоняя на лету комаров, стрекозы — мамзели, как зовут их старые люди,— а на них накинулись рыбы-ворчуны, черепахи, лягушки.

Маргарет смотрела на узловатые корневища кипариса, голые и осклизлые, на тихую, недвижную болотную воду. Заглянула в глубину и увидела светлое пятно — верная примета, что там стоят лещи. Потом посмотрела на свое отражение в воде, искаженное, глянцевитое от яркого солнца. Взглянула на свои руки, на кисти — худые, с полосами мышц и сухожилий. Ясно проступают кости — остов, обтянутый кожей.

Черной кожей. Маргарет поглядела, щипнула пальцами, потерла. Черная, и все тут. А кровь ее отца, где же она? Где-то должна быть — ведь эта кровь перешла к ней. Внутри, может быть. Значит, внутри она белая и светловолосая, как он. А что, может быть, отцовская кровь пошла у нее на печень, на сердце, на глаза. Да только какой прок. А возможно, он и кости ей оставил — костяк, обтянутый материнской кожей...

Маргарет смотрела, как по воде медленно проплыл щитомордник, скользнул вверх по свисающей ветке. Их еще зовут конго за то, что они черные.

Она всегда думала, что у нее цельное тело, из одного куска. Теперь она знает, что это не так. Снаружи она черная, а внутри — отцовская кровь.

Она тщательно обдумывала все это. Тело ее словно бы ширилось, росло, раздувалось, как воздушный шар. Она представила себе, до чего далеки друг от друга эти две ее половины, белая и черная. Ей начало казаться, что вот сейчас они разойдутся в стороны и оторвутся друг от друга, а ее оставят ничем не прикрытой, выщелкнут наружу, точно зернышко из шелухи. Она уткнулась головой в колени, отчаянно сопротивляясь раздвоению, пока горячие слезы не потекли по лицу, пропитав соленой влагой подол замызганного розового платьица. Она туго обхватила себя руками, чтобы не расколоться, а под пальцами тряслись, вздрагивали ребра.

На шею ей упала древесная лягушка. Маргарет почувствовала мягкий шлепок усеянных присосками лапок, но поднять голову не решилась.

На колене у нее был струпик, старый, уже подживший. Маргарет выпростала руку и быстро сковырнула его. Потом снова обняла себя и примостилась головой к колену, так чтобы набухающая кровью ссадина оказалась у самого глаза. Смотрела, как вздувается темно-красная капля и наконец стекает вниз по черной коже. Так вот как она выглядит, кровь белых людей... Она высунула язык и лизнула капельку. Вот она какая на вкус, кровь белых...

Она не отводила взгляда, пока кровь не утратила свой стеклянный блеск и не засохла темными струйками. Потом выпрямилась — бережно, с опаской выпустила из рук свое тело. Половинки как будто держатся.

Маргарет с любопытством огляделась, точно никогда раньше не видела этот кусок болота — и поразилась, что все так знакомо. Вон там, чуть подальше, живут черепахи; одна, маленькая, взобралась на упавший ствол и греется на припеке. Еще дальше, за второй протокой, сквозь густосплетение кипарисов и лиан и мертвого валежника смутно виднеется место, где любят валяться в грязи аллигаторы. Будь она сейчас поближе, наверняка ощутила бы приторный, дурнотный запах, свойственный таким местам.

Она вспоминала. Все как будто на своих местах. Только она не та. Хотя и это неправда: она такая же, как всегда, просто она не знала.

Маргарет сидела, глядя на грубо оструганный, весь в заусеницах нос ялика. Он и не собирался возвращаться, ее отец. Конечно нет. Дурочка ее мама. Потому-то в семье с ней и обращались, как обращаются с тронутыми: пожмут плечами, отвернутся, постучат пальцем по лбу...

Взять, например, их родственницу Франсин. Прожила замужем десять лет, потом муж уехал в Новый Орлеан работать в порту. Год его не было, и вестей никаких; она взяла и вышла за другого, а мужа больше не ждала. (Тому три года, а его все так и нет.) Возможно, он умер, и никто не догадался ей сообщить. А может быть, нашел себе в Новом Орлеане другую жену — то ли больше понравилась, то ли моложе и без четырех детей.

Хочешь не хочешь, так уж заведено. Матери следовало найти себе кого-нибудь, а прежнее выкинуть из головы. В конце концов, ее ничто не держало. У нее-то в жилах не было чужой крови.

Маргарет перевела взгляд на свою руку, на черную кожу, под которой текла белая кровь.

«Не то, что у меня,— подумала она.— Не то, что у меня. Она-то была вся цельная... Не то, что я».

На дерево, почти над головой, опустилась змеешейка. Маргарет машинально отметила взглядом коричневое горлышко: самка. По стволам упавших деревьев резво шмыгали ящерицы-сцинки, с плеском пробегали

по воде... Маргарет подумала: взяла бы удочку, можно было бы возвратиться с лещами.

Солнце передвинулось на небе. Теперь оно светило ей прямо в глаза. Должно быть, прошло часа два. Пора трогаться назад.

Прабабка управилась с помидорной рассадой и теперь отдыхала в тени на крыльце. Под губой у нее топырилась новая щепоть табаку. Мэттью, малыш лет четырех, с ковшом из тыквы и ведерком, поливал огород. Он шел по грядкам от одного ростка к другому, аккуратно вычерпывая воду, мурлыкая песенку без слов. Когда оба ведерка опустели, он рысцой припустился за коромыслом. Приладил его на плечах, нацепил по ведерку и отправился на реку.

Поливал неизменно самый младший в семье, под присмотром черного ока старухи, мерцавшего в тени крыльца. Весна выдалась на редкость засушливая, растения с короткими корневищами мгновенно увядали. Но в хозяйстве Абнера Кармайкла детей всегда хватало, и было кому заниматься поливкой.

Маргарет вспомнила, как то же самое делала она; вспомнила тяжесть гладкого, захватанного коромысла на своих плечах. Коромысло было старое-престарое, как сам Абнер: он его смастерил, когда был еще мальчиком, добротно сделал, и оно все служило, темное от пота и немытых ручонок, которые поднимали и придерживали его.

Маргарет постояла, дожидаясь, пока малыш Мэттью вынырнет из прибрежного ивняка и акаций. Теперь он двигался куда медленней; справа и слева покачивалось по полному ведерку, худенькие черные ноги подталкивали мальчугана вверх по пологому склону. На краю сада он остановился, согнул колени и вынырнул из-под коромысла, так что ведра целехонькие опустились на землю. Потом, по одному, отнес на грядки, чтобы поливать дальше.

Он вспотел. Маргарет увидела влажный отблеск на черной коже. Она пошла к нему, осторожно ступая между тройными колышками окученных бобов.

— Мэтт.

Мальчишка показал ей язык.

— Очень глупо выглядит розовое на черном лице,— строго сказала Маргарет.— Ты почему без шляпы? Возьми-ка мою.

И нахлобучила шляпу ему на голову. От удивления он даже не сопротивлялся.

Она пошла назад, поднялась по двум ступенькам на крыльцо. Старуха прабабка сказала:

— Свою шляпу ему отдала.

Маргарет взглянула на черное старческое лицо в темном, затянутом паутиной углу.

— Тебя тут не видно совсем.

Прабабка затрясла головой. Сверкнула на свету снизанная из бусин по индейскому обычаю лобная повязка.

— Для чего отдала?

— Он работает,— сказала Маргарет.— А я нет.

— Раньше ты никогда так не делала.

— Да, верно,— согласилась Маргарет.

Старуха закашлялась, склонив голову, плотно прикрыв рот ладонью, чтобы не выпал из-под губы табак. Опять белым и пурпурным вспыхнула повязка.

— Это откуда, а? — спросила Маргарет.— Повязка откуда?

Старуха разогнула спину и стала усаживаться на стуле. Видно было,

как она расправляет и пристраивает на место каждый позвонок в своем тощем теле. Наконец она прислонилась хребтом к прямой деревянной спинке и тихонько, с облегчением вздохнула. От приступа кашля ее босые, с желтыми пятками, ноги разъехались врозь. Теперь она их снова сдвинула и поставила как следует: пятки вместе, носки с желтыми, словно роговыми, ногтями — слегка в стороны.

Маргарет ждала.

— Сама сделала,— сказала старуха.

Ракушек от мидий и разинек они набрали на Мертвяковых отмелях — далеко отсюда, на севере — однажды осенью, когда она была еще девочкой. За зиму ракушки обточили и отполировали; получились бусинки.

— Нынче уж никто так не умеет,— сказала она вслух.

Почти все перезабыли, что им досталось вместе с индейской кровью. Никто больше не делает бус, даже старики. Что есть — берегут, носят, и только. Верно, уж и не помнят, как это делается. А другие, из тех, кто помоложе, не выучились. Старуха вздохнула. И отмелей-то самих больше нет. Мертвяковых отмелей, где река свивается в воронки и раздается вширь, а по берегам растут частые сосны — такие частые, что под сомкнутыми ветвями вечный полумрак и ни травке, ни единой былинке не пробиться сквозь тяжелый настил хвои. По ночам он точно исполинская постель без конца и без края — мягкая, благовонная постель, в которой тепло осенними ненастными ночами.

— Ты ведь в горах ни разу не бывала,— сказала прабабка.— Ни разочка.

— Да.

Летом воздух там прохладный и легкий. Это тебе не пойма, где давит и парит. Деревья — и те другие. У сосен мощней стволы и длинней иголки. Сассафрас толще и изобильней; они всякий раз вырывали там корни и забирали домой — заваривать как чай и от хвори. Гикори кудрявей и выше; даже орех-пекан не в пример плодовитей. Как прохватит до костей первым злым морозцем, они, бывало, никогда не уйдут на юг, чтобы сначала не насбирать с собой орехов гикори, грецких, буковых,— весь лес оберут дочиста.

Теперь так больше не делают. Да и отмелей больше не стало. Построили ниже плотину и затопили все те места, так что узкие песчаные наносы футов на двадцать, а то и глубже, ушли под воду.

Она вздохнула, как вздыхают очень древние старухи — протяжно и надсадно.

— Шляпу свою Мэтту отдала.

— Я пойду в дом,— сказала Маргарет.— Лягу посплю.

Старческие глаза моргнули в ответ — черные старушечьи глазки, поптичьи прикрытые веками.

— Наловлю себе вечером лягушек,— сказала Маргарет.— Наверно, и тебе понравятся, съешь лапку-другую.

Птичьи веки опустились, поднялись.

— Слушай, старая...— начала Маргарет. Но что дальше — она забыла и потеряла интерес, и вместо того, чтобы постоять, постараться вспомнить, что хотела сказать, повернулась и вошла в дом. Она не стала раскатывать свой тюфяк, аккуратно сложенный у стены; влезла на железную кровать, одну из трех, занимавших всю комнату, и почти тут же заснула.

Теперь она никогда уже не ложилась на полу, на тюфяке, как другие дети. В этом не было нужды, потому что она спала не ночью. Теперь, просыпаясь, она уже не видела между круглыми железными ножками трех настоящих кроватей бугристые коконы стеганых одеял, свернувшие-

ся на полу. Днем она с удобством спала на кровати, ночи проводила на воле. Никто ей не препятствовал: никто не замечал.

Только зимой, самыми студеными ночами оставалась она в доме, когда снаружи лил дождь и можно было окоченеть в два счета. Тогда она подсаживалась к кухонной печи и, подкладывая туда мелкие чурки, подолгу глядела на черные чугунные бока, на тронутые красной ржавчиной щели. Другие в эти холодные зимние ночи забирались в одну кровать — все, кому только хватало места; вповалку, друг на друга, костлявым телом в рыхлое уютное тепло. Под матрацы были подстелены газеты, под чехлы — тоже, и стоило кому-нибудь из детей повернуться на другой бок, зашевелиться, как ночная тишина оглашалась бумажным шорохом, потрескиванием, словно от огня.

Еще слышно было дыхание, движение воздуха — вдохи, выдохи. Быстрые и шелестящие, будто белки скачут по крыше. Тяжкие и редкие, словно испускает дух великан. Скрипучие и въедливые, как поворот колеса.

Маргарет чудилось, что комната колышется, гудит, качается от шума. «И как это я раньше спала,— думала она.— Теперь нипочем бы не уснула...»

Она вспомнила, как неудобно было зимой в кровати: то вылезет чей-то локоть, то мешает чья-то рука — жмутся друг к другу, согреваясь, тела.

Она просиживала у печки все зимние ночи, когда на земле коркой плесени намерзал иней и заполненные грязью колеи дороги застывали натвердо, как прочертили их последние колеса. Как только вставало солнце, Маргарет тихонько выбиралась за дверь. Выше по склону, примерно в миле от дома, ей попался дуплистый ствол. Дупло, обращенное к югу, частично прикрывал другой упавший ствол. В этом убежище она разводила крохотный костер, скармливая ему клочки мха и прутики, пока солнце не поднималось выше и не начинало пригревать.

Она любила эти часы, когда, скорчившись, ютилась в дупле. Тепло, и ты одна, и можно сколько хочешь слушать по-зимнему глухие звуки леса. Она всегда дожидалась, пока утихнет мерный стук утренней капели, и тогда переставала кормить свой огонь и глядела, как он потухает. Ни разу в жизни она не затоптала угли — где-то в сокровенном закутке ее памяти жило предостережение: никогда не убивай огонь в своем очаге. Оно пришло исстари, из какого-то давнего поверья, и Маргарет не думала, не рассуждала, не оспаривала — она просто подчинялась. Точно так же она никогда не решилась бы положить шляпу на кровать, а из дому выходила не иначе как в ту же дверь, в какую вошла.

Когда огонь угасал, умирал сам собой, она вставала на ноги, чувствуя, как покалывает и сводит затекшие колени. Отряхивалась, приглаживала волосы. И шла обратно в дом Абнера Кармайкла взглянуть, нет ли чего-нибудь поесть. Чаще всего был кукурузный хлеб со шкварками, сорговый сироп, жидкий и несвежий. Иногда свиная грудинка или холодный бекон. А иногда — ничего. Особенно ближе к весне, когда на полках в кладовой шаром покати, а на дне мучного куля копошатся жучки. Маргарет было все равно — ей не хотелось есть, а вот дети хныкали, когда им не находилось еды до обеда. Маргарет, по правде говоря, была равнодушна к еде. То, чего ей больше всего хотелось, у нее теперь было. Эти утренние часы, эта кровать, комната — все принадлежало ей. Пустая кровать, свалявшийся комками, набитый мхом матрац, лежащий на старомодных веревочных лямках, груда стеганых одеял — линялые, тусклые мазки пестрых лоскутьев. Подушек не было; чуть попахивало керосином — им каждый месяц опрыскивали кровать от насекомых. Запах многих тел, лежавших на голом полосатом тюфяке,— устоявшийся, сладкий

запах застарелого пота, супружеской постели. Маргарет сворачивалась комочком, засыпала как убитая, и сны не тревожили ее.

■

Ближе к концу той первой зимы прабабка занемогла: на привычном стуле в углу крыльца — только на этот раз под нежаркими лучами бледного солнца — ее хватил удар; голова свесилась на грудь, из-под губы выпал и, слабо чавкнув, шлепнулся на голые половицы комочек жевательного табаку. Дочери, внучки перенесли ее в дом и разослали во все концы ребятишек поскорей сказать мужчинам, занятым на работе. Ее внесли в спальню, старую-старую,— сморщенное красновато-коричневое тельце, маленькое, сухонькое, как обертка кукурузного початка; умирающее пядь за пядью. Глаза были открыты, но ничего не видели: когда стемнело и зажгли лампу у изголовья, она не повернула головы, даже не прищурилась от желтого пламени. Ее иссохшая старческая плоская грудь вздымалась и опадала, каждый раз содрогаясь от глубокого скрежещущего хрипа.

Маргарет спала, когда прабабку внесли в комнату и положили на узкую кровать, которая служила ей ложем все последние годы. От звука клокочущего дыхания, и сдавленного шепота, и осторожных торопливых шагов по дощатому полу Маргарет проснулась. Она поспешно выкатилась из-под одеяла и вышла на кухню. Там она забилась в уголок и, сонно нахохлившись, следила за происходящим. Вечерние сумерки все сгущались, и, наконец, яркие и морозные, показались звезды.

Начали собираться первые старухины родичи: дети, внуки; народу на крыльце все прибывало, пока не стали прогибаться доски. Когда там стало чересчур холодно, все набились в кухню, шепотом переговариваясь, передавая из рук в руки большой — на целый галлон — кувшин кукурузного виски. Дом кряхтел и подрагивал от их тяжести.

Немного спустя подъехал проповедник — приземистый и плотный мужчина по имени Роберт Стоукс. Пока он молился в спальне, все утихли, прислушиваясь к обрывкам его бормотания, время от времени подхватывали хором ответствия. Но вот Роберт Стоукс вышел, сел за стол, и приглушенный разговор возобновился. Как проповеднику, ему подали виски с водой в одном из немногих стаканов, какие были в доме. Он ждал вместе с ними, вместе сторожил приход смерти, а пока толковал с мужчинами о рыночных ценах, о скотине. Важно, сонно покачивал круглой черной головой. Он устал не меньше любого из них: он, как они, возделывал землю, а в свободные часы проповедовал, сидел у одра смерти. Он был немолод; на памяти каждого он жил тут всегда: по воскресеньям с утра читал проповеди и во всякое время дня и ночи посещал больных, умирающих. Сорок лет прошло, как они с молодой женой построили себе первый дом. Одно название, что дом — так, сарайчик в высоком сосняке,— но теплый, сухой, а с них и этого было довольно: сойдет, пока не соберутся построить что-нибудь получше. Участок у них был уже облюбован, и камнями помечено, где будет заложен фундамент. Место приятное — небольшой пригорок под двумя старыми пекановыми деревьями и развесистым кизилом, который в марте месяце весь серебрился, как лунный свет. Четыре года миновало, прежде чем у них дошли руки до нового дома, а строить они его стали по старинке, проконопачивая доски мхом, замешанным на иле. Так строили их деды; они принесли с собой этот способ, когда начали расселяться к северу от Мексиканского залива,— беглые рабы, а иногда и голодные вольноотпущенники. Было для него когда-то особое название, только слово это давно забыли.

Так строил свой дом Роберт Стоукс — год за годом, одну комнату за другой.

И с женой ему повезло. Он взял ее худущей девчонкой, сироткой, жившей у дальних родственников нежеланным приемышем. Горшечная родня, зовут таких в народе. Им доставалась львиная доля работы и пустые горшки за столом — вылизывать после всех. Когда они поженились, ей было никак не больше тринадцати, а ему только пятнадцать; правда, он тогда уже вытянулся в полный рост, был такой же плотный и коренастый, как теперь. После замужества его костлявая пигалица принялась расти, пока не вымахала до шести футов. Рожала она только сыновей, и всех их рожала в одиночестве. Ей в голову не приходило позвать к себе кого-нибудь из женщин, когда подходил срок. Может быть, думала, что некого. В первый раз она занималась прополкой в огороде, смотрела, не объел ли помидоры клоп, подвязывала к колышкам бобы, как вдруг струя воды с едким запахом хлынула у нее по икрам и темным пятном растеклась по земле у ее босых ног. Когда стало сводить мускулы живота, она пошла к сарайчику, аккуратно поставила у стены мотыгу. Вошла, расстелила на полу стеганое одеяло и присела на корточки, сотрясаясь от схваток, облегченно отдуваясь в промежутках между ними. Когда вечером ее муж пришел домой — пришел поздно, потому что работал дотемна,— младенец спокойно сосал грудь, окровавленное одеяло было сложено и убрано в угол.

Она и поныне, в свои-то годы, работала в поле наравне с мужем и пятью оставшимися в живых сыновьями. Роберту Стоуксу повезло в жизни, господь был милостив к нему. Так говорил он, сидя за кухонным столом среди родственников умирающей старухи. У него был звучный голос — лучший голос в округе, и слова молитвы о душе, стремящейся покинуть тело старой женщины, перемежались словами благодарности за свою участь.

— А теперь — слушайте,— отрывисто сказал он.

Все замолчали, прислушиваясь. Маргарет не слышала ничего, только свист ветра да топот и стук копыт по мерзлой земле с той стороны, где были привязаны мулы. Проповедник указал на крышу.

— Иисус с ангелами ждет, дабы вознести на небо душу сестры нашей.

Все подняли глаза кверху, к закопченному, с подтеками от дождей, потолку. Маргарет поглядела в окно на зимнее темное холодное небо.

— Слышите взмахи их крыл, чада мои? — сказал проповедник.

— Воистину, господи,— ответил кто-то, и все опять затихли, слушая.

На этот раз из спальни донеслись два долгих приглушенных хрипа умирающей. Люди опустили глаза, откашлялись, задвигались. Кто-то вышел на крыльцо, кто-то сходил налить в кувшин виски.

Толпа зашевелилась, поредела, и проповедник увидел в углу у окна Маргарет — она смотрела на небо, надеясь увидеть, как будут проноситься мимо крылатые ангелы.

— Я тебя не знаю, дитя,— ласково сказал он.— Никогда тебя не видел, но в тебе есть что-то знакомое.

Кто-то нагнулся, зашептал ему на ухо:

— Так ведь это Сарина дочка, та самая.

— Господи помилуй.— Он снова посмотрел на нее.

Маргарет замерла, зная, что он ищет у нее на лице, в фигуре хоть какие-то признаки белой крови. Ее карие огромные глаза в упор глядели в его черные глазки, смышленые и ясные, спрятанные в складках толстого лица. Глядели с вызовом: а ну спроси еще, попробуй заикнись о чем-нибудь. Она затаила дыхание...

Проповедник отвел взгляд. Между ними встали чужие тела, кто-то прошел вперед, заслонив его.

Маргарет перевела дух. В комнате сразу сделалось слишком жар-

ко — так сильно надышали винным перегаром все эти рты... Надо выйти наружу. Работая локтями, она протиснулась к двери.

Ночь стояла очень холодная. Земля сверкала инеем. На нем, как на снегу, отпечатались следы: одни вели к уборной, другие — кругом двора к маленькой конюшне, куда приезжавшие ставили своих мулов. Маргарет поглядела на две цепочки следов, слабо различимые в тусклом свете керосиновой лампы из окна, обдумывая, куда пойти. В дупло — чересчур холодно; и костер не поможет, все равно к утру замерзнешь. На крыльце и то холодище. Простуженное фырканье мула разрешило ее сомнения. Она пошла на конюшню. Внутри было тесно, но Маргарет наткнулась на пустые ясли, залезла туда. Воздух, полный испарений и вони, оказался довольно теплым, несмотря на трещины и дыры в стенах; Маргарет расположилась поудобней и принялась озираться: ее окружали темные влажные глаза, крутые или запавшие бока. Едкий смрад действовал усыпляюще; она задремала с открытыми глазами, заглядевшись на игру теней и света, убаюканная дыханием мулов, их прерывистым сопением.

Она сознавала, что время движется, но не могла выглянуть наружу и определить, насколько переместились звезды. Она ничего не слышала, ничего не замечала, пока из дома не раздался первый крик.

Мулы дрогнули, попятились, заскрипели веревочные недоуздки. Раздался второй крик — длинный, переливчатый вопль по покойнику. Старуха умерла.

Маргарет снова легла. Нет никакой надобности туда ходить. Умерла старая женщина — и только. Умерла, изнуренная сменой долгих лет. Совсем никакой надобности... И тут, в темной пустоте над спиной крупного серого мула двоюродной сестры Зельды, Маргарет внезапно увидела свою прабабку. Увидела явственно, такую, какой она обыкновенно сидела на крыльце — в шали на плечах, с лобной повязкой на голове. Сердито, как всегда, сверкнули птичьи глаза под коричневыми морщинистыми веками. Старуха подняла руку — ту самую, на которой по тыльной стороне тянулся рваный шрам от обрядового надреза,— и поманила к себе.

Маргарет, не моргая, глядела на эту руку, на рисунок шрама, на вздутые вены, точно лозы на стене, на длинные когти, толстые и желтые, словно роговые.

— Ступай в дом,— сказала она Маргарет.

Голос был сильный, громкий, совсем прежний. Должно быть, оттого, что она всего минуты две как умерла и душа еще не успела ее покинуть, отлететь, куда положено лететь душам усопших — далеко на север, в поросшие сосняком горы. Иногда, говорят, теплыми летними ночами люди видят, как они там гуляют, прохлаждаются, словно живые.

— В доме и без меня полно народу,— ответила Маргарет.— Погляди, на кухне не протолкнешься. А еще не приехала семья твоего брата с бухты Чефункта.

Призрак повернул голову, оглянулся через плечо на дом. Мигнули белым и пурпурным светом бусины на повязке.

— Видишь,— сказала Маргарет.— Что я тебе говорила.

Голова мгновенно повернулась назад, цепкие глаза снова впились ей в лицо.

— Ступай в дом, дитя дочери моей дочери,— сказал призрак.— Моя плоть и кровь.

С этими словами старуха опустилась ниже, сливаясь с серым боком мула.

Маргарет продолжала неотрывно глядеть на то место, где только что была старуха, слыша зов крови, чувствуя, как ее тянет из конюшни в дом. Как старухина кровь влечет ее в круг родни, на кухню.

Нехотя она перешла пустой двор, как всегда чисто вымегенный на неделе метлой из прутьев, а теперь заледенелый, потрескивающий под ногами.

— Они мне только наполовину родня,— сказала она в ночную тишину.

— Иди к моим кровным,— настойчиво, хотя уже тише сказал голос прабабки.— Ступай.

Маргарет взглянула в вышину, в ясную звездную ночь.

— Ты там, да? — спросила она.— Наверху?

Она стояла прищурясь и всматривалась в глубь неба, пытаясь разглядеть, как шныряет между звездами, уносится все дальше прабабка.

Маргарет вздохнула, покивала ей вслед головой и исполнила ее волю. Она пошла в дом.

В спальне теперь было шумно и людно — Маргарет заглянула в дверь. Старшие женщины, все как одна, втиснулись в узкие проходы между кроватями и голосили по покойной. Они принесли с собой прямые деревянные стулья, составили как можно плотней и теперь сидели тесными рядами, сложив руки на груди, раскачиваясь взад-вперед всем телом, и причитали. Один вопль был похож на другой как две капли воды,— долгий, гнусавый, он начинался высоко и катился вниз, повторяясь снова и снова. Это был не духовный гимн. Ни мелодии, ни хотя бы ритма. Все голоса вразнобой. Просто колючий оборонительный заслон звуков, чтобы преградить злым духам дорогу к усопшей.

Три женщины помоложе склонились над кроватью: они обмывали и прибирали тело, положили на веки пятидесятицентовые монеты. Эти пели знакомый гимн: «Будут ли звезды в моем венце». Они пели тише и все время сбивались из-за воплей плакальщиц, но снова начинали с того же места и шли дальше.

Маргарет возвратилась на кухню. Кое-кто собирался уходить — чтобы разнести весть по округе,— и прежней невыносимой давки не было. За столом, теперь уже в одиночестве, по-прежнему сидел Роберт Стоукс. Все деревянные стулья плакальщицы унесли в спальню, не тронули только стул проповедника. Другие мужчины сидели на корточках: кое-кто посреди комнаты, кое-кто прислонясь спиной к стене; тихо переговаривались или просто смотрели перед собой. Дети, приткнувшись по углам, крепко спали; то и дело кто-нибудь из них вскрикивал или всхлипывал во сне. Женщины — те, что не несли бдение в спальне,— сгрудились в дальнем углу возле дровяной плиты. Громыхали горшки по чугунной крышке; вместе с клубами пара по комнате разносился вкусный дух тушеной бельчатины.

Они съезжались весь следующий день — старухино потомство, разбросанное на двадцать пять миль по всей округе,— тряслись по ухабам за крупами своих смирных мулов. Полы в доме прогибались и стонали под их тяжестью. Окорока, холодное мясо, птица, навезенные ими с собой, загромоздили всю тенистую северную половину крыльца, где снедь развесили подальше от разбойниц-лис. Старуху обмыли, положили в простой сосновый гроб. У изголовья, воткнутые в синие бутылки, треугольником горели свечи.

«До чего шумно,— думала Маргарет, зажатая в дальнем углу кухни,— ох, до чего шумно».

Ночь она проспала в конюшне, терпеливо пережидая, пока все кончится. Утром стояла на крыльце в лужице солнечного света, холодного, зимнего света, и ждала, пока гроб закроют крышкой, заколотят гвоздями, вынесут и положат на тележку и повезут за пять миль на кладбище.

Прибыл оркестр — пять человек музыкантов. Они играли на танцульке у Мельничного ручья и, видно, порядком устали, но все же на-

спех приложились к кувшину с виски и выстроились позади повозки. Их ноги с хрустом ступали по мерзлой грязи, мулы фыркали и цокали копытами, а они все играли самые скорбные свои марши: «Гирлянды цветов» и «Погребальную песнь Уэстлона». Чисто и грустно пели в утреннем воздухе тромбон и трубы; глухо, медленно отбивали такт барабаны. До самого кладбища все шли пешком по изборожденной колеями дороге. Мужчины накануне нарубили сосновых веток и настелили на самых грязных местах, так что повозка с гробом, музыканты и первые ряды провожающих шли посуху. Но постепенно ветки погружались все глубже, и, когда проходил хвост шествия, на дороге лежала такая же глубокая грязь, как раньше, только теперь из нее торчали прутики и ломаные сосновые палки. Последним приходилось самим выбирать, где пройти: либо перепрыгивать через грязь, либо, скользя и оступаясь на обледенелых камнях, обходить ее по обочине.

Маргарет шла в самом конце с младшими из детей, какие были способны ходить без посторонней помощи. Она подоткнула подол юбки и прыгала через лужи. Болтая, цепляясь за нее, семенили вокруг дети. А барабан все отбивал мерную похоронную дробь.

Кладбище было огорожено лишь частично, одним-единственным рядом колючей проволоки, но скотина сюда никогда не забредала. Ни кустика, ни травинки под огромными соснами. Чистый ровный песок, только мягко сыплются на него сосновые иглы. Давно уже никого не хоронили; размытые дождями могилы мало-помалу превратились в пологие бугорки. Большей частью без надгробий — они сохранились только кое-где; деревянные, грубо выструганные наподобие песочных часов — скоро обрушатся и эти. Два-три были покрыты цементом, залитым в деревянные формы. На цементе под стеклом — цветная фотография покойного. Маргарет запомнилась одна: молодой человек, снятый во весь рост в принужденной позе, одна рука заложена за борт пиджака. Свадебная фотография — на могиле...

«Она вон там, в восточном углу,— подумала Маргарет.— Мне и смотреть не нужно; я знаю: она там. Внизу нацарапано имя и число... А теперь так больше не делают».

Теперь только огородят могилу белыми камешками, в изголовье поставят деревянное надгробие в виде песочных часов, а сверху кладут посмертные приношения...

Без них нет ни одной могилы. Чашки и стаканы, лиловатые от солнца, фарфоровые зверюшки — собачки, кошечки, наседки с цыплятами. И тарелки. Великое множество тарелок. И почти каждая сидит на двухдюймовом стерженьке из песка, смешанного с глиной,— торчит на могиле, как гриб. Это дожди постарались придать песку такую форму, и называются тарелки на тонкой, выточенной дождями ножке смертными чашами. Тронешь одну, и собственной персоной прискачет за тобой старуха смерть на белом коне с длинным хвостом, который бренчит на ветру, потому что сделан из косточек от человечьих мизинцев...

Вокруг разрытой могилы тянулась черная грязная кайма. Чтобы облегчить себе работу и отогреть промерзшую на несколько дюймов землю, могильщики разложили костры. Следили за огнем вполглаза, и он пошел дальше, за колючую проволоку, перекинулся на молодую сосенку. Из-под ног проходящих людей поднимались тучи золы и сажи, повисали в воздухе.

Музыка смолкла — только медленно, глухо бил барабан. Маргарет почувствовала, как у нее по затылку пробегают мурашки. Слышно было кряхтенье мужчин, несущих гроб, скрип веревочных лямок. Но вот барабанный бой оборвался.

Мгновенная тишина; ни единого дуновения в воздухе. Потом — толчея у могилы и снова причитания, на этот раз десяток голосов, а то и больше, пронзительных, таких, что загудели стволы самых больших сосен и высоко над головой закачались скрученные плети лиан. Кто-то спрыгнул в могилу, кто-то принялся вытаскивать его. Теперь и женщины, которые не умели причитать, как старухи, тоже принялись подвывать негромко и размеренно, с каждым выдохом. Проповедник затянул духовный гимн и нагнулся за пригоршней земли. Он высыпал ее в могилу, струйками просеивая сквозь пальцы зернистый песок, наслаждаясь прикосновением земли к своей ладони. Потом отошел в сторону, широко взмахнув рукой. Послышалось шарканье ног: все протискивались вперед, чтобы бросить на сосновые доски пригоршню земли. «Помилуй, Иисусе, помилуй»,— во весь свой зычный голос пел проповедник. Маргарет заметила, что в вышине, в чистом небе, кружат, что-то высматривают, два ворона. Что они думают, интересно знать? О чем они там думают?..

Двое мужчин взяли лопаты, и земля, шурша на лету, стала быстро заполнять могилу. Роберт Стоукс кончил петь и что-то произнес, торопливо и тихо. Маргарет не слушала: его надгробные речи всегда одни и те же. После этого все принялись жать друг другу руки и целоваться в обе щеки. Женщины постарше и музыканты рассаживались в повозке, чтобы ехать домой. Звякнули цепи постромок, мулы тяжело тронулись с места. Когда повозка проезжала мимо, Маргарет обратила внимание, что младшая старухина внучка, Элфеза Гаррис, вся выпачкалась в земле. Значит, прыгала в могилу. Сейчас она сидела, утирая слезы, и с каждым поворотом колес все меньше горя оставалось у нее на лице. Она всегда спрыгивает в могилы, вспоминала Маргарет. И когда муж у нее умер, и сестра, и даже собственный ребенок, калека от рождения, и отец мужа — это для нее как бы непременная часть всяких похорон.

Все двинулись в обратный путь. Скудное зимнее солнце, низко повиснув над горизонтом, клонилось к вечеру. Изрытая, усыпанная камнями дорога пошла в гору, сужаясь к вершине, где на нее наступал темнеющий лес. На этом-то гребне, в густой тени орешника, ликвидамбры и японской хурмы, Маргарет вновь увидела свою прабабку. Та поманила ее к себе, но Маргарет не остановилась. Прабабка поманила опять, и тогда Маргарет сказала:

— Перестань меня тревожить. У тебя есть могила, вот и лежи себе.

Привидение стояло как вкопанное, не сводя с нее глаз. Маргарет прибавила:

— Мы бросали в могилу землю — я тоже бросила пригоршню, и мы засыпали тебя. Теперь оставайся там.

— Плоть и кровь,— жалобно сказал призрак.

— Я свою кровь похоронила с тобой,— бесшабашно объявила Маргарет.— Теперь буду пользоваться только другой половиной.

Привидение не отозвалось, лишь сделалось прозрачней на фоне голых древесных стволов.

— Возвращайся в могилу,— сказала Маргарет.— И больше ко мне не приставай.

Она повернулась, зашагала дальше, а сзади из гущи деревьев на гребне холма ничего больше не слышалось — даже шороха листвы на ветру.

Поминки справляли еще три дня — впрочем, так бывало всегда, если умирал кто-нибудь из древних стариков. Как будто именно после стариков есть что оплакивать, хотя как раз их смерть в порядке вещей. Младенцев и детей быстро опускают в землю, и на том все кончается.

Маргарет это казалось странным. По ребенку горюет мать — разу-

меется; ну и отец тоже. Еще, может быть, брат или сестра, а больше, пожалуй, никто. Удивительно. Ведь им-то и не надо бы умирать.

Маргарет пожимала плечами. Так уж заведено раз навсегда, вот и все...

Она пошла пройтись, побыть вдали от домашней сутолоки, от шумного скопища людей. Повернула прямо на север, вверх по склонам холмов и наконец вышла на ровное место, поросшее только сосняком и орехом-гикори,— ни лиан, ни кустов ежевики.

Вот что еще примечательно, думалось ей. Похороны сводят тебя с людьми, с которыми не видишься по многу лет. Которые только и приезжают на большие похороны... Например, семья тетки Мэри с Оленьего. От них сюда двадцать пять миль пути по скверным дорогам, и все на север, в гору. Но они родня: двоюродная, троюродная и так далее, стало быть, это их долг. Вот и приезжают, и в этот раз приехали. И всегда с ними кто-то новый, не говоря уже про маленьких. Либо кто-нибудь из мужчин, кто уезжал на Север на заработки и вернулся: работы не нашлось или просто не понравилось, как там живут. Либо — целая семья: пожили в Мобиле, сколотили деньжат и вернулись в родные места. Либо чей-нибудь молодой муж или молодая жена — прибавление к семейству.

На этот раз приехало пять человек, которых она раньше не видела в глаза. Во-первых, Джек Тобиас со своей женой Кэт. Они вернулись из Цинциннати к отцу Джека и снова взялись работать на земле; фунт хлопка приносил почти доллар барыша, так что дело было стоящее. (Маргарет их узнала без труда, все Тобиасы походили друг на друга.) Потом Гровер Кент: она помнила, что он мальчиком ушел слоняться по свету, дошел до Порт-Гибсона и там поступил в цирк. Домой он вернулся с грыжей — в ней что-то булькало и надувалось, если снять бандаж; и он снимал, чтобы позабавить детей. Потом еще Роджер Эллис, невысокий худощавый мужчина, который женился на вдовой дочке Элфезы Гаррис. Два года назад он работал в Мемфисе на хлопчатобумажной машине, сломал себе бедро, и оно срослось криво. Это тот, что ходит с банджо. Интересно, играть умеет?..

Она передернула плечами. Становилось холодно; она повернула назад.

Когда Маргарет подошла к дому, на крыльце, в теплом углу, куда добиралось чахлое солнце, сидел Роджер Эллис — в том самом углу, где с прабабкой случился удар. До сих пор сюда никто не решался ступить. Точно огорожено было кругом. А сейчас сидит как ни в чем не бывало этот низенький человечек, седой, с усиками; откинулся к стене вместе со стулом и бренчит на банджо. И напевает тихонько старинный блюз. Названия Маргарет не знала, а может, его и не было; она вспомнила песню по одной повторяющейся строке — ей нравилось печальное и мягкое звучание этих слов: мне в край унылый пора. Она остановилась на краю крыльца у ступенек и стала слушать. По телу пробежала дрожь, и не столько от холода, сколько от грустных переходов мелодии:

Кто хлопок тебе проредит без меня?

Раза два кто-то высунулся из дверей послушать, кто-то поднялся на крыльцо.

Постели мне тюфяк на полу, на полу!
Надолго мне в край унылый пора.

Маргарет снова бросило в дрожь. Она увидела все это своими глазами. Скорбь и плач ушедших поколений; скорбь и плач поколений будущих. Она ощущала все это: толчки крови и биение сердца в струнах банджо; в негромком мягком голосе, поющем над ними:

Не замерзну я там на ветру, на ветру!

Маргарет почувствовала, как она вытягивается, становится все

выше — вот уже дом остался далеко внизу. Она такого большого роста, что может заглянуть в печную трубу и разглядеть ее черное от сажи нутро. Такого роста, что может смотреть на кроны сосен, растущих на самой вершине холма, прикрывающего дом с севера. Такого, что ей видно все речное русло от истоков до устья — видно, как извивается и петляет река меж ив и берез. Можно проводить ее взглядом на юг — видеть сверху даже могучие черные березы и прибрежные дубы,— проводить взглядом до самого Мексиканского залива. Все ее чувства обострились, как и подобает при таком росте. Ей слышно было, как колышется земля у нее под ногами; как размеренно дышит, переходя от одного времени года к другому. Слышно, как движутся звезды, едва не касаясь ее волос.

Ее тело налилось, раздалось вширь. «Никогда меня не положат в деревянный ящик,— думала она,— не опустят в землю. Я ни за что не буду стареть, не увижу, как у меня на руках начнут проступать сквозь кожу вены... А занятно, отчего это у стариков все, что должно происходить внутри, выпячивается на поверхность. Мускулы и сухожилия становятся жесткими, волокнистыми и провисают вместе с кожей. Вены надуваются, так что их видишь там, где раньше ничего не было. На лбу, где когда-то была гладкая кожа, зазубринами, точно лезвие пилы, выпирают мелкие, синие жилки. Другие, похожие на веревки, оплетают ноги и тыльную сторону рук. Пульс бьется в таких местах, где его до сих пор никогда не бывало. Например, на горле. Ты даже не подозреваешь, что он тут есть, а в один прекрасный день вдруг — вот он, весь на виду; качает твою кровь, и любуйся, кто хочет... Со мной такого не случится,— думала Маргарет.— Я никогда не состарюсь и никогда не умру. Этого не может быть...»

Из кухни вышли женщины послушать песню. Они теснили друг друга из дверей, становились ломаной линией поперек крыльца, и все как одна вытирали о передник влажные или жирные руки. На каждой было платье из пестрого ситца, самое нарядное, какое специально берегут на случай похорон или свадеб...

Похороны и свадьбы. Вечно-то они вместе. Почему так получается? Одно означает жизнь, другое смерть — что тут может быть общего? А они всегда как-то рядом... Вот, к примеру, двоюродная сестра Хильда и младший сын Роберта Стоукса. Вчера вечером улизнули тайком на конюшню; Маргарет тогда забилась подальше, притворилась, будто ее нет, будто она ничего не видит и не слышит. Именно там, в полной едких испарений конюшне, она впервые по-настоящему испытала прилив томления и где-то в глубине души пожалела, что не она на месте Хильды. Это был зов, влечение; это было в первый раз... Она ругала себя и всех мужчин и ненавидела свое тело за то, что оно хочет с ней сотворить... У нее все болело от напряжения, от этой борьбы с собой. А наутро она себя чувствовала так, словно много дней подряд мотыжила хлопок...

Маргарет взглянула на Хильду, стоящую среди женщин на крыльце, и даже под двумя длинными мешковатыми кофтами, напяленными одна поверх другой, увидела, какая у нее ловкая стройная фигура. Как она держит перед собой руки — смиренно, почти молитвенно. Какое нежное, нетронутое у нее лицо в резком свете зимнего дня. Только глаза сонные и обведены кругами.

Маргарет перевела взгляд на свое собственное жесткое и угловатое тело. Подходящее для леса, для полей. Неуклюжее, нескладное на кухне. Или с мужчиной. Она отвернулась, сдерживая слезы.

На другой день народ начал разъезжаться; первыми — родня из Оленьего: им было дальше всех ехать. Маргарет стояла на затоптанном, замусоренном дворе и смотрела, как они собираются в дорогу.

Роджер Эллис, который правил одним из двух фургонов — ярко-голубым, с низкорослым молодым мулом в оглоблях,— вдруг взглянул вниз, прямо на нее.

— Здравствуй.

Она не ответила. Мул, отгоняя налетевших слепней, дергал ушами.

— В мамашу пошла,— сказал он.

— Все может быть.

— Эх, и хороша была женщина.

Маргарет почувствовала, что краснеет от удовольствия, и пришла от этого в ярость.

— Никакой у меня мамаши нет,— сказала она.— И вообще все говорят, что я — вылитый отец.

Она повернулась на каблуках и пошла в дом, вызывающе неся свое рослое ширококостное тело.

■

Короткая суровая зима миновала. Зарядили ранние дожди, тихие, мелкие, как туман или дымка; они сеялись водяной пылью на дома, на деревья, на землю — ласковые дожди. Солнце светило урывками, небо застлало ровной светло-серой пеленой, и с каждым часом все сильней прогревалась почва. Фермеры выходили проверять: приложат ладони к земле и смотрят — забирает она тепло или отдает. Только так и определишь. А сами уже заранее знали, что тепло пойдет к ним в ладони. Прямо-таки чувствовалось, как задышала земля. Те, у кого поля лежали по возвышенностям, брались за пахоту — под хлопок, под горох, под кукурузу. Жители поймы дожидались, пока придет половодье и покроет их поля жирным черным илом, нанесенным с севера. Для них ранняя весна была порой отдыха, почти такой же, как зима. Последние крохи привольной жизни вплоть до самого конца лета, до тех быстротечных недель, когда созревает хлопок и когда делать нечего — только сиди и жди.

Маргарет больше не ютилась в своем дуплистом стволе. Теперь можно было бродить где вздумается, везде теплынь и благодать. Приметы весны сменялись у нее на глазах, и она отсчитывала одну за другой: вот зацвели в сыром сосновом бору лесные гвоздики. Вот показались на заливных лугах безымянные алые цветы, а поглубже, в заболоченных местах, подстерегая мух, подняли свои зеленоватые кувшинчики мухоловки. Появилась болотная азалия, белая и розовая. И пламенная азалия, усыпанная, точно рдеющими угольками, крохотными цветочками. И пахучий земляничный куст, с цветами темными и красными, как сосок на женской груди.

Маргарет отсчитывала серенькие теплые дни и ждала. Она видела, как речка, постепенно набухавшая весь этот месяц, выходит из обрывистых низких берегов и понемногу наползает на землю. Наконец она увидела, как через край горизонта перевалили густые черные тучи; хлынули затяжные, временами с градом, ливни. От этих проливней — старики величали их бурями — ручьи вскипали белым ключом и мчались вниз по своим долинам, руша деревья и ворочая валуны, таща за собой под тяжелым, прорезанным молниями, черным небом трупы утонувших животных.

Маргарет помогала своим домашним укладываться, грузить скарб на фургоны, натягивать рваный, изъеденный плесенью брезент, трогаться с места. Клетки с курами и первые весенние телята ехали, скотину гнали позади. Жалобное мычание связанных телят, тревожные призывы коров гасли и сливались в шуме сплошного дождя.

Маргарет оставалась до последнего — до тех пор, пока не собрался уходить сам Абнер Кармайкл. Он тщательно осмотрел все помещения, проверил канаты, которыми дом был привязан к деревьям. Заглянул и

на маленькую конюшню. Там он заблаговременно выбил из стен почти все нижние доски и накрепко привязал их к стропилам. Полая вода будет проходить прямо сквозь дыры по земляному полу, и — если только в стену не шмякнет чем-нибудь очень уж громоздким — постройка устоит.

Маргарет ждала, пока Абнер закончит приготовления. Вода подступила уже к самому двору — значит, дождались последнего срока, когда еще можно вывести мулов с фургонами. Она смотрела, как он поворачивает из стороны в сторону черную с сильной проседью голову, оглядывается; бредет прочь, тяжело, по-стариковски вбивая в землю пятки.

Она подождала его. Кажется, он удивился, когда ее увидел, но не сказал ничего, и они пошли вдвоем по дороге; земля под ногами постепенно повышалась, и вскоре они выбрались из речной поймы и нагнали медленные фургоны, за которыми тащилось стадо.

Пройдет недели три, а то и четыре, пока можно будет вернуться. Жили это время по-разному и в разных местах. Иногда у родных. Иногда в заброшенных сараях или хижинах, которые присмотрели за зиму. Иногда сюда вселялись все. Иногда одни женщины. Но чаще всего — и в этом году тоже — шли прямо на высокие места, в сосновый лес. Скотину гнали пастись на прогалины — небольшие луговины по склонам, в это время года утопающие в цветах и сочной траве. Сами жили в шалашах из сосновых ветвей, жгли костры из шишек. Дождь, едва успев коснуться земли, тут же уходил в песчаную почву, и на холмах было сухо и тепло. Единственной помехой были сильные и внезапные грозы, когда молнии вспарывали небо и ударяли в гущу бора, раскалывая надвое самые высокие деревья, вихрем взметая иголки в искрометном танце наподобие бенгальских огней. А нередко бывали и шаровые молнии — огневые черти, как их кое-кто называл,— они катились по земле, по открытым местам, мечась зигзагами туда-сюда, ярче пламени, ярче геенны огненной, пока не натыкались на дерево, а тогда они взбегали по стволу и с треском лопались на вершине, так что не оставалось ничего — лишь запах гари да жженый след на земле.

Спустя немного дожди прекращались, но никто в семействе Абнера Кармайкла не трогался с места. Еще много дней после того, как кончатся ливни, уровень воды в реке будет повышаться. Маргарет сидела у входа в свое убежище — она сложила себе шалаш и жила там одна — и бросала в маленький костер сосновые шишки. Костер ей был не нужен — погода стояла очень теплая. Ей просто хотелось чем-то занять себя, пока она будет мечтать о своей матери. Маргарет пыталась вспомнить, какая она. И ничего не могла нашарить в памяти, кроме истрепанных фотографий, которые видела столько раз. Немногим лучше, чем ничего.

Что-то она сейчас делает?.. Где-то она сейчас?..

«Брось про это думать»,— убеждала себя Маргарет. Она с усилием заставляла себя рассматривать сосновые шишки, которые держала в руках,— конусовидные шишки болотной сосны.

Она сама уже взрослая. Ей семнадцать лет. Другие девушки в этом возрасте почти все уже замужем. У многих ребенок, а то и два. Другие девушки не станут плакать и проситься к мамочке.

Маргарет посмотрела на подернутое туманом пастбище, где паслась одинокая, черная с белым корова.

«С тех пор как родилась на свет, все прихожу и прихожу сюда,— подумала она.— Ну, не сюда, так на другое такое же место. Каждый год, с самого рождения. А сейчас — сейчас пришла в последний раз...»

Она осеклась, пораженная. Оглянулась, почти готовая поверить, что эти слова произнес кто-то другой. Теперь, когда они были сказаны

вслух — или про себя, это одно и то же,— казалось, что так и случится. Но Маргарет боялась пророчеств, в них был замешан нечистый; сердце у нее колотилось скоро, неровно — она поежилась. И все-таки поверила: этот раз будет последним.

С этой уверенностью она стала внимательней приглядываться ко всему вокруг. Вот первые, высокие, сладко благоухающие соцветья тлятравы. Шерстестебельник, махровая вербена. Голубенькие цветы щучьей травы на влажном дне заглохшего пруда. Красноватые свернутые лепестки скунсовой капустки. И ваточник, длинный и лиловый. Проклюнулась из-под настила иголок яркая синюха. Женьшень с невзрачным пурпурным цветком — говорят, его корень придает любовную силу. Тысячелетник с кружевными листиками и тонким ароматом. Ядовитый индейский бурьян. Сладкая, как мед, жимолость. Ночная красавица — из нее хорошо низать детям ожерелья. И целые поля дикой гвоздики, яркой и пылающей на солнце.

Вот шуршат среди трав мелкие зверюшки. Черепаха-кусака ловит мух на прибрежной гальке пруда, бултыхается в воду при малейшем шорохе. Неуклюже тащится в свою норку сухопутная черепаха. И змеи. Пни ногой любую упавшую сосну, и наверняка обнаружится и зашипит на тебя пятнисто-серый уж. Потом — гремучие змеи всех сортов и размеров; наткнешься на такую и скорей созовешь детей, чтобы забить ее камнями. И другие тоже: домовый уж, черный полоз, зеленая змейка, полоз крапчатый, уж-птицеед. Много их, как подумаешь — счету нет.

«А сколько есть такого, для чего у меня не хватает имен,— размышляла Маргарет.— Всякие травы есть и живность, а я их не умею назвать».

Целые дни она проводила одна: наблюдала, присматривалась, уходила куда вздумается, в любую даль — лишь бы ноги донесли.

Сосновый лес, в котором укрылась их семья, узкой полосой бежал по верхнему краю гряды песчаных холмов. Зайдешь подальше в любую сторону, и местность быстро начнет меняться. Появится гикори, дубки — и скоро окажешься в густой роще: падуб и бук, камедное дерево, дуб, кизил, магнолия — все плотно заплетено поверху вьюном. Время от времени Маргарет находила хурму или пекановые деревья и старательно запоминала такое место на случай, если забредет сюда осенью после крепких холодов, когда плоды поспеют.

Попадались ей и ручьи, такие, которых вовсе, казалось, не тронуло половодье. Большей частью совсем мелкие: тоненькая струйка воды и песчаное дно. Она пила их настоянную на листьях воду, ела дикую жеруху с их берегов. Один ей попался большой, в глубоком овражке, почти невидимый среди густых магнолий и диких азалий. Этот был постарше; он прорыл себе русло в песке и даже выточил глубокий ход сквозь камень. Маргарет постояла, заглядевшись на темную, гладкую, текучую воду. У другого берега, в каких-нибудь пяти шагах от нее, всплеснулся и пропал из виду ушастый окунь.

«Вот бы изжарить такого,— машинально подумала Маргарет. И сразу спохватилась: — Отчего это я все ем, вечно только и думаю о еде? Что за забота такая — лишь бы набить себе живот досыта?..»

Мимо проплыл листок; в тиховодье за плечом валуна разгуливала по затончику муха-длинноножка. Судорожно сновали по поверхности водяные клопы. Маргарет опустилась на колени и взглянула на свое отражение в воде, струившейся чуть ниже, под каменным карнизом. Рассматривала свое лицо — большие глаза с тяжелыми веками, полные губы, уши. Уши длинноваты. Она сплюнула; белый сгусток, покачиваясь, проплыл по щеке отражения. Мимо, подхваченный течением, лихорадочно скользя на длинных ногах, пронесся еще один водяной паучишка.

Маргарет сложила ковшиком ладони и зачерпнула воды: прозрачная как слеза. Отпила; вода была гораздо холодней, чем в других ручьях. Маргарет опустила руку, пытаясь достать до дна, но не достала. Она поднялась, приволокла к берегу обломанный сук магнолии, сунула в воду, сопротивляясь несильному течению. Сук свободно уходил все ниже. Маргарет вытащила его, отшвырнула в сторону. У этого ручья вообще, наверно, нет дна.

Она пошла дальше. Подвернулся ежевичный куст с первыми ранними ягодками, незрелыми и мелкими. Все равно остановилась и стала есть, морщась от кислого вкуса.

«А разве не чудно,— беззвучно сказала она себе,— как всякая травка знает свой срок. Каждый год появляется и пропадает в одно и то же время, нипочем не ошибется... Вот и люди тоже. И я. Сейчас я здесь, а в том году не буду. Где-то я окажусь? Не ответить мне на это — и не ответить, почему у всякой ягоды своя пора, почему хурма бывает спелая, только когда ее прохватит морозом, и почему гремучая змея ядовита, а королевская змея — нет. И почему уж-молочник высасывает до капли коровье вымя, а обруч-змей, как народится молодой месяц, берет в рот собственный хвост и катится по дороге... А ведь у всего этого есть свой смысл, свои причины, только мне они неизвестны. Ничегошеньки-то я не знаю... Не знаю, какой из себя город Мобил, только Гровер Кент что-то рассказывал — про пристань да про бананы. И какой Новый Орлеан, не знаю; слышала, что люди говорят, и все. И океан никогда не видела... Только и видела что поля хлопчатника и речки, половодье и засуху и еще — как сосны качаются и стонут на ветру».

Она повернула назад на стоянку, к своим. Шла и думала: больше я здесь не пройду. Может быть, долго еще. Может быть, никогда.

Внимательно следила, разглядывала. Чтобы запомнить.

Она вошла в сосновый бор и стала петлять меж стволов, молчаливо сплетая узоры, воображая, что она — солнечный луч или ветерок. Бесплотный, бесформенный, подвижной, мимолетный...

Она шмыгнула в шалаш, который построила для себя чуть поодаль от всех других, и, усталая после долгой прогулки, растянулась во весь рост. Прислушалась к звукам. Вот звякают бубенцами коровы. Играют дети; пронзительные голоса выпевают речитативом: «Вот плетется Джонни — ку-ку...»

Что бы это могло означать, думала Маргарет. Как-то сегодня ни в чем не найдешь ясного смысла. Даже в словах, а ведь они, казалось бы, для того предназначены...

Дети нестройным хором монотонно выводили свое: «Аты-баты, был в солдатах, аты-баты, был в солдатах, а теперь шагаю прочь и кругом — глухая ночь...»

Дурацкая считалочка. Бессмысленная, как и эти жалобные звуки, которые издает Кэти.

Маргарет открыла глаза и выглянула на прогалину. Кэти медленно расхаживала туда и обратно, закинув руки на шею двум женщинам. Видно, скрутило не на шутку.

Маргарет опять закрыла глаза. Кэти каждый раз трудно рожает. Младенцы всегда родятся с длинным сплюснутым темечком, такими и живут первые месяцы. Ого, как ее разбирает. Сквозь стоны прорываются вопли. «Вот почему,— думала Маргарет,— куда-то подевались все мужчины». Считается, что для мужчины нехорошо присутствовать при родах: дурная примета.

«Это тоже надо запомнить»,— сказала себе Маргарет. И то, как звуки уходят прямо вверх, в разверстое небо.

А потом усталость взяла свое, и она заснула.

Когда наконец земля немного подсохла, они стали перебираться назад в пойму. Первыми пошли мужчины, чтобы начать пахоту. К тому времени, как вернулась Маргарет с остальными женщинами, они были готовы приняться за сев. И уже успели сложить из камня новый фундамент и поднять на него дом... Женщинам оставалось навести чистоту внутри, соскрести и смыть грязь, окатывая водой из ведер стены и полы. Когда все было прибрано, из фургонов принесли кровати и постель. Старики слепили из глины и мха печку. Дети подмели двор, подобрали дохлых животных (опоссумов, крыс, белок), отнесли вздутые трупики на речку и выбросили в воду.

Плита вновь водворилась на кухне, а в конюшне тем временем прибивали на место нижние доски. Еще на один год все было готово.

Весна сменилась летом, добела раскаленным от зноя. Бесконечные, похожие друг на друга дни — однообразные, заполненные работой. Потом наконец — передышка в ту жаркую пору лета, когда созревает хлопок и все дела стоят, пока не набухнут и не раскроются коробочки. А там — волоки по рядам из конца в конец длинные мешки, гни спину в три погибели, потей в семь потов неделю за неделей: наступает срок уборки. Мало-помалу становилось прохладней в ночные и утренние часы. Маргарет заметила перемену, когда носила стирать белье на купель за старой церквушкой, — путь неблизкий, зато вода там чище, чем в реке. Маргарет не любила, когда от белья пахнет речной водой — и потом, после речки на нем всегда быстро появляется землистый оттенок.

Вот таким прохладным ранним утром — она вышла из дому задолго до рассвета и стирала белье в чистой воде ручья — ей встретился Уильям Хауленд.

Она не сразу поняла, что перед ней существо из плоти и крови. Как он подошел, она не слыхала — ни шороха, ни хруста под ногами. Он просто возник ниоткуда невдалеке от нее.

В лесу ей часто виделось всякое. Лица, образы. Иной раз с ней заговаривали, иной раз лишь стояли поодаль и глядели. Иногда держались приветливо; иногда, грозно насупясь, предупреждали, чтобы не подходила близко к тому месту, которое они охраняют. Порой она узнавала их, порой это были люди, которых она никогда не видела. Случалось, что даже не люди. Лишь тени без имени, что-то вроде ветра, если ветер можно увидеть глазами. Или животные. Был один петух, большой, рыжий, — он виделся ей повсюду. Словно преследовал ее по нескольку дней подряд.

И потому, увидев в утреннем тумане большого тяжелого мужчину, лысого, с синими глазами, она не удивилась. Он был один из многих...

Первые минуты, разговаривая с ним, она была уверена, что, если протянуть руку, рука пройдет прямо сквозь него. Потом до нее дошло, что он совсем непрозрачный, и ее охватило разочарование. Он был взаправдашний...

Она села как подкошенная. Чуть не плача.

— Тебе плохо? — спросил он.

Она затрясла головой, еще не совладав с подступающими слезами.

— А что с тобой?

Она опять мотнула головой, и он сел рядом и стал что-то говорить. Слова долетали до нее, но она не давала себе труда вслушаться. Долго — пока не освоилась с этим новым положением вещей. И только тогда сосредоточилась, вслушалась.

— Так что ясно одно, — говорил он. — Необходимо завести экономку.

Она глядела на свои руки, сложенные на коленях; на свои крупные руки.

— И взять надо, я считаю, кого-нибудь помоложе, поскольку работа будет не из легких. По дому уйма дела — впрочем, это и так видно из того, что я тебе рассказал.

«Я же не слушала», — молча возразила она.

Он ждал, пока она что-нибудь скажет.

— Что вы это мне говорите?

— Может быть, сама надумаешь — место свободно.

Она подняла руки с колен ладонями вверх, вытянула пальцы.

— Я и так собиралась отсюда уходить, — сказала она. — Давно уже собиралась.

Этой весной. Минувшей весной. В тот день, когда она нашла рощу хурмы и увидела ушастого окуня в ручье, у которого нет дна...

— Я знала, что уйду.

— А что родители скажут?

— У меня родителей нет.

— И даже матери? — Он недоверчиво нахмурился.

— Она ушла.

— Давно?

— Пошла искать отца и не вернулась.

Он усмехнулся.

— Бывает и такое, слыхал.

— Мой отец был белый.

Уильям Хауленд запнулся. Нет, все-таки надо было что-то сказать.

— Это для меня все равно.

— Мне не у кого отпрашиваться. У деда — так он будет только рад, в доме станет свободней.

Уильям потер лицо, чувствуя страшную усталость, слыша, как шуршит в утренней тишине его отросшая щетина.

— Раз это Новая церковь, мне еще миль двадцать пять идти.

Он встал, и сразу она сделалась гораздо меньше ростом, почти хрупкой. Она не подняла головы и не взглянула на него, как, вероятно, сделала бы белая женщина. Она вообще держалась совсем не как белая. А что у нее белый отец, он не поверил, — с эдакой-то кожей. Многие девчонки так говорят, и пускай их, если это им в утешение.

— Послушай-ка, — сказал он. — Сходи домой, поговори со своими, скажи, куда поступаешь работать, а тогда, если не передумаешь, приходи ко мне.

Как это у нее получается: при таком росте — столько изящества, когда она сидит? И тут он увидел, что она не сидит, а словно бы вырастает из земли. Что ее вес и стать — там, в земле. А сама она легонько держится на поверхности.

— Так и сделаем, — сказал он, больше для того, чтобы услышать звук собственного голоса и подавить новое, глубокое чувство, начинавшее его тревожить, напряжение мускулов, о каком он давно забыл. — Я вовсе не требую, чтобы ты снялась с места и примчалась сломя голову. Как-никак это для тебя неожиданность.

— Нет, — сказала она.

— Не так-то часто к тебе выходят из лесу люди и предлагают работу.

— Для меня тут неожиданности нет, — спокойно сказала она своим легким ровным голосом, который так трудно было запомнить. — Меня ничто не может удивить, ведь мне заранее известно, что случится.

Он коротко рассмеялся и, нагнувшись, на миг провел пальцами по ее макушке. Она по-прежнему не подняла глаз.

Уильям зашагал прочь и все время чувствовал на себе ее взгляд, пока шел по берегу ручья туда, где оставил свой дробовик и плащ, и дальше, пока не скрылся в лесу.

Маргарет все сидела, смотрела, как ползают по влажному белью осы.

— Я так и знала, что вы придете,—сказала она ему вслед.

«Я только не знала, какое ты примешь обличье. Возможно, к тому и петух мне привиделся, и та вчерашняя тень в ветках гикори, иссиня-белая и с музыкой наподобие старинной арфы. Они говорили: жди, что-то должно случиться. Говорили, а я не понимала — что, лишь чуяла одно: это надвигается...»

Она взглянула сквозь лапы сосен вверх, на солнце. Оно было почти на том же месте. Прошло каких-нибудь полчаса. Или, может быть, солнце остановилось... Нет, решила она, для меня оно останавливаться не станет. Для царей — да, но не для меня... Оно просто показывает время. И времени прошло не очень много.

Маргарет встала, взяла под мышку выстиранное белье и пошла домой. Дорогой зорко смотрела по сторонам, вглядываясь в узоры света и теней, под темный навес деревьев на склонах — никаких звуков, ни единого движения. Ничто не преследовало ее. Видения являлись, чтобы сказать ей что-то, а теперь в этом не было надобности. Им больше нечего ей сказать.

Она молча покивала головой. Немного спустя принялась насвистывать. Следить и прислушиваться было уже не нужно.

В тот же день она собрала вещи. Взяла нарядный передник, доставшийся ей от матери, и увязала в него все свои пожитки: гребни — красный и черный, с частыми зубьями; индейский амулет — мешочек из змеиной кожи, который она ни разу не осмелилась открыть; два счастливых наконечника для стрел, камешек с дыркой посредине — тоже счастливый. Туда же положила свою единственную пару туфель и хорошее платье, шелковое, зеленое.

Потом она пошла сказать деду. Его пришлось искать часа два. Абнер Кармайкл завел упряжку мулов под тенистую ниссу отдохнуть. Он был очень стар, и осенняя жара томила его. Уткнув подбородок в колени, он сидел на корточках в забрызганной солнцем тени и тяжело дышал.

Сколько же еще, невольно подумалось Маргарет, сколько еще осталось времени до того дня, когда ему будет в край унылый пора? И некому будет сидеть под этим деревом? И ничего не останется от него, только кучка земли на кладбище — да и та не сказать, чтоб большая.

Мы его будем помнить. Недолго, какое-то время, а там подробности отодвинутся в прошлое, и почти все забудется. Потом мы тоже поумираем, и тогда ему наступит конец на веки вечные.

Занятно все-таки: оказывается, нужны два поколения, чтобы прикончить человека... Сперва его самого, потом — память о нем...

И как это так — быть мертвым? Лежать в земле, чтобы у тебя над головой все выше поднимались смертные чаши... Быть тенью среди теней твоего рода, нестись по воздуху сквозь темные сосновые леса, витать меж стволами кипарисов на болоте... А интересно, что все-таки делаешь, когда умрешь, и о чем думаешь?

Она поглядела вниз, на Абнера Кармайкла. Старик сидел с открытыми глазами, но словно не видел ее. Словно наполовину он был уже там...

Она тронула его за плечо. Абнер Кармайкл медленно повернул голову.

— Я пришла сказать, что ухожу. — Он не шевельнулся; Маргарет была не уверена, понял ли он. — Мне надо уходить отсюда.

Он кивнул. Жара рассверлила ему поры, на темной коже бисером выступил пот.

— Если меня случайно кто спросит... — Кому спрашивать? Некому. Никого нет. Разве что... — Если кто придет, спросит — может быть, моя мама, например...

Старые глаза под морщинистыми веками приоткрылись шире, взглянули на нее.

Маргарет не позволила ни единому мускулу дрогнуть на своем лице.

— Тогда скажешь, что Маргарет ушла с Новой церкви. Ушла работать к Хаулендам и возвращаться назад не собирается.

— Здесь тебе делать нечего, — медленно сказал он. — Тебе в самый раз куда-нибудь податься. — Безучастный голос задребезжал и умолк.

Будь Маргарет поменьше, она, наверно, обняла бы его, поцеловала. Но теперь то время минуло; то время прошло раз и навсегда. Теперь она не девочка, и ей нечего больше тут делать. Поэтому она просто повернулась и пошла размеренным, неторопливым шагом, зная, что впереди еще долгий путь. За ее спиной дед отрывисто проговорил:

— Жарко мне, мочи нет.

Она уже не маленькая. Она взрослая женщина, ей жить по-своему. И она пошла дальше, оставив деда его стариковским немощам и стариковскому оцепенению.

Первое время местность хранила знакомые приметы. Потом начались места, которых она еще не видела. Она все шла ровным шагом, перекладывая на ходу из руки в руку узел с вещами. Не спеша, но и не останавливаясь. На дорогу она не взяла ничего — на первых порах она даже не вспоминала про еду. Она чувствовала себя легкой, сильной, вольной. Когда стемнело, легла спать в лесочке при дороге, свернулась на палой листве и сосновых иглах, слегка пожимаясь от ночного холода. Наутро властно и настойчиво заявил о себе голод, и Маргарет изжевала несколько сосновых иголок, потом два-три стебля дикой лилии. Один раз она остановилась спросить дорогу у какой-то женщины, кормившей во дворе птицу. Маргарет улыбнулась: куры двигались как-то смешно, вприпрыжку. Чтобы они не разбегались, им перебили лапки.

Женщина, с высоким животом беременной, вежливо отвечала, разглядывая прохожую.

— Я с Новой церкви,— сказала Маргарет и смотрела, как застывает лицо женщины. Индейская кровь — дурная кровь, и к тому же люди с Новой церкви всегда держатся на отшибе. Маргарет пошла дальше. Ей было все равно. В конце концов, она лишь затем заговорила, чтобы перемолвиться с кем-нибудь словечком. Она ведь не заблудилась. Надо только идти да идти по дороге, пока не выйдешь к побеленному дому на четвертом бугре от реки.

Дом Маргарет узнала сразу. Она свернула и по неторной, присыпанной гравием тропке стала подниматься напрямик через заросшие сорняками поля. Пока не очутилась на пыльном и безлюдном дворе. Медленно огляделась по сторонам: увидела высокие холмы на севере, речку Провиденс, почти скрытую от взгляда чащей прибрежных деревьев; кособокие амбары, тесную гурьбу сараев на краю выгона. Маргарет обошла вокруг дома, озираясь на каждом шагу. Обнаружила семейство кошек, рыжих с белыми подпалинами. И еще обнаружила дверь на кухню под козырьком заднего крыльца. Не колеблясь, протиснулась за обвисшую, ободранную москитную сетку. Кухня была пуста. Маргарет прошла по темным комнатам нижней половины сколько хватило смелости, сколько можно было пройти, не открывая ни одной закрытой двери,— открывать было боязно, хоть и подмывало любопытство. Потом вернулась на кухню. Немного подождала здесь у большого стола, стоявшего посредине. Потом села ждать снаружи, на ступеньках черного

крыльца, на самом солнце, припав животом к коленям, чтобы унять резь в желудке. Черная кожа ее потихоньку увлажнялась от послеполуденного зноя.

Уильям Хауленд пришел домой перед самыми сумерками. Оставил фургон у конюшни, распряг мулов, отвел на выгон. Закрыл ворота, наложил засов — медленно, отягощенный пылью, осевшей за день,— и стал взбираться по косогору к дому. Ни разу не поднял голову, пока не прошел полпути. Едва увидев ее, заторопился. Она сидела не шевелясь, ждала.

— Ах ты господи,— сказал он.— Я не думал, что ты придешь так скоро.

Она ничего не ответила. Встала, пошла за ним в дом.

— Пешком шла?

— Тут недалеко.

— От самой Новой церкви?

Она кивнула.

— Рамона! — позвал он. Голос гулко разнесся по дому; никто не отозвался.

— Ела ты что-нибудь?

— Нет.

— Совсем ничего?

— Сегодня — ничего.

— Фу, чертовщина,— сказал он.— Рамона! — И повернулся к Маргарет: — Разве так можно, девочка.

— Нечего было взять,— просто сказала она. Это была правда.

— Рамона! — гаркнул он, высунувшись из задней двери.

— Тут никого не видать,— сказала она.— Я уже сколько сижу.

Уильям наморщил губы, присвистнул.

— Она к ужину подойдет... но ты терпеть до тех пор не можешь.

Он шагнул к огромной дровяной плите, черной, засаленной и липкой. Открыл кастрюлю, потом другую, заглянул.

— Во всяком случае, сварить-то она кое-что сварила...

У Маргарет внезапно так свело желудок, что подкосились ноги и она села на прямой деревянный стул. Думала, что он не заметит, но в одно мгновение он очутился рядом; на ее плечо легла рука.

Она пристыженно засмеялась.

— От дикой лилии, бывает, кружится голова.

Рука поднимала ее со стула.

— Поди возьми тарелку — нет, сам возьму — и поешь, что там найдется.

Снаружи мужской голос крикнул:

— Уилл Хауленд!

— Ты тут кормись, а когда придет старая, скажи, чтобы зашла ко мне.

— Эй, Уилл! — надрывался мужчина на дворе.— Для поросят патоку куда сгружать?

— Погоди ты,— сказал Уильям,— не шуми.

Так она осталась на кухне одна, сидела, ела без помехи. Со двора доносились голоса мужчин, потом брякнули цепи постромок: тронулась с места повозка. Уняв голод, Маргарет оглядела кухню. Большое помещение; на одном конце — засаленная черная плита, на ней засаленные и черные сковородки. На другом — кирпичный камин, почерневший за долгие годы и такой высокий, что в нем свободно встал бы человек среднего роста. Над ним — тяжелая, резная, украшенная завитками каминная доска. Над доской крест-накрест повешены длинноствольный мушкет и пороховой рог.

Маргарет обвела кухню взглядом несколько раз. Приязненно, испытующе. Доела, отодвинула в сторону тарелку. Медленно встала, налила себе чашку кофе из голубого эмалированного кофейника, стоявшего сзади на плите. Держа чашку в руке, еще раз посмотрела в конец кухни, в черное разинутое жерло камина. Все было такое знакомое, будто она жила здесь всегда.

Когда вернулась старуха Рамона, Маргарет учтиво встала, выжидая. Старуха смерила ее взглядом, переложила жвачку из-под нижней губы за щеку.

— Я у мистера Уильяма уже была,— сказала она.— Велел тебе приготовить постель.

Маргарет прошла за ней через весь дом, в те двери, которые прежде не посмела открыть. Они поднялись по широкой пустой лестнице с потемневшими, щербатыми от многолетней службы перилами; прошли по темному холлу, где сильно пахло свежей краской. В конце холла у какой-то низенькой дверцы стоял громоздкий гардероб красного дерева с зеркальными створками и тяжелым коньком, богато украшенным резьбой. Ключ был потерян, ручки отсутствовали вообще. Рамона просто поддела створку желтым, твердым, как рог, ногтем, и шкаф открылся. Внутри он был отделан полированным кленом с пламенем вокруг птичьих глазков, но поверх отделки, в том месте, где когда-то, очевидно, висело платье, кто-то набил полки. Полки были не новые — их необделанная древесина успела потемнеть от времени,— но сделаны грубо, на скорую руку и неровно насажены на дощатые планки.

Рамона рылась в стопках белья, вытягивая то одну, то другую простыню, качала головой и убирала назад. Наконец нашла то, что надо. Вынула, подняла за два угла. Вдоль середины тянулась прореха. Рамона удовлетворенно кивнула.

Ушло полчаса, пока были найдены достаточно рваные подушка и одеяло. После этого старуха сунула сверток с постелью под мышку и отворила низенькую дверцу.

Дверца вела в мезонин прямо над кухней, в задней части дома. Вероятно, это была самая старая часть дома: комнаты здесь были меньше, потолки — ниже. Комнат всего две, одна проходная. Спертый, затхлый воздух, матрацы на кроватях свернуты и покрыты газетами.

Рамона положила белье и двинулась к другой дверце, в дальней стене.

— Эта ведет на кухню,— сказала она.— Ходить будешь отсюда. Вот тебе свет.— Она дернула какой-то шнурок: над головой вспыхнула одинокая электрическая лампочка без абажура, свисавшая с балки потолка.— Ужинать больше не станешь, сыта?

— Да, мэм,— сказала Маргарет.

Старуха, кряхтя и охая, стала спускаться по лестнице.

— Мистер Уильям велел спросить: у тебя все есть?

— Да, мэм,— повторила Маргарет.

Она не ощущала усталости, только ноги немножко гудели от долгой ходьбы. Она сбежала по лестнице и, стараясь не встречаться взглядом со старой поварихой — та разогревала на плите ужин,— взяла половую щетку, которую еще раньше приметила в углу. Взбежала снова наверх и распахнула настежь окна, все до одного, так что в комнату сразу хлынул прохладный вечерний воздух. Обмела пыль со стен, прогнала пауков и подмела пол. Потом раскатала матрац и постелила простыню.

«Надо завтра зашить эту дыру»,— подумала она. Это была первая простыня в ее жизни. Дома спали всегда прямо на голом тюфяке.

Она стояла посреди комнаты, озираясь по сторонам. Здесь тоже все казалось знакомым, хотя в две такие комнаты вместился бы весь дедов дом. Удивительно, почему ее так мало туда тянет. Правда, она будет здесь одна, а ей никогда еще не приходилось оставаться одной в целом доме. Но это ничуть не страшней, чем быть одной под открытым небом, как ей случалось тысячу раз.

Внезапно ее сморила усталость. Страшная усталость. Ей стало трудно держаться на ногах, ее шатало, пока она раздевалась. Было слышно, как внизу гремит кастрюлями и тарелками Рамона, напевая что-то себе под нос.

Маргарет забыла про свет. Она медленно встала с кровати, потянула за шнур. В темноте, ощупью, кое-как добралась до кровати, юркнула под чужое одеяло. И обнаженная, в чужой комнате заснула.

Уильям Хауленд был занят. Сперва надо было позаботиться о патоке для поросят, потом он решил сходить взглянуть на новую коптильню — ее как раз кончали строить. Потом, чтобы отвязаться и больше не думать об этом, сходил на большую лужу и поглядел на свиней, заплывших жиром, чумазых, неуклюжих. Он был доволен. Когда похолодает — а ждать осталось не так уж долго,— он начнет колоть свиней. Закипят во дворе громадные чаны с водой, из города явятся на подмогу еще четыре работника... Он любил запахи коптилен, любил сам смотреть за кострами, следить, чтобы огонь был как следует прикрыт свежими ветками. Одна оплошность — и погибло мясо за целый сезон, а он был рачительный хозяин.

Он повернул к дому и заметил новый огонек в доме — над кухней, в мезонине. Стало быть, там Рамона отвела комнату Маргарет.

Ему захотелось остановиться, но он себе не позволил. Чертовски глупое занятие для зрелого мужчины — стоять и пялить глаза на свет в окошке... Он мерно переставлял ноги, не останавливаясь, пока не дошел до крыльца. А там уже было легко открыть дверь, кликнуть Рамону, сесть ужинать...

— Пускай она тебе помогает,— сказал Уильям Хауленд, когда старуха Рамона спросила его насчет Маргарет.— Какое-нибудь дело для девочки всегда найдется.

Он видел, как оттопырился при слове «девочка» комочек табака под губой, и усмехнулся.

— Ростом она большая, это верно, но еще не старушка. Так или иначе, мне сестра только недавно твердила, что в доме не хватает рук.

— Она из Новой церкви,— сказала Рамона.

Уильям пожал плечами. У негров округа Уэйд эти люди пользовались дурной славой. Кстати сказать, они, как правило, не захаживали в здешние края — тем более странно, что эта девушка согласилась пойти к нему работать.

Уильям опять вспомнил, как впервые увидел ее за стиркой и как мгновенно пришла на ум сказка про Альберту. Почему-то ей больше пристало явиться из сказки, чем с заливных лугов и сосновых взгорий Новой церкви.

Она пробыла в доме неделю и ни разу не попалась ему на глаза. Должно быть, Рамона поручала ей работу по усадьбе. Он обратил внимание, что взъерошенный куст роз под окном столовой аккуратно подстрижен и наведен порядок на грядках пряных трав, которые в давние годы посадила его мать. Никто с тех пор за ними не ухаживал. Мята пошла расти со своей грядки по всему двору. Тимьян, посеянный когда-

то вдоль дорожки, заполз на камни и изъел их. Розмарин рос большими жесткими кустами, щетинистыми от острых молодых побегов. Одинокий гигантский куст лука-середы, задавленный непомерной тяжестью ползучих трав, тянул к свету свои семенные шары. Пальцы Маргарет дюйм за дюймом выдергивали сорняки; разрыхленная, потревоженная, лежала под солнцем красная земля.

Когда грядки были приведены в порядок — прополоты до былинки, возвращены в свои законные пределы — и делать здесь больше ничего не оставалось, Маргарет отправилась на поиски фруктов для заготовки впрок. Ей были чужими эти леса и поля, но она быстро осваивалась. Она привыкла выискивать и забирать все, что только дарит земля. В Новой церкви добывать себе пропитание было частью жизненной премудрости, которую младшие дети перенимали от старших. Так что теперь Маргарет полными мешками таскала домой айву, хурму, яблоки, груши. А по подоконникам остывали ряды стеклянных банок. Как-то под вечер она осмотрела заглохший огород, и из его дебрей извлечены были тыквы и кабачки — крепыши, сумевшие выжить в забросе.

Уильям Хауленд увидел их, когда они лежали грудой на заднем крыльце, отливая желтизной даже в тени, и удивился, отчего это он сам за столько лет ни разу не подумал о них, а они себе созревали в путанице сорняков и ползучих трав — лето за летом, год за годом, и одни только олени приходили их объедать.

«Ишь ты,— подумал он,— какие они красивые в этой пирамиде». Обыкновенные тыквы, кабачки и шишковатые декоративные тыквы-горлянки, посаженные кем-то, забытым ныне.

В конце первой недели он столкнулся с нею: она сидела за кухонным столом под висячей лампой с зеленым абажуром.

Он заработался допоздна в тот день. Сначала возился в погребе над родником: новый насос (заказанный его сестрой к свадьбе Абигейл) никак не работал. Проканителился до самого ужина, так что пришлось посылать за Рамоной, чтобы принесла ему поесть. Насос отладили, но оставалось еще одно — сходить на мельницу. Весь день по земле гуляли мелкие смерчи, вихревые воронки, внезапно оброненные с низкого, пухлого, грозного неба,— он сам видел. Один, как ему показалось, прошел совсем рядом с мельницей. Надо было наведаться и взглянуть. Проверить, не повредило ли ветром постройку или жернова — то и другое состарилось, пришло в ветхость. И он поехал, горбясь на спине своего коня от встречного порывистого дождя. Тщательно, придирчиво осмотрел все строения при желтом свете керосинового фонаря (электричество было только в главном доме). Мельница оказалась цела. Только окно треснуло от тех ветров, а так больше ничего.

Уильям немного постоял в тишине, любуясь огромными камнями — такие все трудней становилось доставать в нынешние времена, когда почти никто уже не молол себе муку. Прислушался к утихающему ветру за стеной, к возне мышей и мелких зверюшек, какие непременно обитают при всякой мельнице. Посидел на полу, устало и бездумно, отдыхая под защитой этой кровли; дожидаясь, пока очистится небо.

Так и вышло, что когда он наконец расседлал коня и стал подниматься по косогору к дому, было уже без малого десять. Он увидел, что на кухне горит свет. Это не Рамона. Та, разумеется, давным-давно ушла к себе; ее дом стоял на четверть мили дальше по дороге, она жила там с мужем и дочерью — старой девой.

Уильям Хауленд прошел через двор — на востоке сквозь просвет в облаках видны были очертания Медведицы. Яркий контур звездного зверя проступал отчетливо. Голова опущена, хвост торчком — Уильяму всегда казалось, что Медведица больше смахивает на скунса.

«Да и кто нынче глядит на звезды»,— думал он. Вот его дядя — тот мог назвать любое созвездие, какое только ни выплывет на небо из лесного шатра.

Он неслышно взошел на заднее крыльцо и заглянул в окно. На кухне сидела Маргарет (всякий раз про себя он называл ее Альбертой — и сейчас поправился). Она смазала волосы жиром, зачесала прямо назад и заколола шпильками, чтобы лежали гладко. Он увидел желобок шеи, согнутой в том же грациозном наклоне, поразившем его на берегу ручья близ Новой церкви, когда он собрался уходить.

Странная вещь, думал он в этот ненастный вечер на пороге своего дома, до чего она меняется. Когда сидит — она девочка, хрупкая, несмелая. Когда пойдет — движется уверенной поступью крестьянки: широкий шаг, руки неподвижно висят по бокам. Первобытная походка, свободная, бесхитростная, непринужденная, древняя, как земля под ногами.

Она шила — не очень-то хорошо, заметил Уильям. Ему доводилось видеть, как бойко орудует иглой его сестра, быстро, ловко, уверенно. Маргарет шила медленно, вытягивая нитку во всю длину после каждого стежка.

«Не умеет»,— подумал он. Да и откуда ей было научиться в Новой церкви — ни досуга, ни возможности...

Склоненная голова; медлительное, неумелое шитье — у него перехватило дыхание, защемило сердце: вид бедности всегда причинял ему боль.

«Если она захочет выучиться,— сказал он себе,— достану ей кого-нибудь в учителя. Если только захочет...»

Он вошел в дом. На скрип двери она неторопливо повернула голову.

— Ничего, это я,— сказал он.— Ты шей.

Она сложила руки поверх ткани. Уильям взглянул. Где-то он уже видел эту материю в цветочек... Ну да. Ее купила сестра на занавески для верхнего холла. Должно быть, это остаток.

Она продолжала молчать, и он спросил:

— Занавески делаешь?

— Нет,— сказала она.— Нет.

— Если хочешь поучиться шить, я тебе найду кого-нибудь.

— Мне бабушка показывала,— сказала она негромко, голосом легким и сухим.— Я справлюсь, только нужно вспомнить, как она учила.

Всегда ее голос как дым таял в воздухе. Ему стало неловко.

— Ну гляди, как хочешь.

Он лег в постель. И лишь ноющие от усталости мускулы подтолкнули его навстречу сну. Так хотелось лежать и слушать. Увериться, что она кончила работать и невредимо дошла из кухни до своей кровати.

Было воскресенье — сквозь его ясное тепло, в желтом солнце, в резкой синеве неба ощущалось приближение зимы. Поля обезлюдели, проселочная дорога тоже. Рано утром притащилась Рамона, сварила обед и отставила на край плиты. Она была последней — больше никто не проходил мимо. Воскресенья, они всегда были такие — пустынные. Ни души не увидишь. Одни — люди благочестивые — сходили в церковь и теперь сидели дома, отдыхали после воскресного обильного обеда. Они сидели на солнечном крылечке в больших камышовых качалках, тихонько покачиваясь, чтобы не так давил набитый живот, а на полу под боком стоял высокий стакан виски с содовой, запотевший от кусочков льда.

А другие — что ж: кто еще не вернулся с субботней охоты, слонялся по лесу, грелся у костра, попивая прямо из кувшина кукурузную водку. А кто рыбачил, дремал в ивняке над своими удочками.

Уильям Хауленд со стаканом разбавленного водой виски сидел в одиночестве на веранде и чинил постромки. Покончив с этим, достал ветошь и щетки, вынес свои ружья, разобрал их, тщательно вычистил. Снял с кухонной стены даже длинноствольную винтовку — когда-то она принадлежала его прапрадеду, с нею за спиной он и перекочевал сюда с холмов Теннесси. Уильям Хауленд всегда содержал ее в готовности, смазывал, чистил до блеска. Стрелять, правда, не решался. Пуль таких не было, и не было твердой уверенности насчет заряда; к тому же нельзя было поручиться, что старый ствол вообще не разнесет при выстреле. Но винтовку он все равно содержал в чистоте.

Когда и с оружием было покончено, настало время — как и во всякое другое воскресенье — идти доить коров. В коровнике оставался один Оливер Брендон — больше по воскресеньям никого. Уильям помогал ему, если никуда не был зван к ужину. Он делал это с охотой, даже в разгар лета, когда доили по три раза в день. Он любил запах коровьего бока, прижавшегося к его щеке. Любил чувствовать под ладонью соски, чувствовать, как пульсирует под пальцами молоко; ему нравилось это ощущение, что руки живут своей жизнью, обособленно от тела. После коровника он собирал себе на кухне ужинать, расхаживая от плиты к столу, рыская по всем шкафам.

В то воскресенье на верхней полке самого большого шкафа он обнаружил мышиный выводок в большой фарфоровой суповой миске. Он хорошо помнил эту миску, хотя ее подавали на стол еще при жизни его матери, да и тогда лишь в редких случаях. Это была супница от Лоустофтского сервиза, привезенного в дом его бабкой-француженкой. Уильям прихлопнул супницу крышкой, вынес вместе с содержимым на задний двор и там выкинул мышей наружу. Возвращаясь в дом, он услыхал свистящий шелест совиных крыльев, рассекающих воздух, и удовлетворенно кивнул. Он терпеть не мог, когда в доме грызуны или паразиты. Придется поговорить с Рамоной. А то совсем что-то распустилась.

Он пошел в гостиную и при свете лампы на гибкой ножке принялся за газеты и журналы: на неделе было не до чтения, он слишком уставал. Бутылку по-прежнему держал под рукой и к тому времени, как настала пора идти спать, совсем захмелел — так бывало каждое воскресенье. Понемногу он прикладывался к рюмке с самого утра.

Он отложил последний журнал, потушил лампу, взял бутылку, стакан и в темноте пошел к лестнице. Свет ему был не нужен. Он знал эти комнаты наизусть. Ничто из мебели не передвинуто за все годы, что он живет тут один. Да и при жизни родителей почти ничего не переставляли...

Родители. Он остановился на минуту, вспоминая их, как не вспоминал много лет.

Он стоял в темном холле и смотрел на яркие лунные квадраты окон гостиной. Казалось, он видит, как в горбатых кленовых качалках подле большого камина сидят его родители. Они там всегда сидели... Мать. Часами вязала крючком — салфеточки на все столы, покрывала на все кровати. Связала даже занавески на окно в ванной. Как стали проводить в дом воду, все забросила и связала — специально для ванной комнаты. Вязала платьица и пелеринки для всех новорожденных в округе, белых, черных,— Уильям усмехнулся про себя в темноте,— вновь и вновь, все тем же фасоном, только для черных без трех крохотных бантиков, пришитых сверху... Уильям опять отхлебнул из стакана. «Бедная старушка,— подумал он,— все-то на свете зиждилось на трех бантиках». Либо они есть у тебя, либо нет. И этим до конца определяется твое место в жизни...

Значение бантиков Уильям подметил не первый. Ему об этом сказал отец, незадолго до того, как он поехал в Атланту изучать право.

«Глупость страшнейшая, но она вся в этом... А попробуй-ка скажи, такой скандал закатит.— Отец ухмыльнулся, не без самодовольства.— Женщин в семье надо баловать,— сказал он сыну.— Во всяком случае, у Хаулендов женщины всегда балованные». Жеманные смешки жены, ее страсть собирать хрусталь, Хэвилендский фарфор с розочками — он потакал этим женским причудам со снисходительностью настоящего мужчины.

Уильям отвернулся от темной гостиной. Но напротив, по другую сторону холла, была открыта дверь в столовую, и там он снова увидел родителей. Увидел, как они сидят в маленьком застекленном фонаре, где, бывало, стояли горшки с цветами, а теперь и пусто, и пыльно. Сидят на том же самом месте, что и в день смерти его жены,— в тот день, когда он пришел и сказал, что склеп понадобится ему. Веселость исчезла: перед ним сидели два старика, дрожащие, скованные страхом.

«Тем все и кончается,— думал Уильям.— Смех и гордость — страхом и смертью».

Уильям затворил дверь столовой, закрыл их там. Завтра опять работа — он устанет и такое не полезет в голову.

Медленно, на нетвердых ногах, он начал подниматься по лестнице. Рука тяжело опиралась на перила; вот пальцы прошлись по обугленному месту — оно сохранилось со времен его прадеда. Как-то вечером на дом напали бандиты (в те времена их много шаталось по проселкам). Они схватили и убили младшую дочь — застали спящей в постели, в той комнате, где теперь кухня, и затоптали до смерти каблуками на кирпичном полу. Посреди большого парадного холла они разложили костер, стали готовить ужин, и тут вернулся домой тогдашний Уильям Хауленд с четырьмя взрослыми сыновьями и с черными рабами. Старик остался тушить костер и привести в пристойный вид изломанные останки своей младшенькой. Остальные в темноте загнали разбойников в тростники и там, одного за другим, перебили, пока те барахтались, проваливаясь по пояс в трясину... В доме кое-что обгорело от костра, перила, например. Их сохранили такими — чтобы помнить. Из поколения в поколение. Когда дом стали расширять, на новую лестницу поставили старые перила... Чтобы помнить...

«Убийства и смерти,— думал Уильям, потирая пальцами обугленные перила,— вот что держишь у себя перед глазами в напоминание. Прочее уходит в могилу неотмеченным».

Он рассказывал Абигейл истории — все, какие знал. Она слушала, конечно,— да много ли ей запомнилось? Женщины не очень-то принимают всерьез такие вещи. Вот Энни, сестра,— та ничего не запомнила, даже и не пыталась. Как вышла замуж и переехала в Атланту, так начисто все забыла. Долгие дни их детства. Как они бегали искать дикий мед в дупле камедного дерева, как нашли рысий выводок в заброшенном орлином гнезде...

У него онемели губы. Должно быть, выпил больше, чем думалось. Он с решимостью напряг ноги, стараясь тверже ступать по лестнице.

Временами он начинал ощущать возраст этого дома; люди, жившие здесь когда-то, заглядывали ему через плечо, следили, что он делает, дивились. Вот и сейчас — точно мыши в стене, бессловесные и шуршащие. Временами — сегодня в особенности — ему слышалось, как они дышат, все вместе, десятки людей; дышат согласно, глубоко и ровно, как дышали при жизни...

Он рухнул на кровать, прямо как был, не раздеваясь. И усмехнулся. Собственное сиплое дыхание — вот что он слышал. Только и всего.

Минуту-другую он отдыхал, потом согнул кренделем одну ногу, стащил тяжелый сапог и швырнул в дальний угол. Получилось так шумно, что он даже вздрогнул и замер, прислушиваясь.

Он хотел взяться за другой сапог, когда в комнату вошла Маргарет.

Дверь он оставил открытой. В восточные окна, яркая и низкая, заглядывала луна, и при ее свете он увидел, что Маргарет стоит на пороге. На ней была ночная рубашка из какой-то знакомой материи в цветочек: высокий ворот, длинные рукава,— похоже на облачение мальчика из церковного хора, подумалось Уильяму.

— Напугал я тебя своим грохотом? — Он удивился внезапной хрипоте своего голоса.

— Дайте, я сниму другой,— сказала она. И сняла, и аккуратно поставила около кровати.

— Была б ты постарше,— сказал он,— я бы тебе предложил вина.

— Вы что там читали в гостиной?

— М-м? — сказал он.— А-а, газеты.

Она села на край кровати, и лунный свет выхватил из темноты узор на ее рубашке. Уильям узнал его.

— Вон ты что шила тогда на кухне.

— Я нашла материю,— сказала она.

— Какая умница,— сказал он.— Дай-ка мне, девочка, сюда виски.

Она подала ему стакан. Он качнул головой и потянулся через нее за бутылкой. Нетвердая рука задела ее грудь. Только когда рука вернулась с бутылкой, до его сознания дошло, что сосок стоячий и твердый.

Он осторожно поставил бутылку на пол у кровати на случай, если понадобится после.

«Может быть,— подумал он,— она столько ночей ждала, не приходила потому, что у нее не было ночной рубашки». Он чуть не спросил об этом. Но что-то — она заколола назад волосы, она внимательно рассматривала свои руки — остановило его. Снова она показалась ему маленькой и хрупкой, и впервые в жизни ему захотелось ударить женщину. А все из-за склоненной шеи. Такая она была незащищенная и терпеливая

Всего она родила ему пять человек детей. В живых осталось трое: две девочки и мальчик.

Абигейл

Я приехала через десять лет, вместе с матерью. Две Абигейл. Миссис Абигейл Хауленд Мейсон и мисс Абигейл Хауленд Мейсон. Вернулись к себе домой.

Ночь мы ехали на поезде из Лексингтона, штат Виргиния, в Атланту, а там пришлось часа два ждать. По каким-то соображениям — думаю, просто у нее было слишком скверно на душе — мама не известила о нашем приезде тетю Энни, так что встречать нас оказалось некому. Вот и сидели мы вдвоем на станции, где в эту летнюю пору можно было задохнуться от жары; сидели вдвоем на жестких скамейках неподалеку от киоска, где какой-то мужчина торговал апельсинами и газетами.

Как я уже сказала, часа два-три нам пришлось дожидаться местного — Восьмого — поезда на Мэдисон-Сити. Видно было, что матери ожидание дается тяжело. Видно было, как она все больше никнет от усталости. Ночью, в пульмане, она, очевидно, спала очень мало, и те-

перь похоже было, что ей едва ли по силам одолеть даже длинную лестницу вниз, к путям. Но когда мы все-таки сели и устроились на своих местах — в грязных вагонах, где и поныне были заплеваны все углы, а с высоких провисших багажных сеток вечно падали на голову вещи,— она сняла шляпу, откинулась головой назад и немножко вздремнула.

Я высовывалась из открытых окон и болтала сама с собой. Сначала о том, как мне снесет голову одним из пролетающих мимо столбов или случайным товарным вагоном на запасном пути. Потом попыталась сосчитать, много ли я запомнила с прошлого раза, когда мы тут проезжали. (С тех пор как меня можно стало возить с собой, мы каждый год на рождество ездили к деду.)

— А я здесь ехала, когда мне было три месяца,— похвасталась я полю в розоватых цветах хлопчатника.

Я было здесь всегда, отвечало мне поле.

— Зато я больше помню,— и в доказательство я стала выпевать названия городов на нашем пути.

По правде говоря, кроме названий, мне запомнилось не так уж много. Потому что в восемь лет год — очень долгий срок, и расстояние от одного до другого огромно. Я даже вряд ли смогла бы сказать, каков из себя мой дед.

Наверно, моя болтовня мешала матери: она открыла глаза, потрогала и поправила пучок на затылке, посмотрела на часы, выглянула в окно и послала меня в конец вагона спросить у проводника, где это мы едем. Мы уже опаздывали на три с половиной часа и с каждой минутой опаздывали все больше. Мать это раздражало, хотя ей пора было бы привыкнуть. Этот поезд всегда опаздывал. Только проехали Опелайку, случилась какая-то неувязка со стрелкой; потом ждали, пока пройдет скорый товарный. Потом перегрелась букса и час ушел на то, чтобы ее поправить, а при въезде на мост через Ред-Ривер закрыли светофор.

Мне она в конце концов сказала только:

— Детка, прошу тебя, если хочешь, чтобы я еще с тобой ездила, веди себя хорошо...

После этого я умолкла, вспомнив все, что мне говорили раньше. Что мама нездорова и ее нельзя волновать. Что папа уехал, по меньшей мере на несколько лет, и я должна ей помогать вместо него.

Когда мы подъезжали к нашей станции, проводник разбудил мою мать.

— Благодарю вас, мистер Эдвардс,— сказала она.

Он вынес наши вещи на площадку и сложил у двери. Когда раздался скрежет тормозов и состав стал сбавлять ход, проводник попрощался с матерью за руку.

— Очень рад и счастлив, что дочка Уилла Хауленда опять на родине.

Она улыбнулась ему. Ее нельзя было назвать красивой, но улыбка освещала ей лицо, как солнце.

— Я слишком загостилась в чужих краях, мистер Эдвардс,— сказала она.— Но уж теперь не уеду.

Тут поезд остановился, и оказалось, что я все-таки помню, как выглядит мой дед.

На этом самом месте, в этот миг завершилась первая часть моей жизни. И началась вторая. Иногда, пока шли годы — жаркие, пыльные годы в сельской глуши,— та первая часть невольно приходила мне на память и с нею вместе — опрятный зеленый университетский городок. И не верилось, что все это было на самом деле. Так мало осталось в памяти. Чистый легкий горный воздух; вечера, когда в носу так и щекочет от шипучей свежести. Покатая гладь газона и вокруг — дома с колон-

нами. Поутру отец уходит на занятия, а за ним тянется тонкая полоса трубочного дыма. Осенью падают листья, собираются на земле высокими яркими ворохами (у нас, на дальнем Юге, такого не бывает). Помню маленький невзрачный городок: все кирпич да узенькие улочки. В шестьдесят третьем он горел — когда жгли всю долину. Устоял один-единственный дом, на маковке самого высокого из городских холмов. Не слишком казистый — чересчур приземист для такого ряда белых колонн,— зато настоящий старинный особняк. Вид отсюда открывался грандиозный, и потому во время войны здесь помещался штаб. При отступлении дом собирались сжечь, да, видно, забыли... Имелась и речка, далеко внизу, меж круто срезанных берегов — захламленная отбросами река. Однажды — по пути в бакалейную лавку — я видела, как оттуда вытащили утопленника. Вытаскивали два рыболова: один — за руку, другой — за ногу. Помнится, это был негр — я явственно разглядела его черную кожу,— и он был голый.

Еще я помню, что мои родители не ладили между собой. Иногда прямо чувствовалось, как натянуто они держатся друг с другом. Часто, лежа в постели, я слышала сквозь закрытую дверь их сердитые голоса. А потом мама по целым дням сидела с красными глазами.

Оттого-то, может быть, в 1939 году, когда началась война, отец так рвался уехать в Англию. Я вспоминаю, как он все ходил и читал маме стихи Руперта Брука, так что под конец она уже, не скрываясь, утирала платком глаза. Стихи призывали идти навстречу роковой битве — Армагеддону.

И он конечно же пошел. Всю неделю перед этим у знакомых устраивались вечера и обеды — наверно, в его честь. Никогда еще мои родители столько не выезжали. Потом его проводили, а мама, снова заплаканная и молчаливая, начала снаряжаться домой, к своему отцу.

Стоило мне приехать в Мэдисон-Сити, и мне почудилось, будто я никогда отсюда не уезжала: ровные поля хлопчатника, сосновая чащоба по пригоркам, бескрайние болота — все это была родина. Собственных воспоминаний о здешних местах у меня быть не могло — разве что очень скудные,— но никто не сомневался, что во мне оживут воспоминания предков. Возможно, так и случилось. Прошел день, и я почувствовала, что живу здесь всю жизнь. Отца не было; он мне ни разу даже письма не прислал. (Матери присылал, но она о них ничего не говорила и никогда не показывала.) Он просто исчез из моей жизни, и все. Звали меня в округе Хаулендова девочка, и порой трудно было удержать в голове, что настоящая моя фамилия Мейсон. Куда бы мы с матерью ни пришли в гости, чинно шествуя по дорожке к чьей-нибудь двери — мама первая, а я за ней,— местные дамы встречали нас одним и тем же: «Ах, кого я вижу — Хаулендовы девочки пришли!»

Мы были Хауленды, и дом наш был там, где исстари обитали Хауленды. Отца я забыла, так много было всего другого... Он-то, правда, не забыл: после войны он один раз пытался со мной увидеться; специально ради этого, как я понимаю, приезжал опять в Америку — но тогда уже было поздно. И вот теперь, сегодня, я не имею понятия, где он. Не знаю адреса. Не знаю даже, в какой он стране. Ушел бесследно, точно его никогда не было на свете.

Иногда у меня такое чувство, что моим отцом был дед. А Маргарет, черная Маргарет, была мне матерью. Когда живешь в семье вроде нашей, все твои представления смещаются.

Она была ему женой — и не была. Она вела его дом, а закон гласил, что они не имеют права пожениться, ни за что и никогда. Их детям давали материнскую фамилию, так что все они звались Кармайклы, хотя на самом деле были Хауленды.

Старшим был Роберт. На год старше меня, высокий для своих лет — очень высокий мальчик, одного роста с матерью. Волосы рыжие и веснушчатая светлая кожа. С первого взгляда не подумаешь, что в таком есть негритянская кровь. Но если вглядеться внимательней — а тем более если вы привыкли вглядываться,— признаки можно обнаружить. По строению лица, главным образом по тому, как скошена от скулы к челюсти щека. Еще по тому, как опускаются веки. Глядеть нужно было пристально, это правда. Но на Юге женщины именно так и глядят. Для них она предмет гордости, эта способность распознавать негритянскую кровь. И угадывать беременность до того еще, как о ней объявлено официально,— и точно определять сроки. Кровь и деторождение — это занимает их превыше всего.

На Юге большинство признало бы в Роберте негра. На Севере его приняли бы за белого.

После Роберта шла Нина, младше меня месяца на два; в то лето, как мы вернулись в Мэдисон-Сити, ей, стало быть, почти сравнялось восемь. Потом — разрыв в три года; тот ребенок умер. И дальше — Крисси, Кристин. Обе девочки белокожие, с рыжими, как у брата, волосами. Другая кровь сказывалась в разрезе и цвете глаз, в восковой бледности кожи, в окраске ногтей.

Почему я все это знала? А потому, что недаром в солнечные и пыльные послеобеденные часы проводила столько времени у разных знакомых, сидела и слушала, о чем беседуют на веранде дамы, училась видеть, как они...

Точно так же они меня просвещали по части генеалогии. Я и поныне большая мастерица опознавать приметы негритянской крови и пересказывать наизусть нескончаемые родословные, записанные в семейных библиях. У южан на это, можно сказать, особый талант.

Занятная штука — память. Есть промежутки времени — месяцы, целые годы,— о которых я ровным счетом ничего не помню. Просто пустые пробелы, и нечем их заполнить.

Причем, я ведь старалась. Ибо, сама не знаю отчего, прониклась убеждением, что стоит только вспомнить — собрать все куски воедино — и я пойму. И все-таки мне не удается. Где-то я их растеряла.

Как мы прибыли к деду, я помню. Помню, как ехали на поезде; из всех поездок — одну только эту. А что я подумала про дом — нет. Что подумала про Маргарет и ее детей — не помню. Может быть, вообще ничего не подумала.

Не помню, когда я догадалась, что дети Маргарет — это и дети моего деда. Даже такую вещь и то не запомнила. Очевидно, это дошло до меня понемногу, само по себе, как и все прочее. У меня никогда не бывает великих прозрений — я для этого слишком тупа. Истина проникает в меня мало-помалу, капля по капле, закрадывается в сознание, а когда встает там во весь рост — я с ней уже успела свыкнуться. Вероятно, так получилось и с правдой о детях, нажитых дедом и Маргарет. К тому времени, как я догадалась, к тому времени, как поняла, казалось, я всегда ее знала.

Никто меня не просвещал на этот счет. Я уверена. Что думала мать, не берусь судить, но она не обмолвилась ни словом. Она всегда делала вид, будто дети Маргарет появляются сами собой.

Возможно, она затем и рассказывала мне все эти старые негритянские сказки про Альберту. У Альберты, вообразите, дети появляются сами собой, без всякого отца. Забираются к ней украдкой как-нибудь в преддверии туманного утра, забираются тихо-тихо — как росинки ска-

тываются с кончиков сосновых игл. Да, дети у нее получаются без отца и рождаются тоже в одиночестве, на вершинах самых высоких холмов, где кроме шумливых соек ни одна живая душа не слышит, как задыхается в муках роженица.

Больше Маргарет не было дано детей. Последний родился — и умер — за два года до нашего приезда, так что лишь гораздо позже, уже взрослой, мне довелось узнать, что в отличие от Альберты Маргарет не уходила на холмы рожать в одиночестве. Она садилась на поезд, ехала в Кливленд и рожала в тамошней больнице. Таким образом, в свидетельстве о рождении не значилось слово «негр».

Впервые разговоры о детях Маргарет я услышала в школе, от девочки из моего класса — третьего, кажется. Голубоглазой девчонки в белобрысых кудряшках — на ночь мать ей всегда накручивала их на папильотки. Слова сопровождались гаденьким смешком, а у меня в голове возникла лишь одна мысль: ну да, я знаю. Но нельзя было допустить, чтобы девчонке это сошло с рук — пострадал бы престиж Хаулендов. Спустя два дня я вылила на покрытое завитушками темя полпузырька туши. А еще через неделю изловчилась накапать ей на макушку лаку для ногтей. Когда она заметила, он уже засох. Так и просвечивал сквозь жидкие волосенки.

Я не была потрясена, уязвлена... Просто кто-то сказал словами то, что я давным-давно знала.

Дети Маргарет, разумеется, в эту школу не ходили. Они учились в негритянской, кварталов за пять от нашей. Мы даже добирались туда порознь. Меня по утрам возил либо дед — если у него бывали дела в городе,— либо Оливер Брендон. Оливер служил у деда с двенадцати лет, был приставлен то к одной работе, то к другой. Сейчас ему шел пятый десяток, и делать он умел решительно все, от врачевания хворых животных до возни с автомобилями — а возиться с автомобилями в те времена приходилось достаточно. Сломать на дороге ось в какой-нибудь рытвине было самым обычным делом.

Автомобили в наших краях были редкостью. Отчасти потому, что в стране еще свирепствовал кризис. Я думаю, во всем городе их набралось бы штук десять, не больше. От них еще лошади шарахались.

Но я тем не менее каждое утро катила в школу — от силы две мили по прямой, а на машине добрых пять, потому что приходилось выбирать лучшие из грунтовых дорог. По времени выходило почти то же самое, что у Маргарет с ее детьми. Те ездили на повозке, новенькой — такой и править легко, и мулу не обременительно. Маргарет возила их каждый день, а заодно и других негритянских ребятишек, какие попросятся. В ненастье она обычно заворачивалась в старый дедов дождевик, а дети, в непромокаемых курточках, забивались на самое дно повозки. В хорошую погоду они восседали рядом с ней на козлах. Но что бы ни случилось, они ехали. Каждый день. Тут она была неумолима. Мне разрешалось сколько угодно придумывать себе насморки, ангины и головные боли и по целым дням бездельничать в постели, строя из одеяла палатку. Мама не возражала. Но если начинал жаловаться кто-нибудь из детей Маргарет, та не обращала внимания. Роберт не один день хныкал, что болен, пока наконец весь не пошел плоскими прыщами ветрянки. Тогда Маргарет позволила ему остаться в постели, но она уже перегнула палку: он схватил воспаление легких и чуть не умер. По всему дому раздавалось его трудное хриплое дыхание. Даже сквозь шум бурной весенней грозы, бушевавшей за окнами.

Дед с Оливером Брендоном поехали за доктором Гарри Армстронгом. Они ввалились в прихожую, вода лилась с них ручьями, и дед стал во всю глотку звать хозяина.

— Господи помилуй, дядя Уилл,— сказала с порога гостиной мисс Линда Армстронг,— он только вышел на минуточку на погреб, посмотреть, нет ли крыс.— Она была хорошенькая и держалась смело и сейчас улыбалась ему прямо в лицо, чего ни одна благовоспитанная барышня себе не позволит.— Может быть, посидите немножко, поговорите со мной?

— Сходи за ним,— сказал дед Оливеру.— Дверь в погреб сразу за кухней.

— Боже мой, дядя Уилл, как же вы торопитесь. Захворал у вас кто-нибудь?

— А с чего бы иначе я сюда явился звать врача?

— Ай-яй-яй.— У нее были волосы цвета соломы, большие карие глаза и ладная грудь.

На него это, казалось, не произвело впечатления.

— Ты выросла, Линда,— сказал он.— Я тебя еще с косичками помню.

Вернулся Оливер с Гарри Армстронгом. Все трое запахнули на себе плащи и уехали, а Линда, дождавшись, пока гроза на секунду стихнет, шмыгнула в аптеку, чтобы рассказать, что Хауленды все поголовно ненормальные. Вечерами, накормив отца ужином, она частенько захаживала в аптеку поболтать. Она любила общество, и всегда кто-нибудь шел провожать ее домой.

Автомобиль выехал за город, покатил по дороге, набирая скорость,— и тогда только дед сказал Гарри Армстронгу, кто захворал.

Гарри Армстронг лишь покрутил головой, словно не веря.

— Черт побери, Уилл, и ради негритенка ты вытащил меня из дому в эдакий вечер?

— Выходит, так,— сказал мой дед.

— Ты же говорил, это Абби-маленькая.

— И не думал,— сказал дед.— Это ты заключил сам.

— Проклятье,— сказал Гарри Армстронг.— Мне ведь и с моей практикой надо считаться.

Они въехали в размытую колдобину, и желтая вода веером развернулась по обе стороны машины, брызжа внутрь сквозь щели в окнах. Автомобиль мотало и заносило в сторону, но все-таки он удержался на дороге и, елозя по сыпучему гравию, опять выбрался на укатанное полотно. В машину попала вода, Оливер Брендон достал тряпку и принялся вытирать.

Гарри Армстронг стер со щеки грязную кляксу и продолжал свое:

— Тебе, Уилл, черт возьми, с такими деньжищами можно не волноваться, но ты подумал, во что твоя идиотская выходка обойдется мне? Что останется от моей практики, когда люди пронюхают, что я лечил негритянского мальчика? Как ты себе представляешь?

— Да катись они к дьяволу,— сказал дед.

Они все еще переругивались, когда доехали и вошли в дом. Гарри Армстронг осмотрел Роберта, дал ему кодеина, чтобы помягчало в груди; дал аспирина, чтобы сбить температуру; дал виски, чтобы поддержать силы. Что еще можно сделать, он не очень-то знал и потому оставил у больного Маргарет, а сам вернулся на кухню.

Мы ждали: я, дед и мама.

— Ну, пожалуй, поеду домой,— сказал он.

— Садись, поужинай,— сказал дед.

Гарри Армстронг покачал головой.

— Спасибо.

— Ты же дома не успел,— сказал дед.

— Ничего, приеду — поем.

— А я тебе говорю, что ты ночуешь здесь.

Гарри Армстронг вытаращил глаза. У него нашлось бы что сказать, не будь при этом моей матери. В конце концов он просто опустился на стул, со свистящим вздохом.

— И что я тебе сделал, Уилл? — Он повернулся к матери.— Твой отец, Абигейл, просто-напросто угробил меня сегодня.

Она взглянула на отца и ничего не сказала.

— Остаться на всю ночь лечить негритянского ребенка — да какой из моих пациентов это стерпит!

Тонкое лицо матери сделалось твердым и озабоченным.

— Папочка, он прав,— сказала она.— Нам об этом следовало подумать... Дядя Гарри, ветрянкой заболела моя Абигейл.— Она в раздумье поглядела на меня.— Детка, я вижу, у тебя выступила сыпь. Ложись в постель, а доктор сейчас придет.

Я только рот разинула. Дед хмыкнул.

— Дядя Гарри,— сказала она,— вы остаетесь ночевать, потому что ваша маленькая племянница сильно расхворалась. Тут уж никто не придерется.

— Д-да,— с запинкой сказал Гарри Армстронг.

— Несколько дней — а то и недельку — она у нас побудет в постели.

— Эй-эй,— сказала я.

— Во всяком случае, барышня, посидишь у себя в комнате.

Дед опять хмыкнул.

— Садись, Гарри, поужинай.

— Во всяком случае, Маргарет будет очень рада, что вы здесь,— спокойно сказала мать.— Она вся извелась от тревоги за мальчика.

Да, вот такая штука. Мама любила Маргарет. Возможно, потому, что у Маргарет было все, чего не хватало ей самой: рост, сила, физическая выносливость. Возможно, мать была так уверена в незыблемости собственного положения, что не могла воспринимать как угрозу существование черной любовницы своего отца. А возможно, и совсем просто: моя мать была леди, а настоящая леди неизменно любезна и мягка по отношению ко всем...

В тот вечер, пока я еще не легла в постель, Гарри Армстронг все-таки подсел к огню на кухне выпить стаканчик виски, разбавленного водой. И даже роптать перестал. Всю ночь он каждый час наведывался к Роберту, а в промежутках вместе с дедом тянул виски. Наутро Роберту стало получше, так что, может быть, и вправду подействовала какая-то незаметная простому глазу врачебная хитрость.

А я всю неделю просидела у себя в комнате, и дед мне приносил любые книжки, какие только пожелаю; «Робинзона из швейцарского семейства» сменяли «Похищенный» и «Мальчишки Джо». Я проводила время шикарно: читала, глядела, как по оконному стеклу струится дождь. Я никогда не отличалась особым пристрастием к урокам в школе.

Так эта история и не получила огласки, хотя знали про нее многие. А когда я по-настоящему заболела ветрянкой, у нас объявили, что это повторный случай кори.

Роберт, пролежав три недели, поднялся и ковылял по дому на нетвердых, дрожащих ногах. Он был такой бледный и худой, что на солнце казалось, будто он просвечивает насквозь.

Наконец он совсем поправился и мог бы вернуться в школу, но было уже поздно: начались летние каникулы. В сентябре он уехал в закрытую школу с пансионом в Цинциннати. Ему было тогда одиннадцать лет, и больше он ни разу не приезжал домой, во всяком случае до тех пор, пока не стал совсем взрослым. Но это уже особый разговор.

С деньгами в ту пору из-за кризиса приходилось туго, и все же для Роберта у деда всегда находились средства — и на школу, и на лагерь, и на поездки к друзьям. Должно быть, ему это очень дорого обходилось тогда, но он все равно изворачивался, потому что мальчик был его сыном, единственным, какой был ему дан,— и потому что так хотела Маргарет.

Маргарет не навещала Роберта никогда, а он никогда не приезжал на Юг. Это она тоже так хотела. Зато дед раз в год — обычно в середине зимы, когда в работе наступало затишье,— садился на поезд и ехал на Север поглядеть, как у сына идут дела. И, разумеется, Роберт писал матери письма — раз в неделю, как полагалось по школьным правилам.

Мне вспоминаются и другие письма. Вспоминается, как дед в одних носках (заляпанные грязью башмаки он оставил на заднем крыльце) входит в гостиную с почтой. Мама отбирает из пачки один конверт и показывает: «Видишь, папочка, не распечатан,— и бросает в огонь.— Вот мой ответ».

Я тогда заметила это и намотала на ус, но думать — не думала. А теперь вот иногда задумываюсь: сколько же писем от моего отца непрочитанными вспыхивали, и коробились, и съеживались в пупырчатый пепел в камине нашей гостиной.

Дни катились быстро, только поспевай. Народу вокруг было не так уж много, зато тьма интересного и любопытного. Просто тьма.

Чего стоили хотя бы густые тростниковые заросли под нашей усадьбой, возле реки. Помню, кто-то из мужчин нашел там исполинскую гремучую змею, в мою руку толщиной; голову ей раздробили топором. Тот, кто ее прикончил, потом принес змею в дом показать, и что-то еще жило в ней, что-то двигалось. Наши собаки, подвывая, отползли прочь.

Помню, как задевали о доски нашего дома ветви ореха-пекана. Неясные, скрипучие касания, призрачные шумы, заполонявшие мои сны... Лай охотничьих собак: любовно подобранный хор. И лица мужчин в пламени сосновых шишек, разгоряченные, красные. Охота на доморощенный лад: пешком и чтоб побольше виски... Мычание коров, когда их гонят на сухое кукурузное поле... Горьковато-сладкий запах свежескошенного сена; крепкий, чистый аромат готового стога, когда съезжаешь с него вниз... И какой бывает земля при луне: гладкой и ласковой, как вода, и даже глыбы камней в лунном свете нежны и полны мягкости. Кости земли, так зовут старики эти белые меловые жилы, где хоронили великанов, где землетрясениями выпучило наружу их кости... И какой бывает иней по ночам, тяжелый и синеватый и будто литой; на крыше, на земле... Ястреб, куриный разбойник, застигнутый выстрелами дробовика, волчком крутится в падении... Мой ручной енот, разорванный собаками на клочья окровавленного меха... И — вновь и вновь — животные в родовых усилиях. Коровы на выгоне, изредка кобыла под кровом сарая. Кошки под крыльцом: спина выгнута дугой, грудь припала к земле. И собаки — эти щенились на кухне, под присмотром Оливера, а дед тем временем тыркался по дому, что-то прилаживая и прибивая, что требовалось сделать уже не один месяц, но у него почему-то до сих пор не доходили руки.

Сердце его было отдано собакам. К скотине у него, в сущности, не лежала душа, и разводил он ее лишь потому, что это приносило деньги. Он содержал породистый скот, ухаживал за ним по всем правилам и не получал от этого ни капли удовольствия. Когда время от времени в стаде околевала овца или корова, они с Оливером шли проверить отчего.

Иногда причиной было увечье. Кое-где по склонам пастбищ были крутые каменистые обрывы; скотина оступалась и кувырком летела вниз, а после, со сломанной ногой, животное издыхало от голода. Определить это можно было с первого взгляда: кожа на нем обвисала складками. И еще можно было определить, когда они погибали от змеиного укуса: только одна укушенная нога раздута, а все остальное — вполне нормально. Если же раздуто все туловище, тогда это отравление: овечий лавр, джисонова трава, какой-нибудь из ядовитых кустарников или ползучих сорняков. Дед, бывало, пнет тушу ногой и сморщит нос от смрада.

— Вот тупые твари,— говорил он.— Знают, что отрава, и все равно жрут.

Коров и холощеных бычков он считал глупой скотиной, а своего племенного быка просто ненавидел. Бык у него был красавец, эдакое великолепное чудовище с кольцом в носу; его держали на отдельном выгоне у подножия персикового сада. Однажды во время грозы в сосну, под которой он спрятался от дождя, ударила молния, быка сильно покалечило, и пришлось его пристрелить. Дед принял это известие чуть ли не с удовольствием, хотя оно сулило ему денежный урон. Он пошел в чулан, где хранились порох и патроны, и со зловещим видом извлек оттуда горсть крупнокалиберных патронов. Другого быка он не покупал, потому что к этому времени с помощью министерства сельского хозяйства фермеры стали применять искусственное осеменение.

Скотоводство оказалось делом прибыльным, и дед стал мало-помалу сокращать участки хлопчатника и увеличивать поголовье скота. И все же — не считая собак — он так и не приучился любить животных. Он никогда не держал лошадей для развлечения. И старался иметь как можно меньше дела со своими мулами. В отличие от меня, он, если только не случалось что-то из ряда вон выходящее, никогда не заглядывал в загон рано поутру, когда начинают запрягать. А я любила сидеть на поперечине забора, над едко пахучей, взбитой копытами грязью. Ни травинки — все дочиста изжевано длинными желтыми зубами. Листва на деревьях тоже обглодана повсюду, куда могут дотянуться животные. Даже у стволов линялый вид: с них ободрана вся кора. Мулы при каждом удобном случае норовили почесаться о дерево. Их поливали, опрыскивали, умащали мазями, и, правда, у них на спине и на лопатках никогда не видно было тех глубоких, похожих на шрамы с белыми краями ссадин от сбруи, какие так часто встречаются у рабочего скота,— но они почему-то никак не могли отделаться от зуда. Они были непонятливы и строптивы и любили кусаться. Сколько раз мне приходилось кубарем скатываться с забора, оттого что кому-то из них вздумалось меня цапнуть.

Едва их принимались запрягать и заводили в оглобли (например, во время уборки урожая, когда ни одно животное на ферме не остается без дела), как поднимался гам. Мулы фыркали и вопили благим матом; на них, в свою очередь, гаркали работники, дубасили их палкой, ладонью, кулаком; выкручивали ухо, выкручивали хвост. А там поднималось солнце, начинало припекать, и в носу щекотало от крепких, сладковатых запахов пота, скотины и навоза.

Со временем дед избавился от мулов вовсе, а вместо них завел целый табун тракторов. В первый раз, как они были готовы выйти в поле, он втянул в себя резкий, чистый аромат бензина и сказал мне:

— Пахнет в тысячу раз лучше любого мула.

Он был своеобразный человек, человек вполне сложившихся вкусов. Из животных он признавал только своих псов. Сам он не питал особой страсти к охоте, но свору держал превосходную. И когда —

раза три-четыре в год — он затевал охоту, к нему съезжалась вся мужская половина округа. Одно удовольствие, говорили люди, посмотреть таких гончих в деле. А у охотничьего пса, известно, век короток — тут и случайности охоты, и болезни, и просто чрезмерное напряжение, так что Уильяму Хауленду приходилось вкладывать в собак немалые деньги. Но его это как будто нисколько не волновало, хотя, как правило, он был достаточно прижимист в денежных делах. Я сама была свидетельницей того, как он отдал пятьсот долларов за приглянувшуюся ему породистую суку. И всякий раз, как рождался новый помет, он поспешно приходил и осматривал щенят, когда они гурьбой возле матери, тычась мордочками в сосцы. Он всегда считал, что по новорожденному псу можно судить о многом — можно, по сути дела, увидеть, каким он будет взрослый,— но лишь пока он еще мокрый и взъерошенный и не превратился, как все щенята, в косолапый колобок. Дед совещался с Оливером, и они отбирали щенка, которого хотели оставить себе, и делали на нем отметину, потому что пройдет день, и он ничем не будет отличаться от остальных.

Я верю в этот способ поныне; верю, что можно увидеть будущее в только что народившемся щенке...

Сколько я помню, в усадьбе Хаулендов всегда было больше животных, чем людей. И, должно быть, животные были важней, потому что скотина — это бизнес, она стоит денег, а люди — что ж, разве только они тебе родные, а так с ними и встречаешься-то лишь изредка. Зимой была школа, но это едва ли что-нибудь меняло: я жила за городом и не слишком много общалась с другими детьми; летом же вообще мало кого видела, кроме тех, кто жил с нами. В воскресную школу я не ходила — наверно, и дед, и мать просто упустили из виду, что это полагается. В церкви мы тоже бывали только по случаю свадеб, крестин или похорон. По правде говоря, их мало что отличало друг от друга. Те же пироги и лимонад для маленьких, то же виски для взрослых.

Я не слишком задумывалась о том, откуда берутся и куда уходят люди. Признаться, я про них вообще почти не думала, когда они были рядом.

Для меня существовали лишь я сама да дочери Маргарет — Крисси с Ниной, до остальных мне не было дела. С Робертом у нас всегда было немного общего. Даже когда мы жили вместе, он с нами не играл. Во-первых, он был старше, а во-вторых — мальчик, и мальчик серьезный. Все свободное время сидел в солнечном углу заднего крыльца и читал. Это мать приучила его быть таким.

И потому нас было трое. Три девочки на всю усадьбу. А она к тому времени стала очень обширной. У моей прапрабабки в дни Реконструкции покупка земель стала настоящей страстью. Сама она родилась в городе и потому, говорят, ненасытно жаждала все новых просторов в сельских местах. Это она откопала старые письма и выяснила, что ферма Хаулендов когда-то называлась Шерли. Она пыталась восстановить прежнее название; во всех ее бумагах и дневниках ферма значится под этим именем. Однако из этого ничего не вышло, и после ее смерти все, как повелось издавна, стали опять говорить «у Хаулендов». Названия она не изменила, но размеры и границы имения — да. И потом, она скупила большую часть лесных угодий, которым суждено было впоследствии обрести такую ценность.

Когда я была маленькой, на эти земли только начинали поглядывать и дед только начинал отдавать себе отчет в том, какое у него в руках богатство. Он не спешил. Если он когда-нибудь решит заняться

лесоразработкой, то развернет дело по-настоящему; а не так, чтобы где-то тарахтела одна завалящая лесопилка... Это говорил он нам, трем девчонкам, когда возил с собой по песчаным гривам на лесные делянки.

Один раз мы наткнулись на винокурню, учуяли по запаху еще издалека. Дед только посмеялся и сказал: «С них бы, по закону, следовало взыскать арендную плату». И написал об этом на бумажке, и оставил там. А дня через два на кухонном столе стояла за ужином бутыль первача. Дед объявил, что это ужасное пойло, что люди ничего не смыслят в том, как делать виски, и отдал бутыль Оливеру.

Я, Крисси и Нина. И все... Дед гостей не любил. Мама все больше предпочитала тихо сидеть дома, читать или отдыхать — сил у нее было маловато. А в город мы гулять не ходили, это было слишком далеко. Конечно, на ферме жили десятки других детей, негритянских ребятишек из хибарок арендаторов и издольщиков, разбросанных по имению. Но мы как-то с ними не играли. Не знаю почему. Большей частью мы их даже не видели; случалось, что заставали их где-нибудь в разгаре игры, но тогда они просто шли на другое место. Не играли с нами, да и только, хоти не хоти — нас чурались. Они нас не принимали к себе, и постепенно мы прекратили попытки с ними сойтись и забыли об их существовании. Я так хорошенько и не знаю, отчего это происходило. Городские играли с белыми ребятами. Может быть, их отпугивали дети Маргарет, полукровки. Насчет меня, нравилась ли я им, нет ли, все было понятно; эти же были неизвестно что такое.

Меня почти никуда не возили, только на прогулки с детьми одних наших дальних родственников из города. (Ездила одна я. Крисси и Нина оставались дома.) Раза два в месяц мама отправляла за ними на машине меня с Оливером. Я всегда недолюбливала и эти пикники, и этих ребят. Они были младше меня, самый маленький был еще в пеленках, а звали их Клара, Реджи и Максим Бэннистеры. Они выходили к нам с няней, большой и толстой негритянкой, у которой постоянно была припрятана где-то в складках платья бутылка джина,— и мы ехали кататься. Всегда тем же путем и на одно и то же место — очевидно, Оливер просто выбирал самую лучшую дорогу. Первые полчаса катили по шоссе, на подъемах мотор тарахтел, но все-таки справлялся. На вершине Нортонова бугра, возле старого кладбища, где больше уж никого не хоронили, мы останавливались — прямо на берегу родникового озера, куда много народу ездило удить рыбу. Здесь мы выходили, и я делала то, что велела мама: дышала воздухом. Считалось, что в этом месте он какой-то особенно полезный. Мама мне что-то объясняла насчет озона, я только забыла, что именно. Вот мы и дышали: вдох, выдох; играли в салочки среди древних могил, разыскивали черепа и куски костей и пили из термоса лимонад, который непременно привозили с собой. Оливер — ему такие вылазки порядком наскучили — сидел на подножке автомобиля и вырезал из персиковых косточек диковинные фигурки. Он никогда не резал по дереву, а брал только персиковые косточки. И неизменно вырезал одно и то же: какую-то забавную зверюшку, возможно, обезьянку. Изредка, если косточка попадалась особенно крупная,— сразу двух зверьков, мордочками друг к другу.

— Это чего, а? — каждый раз приставала к нему я.

— Много будешь знать, барышня, скоро состаришься,— преспокойно отвечал он, и на том разговор был окончен.

Я так и не дозналась, что они изображают, для чего предназначены и куда он их девает. Раздает? Вряд ли, ведь потом они мне нигде не попадались на глаза. Но если не раздает, значит у него, наверно, ими набит весь дом там, у большого ключа по прозванию Плакальщица, где он живет со своей незамужней сестрой.

Ключ был прекрасный, расчищенный. Кто-то — не то мой дед, не то дедов отец — взял и вогнал туда большущую трубу, фута четыре в диаметре, и теперь, когда вы становились на колени, чтобы зачерпнуть воды, у вас под коленями была твердая, чистая терракота. Место за срезом трубы кто-то выложил камнями, да так тщательно, что получилось ровно и гладко, как на мостовой или на тротуаре. Это был мощный ключ; вода выбивалась из его горла и стремительно мчалась по камням в желоб. Переливаясь с камня на камень, она издавала жалобные звуки, за них ключ и прозвали Плакальщицей. Я всегда подходила к самому краю и заглядывала прямо вниз; дно любого родника представлялось мне волшебным и таинственным, хоть я и не сказала бы с уверенностью, что́ надеюсь там найти. Один раз заглянула и увидела двух крыс. Они были не на самом дне, а чуть повыше и слегка покачивались в воде; это означало, что они там давно и уже начинают всплывать. Я никому не стала рассказывать об этом, и, как видно, когда крысы поднялись на поверхность, их выудили — во всяком случае, было незаметно, чтобы Оливеру или его сестре повредила эта вода.

Я потом все обдумывала этот случай: может быть, это так полагается, чтобы в каждом роднике была крыса? Может быть, ее-то и вырезает Оливер?

В следующий раз, как мы поехали на пикник, я его спросила:

— Это крыса?

Он осмотрел со всех сторон кусочек сухой персиковой косточки.

— А что, похоже на крысу?

— Нет,— сказала я.— Я никогда такой не видела.

— Тогда, стало быть, не крыса,— сказал он.

— На обезьянку похоже.

Он опять поглядел, поворачивая фигурку в своих черных пальцах.

— Значит, ты видела такую обезьянку?

Пришлось сознаться, что нет.

— Ну, стало быть, и не обезьянка.

И больше никогда ни словечка не скажет, только велит идти играть, а то скоро пора домой, чтобы не волновалась мама.

На обратном пути кому-нибудь обязательно становилось нужно кой-куда, прямо невтерпеж. Оливер спешил поскорей доехать, нянька тоже, и мы не останавливали машину. Я думаю, имея при себе четырех детей, они всю дорогу должны были бы останавливаться. Но это не требовалось. Нянька отодвигала старую ковровую дорожку в задней части кабины и поднимала лист тонкой жести, прикрывающий отверстие в полу. А потом, придерживая коврик и крышку ногой, звала нас садиться. Когда надо было малышу, она спускала ему подгузничек и держала его над рваными краями дыры. Если же это был кто-нибудь из нас, мы справлялись сами. Так интересно было сидеть и, скосив глаза, глядеть, как под тобой, шурша, уносится назад неровный, расчерченный гудроном бетон. Только нянька никогда не давала нам засиживаться. Ей надоедало держать коврик и жестяную крышку.

Вот такие вещи я помню.

Тогда же примерно к нам прибились побродяжки. Они явились к черному ходу как-то под вечер в воскресенье, пришли вдвоем. Поднялись по тропке из леса, от реки: девочка — первой, а мальчик за ней, немножко поодаль. Лет им было на вид шесть и семь — обыкновенные негритянские ребятишки, только еще больше оборваны, чем другие. Медленно — скорей не спеша, чем неуверенно — дошли до самых дверей. Потом повернулись и молча сели на ступеньки. И, уткнувшись носами в колени, задремали, как утята.

Мама подняла брови:

— Беспризорники?

Дед кивнул:

— Похоже, что эта двоица у нас погостит.

Так оно и случилось. Они пробыли у нас почти месяц. Все с ними обходились очень ласково, потому что недаром говорится: прогонишь побродяжку с порога, так года не пройдет, сам будешь голодать.

В те тяжелые годы народ снимался с места массами. Дед рассказывал, что по большим дорогам потоками движутся люди на грузовичках, нагромоздив вокруг себя весь домашний скарб, все тюфяки и подушки,— едут на новые места. Одни в город, искать работы; другие из города, искать земли для поселения. И немудрено, что в эдакой кутерьме какие-то дети теряли родителей. Могло случиться, что взрослые поумирали (так, в тридцать шестом году выдалась лютая зима, когда людей косило направо и налево, вымирали целыми домами); может быть, просто двинулись дальше, а кое-кого из детишек взять забыли. Случалось, что не забывали, оставляли умышленно. Такое уж было время.

Вот эти брошенные дети и становились бродяжками. Блуждали маленькими стайками, как бездомные собачонки, по двое, по трое, по четыре. Иногда это были брат с сестрой, иногда — так, столкнулись где-нибудь на дороге. Они проходили поразительно большие расстояния, если учесть, какие среди них попадались малыши. Сами не знали, кто они такие — большей частью помнили только свое имя,— и идти им было некуда. Они обитали на полях, в глуши леса, а то выискивали себе пещеру и на время забирались туда. Те, что постарше, умели по ночам скользить, как тени, и тянули все, что им было нужно. Зимой они находили прибежище в коровниках, ночевали вместе со скотом, который тайком доили целое лето.

А бывало, они являлись, как эти двое, прямо под дверь и ждали, пока им дадут поесть. Ближе к ужину Маргарет наложила им по десертной тарелке и вынесла на крыльцо. Они ели без ложки и вилки, неотрывно и грациозно, как кошки. А когда поели, скрылись. Потом приходили опять, раза два в день, словно не могли запомнить, когда у нас садятся есть.

— Ты, папочка, должен что-то предпринять,— настаивала мама.

— Я их кормлю.

— Ты знаешь, что я имею в виду.

Он качал головой.

— Хочешь, чтобы я их в клетку посадил?

— Ну что ты говоришь!

— В мире полно обездоленных,— неторопливо говорил он,— и обо всех не позаботишься... Эти крохи тут все равно не останутся. Их не удержишь даже едой.

Он был, разумеется, прав. Настал день, когда они исчезли. За весь месяц они ни с кем не обменялись ни словом и ничем не выдали, что собираются уходить. Просто наступил день, когда они больше не пришли...

Мы не знали, ни кто они, ни откуда родом. С побродяжками всегда так бывало.

Еще я помню, как началась война. Мы не включали радио в то воскресенье, потому что весь день работали не покладая рук. Было время убоя свиней. В школе многие девочки говорили, что не могут вынести этого зрелища, но мне было как-то ничего, да и потом дед считал, что я должна учиться. Работа по-настоящему начиналась уже накануне, когда на заднем крыльце точили ножи — обоюдоострые мясницкие ножи.

Кабанов к тому времени загоняли на бойню; два дня они не принимали пищи, зато Оливер с двумя помощниками просто сбивался с ног, то и дело наливая поилки. В день убоя ранним утром, еще до рассвета, помощники начинали подкладывать лопатами в бочки с кипятком золу от березовых поленьев, чтобы шпарить щетину. Являлись мясники, целых трое, специально нанятые в городе. Пробовали ножи, пробовали воду (от слишком горячей щетина грубела и ее становилось тяжело соскабливать). И после этого, как раз когда начинало рассветать, брались за работу. Кабанов старались не пугать, выводили из загона по одному, по два; но почему-то это никогда не удавалось. Последние всегда обезумевали, и их приходилось валить ударом по голове или пристреливать из ружья. Стрелял Оливер; становился на краю загона и всаживал пулю за пулей в головы, хрюкающие и визжащие у него под ногами. Дед командовал, когда начинать, но всегда неохотно.

— Жалко, внучка,— говорил он мне,— совсем не тот будет вкус у мяса. Пока мы до них успеем добраться, сердце уже остановится.

По правилам кабану полагалось всадить нож над самым сердцем, перерезать все вены и артерии, какие есть, и чтобы сердце само выкачало из себя кровь...

Едва Оливер кончал стрельбу, загон наполнялся людьми: туши тащили обмывать и обскабливать, потом каждой вспарывали брюхо, распластывали надвое и подвешивали. Дед все это время хлопотал вокруг, приговаривая:

— Живее остужай. Распластывай да сажай на распорку.

Когда мясо было наконец разделано и засолено в бочках, готовое к копчению, стоял уже поздний вечер. Дед к тому времени валился с ног от изнеможения, а я успевала раздобыть пару свиных пузырей на мячики.

Мы сразу шли спать, а мама суетилась вокруг и причитала над нами:

— Ты, папочка, совсем изведешь ребенка.

Дед, согнутый усталостью в три погибели, даже ростом казался ниже.

— Должна знать, как ведется хозяйство.

Мать в тот день не слушала радио (она его и вообще-то не включала, предпочитала читать) и ничего не знала про Пирл-Харбор. Мне только на другой день сказали, в школе.

Часам к десяти утра мы все вышли из классов и собрались в нижнем зале слушать, как президент будет просить, чтобы конгресс разрешил ему объявить войну. В школе был всего один маленький репродуктор, и его включили на полную мощность, чтобы всем было слышно. Слова доносились невнятно и совсем неразборчиво, и я, помнится, удивлялась, из-за чего все так волнуются. Я не понимала. Для меня война началась, когда на фронт уехал отец, а с тех пор минуло больше двух лет.

Кое-что новое у нас появилось. Например, самолеты. Прежде их, бывало, почти не увидишь — линии регулярного воздушного сообщения проходили от нас в стороне. Теперь же их налетела тьма-тьмущая; взмывали вверх, снижались, так что все дребезжало в домах, и распугивали скот хуже всяких слепней.

Случались и происшествия. Время от времени проносился слух то об одном, то о другом. Моя троюродная сестра Эстер — она жила на отцовской ферме, чуть северней от города — как-то ночью проснулась и решила, что их дом рушится. Над ними, рассчитывая сесть на хлопковое поле, пронесся учебный самолет. В темноте он промахнулся, проскочил поле и взорвался, врезавшись в лес. От него занялся лесной пожар;

огонь, сжирая на своем пути деревья, молниеносно перекинулся на холмы, а ветер нес его все дальше. Войска — их нагнали сотнями — трудились двое суток, пока водворили огонь в нужные границы и стало можно потушить пожар взрывами. У Эстер сохранился осколок стекла от того самолета. Он откололся наподобие сердечка и был отшлифован пожаром. Ее отец просверлил в нем дырочку, и Эстер потом носила стеклышко на тонкой цепочке вместе со своим золотым крестиком.

Кроме этой оплавленной стекляшки, война почти не оставила ощутимых следов в наших краях. Изредка попадется кто-нибудь в военном, на здании почты вывесят плакат, посвященный морскому флоту. Ну, и в городке заметно опустело. Молодых забрали в армию. Мужчины в годах и молодые женщины подались в Мобил, в Паскагулу, в Новый Орлеан работать на верфях. Вот и остались одни женщины с маленькими детьми да еще те, кто не пожелал бросить дом и отправиться на заработки с мужьями.

Из работников большинство поразъехалось. Хлопок мотыжили дети, они же его собирали, и от такой уборки у деда переворачивалось сердце. Впрочем, цены были настолько высоки, что все потери окупались, да и вообще дела у него обстояли далеко не так скверно, как у иных из соседей. Под хлопком земли теперь было не слишком много. Коровы и свиньи мужских рук почти не требовали. К тому же дед усиленно, как никогда, занимался разработкой леса. На дальнем склоне одной из грив работала день и ночь большая новая лесопилка, и к ней специально подвели железнодорожную ветку.

Каждый вечер и по утрам дед с матерью слушали радио; он повесил на стене в столовой карту и отмечал ход военных действий. И это было все. Или, может быть, все, что мне удалось заметить. Я тогда была поглощена попытками изловить обруч-змея.

Охотились мы за ним вместе с Ниной. Впервые нам про обруч-змея рассказала Маргарет — про длинного черного змея с улыбчатой мордочкой и страстью к играм и забавам. Как народится новый месяц, змей выползает на грунтовую дорогу, возьмет хвост в рот и покатится обручем. И до того нравится ему эта забава, что он по пути распевает песенку. А песенка такая веселая, что все звери выходят и слушают: и еноты, и опоссумы, и другие змеи, и олени, и рыси. Мышата и кролики вылезают на порог своих норок. Даже птицы и те просыпаются и тоже слушают.

И вот мы с Ниной, едва взойдет молодая луна, выберемся потихоньку из постели и встретимся за птичьим двором. Мы проглядели все глаза, озираясь на много миль кругом, и за этим занятием проводили на ногах целые ночи. (А в школе я каждый божий день клевала носом за партой. Учительница, должно быть, замечала, но ничего не говорила. Она у нас была старенькая, и, если хоть кто-нибудь из школьников сидел тихо, для нее это уже было счастье.) Но несмотря на все наши старания, обруч-змей нам никак не попадался. Ни разу. Хотя следов мы видели уйму.

И еще во время бдений на дороге мы высматривали Джонни-Ку-ку. Это такой калека-солдат, он шагает взад-вперед по безлюдным дорогам, и песенку про него знают все дети. Мы в общем-то не очень надеялись его увидеть, ведь он обыкновенно выходит темными ненастными ночами, когда хлещет дождь и дует ветер и он уж конечно перепачкается с ног до головы. Но мы все-таки были начеку. Мало ли что.

В ту пору я на улице чувствовала себя куда больше в своей тарелке, чем дома. Дома было жутковато и непривычно, и творились какие-то непонятные мне вещи. Мне никто ничего не говорил — волей-неволей на-

учишься сама все выведывать,— но я знала, что мама умирает. То там, то тут я слышала, как люди шушукаются: «туберкулез», но ведь у скольких людей вокруг был туберкулез, а им это вроде бы не слишком вредило и уж во всяком случае не грозило смертью. Я прямо не знала, что и думать.

В один прекрасный день Маргарет собрала мои вещи, усадила меня в машину, и мы с Оливером поехали в город к родным, тем самым Бэннистерам. По дороге он сказал, что дети Маргарет пока поживут у него. По-моему, он — а его сестрица старая дева и подавно — был не в восторге, что у них в доме первый раз появятся дети, но больше их оставить было не на кого.

Маргарет с дедом повезли маму в санаторий под Санта-Фе. Они пробыли там почти год. А вернулись только дед и Маргарет; маму там схоронили.

Но в тот облачный и ветреный июньский день, когда Оливер привез меня к дверям наших родственников и внес в дом чемоданы, всему этому лишь предстояло случиться. Клара, Реджи и Макси выстроились на крыльце и ждали. Макси грыз перила.

— Это свинец, отравишься,— сказала я; он перестал.— Ты что за ним не смотришь? — спросила я Клару.— Неужели не смыслишь ничего?

Мне не очень улыбалось у них жить, а город я вообще ненавидела: совершенно некуда скрыться от людских глаз. Все знают; когда идешь, куда идешь — в аптеку или к зубному врачу; и что ты съела, и что выпила — вишневую воду или лимонад. Никаких секретов, кроме тех, что держишь в голове...

Эти самые родственники (их звали Питер и Бетси Бэннистеры; у него было в городе торговое дело) были чуть ли не единственные, с кем мое семейство состояло в хороших отношениях. Другие (а их кругом были десятки) мне нравились гораздо больше, но наши одобряли только этих.

Все уходило корнями еще в начало столетия, во времена миссис Хауленд из Нового Орлеана, той самой, католички. Тут и вероисповедание ее сказалось, и то, каким способом разбогател ее отец,— словом, Хауленды ее приняли неважно и раскололись на два лагеря — одни ее признавали, другие нет. И вот теперь она уж давно была в могиле, а троюродные братья и сестры все еще дулись друг на друга. Я раз спросила у деда, почему мы не знаемся с одними родственниками — и живут совсем недалеко от города, и к тому же у них четверо сыновей, и старший — первая звезда по баскетболу в школьной команде. Дед пожал плечами.

— Глупость, конечно, внучка, но все-таки к моей бабке они отнеслись по-свински.

Несмотря на это, он ничего не делал, чтобы изменить положение вещей; возможно, у него хватало забот и с той родней, какая была при нем.

Потому-то я и очутилась у Бэннистеров. Дядя Питер все больше бывал в разъездах — не помню уж почему,— поговаривали, будто у него есть любовница в Бирмингеме. Он страдал диабетом и оттого не пил и не курил и брал с собой из дому судки с особой диетической пищей. Он вечно ел какие-нибудь фрукты, а в тех редких случаях, когда садился с нами вместе за стол, у него на тарелке было все другое. Много лет спустя, во время одной из пресловутых поездок в Бирмингем, ему случилось попасть на молитвенное собрание евангелистов, и он был обращен в истинную веру. Ну, а проповедник оказался заодно и целителем и объявил, что тому, кто уверует в милосердие и исцеляющую силу

господа, никакой инсулин не требуется. Он проводил дядю Питера домой со святым словом божьим, написанным на бумажке, свернутой в трубочку и надетой на шею на нитке. Дядя Питер уверовал и потому выбросил все свои шприцы, уселся на крылечке (а день был жаркий), молясь, чтобы бог сотворил чудо, и сидел так, пока не впал в кому. Тетя Бетси из опасения, что Питеру может не понравиться, если она прервет свершение чуда или что-нибудь в этом роде, не решалась вызвать врача; а когда доставила мужа в больницу, было уже поздно, и он скончался.

Но я жила у них еще задолго до того, как дядя Питер ударился в религию и тем самым покончил счеты с жизнью. Тогда это был просто славный и добрый человек, которого редко было видно в доме.

Тетя Бетси была маленькая толстушка, миролюбивого и беззаботного нрава. Она держала не то двух, не то трех человек прислуги, но в доме постоянно было грязно.

— Это все городская пылища,— клохтала она.— Забивается во все щели, хоть ты плачь.

Пылища забивалась и во все окна, потому что никто никогда не думал их закрывать, даже в дождь и ветер. Окна закрывались лишь от холода, когда наступала зима, но не ранее того. А тяжелая, жирная еда, запах которой ударял тебе в нос уже на нижней ступеньке крыльца, готовилась на черной дровяной плите (тетя Бетси все никак не могла собраться ее сменить, а кухарке нравилась именно эта), обросшей со всех сторон слоем жира и копоти в палец толщиной.

Двери, как и окна, всегда были распахнуты настежь, сетчатые ширмы от комаров провисли, частично открывая проход, и в дом вечно забиралась всяческая живность. В стенном шкафу при холле окотилась какая-то кошка — она была приблудная и отчего выбрала именно это место, не знаю,— но тетя Бетси все равно ее кормила, пока кошка не соизволила удалиться. А в окна верхнего этажа, понятное дело, залетали птицы и спокойно вылетали обратно. Дом был старый, и хозяева никак не могли удосужиться вставить оконные сетки на втором этаже. Спали мы все на кроватях с балдахином, под москитными сетками. (И, пожалуй, это было не так уж глупо придумано, потому что места здесь в ту пору были малярийные.) Однажды в верхнем холле, прямо над портретом тети-Бетсиного отца — того самого, что был избран в сенат от Южной Каролины,— слепили большущее гнездо осы. Хозяйка словно бы ничего не замечала, зато мы все до того боялись, что проносились мимо этого места пулей. Наконец они искусали кухаркиного мужа Джеффа, когда он менял лампочку на потолке. Он чуть не свалился с лестницы и со страшным грохотом уронил стеклянный плафон. Тогда они с женой устроили на ос облаву, обмотались в несколько слоев москитной сеткой и всех их повыгоняли. После этого в верхнем холле горела голая лампочка: абажур разбился, а тетю Бетси подобные вещи не волновали.

Волновало ее, насколько я помню, лишь одно. Нижнее белье. Белье у всех в ее доме всегда было новенькое и очень нарядное. За этим она следила строго.

— Ты представь себе, деточка,— объясняла она мне.— Вот ты вышла в город и вдруг попала под машину, тебя отвозят в больницу, и тут все видят, что трусики на тебе старые и рваные, а бретелька на рубашке заколота английской булавкой,— поневоле умрешь со стыда.

— И только подумать, что потом будут говорить люди,— пробовала отшутиться я.

Но до нее шутка не доходила.

— Вот именно,— серьезно подтверждала она.— Только подумать!

Впрочем, сказать по правде, мне жилось у них недурно — совсем недурно. Примерно раз в месяц меня приезжала проведать дедушкина сестра, тетя Энни; по-видимому, это был предлог проверить, все ли у Бэннистеров идет как надо. (Сама она была такая чистеха, что ее, наверно, мутило от этого дома.) В остальном же моя жизнь почти ни в чем не изменилась. Я ходила в школу, ту же самую, только теперь стало можно ходить пешком, и это было даже здорово, что нет надобности каждый день так далеко ездить. Оказалось, что и в городе есть чем заняться, стоит лишь привыкнуть. Есть чем заняться даже дома, хотя Кларе, Реджи и Макси это почему-то не приходило в голову. Нужно было, чтобы я им показала. Возможно, оттого, что они тут жили всегда и просто разучились видеть свежим глазом.

Взять хотя бы сам дом. Он был из тех курьезных городских зданий, которые столько раз достраивают и переделывают, что никто уже толком не представляет себе, где что находится. Спереди он был узкий, но очень вытянут в глубину и доходил почти до самого конца участка. Были в нем залы, и мезонины, и комнаты в разных уровнях. Эти пристройки делали многие и разные люди, но никто из них не позаботился подвести свое крыло к дому поаккуратней. Я один раз сломала руку: замечталась и полетела со ступеньки, ведущей из малой столовой на кухню.

Самые дальние комнаты дома — совсем сзади, за второй кухней — использовались лишь как чуланы для хранения вещей. Здесь было полно каких-то свертков и громоздких узлов; то вдруг попадется дохлая птица, то крысиный яд, какие-то старые сундуки, какие-то полочки для шляп. Иногда мы с Кларой, Реджи и Макси лазали в сундуки, в те, что были не заперты. Очень подходящее занятие в дождливую погоду. Многие из сундуков были набиты платьями. Чаще всего — подвенечными. Иногда материя была так воздушна, что чуть подцепишь бисеринку с отделки — сразу рвется. С эгреток, когда их вынешь, облетали и рассыпались в прах перышки. Были здесь надушенные меха, и, чтобы до них добраться, нужно было продырявить холщовые мешки, в которые они были зашиты. Были дневники, записки, письма. А в одном сундуке хранилось штук шесть старых пистолетов, две кавалерийские шашки и четыре парадные сабли. Вооруженные до зубов, мы играли в войну до самого вечера.

Я подозреваю, что мы изрядно портили все, что попадало к нам в руки. Но тогда я об этом не думала, да и теперь меня не мучает совесть, потому что все это валялось без толку, а моль и тараканы в конце концов сделали бы то же самое, что и мы, только не так быстро.

Это были восхитительные комнаты: душные, жаркие, в воздухе дымовой завесой стояла пыль, и в косых столбах света из немытых окон сновали пылинки.

Проходя по анфиладе чуланов, вы замечали, что они постепенно уменьшаются. Должно быть, когда-то в задней части дома помещались черные рабы и прислуга. В самом конце находилась даже не комната, а так, наскоро сколоченная пристройка. Она была окрашена в тот же цвет, что и дом, и на первый взгляд казалась такой же, как он, но на самом деле это была не жилая комната, а скорей сарайчик для садового инструмента. Стены изнутри ничем не обшиты — голые доски и шляпки от гвоздей,— а пол настлан кое-как, и в нем зияют широкие щели. Отсюда вела дверь наружу, во двор, но ее давным-давно забили, возможно, от воров. По древесине кровавыми струйками тянулись вниз от гвоздей ржавые подтеки.

Сама комнатенка была совсем пустая. Пыльный щербатый пол да грязные неотделанные стены И все. И не сказать даже, чтобы надежные стены. В отличие от остального дома — там стены были из досок клино-

образного сечения — здесь доски были сверху донизу плоские; между ними светились щели, а кое-где — большие глазки от сучков.

Дело тут было не в самой комнате. Дело было в том, что из нее видно. Мы обнаружили это случайно, но, раз открыв, бегали туда при каждой возможности. Специально поглядеть.

Эта комнатка была в каких-нибудь трех футах от дощатого забора в конце участка. Так вот, когда-то забор был высокий, но успел сильно покоситься, а кое-где прямо лег на стену дома. С земли, со двора Бэннистеров, казалось, что забор основательный, сплошной, и край его был где-то высоко над головой. Другое дело — когда вы стояли в доме: теперь у вас под ногами был фундамент, причем фундамент высокий, потому что дом строили в старину. (Раньше считалось, что высокие комнаты лучше проветриваются и меньше опасности заболеть малярией.)

Дом, что стоял позади и выходил на другую улицу, также тянулся в глубину почти до самого забора. Он хоть тоже был старый (новых тогда в городе насчитывалось немного), но с недавними пристройками. И к тому же пристройками, сделанными на медные деньги: приземистыми, почти без всякого фундамента. Окна были низкие, забор — высокий, и обитатели дома, наверно, думали, что их не видно. И никогда не трудились закрывать ставни. А нам из сарайчика, где хранились садовые инструменты,— да если еще встать на ящик,— сквозь щель в углу все было видно.

Мы видели туалетный столик какого-то темного дерева — не то орехового, не то красного. Туалет накрыт кружевной шалью, свисающей спереди фестонами, а с боков длинной бахромой. На столике — вереница фарфоровых безделушек, только мы не могли как следует их разглядеть. Мне казалось — это слоники, а Клара спорила, что фарфоровые куколки. Еще там стояла кровать с розовым покрывалом и двумя ярко-голубыми подушками. А жила в доме русоволосая дама, которую изредка удавалось увидеть. Ходила она всегда в одном и том же пышном розовом пеньюаре с оборочками. Материя была как будто жестковатая и блестящая — возможно, тафта. Лица дамы мы ни разу не видели, потому что изголовье кровати было в углу, за краем окна. И еще она, вероятно, не часто бывала дома — если только не ожидала гостя.

На каникулах мы каждое утро первым делом бежали к щели взглянуть, что творится в комнате напротив. Если там было пусто, шли играть во двор. И обычно держались поближе к забору на задах, а едва заслышав шаги по усыпанной шлаком дорожке и стук в дверь той пристройки, сразу мчались в сарайчик и там затевали перебранку, кому первым влезть на ящик.

Сначала она снимала с кровати розовое покрывало, чтобы не помять. Она всегда это делала быстро, сразу как только они входили в комнату. Длинные русые волосы с обеих сторон падали ей на лицо, когда она складывала покрывало пополам и вешала на спинку кровати. Потом она отступала в дальнюю половину комнаты и скрывалась из виду. Там, кажется, стояло еще что-то, может быть, стол со стульями, не знаю. Порой они сидели на той половине подолгу — мы прямо уставали ждать. Реджи один раз не поверил, что так долго ничего нет, и выдернул из-под меня ящик; я упала и ободрала себе ногу о шляпку гвоздя.

В конце концов они ложились в постель. Их головы не были видны за краем окна. Единственное, что мы видели, было сплетение тел. Иногда одетых, иногда обнаженных, но всякий раз это была та же колышащаяся груда; она двоилась и вновь сливалась воедино, вздымалась, и опадала, и содрогалась.

Мы подглядывали целое лето. Даже когда начались занятия в школе — пока не стало слишком холодно торчать под вечер возле щели в

сарайчике для садового инструмента; а к тому времени, как кончилась зима, мы все уже почти забыли. Нас больше не тянуло туда.

Кто она, нас не интересовало. Важно было не это. Важно было, что там делалось; много лет спустя, когда мне это вновь пришло на память, я вспомнила, что там жил доктор Гарри Армстронг — он приходился деду двоюродным братом — и что у его дочери Линды были русые волосы. Мать у нее умерла, отец был не богат, так что они держали всего одну прислугу; днем она готовила им обед, а холодный ужин оставляла на плите. Я не очень ясно помню Линду Армстронг. Она была намного старше и через некоторое время уехала в Чикаго искать работу. Там вышла замуж, поселилась в Де-Мойне и больше сюда не возвращалась. Когда ее отец совсем состарился, перенес удар и вроде как тронулся разумом, да и вообще стал почти инвалидом, он продал дом и переехал к ней.

Должно быть, мы тогда забыли унести ящики, они остались под щелью в стене и в конце концов кто-то их обнаружил и сообразил, что тут происходило. Потому что, когда я весной опять предложила туда сходить, у моих маленьких родичей появилось в глазах какое-то странное выражение и они сказали, что не пойдут — их больше не пускают. На их одутловатых, точно слепленных из сырого теста рожицах был написан испуг, но я их маменьку не боялась ничуть — я догадывалась, что наказать меня она не посмеет. С независимым видом я отправилась в сарайчик, но на обеих дверях были новые засовы с висячими замками...

В мае в больнице Нью-Мехико умерла моя мать. Там ее и похоронили.

Услышав об этом, вся наша родня пришла в страшное расстройство. По их мнению, ее следовало привезти на родину; всех Хаулендов, начиная с того, который первым забрел в эти места, хоронили в округе Уэйд. Сюда были доставлены даже кости юнца, сгоревшего в Уилдернесской чаще, даже прах молодого Хауленда, погибшего на Кубе от желтой лихорадки. Испокон веку всех собирали воедино. И вдруг — такое.

— Я от Уилла Хауленда ничего другого и не ожидала,— сказала тетя Бетси.— Вообразить только: лежит она теперь где-то там совсем одна. Одна как перст.

Мне же казалось, что не так уж важно, где будешь лежать, когда умрешь. Места везде хватает, а в остальном — какая разница. Я бы и вслух это сказала, только меня никто не спрашивал. При виде меня, о чем бы ни шел разговор, все обязательно замолкали и на лицах появлялось тошное соболезнующее выражение.

— Бедная девочка,— говорили они.

Сначала, когда я только узнала об этом, услышала по телефону, у меня где-то под ложечкой сжался твердый комок страха и два-три дня не рассасывался — и мне было тоскливо и муторно. Но это продолжалось недолго. С тех пор как мы сюда переехали, я не слишком много виделась с мамой; она, даже пока жила дома вместе с нами, больше полеживала или сидела с книгой в беседке. За нами смотрела Маргарет. И именно по Маргарет я скучала, когда они уехали. Но это тоже прошло. В конце концов их ведь не было целый год, а год для ребенка срок большой. Сперва скучаешь, думаешь: что-то с ними там, и тебе плохо — очень плохо. Потом становится легче, а там и вообще проходит.

Деда с Маргарет я встречала на вокзале, и мы вместе уехали домой. Мы сели на веранде, а Маргарет пошла наводить порядок в доме.

У деда было утомленное лицо, он очень похудел. На шее проступили жилы. Мы посидели молча, наблюдая за большим черно-желтым пауком с толстыми мохнатыми лапками.

— Я не повез ее домой,— сказал дед, как будто я сама не знала.— Как-то рука не поднялась.

Каждый год примерно в это время у нас появлялись два паука. Они жили всегда на одном и том же кусте с желтыми цветами — крупные, жирные твари.

Заметил их дед.

— Приходят в свой час,— сказал он.— И все так.

Я вспомнила одно место из библии, которое тетя Бетси дала мне прочесть в день, когда мы узнали, что мама умерла. Что-то насчет тростника, колеблемого ветром, и насчет того, что всему свой час,— я в точности не запомнила.

— Здешним это придется не по вкусу,— сказал он.— Будут болтать, как всегда. Чесать языки про Хаулендов для них уже лет сто — первое удовольствие. Развлечение лучше карт, даже для самых набожных...

Я подняла с пола веранды камушек, запустила им в паука. И попала: паук свалился на землю и исчез.

— Это получилось вот как,— сказал дед, словно ничего не замечая.— Она так ненавидела переезды, так устала за дорогу туда, что у меня не хватило духу везти ее обратно. Когда человек что-то терпеть не может при жизни, ему это и после смерти должно быть неприятно.

Паук снова взобрался на куст. Я было опять потянулась за камушком, но сердито одернула себя: сиди тихо.

— Я и рассудил — земля везде одинакова, и раз она так ненавидела ездить...

Его голос замер, и минуту спустя он встал и пошел в дом.

— Теперь можно пульнуть в паука,— разрешила я себе.

Тем дело и кончилось. Я опять жила на ферме, и моя связь с городом оборвалась. Никаких пересудов я не слыхала. Не от кого было. Но судачить-то судачили, не сомневаюсь. Это у здешних в крови.

Отошла поминальная служба. Дед пожертвовал городской методистской церкви витраж для окна с надписью: «В память об Абигейл Хауленд Мейсон».

Этого тоже кое-кто не одобрил: якобы с цветными стеклами церковь стала слишком похожа на католический храм. Возможно, так считали все, но одно дело считать, а другое — высказать вслух, при том что самые богатые вклады всегда поступали от Уилла Хауленда.

На изготовление витража ушел год. К этому времени смерть мамы отодвинулась так далеко в прошлое, что никто уже особенно не горевал. Мне даже нравилось ходить в церковь, потому что это случалось довольно редко. После поминальной службы тетя Энни (она специально ради этого приехала из Атланты) устроила большой званый ужин. Спиртного, как водится, было море разливанное; иные из мужчин упились до бесчувствия и валялись прямо на траве, иные из дам удалились в комнаты, чтобы впасть в бесчувствие более пристойно. Юнцы затеяли на дороге к мельнице бега, поразбивали коляски и были доставлены в окружную больницу (доктор Армстронг был в числе упившихся), чтобы их там подчинили и заштопали.

Тем и завершилась жизнь моей мамы: могилой в Нью-Мехико и окном из цветного стекла в методистской церкви Мэдисон-Сити.

Той осенью уехала учиться старшая дочь Маргарет — Нина. С деньгами стало теперь гораздо легче, так что ее отправили в шикарную женскую школу в Вермонте (со временем она стала чемпионкой школы по фигурному катанию, хотя, пока не уехала на Север, в жизни не бывала на катке). Она писала чаще, чем Роберт, и присылала фотографии. Но никогда больше не виделась со своей матерью. И писем от нее не получала. На письма Нины, как и на письма Роберта, отвечал дед, и, хоть он, разумеется, сообщал им, как поживает их мать, все было так, словно она умерла или находится где-то за миллионы миль. Теперь он ездил и к Роберту, и к Нине — по два раза в год. Маргарет не ездила никогда.

Она осталась с последней, самой младшей — Крисси.

Мне кажется, с ней Маргарет обращалась куда более ласково. Я замечала, что когда бы девочка ни прошла мимо, мать непременно сгребет ее в охапку и крепко стиснет — что-то не помню, чтобы так хоть раз было с Робертом или Ниной. И правда, чем-то Крисси была симпатичней всех. Ее рыжие волосы курчавились и вечно торчали вихорчиками во все стороны; глаза не то чтоб синие, скорей в прозелень. Она отличалась ровным, счастливым характером и почти никогда не болела. И была самая способная из них, намного способней Роберта, хотя его куда больше поощряли в учении. Читать она научилась по старым журналам, которые брала у деда, и задолго до того, как пошла в школу, читала мои старые хрестоматии. Свернется с книжкой где-нибудь на развилке дерева — и считай, что устроилась на все утро. Я ее любила. Она была из тех детей, которых невозможно не любить.

Дед ее тоже любил и вечерами играл с ней по целым часам. С другими детьми — никогда. Может быть, прежде ему было не до того. Теперь же, когда умерла мама, у него как будто появилось больше времени для самой маленькой в доме.

И все-таки — когда мне было шестнадцать лет и я кончала среднюю школу, а Крисси исполнилось одиннадцать — она, как и другие, уехала из дома. И, как другие, больше не возвращалась. Даже на каникулы.

Теперь я стала старше и спросила об этом. В тот день дед чинил частокол на переднем дворе. Я спросила напрямик:

— Ты по Крисси не скучаешь?

Он держал во рту несколько штук гвоздей и неторопливо вынул их.

— Нет, отчего же, скучаю.

Он опять пополнел, стал таким, как до маминой болезни: большим и грузным. Лицо у него было гладкое, розовое, без морщин; и все те же светлые, ярко-синие глаза. Меня всегда поражало, какого они ясного цвета — в точности, как предутреннее зимнее небо.

— Что же ты не отдал ее в здешнюю школу, раз скучаешь? — спросила я.

Он выдернул трухлявый кол и отшвырнул в сторону.

— Сама знаешь, внучка, не хуже меня.

— Нет, почему все-таки? — допытывалась я.— Я хочу знать.

Он говорил, не глядя в мою сторону.

— Очевидно, тебе надо, чтобы я сказал эти слова за тебя. Я, помнится, сам в детстве терпеть не мог излагать мысли вслух... Словобоязнь какая-то, что ли.

Он взял новый кол и приладил к поперечине, чуть потеснив другие.

— Ты знаешь, каково в здешних местах приходится негру. А такие дети, они как раз оказываются где-то посредине: ни белые, ни черные...— Он приставил гвоздь, стукнул по нему раз-другой молотком и вогнал в дерево.— И что им здесь делать? Война будет продолжаться не вечно. Заводы и судоверфи позакрывают. Мы тут опять впадем в спячку.

Еще один гвоздь — и кол на месте. Дед двинулся вдоль ограды, проверяя рукой крепость каждого кола, выискивая подгнившие.

— У нас и при том количестве народа, какое есть, насилу прокормишься,— продолжал он.— А они ребята шустрые, далеко пойдут.— Он нашел негодный кол, вышиб его боковиной молотка, крутанул и вывернул из ограды.— Здесь им места нет, вот я их и посылаю туда, где попросторнее.

— Угу,— сказала я.

— Денег у меня, кажется, на это достаточно.— Он опустил молоток и посмотрел мне прямо в глаза.— Раз уж тебе так интересно... Роберт в сентябре поступает к Карнеги на техническое отделение.

— Это в Питтсбурге,— вставила я лишь затем, чтобы показать, что и мне кое-что известно.

— Ну так как же, внучка,— это я должен был сказать за тебя?

— А что,— сказала я.— Я не виновата, если задумываюсь.

— Да,— согласился он.— Наверно, не виновата.

— А Маргарет как смотрит на то, что все ее дети разъехались?

Ярко-синие глаза светло и ясно глядели на меня в упор.

— Наши дети,— спокойно сказал он.

Первый раз за все время он так сказал. Будто со смертью мамы ему стало проще называть вещи своими именами.

— Между прочим,— прибавил он,— это как раз Маргарет надумала.

Тогда мне было не понять. Я просто решила, что это какая-то странность. Мне казалось, каждой матери хочется держать детей при себе, пока сами не разбредутся. Я не постигала того, что делает Маргарет.

Мне шел семнадцатый год, и я была влюблена. В мальчика из нашего класса. Его звали Стенли Картер, и глаза у него были большие, карие и лучистые — в основном из-за сильной близорукости. Он был сын нового аптекаря, они приехали из Мемфиса. Вообще-то я с ним виделась довольно мало, потому что он жил в городе, а я — у деда на ферме. И потому долгими вечерами — когда мне полагалось бы учить уроки — я больше занималась тем, что писала ему длинные письма, а потом рвала. Кроме того, я писала не менее длинные стихотворения о глазах, подобных звездам, благоуханном, как клевер, дыхании и так далее. Я задергивала занавески в своей комнате, зажигала самую маленькую лампу, вытягивалась на кровати и писала, держа над собою отрывной блокнот — писала, как на потолке. Поскольку долго писать в таком положении невозможно — начинает ломить руки и блокнот приходится опускать,— я по большей части просто лежала, уставясь на трещины в потолке или пятно на обоях.

— Оставь ее,— говорил дед Маргарет,— не видишь — любовь, сохнет человек.

Я пыталась сразить его взглядом, но это не так-то просто, когда тебе ухмыляются прямо в лицо.

— В этом доме,— произносила я,— никто ничего не понимает, то есть решительно ничего.— И взлетала по лестнице наверх и садилась писать эпическую поэму, посвященную безответной любви, несчастным влюбленным и прочему в том же духе. Довольно скоро мне надоедало подбирать рифмы, и я принималась в сотый раз перечитывать «Ромео и Джульетту», проливая слезы над самыми трогательными местами.

Иногда я забиралась на шпалеру белого муската у задней двери. Я лежала там часами, глядя в небо и объедаясь мягким желтоватым виноградом. Я силилась проникнуть взглядом в самую высь, сквозь толщу неба; увидеть, что там за этой голубой скорлупой. Иногда мне

казалось, что это возможно; еще чуть-чуть, и я увижу. А потом понимала, что ничего не получится, и небо опять становилось твердой фарфоровой чашкой, опрокинутой над миром.

Вот что меня занимало, на остальное я не обращала внимания. И если мне удалось один раз что-то увидеть, то лишь совершенно случайно.

В тот день я, как частенько случалось, не вышла к ужину. Маргарет постучала ко мне, но я крикнула, что пишу стихи и пусть меня не отрывают. (Дед никогда не настаивал.) Часам к девяти, когда ужин давным-давно кончился, мне захотелось есть. Разутая, в одних носках, я потихоньку сошла по лестнице, ощущая ступнями скользкие, прохладные доски. Помню, как из гостиной донеслось легкое потрескивание дров в камине — была поздняя осень, и вечера стояли промозглые, холодные. Я ступала осторожно, неслышно. (В такие годы еще чувствуешь прелесть в том, чтобы суметь пройтись без единого звука — отголосок тех дней, когда ты играла в индейцев.) В холле было темно; против обыкновения, не горела даже лампа возле потемневшего от времени трюмо. Свет шел только из гостиной, где сидели Маргарет с дедом. Меня в неосвещенном холле было оттуда не видно; как я подошла, они не слыхали. Он читал газету, она шила. Я узнала материю — мое платье. Это было похоже на сцену из пьесы или на картину. Маргарет опустила шитье, ее руки упали на колени. Она подняла голову и посмотрела в дальний конец комнаты, на огонь. Он, должно быть, почувствовал, как она пошевелилась, потому что отложил газету в сторону. Она не обернулась. Крупная мужская голова на хрупкой шее оставалась неподвижной. Скрипнул стул — он встал на ноги; застонали под его тяжестью половицы,— он подошел и наклонился к ней. А потом, так как больше он при своем росте нагнуться не мог, а она сидела на очень низкой качалке с ножками, выгнутыми, как лебединая шея,— он встал на колени и обхватил ее руками. Тогда она повернулась, уронила голову ему на плечо и уткнулась лицом ему в шею.

Я попятилась и взбежала назад по лестнице, по-прежнему без единого звука. Я оробела. Нет, мало сказать, оробела. Мне стало по-настоящему страшно.

Так первый и единственный раз что-то произошло между ними у меня на глазах.

Я кончила школу, и тетя Энни увезла меня вместе со своими внуками путешествовать по Западу на машине. Все решилось в одну минуту.

— Езжай, езжай,— твердо сказал дед.— Тебе полезно.

И на другой же день тетя Энни с четырьмя внуками приехала из Атланты на большом новом черном «кадиллаке» и забрала меня. Я была в полном восторге. Старший из внуков — который должен был подменять в пути шофера — был адски красив. Полтора месяца кататься с таким красавцем по всей стране — это потрясающе!

Позже, гораздо позже я узнала, отчего меня с такой поспешностью выпроводили из дома. В то самое лето приезжал повидаться со мной мой отец. Дед каким-то образом прослышал о его намерениях, и вот я укатила осматривать Большой Каньон и Пейнтед-Дезерт. Интересно, что они говорили друг другу, когда отец приехал в Мэдисон-Сити и увидел, что меня предусмотрительно увезли прочь.

Все-таки мне жаль, что мы не встретились,— хоть поглядела бы, какой он, а то я уж давно забыла. (Мама в запальчивости уничтожила все фотографии.) А впрочем, я бы не очень знала, о чем с ним разгова-

ривать; ведь не станешь говорить о кровных узах. А может, и станешь... Как бы то ни было, разговор не состоялся. Я путешествовала.

От той поездки в памяти осталось хаотическое нагромождение гор, снежных вершин вперемешку со студеными озерами, бескрайними пустынями, неведомыми цветами — и совершенно неправдоподобный океан. На обратном пути я задержалась в Атланте. Мне предстояло купить себе кое-что из одежды на первый год в колледже.

— Детка, в чем ты ходишь,— сказала тетя Энни.— Это сущий кошмар. Как только Уилли допускает, чтобы ты появлялась в подобном виде?

— Мы с Маргарет сами покупали мне платья.

Она сделала непроницаемое лицо.

— Ничего, на сей раз я заменю Маргарет.

Мы взяли с собой ее старшую внучку Эллен — она три года проучилась в Южнокаролинском университете, а теперь бросила учиться, потому что собралась замуж. Ей мы покупали приданое, а мне гардероб для колледжа; все делалось на широкую ногу, с размахом — совсем как на Западе, судя по тому, что мы видели несколько недель назад, и столь же сумбурно. Тетя Энни была женщина деятельная и чувствовала себя в своей стихии. Однажды, когда я в нерешительности замешкалась перед элегантным в своей простоте черным костюмом, она прямо вся ощетинилась от раздражения:

— Ну, в чем дело? Что ты медлишь?

— Дороговато вроде,— сказала я.

— Детка, детка...— Она шумно выдохнула, как часто делают в изнеможении толстые женщины,— он это может себе позволить... Впрочем, Уилли, чего доброго, держит тебя в неведении, с него станется... Ничего, если он начнет ворчать из-за счетов, ты только спроси, как подвигается торговля лесом,— мигом прикусит язык.

Вечером после обеда она решила, что мне необходимо иметь свой автомобиль.

— Когда живешь в такой дали, надо хоть как-то сокращать расстояния.

— Я не умею править,— сказала я.

— А ты научись,— возмущенно сказала она.— Вот еще довод! — И я умолкла, потому что все это было слишком ново и неожиданно.— Вот что: позвоню-ка я Уиллу прямо сейчас и поговорю на этот счет.— Она пошла в холл к телефону.

Дядюшка Хауленд невозмутимо промолвил из глубины своего кресла:

— Энни у нас — генерал.

— Мне просто никогда такое в голову не приходило.

Он поднял рюмку с коньяком.

— Отведай — не хочешь? Нельзя, милая, всю жизнь торчать на этой ферме. Уилли не имеет права тебя там прятать.

— Это мой дом.

Он погрозил мне рюмкой. На дутой стеклянной ножке заплясали блики света.

— Ты должна жить так, как подобает внучке одного из первых богачей в штате.

Я ошарашенно взглянула на него. Он хохотнул.

— И если богатство ему принесла война, это ничего не меняет.

Энни вернулась, сияющая.

— Такой скопидом закоснелый этот Уилли, он мне — слово, а я ему — десять, с ним только так и можно.

Поздно вечером, когда она тоже хлебнула коньяку и слегка разрумянилась, она сказала мужу:

— Я спросила, рассчитывает ли Уилл приехать на свадьбу Эллен.

— И он, разумеется, сказал, что нет.

— Слишком занят... Знаешь, Хау, он меня беспокоит, честное слово. Шаг шагнуть боится со своей фермы. Не желает расставаться с этой Маргарет.

— Тсс,— шикнул на нее дядюшка.

Итак, я уехала в колледж. У меня был новый «форд», кабриолет, сине-белый, была норковая накидка — и еще был жуткий, неодолимый страх, который будил меня по ночам. Сколько раз я лежала в веселой, убранной ситчиком комнате женского студенческого общежития, содрогаясь от желания вскочить в эту свою новую машину и уехать домой. Я не могла полюбить колледж. Просто с течением времени научилась меньше ненавидеть.

Когда я первый раз приехала на каникулы, перед рождеством, дед сказал:

— Тебе не обязательно проводить каникулы дома. Если хочешь, поезжай куда-нибудь еще.

— Что, держаться на почтительном расстоянии, как дети Маргарет?

У него ни один мускул не дрогнул на лице.

— Нет, ты можешь приезжать...— сказал он.— Можешь, но неизвестно, захочешь ли со временем.

Тут я его обняла изо всех сил; мне было стыдно, что я напомнила ему про детей, и еще — в беспощадном утреннем свете он выглядел таким постаревшим. Я вот ночь провела за рулем, и хоть бы что.

— Мне бы хотелось здесь прожить всю жизнь,— сказала я.

Ему это понравилось, я видела, но он не привык выдавать свои чувства и потому лишь потер ладонью подбородок и сказал:

— Это смотря где поселится твой суженый.

— Нет у меня никого.

— Будет,— сказал он.— Будет.

Стоял бодрый, легкий морозец, и на мне была новая накидка. Я провела пальцами вверх-вниз по пушистому меху.

— А может получиться, что мы будем жить здесь.

— Может,— сказал он.— Если найдешь то, что надо.

— За другого я не пойду.

— Ты смотри,— хмуро сказал он,— твоя мать вышла замуж по любви, а любовь-то выдохлась и выхолостила ей душу.

— Нет,— сказала я.— У меня так не будет.

— Ладно,— сказал он.— А сейчас выпей-ка чашку кофе. Идем глянем, что там припасено у Маргарет.

Я пробыла в колледже четыре смутных, расплывчатых года. Зеленые газоны, белоколонные корпуса, клумбы. Боль натруженных от конспектов пальцев, боль в висках от сигаретного дыма, боль в ногах от долгих часов на «шпильках». Непривычный хмельной шум в ушах, внезапно онемевшие губы. Вечеринки, прогулки.

Было там одно место, красивый уголок на озере; вокруг — стеной деревья и одна-единственная дорога к причалу. Он назывался Пирс-Гаррис. По обе стороны борт о борт стояли гребные лодки, а в самом конце был большой плот с трамплином для прыжков в воду. Туда съезжались по субботам, после того как закроются все рестораны, кафе и ночные клубы. Народу всегда набивалось тьма — и не оттого, что кому-то нравилось собираться большой компанией, а просто плот был только один, и все устремлялись сюда. Изредка кто-нибудь приезжал с

гитарой, и мы пели песни. Один раз Тед Андерсон привез губную гармошку. Играл он так себе, мне приходилось слышать негров — никакого сравнения. Но все равно было хорошо. Эти заунывные звуки, негромкие и простые, когда они плывут над притихшей водой, обтекая глухие сосны... В общем, такое не забывается.

Не забывается вкус теплого кукурузного виски в бумажном стаканчике с водой, зачерпнутой в озере у твоих ног. И ночи, полные такой нестерпимой, хватающей за сердце красоты, что на глаза наворачиваются слезы. И каждое пятно света и тени кажется под луной бездонным и чудесным. Тишь или буря, неважно. Все необыкновенно и таинственно потому только, что это ночь.

Не знаю, как я все это растеряла — таинственность, волшебство. Они блекли день ото дня, пока не стерлись окончательно, и ночь стала просто наступлением темноты, а луна — обыкновенным светилом, которое прибывает или идет на ущерб и предвещает перемену погоды. А дождь только размывает посыпанные гравием дорожки. Очарование исчезло.

И хуже всего, что не знаешь точно, в какой миг это случилось. Не на чем остановиться, не на что указать пальцем. Просто наступает день, когда ты видишь, что все прошло, причем прошло уже давно. И даже горевать-то не о чем, так постепенно все это совершалось.

Это сияние, эта радость, от которой захватывает дух,— они улетучились сами собой, иссякли. Как и вообще очень многое, насколько я могла убедиться. Как, например, жизнь моей мамы: понемногу, капля за каплей, пока совсем ничего не осталось, так что мне даже не дано было утешение излить душу в скорби. Как моя любовь. Хоть бы бурная сцена, что-то осязаемое — нет, мне и этого не досталось; лишь угасание, омертвение от времени. Вроде как с теми подвенечными нарядами, которые мы детьми находили в старых сундуках у моих родичей. С виду они были вполне прочные. Но стоило их приподнять, и они расползались от собственной тяжести, хотя бы их и не касалось ничье дыхание; и даже лоскутки у тебя под пальцами рассыпались в прах.

Нечто подобное с течением лет происходило со мной. То, что, казалось бы, меня окружает, на самом деле неизбежно отступало. Порой мне приходит в голову, что я похожа на остров после отлива, когда схлынет вода, оставляя на берегу лишь выброшенные морем водоросли, никому не нужный хлам.

Я теперь смотрю на своих детей и думаю: скоро ли и они ускользнут от меня, скоро ли тоже обманут мои надежды...

Впрочем, это неважно. Не имеет значения. Во всяком случае, для меня. Теперь уже не имеет. Я научилась не ждать ничего другого. По крайней мере, не придется пережить разочарование.

Но тогда, в студенческие годы, все блестело и сверкало, и каждая жилка во мне отзывалась на малейшее дуновение ветерка, и я еще была способна замереть от восторга, когда моему спутнику случалось накинуть мне на плечи свой пиджак. После первого настоящего бала я не спала всю ночь. Лежала в постели, дрожала, вспоминала, пока не занялась заря и в окно не хлынуло солнце.

Тут все было одно целое, все сливалось воедино: и легкое покачивание плота, и жалобные звуки губной гармошки, и темные, облитые лунной глазурью деревья. Только один раз принес Тед Андерсон свою гармонику. Может быть, поэтому и получилось так хорошо.

А в одну такую чудную ночь я едва не погибла.

Мы пили на плоту, и вдруг кто-то сказал: «А ну, искупаем их». И искупали: все девушки — нарядные, в лучших своих платьях — полетели с плота в воду. Наверно, если бы я и сообразила, что надо преду-

предить, меня за общим визгом и писком все равно бы не расслышали. Но я не сообразила — только ощутив холод воды, я вспомнила, что не умею плавать. Считалось, что все умеют. Среди плеска и хохота никто не услышал моих воплей. На мне была, помню, пышная широкая юбка, а под ней нижняя — они тогда были в моде — вся в оборках. С полминуты юбки продержали меня на поверхности, но не больше. Уходя под воду, я задержала дыхание, кое-как вынырнула, глотнула воздуху и снова пошла ко дну. Казалось, этому не будет конца: вверх, вниз — и тут я сбилась с ритма. Я вынырнула на такое короткое мгновение, что не успела набрать в легкие воздуха, не удержалась и помимо воли вздохнула уже под водой. Ну, а когда вода попадет тебе в рот, когда ты поперхнешься под водой, все происходит очень быстро. Я только помню, как кашлянула раз-другой и сразу потеряла сознание.

Говорят, меня нашли футах в двух под водой — я лежала лицом вниз — и порядком намучились, втаскивая на плот: мешали намокшие юбки.

Помню, как я пришла в себя с ощущением, что у меня изо рта льется вода и какая-то страшная тяжесть навалилась мне на спину, вдавливая грудью в накрытые брезентом доски.

Я дернулась, силясь перевернуться.

— Не наваливайтесь,— сказала я.— Доски жесткие. Больно.

Кто-то сказал:

— Все в порядке. Очнулась.

— Фу, черт,— сказал кто-то другой.— Надо выпить. Набрался страху, аж протрезвел.

— Погоди, не все сразу,— сказал первый голос.— Я за ней посмотрю.

Кто-то взял меня на руки. Можно было бы открыть глаза и взглянуть, но оказалось, что это непосильное напряжение.

В конце концов я все-таки их открыла и увидела, что лежу на заднем сиденье какой-то машины; тускло тлеет крошечная лампочка, которая зажигается, когда открываешь дверцу. Те, кто меня принес,— я услыхала, как они уходят, как переговариваются: «Ты куда дел бутылку?» — «Она там, на плоту».— «Она была у Гарри».

Оставаться одной не хотелось. Я резко приподнялась, рванулась к дверце. И тут же наткнулась на мокрую-премокрую рубашку, облепившую чье-то теплое тело. Меня крепко ухватили мокрые руки.

Я узнала: Том Стенли.

— Куда это ты собралась, интересно знать? — Он протянул мне бумажный стаканчик с виски. Я быстро выпила, только сейчас почувствовав, что вся закоченела. То было окоченение близкой смерти. Меня сотрясла крупная дрожь.— Выпей еще.— Он налил мне.— Что произошло, объясни ради бога?

— Я не умею плавать,— сказала я; голос у меня охрип и срывался.

Мгновение он молчал. Потом легонько присвистнул.

— Вот об этом мы не подумали,— сказал он.— Просто в голову не пришло.

Я проглотила виски. Во рту был отвратительный вкус, как будто меня только что вырвало. Случилось ли это, не знаю; спросить было неловко.

— Так ты, значит, до сих пор не научилась плавать? — сказал он.— Где же, черт возьми, ты росла?

— А зачем вам, черт возьми, было пихать меня в воду?

Я уткнулась в его мокрую рубашку и разревелась. Чем сильней меня разбирало, тем отчаянней я в него вцеплялась и к тому времени,

как выплакалась, успела изъелозить его вдоль и поперек и, закинув руки ему на шею, уткнулась носом в его кадык. Когда я затихла и принялась тереть глаза, он дал мне носовой платок.

— Я тебя отвезу домой,— сказал он.— Пойду скажу, что мы уезжаем.

Он пошел на плот, а я решила пересесть вперед. Выйти-то я вышла, но сразу же чуть не упала: ноги подкашивались. Пришлось схватиться за заднюю дверцу и изрядно повозиться с передней. Когда я все-таки добралась до сиденья, то с таким чувством, словно гору своротила. Не осталось даже сил закрыть дверцу. Ее захлопнул Том, когда вернулся.

Ехать было неблизко, миль восемь по грунтовым дорогам, они вились и петляли по самой хребтине гряды. Мили через полторы Том остановил машину — прямо посреди дороги, никого больше кругом не было — и сказал:

— Выпить хочется. Ты будешь?

— Да.— Хрипоты у меня в голосе поубавилось.— Шевелить языком уже как будто легче.

— Ничего, выживешь,— сказал он.

Он достал бутылку; я пошарила по полу и нашла свой брошенный бумажный стаканчик. Налила себе виски. Он пил прямо из горлышка. Ни воды, ни льда не было; все осталось на плоту. Все-таки от спиртного стало лучше. Унялась дрожь. Скоро по всему телу до кончиков пальцев растеклось приятное хмельное тепло.

— Я тебя всего измусолила, ты извини,— сказала я.— Перепугалась здорово, просто необходимо было за что-то схватиться, а под боком — только ты.

— Всегда к твоим услугам.— Мы тронулись медленно, осторожно; урчал мотор, одолевая на малой скорости крутые подъемы.

Склоны холмов с обеих сторон сплошь поросли деревьями, но по гребню тянулись некошеные, открытые луга. С полмили дорога шла прямо через них. Позади темнел густой лес, острым металлическим блеском отсвечивало озеро. Впереди — все те же деревья, а за ними, в отдалении — город и колледж. Виднелись огоньки в домах: кто-то еще не спал. Виднелись светящиеся вывески, большей частью красные, кое-где зеленые. Виднелись уличные фонари, прямые ряды желтоватых светильников, затененных нависшими ветками деревьев.

— Остановимся на минутку,— сказала я.

— А не озябнешь в мокром платье?

— Ну, на минуточку.

Я вылезла наружу (после виски двигаться стало совсем легко), отошла немножко от машины в жесткую колкую луговую траву и огляделась по сторонам. Ни единого дуновения. Я глядела на это все, на забавные кляксы городских огней, на редкие, потускневшие от луны звезды в небе, на склоны в роскошных, пышных и темных лесах. Яркий, обильный, синеватый, как плесень, лунный свет лежал на кронах. Еле касаясь их, чуть задевая. Под ветвями, подсвеченными луной,— необъятная, мягкая, бесконечно глубокая — затаилась ночь. Глубокая, как вода, в которой я тонула. Я глядела на траву под ногами, на щетинистую травку, на разбросанные там и сям валуны, на землю, кое-где присыпанную гравием. По земле, четкие и резкие, пролегли тени.

Было так ясно, так светло, в ушах мерно и ровно гудел хмель... Никогда еще не было такой ночи, такой чистой, чистой ночи. Никогда. И такой безмолвной. Ни крика ночной птицы, ни ветерка. Ночь, на которую надо смотреть без конца. Нетронуто светозарная.

Второй раз такого не будет никогда. Я пошла обратно к машине; мокрая юбка путалась в ногах.

— Пожалуй, я выпила бы еще.

— Погоди.— Он поцеловал меня. И это было тоже, как ночь, сильно и чисто. Я слышала, как он дышит; чувствовала, как бьется под мокрой тканью рубашки его сердце. Моя ладонь скользнула вверх по его руке, пальцы нащупали дыру в материи у плеча.

— Здесь разорвано,— сказала я.

— Знаю.

Сквозь прореху я попробовала языком его кожу. Она была солоноватая, с металлическим привкусом, какой бывает у устриц. Должно быть, от озерной воды, высыхающей у него на теле. А луна светила прямо в окошко, светила прямо мне в глаза.

Спустя немного мы выпили еще и вытянулись на переднем сиденье, и было тихо, будто нас тут и нет, только время от времени стукнется о руль нога или рука, почти не потревожив молчание ночи. И лунный свет все вливался в одно окно и выливался из другого, свободно струился над нашими головами. Словно река, только наверху, над нами. И я узнала, что не так уж трудно, когда теряешь невинность, и не так уж больно. Мне не рассказывали об этом, никто меня не учил; впрочем, меня ведь даже плавать не научили.

Всего один раз бывает такая ночь — один раз в жизни,— когда тебя объемлет трепет, и изумление, и восторг, без всякой причины, лишь оттого, что так прекрасна и полна тайны земля — так молодо и полно сил твое тело.

Я и сейчас до мельчайших подробностей помню этого человека, хотя с тех пор прошло больше пятнадцати лет, а сам он года через два погиб в Корее.

Но кто из нас мог знать это в ту ночь. Он довез меня до дверей, и я тайком прокралась к себе в комнату. Я не заметила даже, дома ли моя соседка. Разделась, сдирая с себя одежду; она еще не просохла и липла к телу. И обнаженная, поверх застеленной постели, уснула. Наутро положила свое загубленное платье в бумажный пакет и бросила в мусорный ящик.

После мы с Томом встречались не очень часто — в сущности, мы ведь раньше не были даже друзьями. Это случайно так вышло, что мы очутились вместе. Причиной была и эта ночь, и наши годы, и то особенное восприятие окружающего. А не что-то личное. С любым другим было бы точно так же.

Правда, несколько раз он водил меня на футбол и на большие студенческие вечера, которыми завершаются футбольные встречи,— но мы никогда больше не оставались вдвоем. А потом все как-то само собой забылось.

Вот это как происходит, и все равно ничуть не становится менее свято для тебя. Тебе дорог не сам человек, а событие. Так, во всяком случае, произошло у меня.

Со студенческой жизнью я освоилась легко. Исправно сдавала экзамены, ходила на вечеринки, пила недозволенное виски и затаив дыхание мчала с подвыпившей компанией домой. Однажды за нами погналась полицейская машина (как на грех, мы по случаю какого-то сборища везли из соседнего округа целый багажник виски), но мы сумели удрать. Все шло гладко до последнего курса. А тут, в начале учебного года, меня исключили — из-за чужой свадьбы. Невеста, хоть и училась в одном колледже с нами, была из Нового Орлеана. Жених был жокей, они познакомились, когда она ездила домой на ноябрьские каникулы. И вот в одно прекрасное утро — помню, был вторник, и нас

собралось девять человек, две полные машины — мы отправились с ней в ближайший городок штата Миссисипи. Там нас встретил он, поджарый, маленький, скупой на слова. Невозможно было поверить, что этот человечек женится уже четвертый раз. Но по требованию клерка он предъявил три свидетельства о разводе — значит, правда.

В те годы, надо сказать, зарегистрировать брак было минутное дело; тебе прямо-таки кидались навстречу, чтобы удостовериться, что ты именно за этим пришел. И вот, хихикая и подталкивая друг друга, мы набились в помещение поглядеть, как будет происходить обряд. Потом выпили шампанского за здоровье новобрачных — мы привезли четыре бутылки, умело запакованные вместе со льдом. Молодые сели в большой, белый, с откидным верхом «кадиллак» жокея и, помахав нам, укатили. Мы прикончили шампанское и медленно поехали назад в колледж, овеянные духом романтики и отваги. Никому из нас до сих пор не приходилось быть свидетелем тайной женитьбы.

А потом разразилась гроза. Родители студентки чуть не сошли с ума. Они были католики — притом очень ревностные — и смотрели на происшедшее как на смертный грех. Дочь пытались настичь и вернуть, но она была уже совершеннолетняя и уехала куда-то во Флориду, а куда, никто не знал; она даже не удосужилась написать своим после той первой телеграммы с сообщением, что выходит замуж.

Всех нас выставили вон. Я позвонила Маргарет и сказала, что еду домой. Почему — говорить не стала, а она не стала спрашивать. Да ей и не нужно было. Она понимала, что и так все узнает.

Разумеется, когда я подъехала к дому, дед уже ждал на веранде. Он не подумал встать с качалки. Не тронулся с места, пока я сама не подошла к нему.

— Что ты натворила? — сказал он.

— Мог бы сначала поздороваться.

— Стало быть, мне важнее выяснить, что случилось.

— Ничего особенного,— беззаботно сказала я.— Побывала на одной свадьбе.

Когда я рассказала все до конца, он встал и пошел в дом. Я — за ним.

— Ты ступай прими ванну или там переоденься, уж не знаю,— а мне надо идти звонить по телефону.

— Зачем это?

— Чтобы водворить тебя обратно, мисс баранья голова.

— А может быть, я не желаю обратно. Ты об этом подумал?

Я уже поднималась по лестнице, когда он окликнул меня.

— Так, говоришь, у нее родители католики?

— Католики.

Он криво ухмыльнулся.

— Что ж, это в какой-то мере сыграет тебе на руку, раз в штате большинство — баптисты.

И, тяжело ступая, направился к телефону. Я переоделась и вышла из дому. Вывела лошадь (их было всего три, все мои) и ускакала, и каталась, пока не стало так темно и холодно, что пришлось ехать назад. По дороге от конюшни к дому я услышала, как звонит телефон, и вошла с заднего хода.

Маргарет сказала:

— Ты бы ноги вытерла.

— Ой, забыла.— Я вернулась и вытерла ноги о железную скобу: двух симпатичных кроликов с задорно торчащими ушками.

— Есть хочешь? — спросила Маргарет.

— Нет.

— Ты разве обедала?

— Да мне не хочется.

— Вон суп,— сказала она.— Поешь.

Она сидела за кухонным столом. Ждала меня.

— Он здесь?

Она улыбнулась.

— А то где же?

— У телефона?

— С тех пор, как ты умчалась из дому, точно угорелая.

— Тут умчишься,— сказала я.— Эти сволочи из колледжа...

— Он не любит, когда ты так разговариваешь,— спокойно сказала она.

— Ладно, ладно.— Я пошла к плите и заглянула в кастрюлю с супом.

— Абби.— Я так и подскочила. Она почти никогда не называла меня по имени.— Тебе бы утром позвонить прямо ему, а не передавать через меня.

— Я не хотела с ним разговаривать. Ну, что я могла ему сказать?

— Ты его обидела.

— А меня тоже обидели.

Она усмехнулась.

— Посиди-ка лучше со мной, пока вы оба не поостынете.

Не отвечая, я взяла половник и помешала суп.

— Он целый день сидит у телефона,— сказала Маргарет.— Он все уладит.

В ее голосе звучали гордость, удовлетворение, так она еще никогда не говорила.

— А мне не надо, чтобы все улаживали.

— Не трогай его сегодня, девочка,— сказала она.— И возьми себе супу. Все эти бури — от пустого живота.

Мы с Маргарет поужинали, а дед все сидел в гостиной у телефона. Потом она отнесла ему бутерброд и осталась там, подле него. Мне делать было нечего, я улеглась в постель и стала читать.

С кем он там перезванивался, мне неизвестно. Я и не подозревала, что ему знакомо столько людей. Он был обычно так сдержан и немногословен, никогда не говорил со мной о себе, о своих делах. Что до меня, я свыклась с этой его особенностью и ничего не имела против — в конце концов, на Юге многие мужчины так ведут себя с женщинами. Это вполне мило, в общем-то. И все равно я не могла не испытать невольного потрясения, когда оказалось, что мой добродушный, медлительный дед — кто-то совсем другой. Этой его стороны я никогда не видела, у него еще не было повода обнаружить ее передо мной. Я понятия не имела о степени и размахе его влияния. Я совершенно не представляла себе, что́ он может.

Знаю только, что он звонил очень многим. Я подошла к телефону только один раз, уже на другое утро. Случайно проходила мимо, когда раздался звонок, и взяла трубку: говорили от губернатора штата.

И все утряслось. На вторую неделю я вернулась назад. Дед поехал вместе со мной.

— А как же другие? — спросила я.— Их тоже примут обратно?

— Им, внучка, придется самим постоять за себя.

— Но это же я все затеяла. Я не могу без них возвращаться.

— Не петушись, девочка,— сказал он.— Мир не переделаешь. Это такие дебри, что сам черт ногу сломит. Тебя приняли, и успокойся.

От возмущения я всю долгую дорогу просидела надутая как сыч.

Когда мы приехали, дед отрывисто сказал:

— Пойдем-ка зайдем в гости к ректору.

Я не поверила.

— Ты шутишь.

— Его брат оказал мне кой-какие услуги по адвокатской части.

— Но не в таком же виде,— сказала я.— Мне необходимо переодеться.

Он усмехнулся, не слишком приязненно.

— Ежели б ты по дороге удостоила меня хоть словечком, возможно, я принял бы это во внимание... А впрочем, так оно и лучше: пусть их видят грешницу в спортивных носочках.

Не знаю, как я осталась жива; к тому же после ректора мы побывали еще и у декана. И здесь и там нас ждали, и жены присутствовали при сем тоже. Обстановочка как во время официального визита. Дед немедленно исполнился старомодной учтивости и чопорности. Меня в разговоре называл не иначе, как мисс Абигейл. Сама изысканность — ни дать ни взять, плантатор со страниц романа.

Когда мы ушли, он сказал, чтобы я везла его к отелю. Всю дорогу посмеивался себе в усы — не уверена, что он пришел в хорошее расположение духа, но определенно был чем-то страшно доволен.

Мне он сказал всего четыре слова:

— Задержись у стоянки такси.

Вылез и пошел переговорить о чем-то с двумя водителями, поджидающими пассажиров. Один из них сел в машину и уехал, а дед вернулся на место.

— Поехал взять запасную покрышку и подзаправиться горючим,— сказал он.— Повезет меня обратно.

— В такую даль? — сказала я.— Это же дорого.

Он посмотрел на меня пристальным, долгим взглядом, потом хмыкнул.

— М-да, рассказать бы тебе, во что мне обошлось вернуть тебя в колледж. Во всяком случае, если уж я на таком деле не разорился, то, думается, могу себе позволить взять такси. Человек я старый, и меня тянет домой. Что-нибудь в первом часу ночи буду там.

— По Маргарет соскучился,— сказала я.

Я никогда не видела его синие яркие глаза такими холодными. Лицо его застыло, сделалось жестким и почти серым.

— Прости, пожалуйста,— торопливо сказала я.— Я неудачно пошутила.

— Ты ребенок,— проговорил он.— И, как твоя мать, очень мало что смыслишь.— Он вышел из машины, словно ему нестерпимо было высидеть рядом со мной еще хоть минуту, и окинул улицу праздным взглядом.

Я тоже вышла и обежала вокруг машины, потому что я не могла допустить, чтобы он вот так стоял и думал — я знала, о чем он сейчас думает. Но за те несколько мгновений, пока я добежала, он уже встретил знакомого. Он пожимал руку какому-то коренастому молодому человеку с невообразимо короткой стрижкой. Ежик черных волос был точно синяк, покрывающий его череп.

— Джон Толливер,— небрежно сказал дед; от его недавней подчеркнутой церемонности не осталось и следа.— А это моя внучка.

У молодого человека были неожиданно синие, поразительной синевы глаза; длинные черные ресницы.

— Чем тут занимаетесь? — спросил дед.

— Учусь на юридическом, сэр.

Дед покивал головой, как будто именно это ожидал услышать. Он повернулся ко мне.

— Знавал его батюшку, да и деда, если уж на то пошло, а всяческой родни — без счета.

— Да, сэр, это верно,— сказал Джон Толливер.

— Отец там у них окружным судьей.— Это было сказано, словно «там у них» — на краю света.— А их самих в округе столько, что его называют Государством Толливер.— Дед махнул рукой в мою сторону, и я внезапно заметила, какая это морщинистая, узловатая и старческая рука.— Пусть моя внучечка вам расскажет, как ее выгоняли из колледжа.

Он легонько щелкнул меня пальцем по щеке, сел в свое такси и уехал.

Джон Толливер сказал:

— Так как же?

— Это не очень смешная история.

— Все-таки мне бы хотелось ее услышать,— сказал он, и его белозубая улыбка была неотразима и ослепительна.— Как у вас сегодняшний вечер?

— Я вообще не предполагала, что окажусь тут,— сказала я.— Так что мне-то ровным счетом нечего делать. Но вот вы, может быть, уже с кем-нибудь условились.

Секундная заминка, и он сказал:

— Нет. Ни с кем.

Ага, значит, условился. Просто он воспринял дедовы слова как приказ. Больше я про это не думала, только ощутила легкую дрожь удовлетворенного самолюбия: из-за меня расстроилось чье-то свидание.

Он был без машины, так что мы подъехали к общежитию на моей, и он внес мой чемодан.

— Через полчаса я за вами зайду.

Я кинулась вверх по лестнице, к окну вестибюля. Джон Толливер направился прямо к будке телефона-автомата на углу. Я торопливо приняла душ и опять выглянула в окно. Он все еще стоял в будке, только открыл дверцу, спасаясь от духоты. Теперь я точно знала, что он отменяет свидание. Интересно, кто она такая.

Пока я одевалась, моя соседка по комнате сидела на кровати и курила.

— Я тебя и увидеть-то не надеялась, а ты мало того, что объявилась сама, так еще и с роскошным поклонником. Это что же творится на свете?

— Так, один дедушкин знакомый.

Она скорчила гримасу.

— Самое интересное, что это правда,— сказала я.

— Откуда же он?

— Откуда-то оттуда.

— Что-что?

— Дедушка больше ничего не сказал.

— Черт возьми,— сказала моя подруга.— В конце концов, не такой уж он красавец!..

— Возможно.

Мы отправились в «Курятник», он же «Садик на крыше». Название это не означало решительно ничего. «Курятник» помещался в одноэтажной постройке с обыкновенной двускатной крышей; устроить там садик при всем желании было бы невозможно. А снаружи не росло ни единой травинки. Со всех сторон вплотную к самым стенам подступал черный асфальт.

В «Курятнике» имелся бар; длинная стойка, обитая красной кожей, тянулась от одного конца зала до другого — хотя в округе действовал сухой закон. (То и дело, полускрытые высоким забором, около заведе-

ния останавливались полицейские машины. Заезжали, кто выпить, кто получить взятку.)

По обыкновению я спросила виски с содовой. Джон Толливер сказал:

— Бар здесь у них превосходный, так что уж надо воспользоваться. Два мартини.

Меня это не задело. Ну что ж, поправили, впредь буду знать. В другой раз возьму то, что полагается.

— Мой дедушка говорил про Государство Толливер,— сказала я.— Это где такое?

Он пожал плечами.

— Так называют округ Сомерсет, только и всего.

— Так вы из сомерсетских Толливеров?

Он кивнул.

Сомерсет, самый северный округ в штате; округ с самой зловещей, самой кровавой историей. Там, в первой половине девятнадцатого века, находились питомники рабов. Людей разводили и продавали, как скот. Деньги это приносило, но не более того. Даже в те времена работорговца, рабовода ставили невысоко. У него покупали, но — как после сделки с купцом-евреем — сплевывали на землю ему вслед, словно в рот попала какая-то дрянь. Эти рабьи питомники вечно клокотали смутой и недовольством. Именно там чаще всего вспыхивали бунты рабов. Большей частью их удавалось подавить до того, как они перекинутся за пределы округа. Но бывало, что не удавалось, и тогда мятеж распространялся по всему штату. Особенно крупный прокатился по той земле в сороковых годах, оставляя за собой широкий след: сожженные дома и трупы, вздернутые на деревья. Белые в округе Сомерсет — что ж, и они отличались лютым нравом. В старину, минуя этот кусок Северного Тракта, путник поеживался и держал наготове ружье... Это был разбойничий край. Во время Реконструкции там завязались семейные междоусобицы, и двадцать лет люди убивали друг друга. Когда наступил конец, семей почти не осталось, кроме тех, которые носили фамилию Толливер. Унялись, стали жить мирно — тогда как раз дошла в те места железная дорога,— расчищали свои жирные черноземы, выращивали богатые урожаи хлопка. А грузовые составы увозили их по новой железной дороге.

Давно уже там не происходило никаких драматических событий, а слава все равно оставалась, и при словах «округ Сомерсет» люди на мгновение задумывались и вспоминали прошлое. Такое уж это было название.

А Джон Толливер — он был тоже особенный. Держался уверенно, и эта его темноволосая голова была все-таки очень красива.

Мы почти не виделись — успели только в тот раз сходить вместе в «Курятник» и уже наступили рождественские каникулы. А там началась экзаменационная лихорадка, и я про него как будто забыла. Когда он наконец позвонил, на дворе уже стоял февраль.

— Куда пойдем? Хотите на Пирс-Гаррис?

— Нет,— резко сказала я. Потом объяснила: — Я там чуть не утонула в позапрошлом году.

Мы поехали в соседний округ, в кафе, где, по слухам, подавали сногсшибательную итальянскую пиццу. Как во всех подобных заведениях вокруг колледжа, здесь было полным-полно студентов, и музыкальный автомат орал во всю мочь. Нам достался последний свободный кабинет, угловой, возле самой двери на кухню.

— Всю ночь просидишь, пока дадут поужинать,— сказал Джон Толливер.

— Ничего. Зато, когда шумно, как-то уютней.

Музыкальный автомат после минутной передышки захрипел и заиграл «Мону Лизу» Кинга Коула.

— Какая прелестная песенка,— сказала я.— Ужасно ее люблю.

— Жаль, я не могу вас пригласить потанцевать,— сказал Джон Толливер.— Не пришлось научиться.

— Я не такая уж любительница танцев.

— Очень рад.

— Но как вам удалось избежать всеобщей участи? — сказала я.— По-моему, в школу танцев тащат решительно всех.

Его синие глаза сузились.

— Вы не знаете Государства Толливер.

— Да,— сказала я.— Правда, не знаю.

— Там некому учить танцам. А если б и было кому, учились бы только малыши. В семь лет у тебя уже обязанности по дому.

— Вот оно что,— сказала я.— Понятно.

— Это, видите ли, не округ Уэйд. Хлопок, хлопок и еще раз хлопок. Лесных участков, как у вашего дедушки, там нет.

— Да-да,— мне не хотелось выказать свое невежество.— Лес, по-видимому, очень ценится.

Он расхохотался мне в лицо. А я обнаружила, что это вовсе не обидно, потому что смех был дружеский, свойский.

— А можно мне виски с содовой? — сказала я.— Оно мне правда больше нравится.

Чтобы получить виски, он должен был встать и подойти к бару. Такой здесь был порядок. Потом он вернулся и аккуратно поставил рюмки на стол.

— Я вам до сих пор не звонил, потому что был связан с другой. Я хотел быть свободен.

— Да? — Я не знала, что еще сказать.

— Я никогда не встречаюсь сразу с двумя девушками. Вам кажется, это глупо?

— Нет.

— По будням я каждый день до десяти, до закрытия, работаю в библиотеке,— сказал он.— После этого буду заходить за вами.

И каждый вечер после работы в библиотеке он ждал меня у общежития. Каждый вечер в одно и то же время: ровно в десять минут одиннадцатого. Чаще всего мы ехали куда-нибудь на машине, потом останавливались, слушали радио, болтали. Он был очень стеснен в средствах, а мне платить не разрешал. Вот мы и ездили, каждый вечер на новое место, курили, глядели, как рдеют в темноте банальные огоньки сигарет. Когда в первый раз он поцеловал меня, прощаясь, поцелуй был вежливый, но решительный.

— Все,— сказал он.— Будет, на первый раз. Беги.

Он говорил, как человек, наметивший себе четкий план действий. И в этом была своя прелесть. Мои знакомые, в большинстве случаев, просто плыли по течению — Джон Толливер был не таков. Он сам распоряжался событиями, он их направлял. До сих пор мной никто никогда не командовал, и оттого мне это страшно понравилось.

Как-то вечером соседка по комнате сказала:

— Кошечка, будь поосторожней, не то, смотри, попадешься.

— О чем ты? — Я была в таком тумане, так счастлива, что не поняла.

Она взяла зеленый пластмассовый футляр, где лежал мой предохранительный колпачок.

— Заглянула, нет ли у тебя в туалетном столике лейкопластыря — туфля, подлая, всю пятку стерла до кости,— и вот нашла.— Она помахала футлярчиком у меня под носом.— Очень неосмотрительно.

— А мне не нужно. Я с ним не живу.

Подруга бросила коробочку обратно в ящик и пожала плечами.

— Как знаешь.

— Нет, серьезно — я собираюсь за него замуж.— До сих пор я не решалась так подумать, но когда сказала вслух, поняла, что это правда.

Он сделал мне предложение через месяц, все в том же прозаическом, деловом духе.

— Я бы хотел, чтобы мы поженились,— сказал он.— А ты?

— Да,— сказала я.— Кажется, я тоже.

Деду я решила не писать, не звонить, а лучше съездить домой на короткие пасхальные каникулы.

Выехала на ночь глядя, от счастья и возбуждения мне все равно не спалось. Когда я вошла в дом, дед сидел с Маргарет на кухне, завтракал. Не говоря ни слова, она встала и поставила еще один прибор, для меня.

— Ну-с,— сказал дед,— похоже, на этот раз ты с добрыми вестями.

— Я выхожу замуж.

— Я этого ждал.— Он невозмутимо налил себе чашку кофе из старомодного, в цветочках, кофейника.

— Тебе не интересно знать, за кого?

— Почему, интересно,— сказал он.— Просто я рассчитываю все равно узнать рано или поздно.

— За Джона Толливера.

Он все так же неторопливо пил кофе.

Маргарет сказала:

— Завтракать будешь?

— Умираю с голоду.

Дед сказал:

— Выбор очень подходящий. У них в роду попадаются малопочтенные личности, так ведь и у нас не всяким похвалишься. Начать хотя бы с твоего папаши.

— Джону еще год учиться на юридическом.

— Их семейка не один десяток лет в том округе всем заправляет по-своему. Куда ни глянь — одни Толливеры. Такое положение вещей своеобразно влияет на склад характера.

— Не более, чем принадлежность к роду Хаулендов,— сказала я.

Он улыбнулся, повел плечом, словно отмахиваясь от моего наскока.

— Пожалуй, да.

— И во всяком случае,— сказала я, пристыженная, что огрызнулась на него,— Джон не собирается назад.

— Назад?

— В Государство Толливер.

— Тесновато стало, не по мерке,— беззлобно сказал дед.— Да ты ешь.

Когда мы позавтракали, он пошел на заднее крыльцо надевать грубые башмаки, в каких всегда ходил работать. Я вышла за ним.

— Вчера чуть было на мокасиновую змею не наступил,— сказал он, берясь за шнурки.

— Джон тебе не нравится.

Он продолжал шнуровать ботинки.

— Я его не знаю.

— Ты же нас сам познакомил.

— Узнал по фамильному сходству, как узнал бы любого из них. Вылитый Толливер.

— И все равно он тебе не нравится.

— Мне об их семье известно кое-что, чем трудно восхищаться.

— Но ведь то семья, а не он.

— Да,— сказал дед,— справедливо. Ты в него влюблена?

Я почувствовала, что краснею.

— Я этого не стыжусь. Да, влюблена.

— Кто же говорит, что ты должна стыдиться.

Он зашнуровал башмаки, по-стариковски расправил колени и окинул взглядом двор — грязный, как всегда по весне, коровник и силосные башни, коптильни, службы, и огороженные пастбища за ними, и лес за пастбищами.

— Ты, кажется, не рад.

Он стал набивать трубку.

— Внучка, я просто слишком стар для восторгов. Что ни вспомнишь в жизни — все будто бы лишь повторение одного и того же. Вот сейчас ты приносишь мне такую новость. А у меня в памяти только одно: как мы с твоей матерью едем в коляске с вокзала, едем вдвоем вот по этой аллее — та же аллея, те же цветы, все то же — и она мне говорит, что полюбила и выходит замуж.

— Джон не такой, как мой отец.

— И помню, как сам я еду домой сказать родителям, что полюбил и собираюсь жениться. И они тоже как будто не удивлены и не очень рады.

— Но у меня не так,— сказала я.— У меня другое.

— Когда тебе будет столько лет, сколько мне,— сказал он,— ты увидишь, что на свете не слишком много особенного, непохожего, необычного.— Он встал.— А я уже такой старый, что помню, как в здешних местах еще и долгоносик не водился... Знаешь, позвони-ка ты тетке Энни. Ей, видно, на роду написано устраивать все свадьбы в моем доме.

— Хорошо,— сказала я.

Он пошел через двор; у него всегда день начинался с беглого осмотра хлевов и скотины. Но не сделал двух шагов, как обернулся и сказал:

— Роберт окончил колледж и поступил работать.

— Я не знала,— сказала я.— Это замечательно. А где?

— В Сан-Франциско,— сказал он.— Там нужны инженеры.

— Воображаю, как счастлива Маргарет.

Он посмотрел на меня тем, уже знакомым мне взглядом, чужим и чуть удивленным, как будто видел впервые. В самый первый раз.

— Весьма уместное и вежливое замечание. И я думаю, что так оно и есть.

По пути в спальню — теперь мне нестерпимо захотелось спать — я встретила в холле Маргарет: она вынимала из вазы на столе сухие цветы.

— Я только что узнала про Роберта,— сказала я.— Вот здорово.

— Он славный мальчик,— спокойно сказала она.

— Теперь, верно, скоро женится.

— Да,— сказала она.— Теперь скоро.

Я пошла спать и, засыпая, подумала, как постарела Маргарет. Она всегда была высокая и костистая и сейчас тоже оставалась такой; только раздалась в бедрах, по гладкой черной коже на щеках пролегли складки, появились морщинки у глаз. Да и в волосах проглядывала седина, это давала себя знать ее белая кровь. Я попыталась подсчитать, сколько ей лет — они были примерно одного возраста с моей матерью, значит далеко за сорок, около пятидесяти,— и, не додумав до конца, я заснула.

Свадьба была июньская, пышная, как все того ожидали. Самая пышная свадьба того года. Для тех, кому не хватило места у нас, дед снял целиком гостиницу «Вашингтон». Но даже этого оказалось мало, и наши родственники Бэннистеры (Питера Бэннистера к тому времени уже не было в живых) предоставили в распоряжение гостей свой поместительный дом.

Во всем штате, кажется, не осталось уголка, где бы я не побывала, разъезжая по приемам, коктейлям, девичникам, балам. Многодневные, на старинный лад, визиты на побережье Мексиканского залива. Охота в лесных угодьях северных округов. Танцы без конца; балы, пикники, маскарады... За две недели до свадьбы я побывала в округе Сомерсет у родителей Джона. Они не устраивали вечеров — здесь из свадьбы не делали события,— здесь жили люди серьезные, богобоязненные. Мы провели у них всего один день. Они были вежливы, были по-своему добры, но я уехала с чувством большого облегчения.

— Видишь, я говорил,— сказал на обратном пути Джон.— Это тебе не округ Уэйд.

Я кивнула.

— Я понравилась твоим родителям?

— Они тебя одобряют.— Он сверкнул сухой и безупречной улыбкой.— В их понимании это куда более ценно.

— Что, так-таки ничего не сказали?

— Сказали, что из тебя выйдет хорошая жена.

— А-а.— В моем голосе прозвучало сомнение.

— У них свои привычки,— сказал он.— Не обращай внимания.

Ко дню свадьбы я уже еле держалась на ногах и, спускаясь об руку с дедом по ступеням, споткнулась и чуть не упала. Едва венчание и торжественный прием окончились и мы на новой, подаренной дедом машине отъехали от дома, я моментально уснула и проспала полдороги до Нового Орлеана. Когда я проснулась, было далеко за полночь, машина стояла на берегу Мексиканского залива (видно было, как поблескивает под луной вода), Джон спал, сидя за рулем. Я откинулась на спинку сиденья и не стала его тревожить. Остаток пути до Нового Орлеана мы проехали уже на рассвете.

Спустя две недели мы были дома; спустя два месяца — в университете, и Джон приступил к занятиям на последнем курсе юридического факультета. Я была потрясена тем, как он занимается. Я еще не видела, чтобы кто-нибудь столько работал. Дед, во всяком случае,— никогда. Я не представляла себе, что человек способен с таким неистовым упорством отдаваться работе. Мы поселились в маленькой солнечной квартирке возле самого университетского городка, и за весь год, что мы там прожили, я его почти не видала. В полдень мы встречались за завтраком: быстрая пробежка по студенческому кафетерию — и все, до самого вечера, когда закроется библиотека, и он придет домой, и будет битый час стучать на пишущей машинке. Он вел большую переписку; письма составлялись тщательно и продумывались до последнего слова.

— В будущем от них может быть польза,— сказал он, когда я возроптала.— Если начинаешь с ничего, приходится все брать в расчет.

Он так мало бывал дома, а мне до такой степени было нечем себя занять, что я стала подозревать его. Кончилось тем, что однажды вечером, после ужина, я решилась его выследить. Он занимался в нижнем зале библиотеки, и со ступенек у входа можно было за ним наблюдать. Час за часом он сидел, сгорбившись над книгой. Ни с кем не разговаривал; словно не замечал, что рядом есть другие люди. Он не оторвался от стола, даже чтоб выкурить сигарету; он почти ни разу не переменил положения на своем неудобном деревянном стуле.

Три часа я просидела на бетонных ступеньках — мне было одиноко и нездоровилось — и перед самым закрытием бегом кинулась домой, чтобы его опередить.

— У тебя холодные руки,— сказал он, ступив за порог.

— Выходила пройтись.

— А это ничего?

— Надо же человеку хоть изредка куда-то выйти. И потом, что могло случиться?

— Если привяжется какой-нибудь хлюст, пеняй на себя.

— Ты что, волнуешься? — сказала я.— Ты, может быть, волнуешься, что у меня есть любовник?

Он уже доставал машинку. (Каждый день я ее запирала в футляр, чтобы не видеть.)

— Любовник? Не думаю,— сказал он.— Я тебе доверяю.

И тогда, окончательно несчастная, сославшись на головную боль, я легла в постель и заплакала в подушку тихими, горькими слезами. По-моему, именно в тот вечер я задумала завести ребенка.

Когда сомнений не оставалось, я ему сказала.

— Рановато,— негромко произнес он.— Впрочем, мне тоже не мешало быть поосторожней.

— Хочешь, чтобы я от него избавилась?

— Нет,— твердо сказал он.— Чересчур рискованно. Так и умереть недолго.— Прошла минута, и у него уже все было продумано.— Ничего,— сказал он.— С ребенком тебе будет веселей.

— Я не скучаю,— сказала я.

— Разве? — Он взял вечернюю газету и пробежал ее глазами.— Я полагал, что причина в этом.

Он знал. Вот что всегда меня поражало — как он много знает, как много замечает при этой своей отсутствующей мине занятого человека...

Разумеется, он окончил колледж, и с наивысшими отличиями, но тут возникло нечто непредвиденное — война в Корее. Поскольку он оставался офицером запаса, его немедленно призвали. Он был в отчаянии, бушевал от бессильной ярости. Его серое лицо покрылось красными пятнами, и он вывернул с мясом ручку у мягкого кресла в гостиной. Я только сидела со своим животом и хлопала глазами, глядя, как он разносит в щепки кресло.

— Два года в Германии! — выкрикивал он.— Какого дьявола они других не берут? Пускай бы тоже узнали, сладко ли коченеть в грязи.

Он еще много что говорил, и не спал две ночи, и едва попрощался со мной, когда наконец пришло время уезжать. Но все обернулось далеко не так страшно — вовсе нет. Впрочем, для него редко что оборачивалось неудачей. Он легко приспосабливался. Что бы ни стряслось, всегда умел воспользоваться обстоятельствами с выгодой для себя. Так случилось и с его службой во время корейской войны. Он был направлен в Вашингтон и три года просидел в сумрачных и унылых интендантских казармах. Но он и повидал кое-что в Вашингтоне, и это пришлось ему по вкусу. Он увидел такой размах, такие горизонты, какие не снились его засевшему в Государстве Толливер семейству. И еще он увидел, где его место.

Он сказал мне об этом перед самым отходом поезда, которым я уезжала домой. Вашингтон был переполнен народом, больницы битком набиты, и вообще все было мерзко. Я ехала рожать к деду. По дороге на вокзал Джон рассказал мне, чего он хочет и как намерен действовать. Первый этап — губернатор штата, конечная цель — сенатор.

— На президента не потяну.— Он любовно погладил меня по тугому животу.— Штат маловат, да и южанину в любом случае путь зака-

зан... Кстати, все забываю тебе сказать, я перед отъездом вступил в Совет Белых Граждан и в Клан.

— О господи,— сказала я.— Только этого не хватало.

— Твой дед тоже состоял в Клане.

— Тогда было иначе.

— И судья Блэк.

— Но ведь больше не состоит.

— Милая, когда я добьюсь такого положения, как у него, я тоже уйду.

Итак, в ясные, морозные дни ранней зимы я возвратилась к деду. По утрам сидела на солнышке на заднем крыльце, после обеда — на веранде, болтая с теми, кто приходил меня проведать. А приходили многие: днем — дамы, по вечерам — супружеские пары. По тому, как они осведомлялись о моем муже, было ясно, что Джон произвел на них впечатление.

Однажды вечером дед спросил:

— Он что, намерен заняться политикой?

— Да.

Он усмехнулся.

— Слишком много развелось стариков среди политиков штата. Прямо оскомину набили эти потасканные рожи. Как видно, мы вполне созрели для бравого молодого воина только что с поля брани. Значит, переберешься в губернаторский особняк — насколько я понимаю, он именно туда метит.

— Да, он об этом думает.

— Что ж, отчего бы и нет.

— Он тебе по-прежнему не нравится, да?

— Я не слишком обожаю политику, внучка, и никогда не обожал... Ну, а тебе он по-прежнему нравится?

И я сказала ему правду.

— Не так, как раньше. Но я его люблю.

— Немаловажное обстоятельство,— сказал дед.

Как-то холодным декабрьским утром, когда на перилах крыльца сверкали мириады морозных блесток и небо сияло жесткой зимней голубизной, я села завтракать. Вдруг, ни с того, ни с сего, из меня — по ногам, сквозь пеньюар — хлынула, собираясь лужей на полу, зеленоватая с неприятным запахом вода.

Отяжелевшая, вялая, я тупо уставилась на нее. Какой противный запах. Какая она гадкая. Я все глядела, наморщив губы и почти не замечая, что Маргарет мгновенно вскочила и уже торопливо набирает какой-то номер на диске стенного телефона. Когда раздались гудки, она обернулась ко мне.

— Чувствуешь что-нибудь?

Я покачала головой.

— Кому ты звонишь?

— На скотный двор. Он там.

Деду, конечно. Она никогда не называла его по имени. Во всяком случае при мне.

Никто не отвечал. Маргарет довольно долго слушала гудки, потом позвонила городскому врачу Гарри Армстронгу. Его не было, и она попросила передать, кто звонил. Она вышла на крыльцо и постояла, вглядываясь во все стороны, но на выметенной зимою усадьбе было пусто. Она вернулась назад, неся на своем платье резкое дыхание холодного ветра.

— А сейчас что-нибудь чувствуешь?

— Как-то не по себе.— На меня вдруг напала сонливость, и стало трудно ворочать языком.

Она приложила ладонь к моему животу, в том месте, где начинается выпуклость, и крепко надавила. С минуту подержала так. Потом взяла меня за руку, заставила встать со стула.

— Пойдем, тебе нужно лечь.

Она помогла мне подняться по лестнице и уложила на кровать, а сама опять пошла в холл звонить на скотный двор; но и на этот раз никто не отвечал. Дед, как видно, куда-то отлучился, причем на нашей единственной машине. Свою я оставила в Вашингтоне Джону.

Значит, этому суждено произойти дома. Как глупо, думала я. Всегда у меня все не по-человечески. Не способна даже своевременно добраться до больницы, когда приспел срок рожать...

Вернулась Маргарет.

— Долго уже я так? — спросила я.

— Пяти минут нет, девочка.

Меня ужасно разморило, точно пьяную, глаза слипались сами собой. Неожиданно мое тело сотряслось, всколыхнулось, как когда чихнешь, только в тысячу раз сильней. Под конец я закричала.

Маргарет стягивала меня с постели. Она уже успела меня раздеть. Голая, обливаясь потом в нетопленой комнате, я прислонилась к краю кровати, пошатываясь от сонной одури.

— Сядь на корточки,— велела она.

На полу — я только теперь заметила — была расстелена простыня. Я присела. Она протиснулась сзади, села на кровать и, придерживая меня с боков ногами, крепко ухватила руками за плечи.

— Теперь давай.

Еще два приступа раздирающей боли, и на белой простыне появилась лужа крови, и ребеночек, и какая-то скользкая кишка.

Теперь Маргарет стояла рядом со мной на коленях, моя голова лежала у нее на плече. Углом простыни она вытирала ребенку ротик. Оттуда исходило слабое чириканье. На секунду мне подумалось, что открыто окно и я слышу птичий щебет снаружи. Но нет, его издавал окровавленный, едко пахнущий комочек плоти, который я произвела на свет.

Так, скорчившись, мы с ней сидели бок о бок, пока не закончились роды. Потом Маргарет помогла мне взобраться на кровать. Я забыла про ребенка и уснула.

Когда я проснулась, горел камин, и в комнате было тепло, и Маргарет сидела в качалке возле огня, а у нее под рукой стояла плетеная колыбель. Она увидела, что я открыла глаза, и тут же подошла ко мне.

— Дедушка с доктором Армстронгом сидят внизу, выпивают. И уже не первую рюмку,— она мягко улыбнулась, но улыбка погасла, и, чуть неуверенно, она сказала: — Нужно их позвать... Ты, пожалуй, лучше говори, что рожала в кровати.

— Да?

— Белые дамы не котятся на полу, на корточках.

Не знаю, может быть, она сказала это в насмешку, но на всякий случай я послушалась. Я ни разу не проговорилась, и все считали, что ребенок родился на постели — чинно и благородно.

Какая разница — все равно, это была девочка. Я чуть не плакала от разочарования. Мы назвали ее Абигейл.

Второй раз — всего через тринадцать месяцев — я рожала как полагается, в больнице. И даже доктор был другой: Отто Холлоуэй. Гарри Армстронга к тому времени хватил удар, и он больше не работал. Но и на этот раз родилась девочка. Мэри Ли. Я уронила голову на грубую больничную простыню и заплакала горючими слезами. Как я хотела мальчика, господи, как хотела. Джон — ему на этот раз удалось вы-

рваться и приехать — с озабоченным и недоумевающим видом топтался возле кровати.

— Не расстраивайся так,— твердил он.— Это неважно. Это не так уж важно.

Я сама родилась девочкой, была единственным ребенком. Моя мать тоже. Так должно же было хоть мне повезти! Я всегда мечтала о целой дюжине сыновей.

Джон не поймет. Куда ему понять.

— Ах, уйди от меня,— говорила я.— Пожалуйста, уйди.

— Тут не только в ребенке дело,— резко сказал он.— Тут еще другое, верно?

Я даже не постаралась вникнуть в его слова.

— Уходи.

— Я знаю. Кто это тебе наболтал? — Голос у него был резкий, злой, и в нем слышались колючие нотки страха.— Что ни сделаешь, самое невинное, черт побери,— люди все равно переиначат на свой манер, подлые душонки.

Ошарашенная, я откинулась на подушки и сделала равнодушное лицо, а он рассказывал мне, сколь безгрешна — и в то же время доступна превратным истолкованиям — была его жизнь в Вашингтоне. Я слушала, и все, что он говорил, понимала наоборот.

Несмотря на это, мы уехали назад вместе и, пока не вышел срок его службы, жили в Вашингтоне. (Он сам попросил, чтобы я ехала с ним. «Если ты будешь рядом, перестанут сплетничать».) Куда бы мы ни пошли, я ловила себя на том, что присматриваюсь, пытаюсь угадать. Которая — эта? Или вон та? Впрочем, я была влюблена, а это, как выразился мой дед, немаловажное обстоятельство.

Война в Корее кончилась. Мы приехали в округ Уэйд, и Джон открыл адвокатскую контору прямо на главной улице Мэдисон-Сити, рядом с аптекой Рексолла. Он работал с той же одержимостью, что и в колледже. Создавал себе адвокатскую практику и делал первые шаги на политическом поприще. Почти не проходило недели, чтобы он не ездил куда-нибудь выступать. Он был способен говорить о чем угодно, начиная с домашнего консервирования и жука-долгоносика — и кончая упадком нравов современной молодежи, и всякий раз вполне искренне и серьезно. Как-то ему предстояло выступить на субботнем собрании фермеров с сообщением о роли нашего штата в борьбе с сибирской язвой. На этот раз я не смолчала.

— Джон, имей совесть,— сказала я.— Ну что ты знаешь о сибирской язве?

Он обнажил зубы в сверкающей радужной улыбке; мне начинало казаться, что она специально рассчитана на объектив фотоаппарата.

— Спрашивал у твоего деда вчера за обедом,— сказал он.— Возбудитель — бацилла, живет в земле, стадия споры — до тридцати лет... Все, больше мне не требуется...

— Лихо.

— Я им делаю сообщение не о сибирской язве, душенька. Я делаю сообщение о Джоне Толливере.

По адвокатской части он тоже на редкость преуспевал, умел найти подход к каждому судье и присяжному в штате. Правда, он занимал выгодное положение. Он был Толливер, и это означало, что во всей северной части штата он мог запросто бывать практически в каждом доме. Он женился на урожденной Хауленд и, значит, по сути дела, состоял в родстве со всей центральной частью штата. Оставалось не то три, не то четыре округа на Юге, но в них он не был заинтересован. Больше того, как правило, он даже отказывался ездить туда выступать.

отговариваясь тем, что якобы к нему враждебно настроено тамошнее католическое большинство. Насколько это утверждение соответствовало действительности, судить не берусь. Знаю только, что он часто пускал его в ход, чтобы привлечь на свою сторону многих и многих протестантов, которые в ином случае его бы не поддержали.

Я сидела в своем доме в Мэдисон-Сити и наблюдала.

Дом у нас был новый, мы построили его сами. Джон сначала хотел подыскать что-нибудь среди старых домов (их тогда сколько угодно пустовало в городе).

— Для престижа мне лучше бы жить в старом,— говорил он.— Солидно, нечто вроде шерстяного костюма в летнюю пору.

— Мне хочется новый дом,— сказала я несмело, потому что стоило мне вступить с ним в спор, как я обязательно оставалась побежденной. И чтобы не дать ему себя отговорить, я сказала нечто, чего еще не решалась сказать никогда.— В конце концов, деньги мои.

Ужасно трудно определить, какое выражение появилось в ту секунду на его лице. Не гнев, не обида. Не знаю, что такое. Возможно, просто удивление.

— И вообще,— поспешно прибавила я, в страхе, что хватила через край,— на свете есть только один старый дом, где я хотела бы жить. Дом деда.

Он опять сверкнул этой своей радужной улыбкой.

— Еще бы — когда он достанется тебе в наследство. Вложим немного денег, выйдет не дом, а загляденье.

— Хорошо,— сказала я, хотя у самой где-то под ложечкой пробежал холодок: распоряжаться вот так имуществом человека, когда он еще жив...

Я построила дом — новенький, точно с картинки, и мои девочки спали в новеньких, точно с картинки, нарядных спальнях. Город жужжал, как потревоженный улей, когда я выписала из Мобила специалиста для отделки кухни и ванных. В главной ванной комнате была вделанная в пол ванна и внутренний дворик с солярием. Кухня — целиком из журнала «Дом и сад»; все по последней моде, все новинки и усовершенствования, какие только существуют на свете. Что по этому поводу думали в городе, я узнала от Маргарет. Прошло не больше недели с тех пор, как мы въехали; она привезла несколько штук перепелов от деда. Уперев руки в полнеющие бока, она оглядела кухню, поджала губы и ничего не сказала.

— Нравится?

— Завидная кухонька для черной стряпухи.

Она сказала это ровным, обыденным тоном. Возможно, с иронией. Возможно, без всякой задней мысли. Возможно, это был голос отцовской крови.

Я никогда не знала, серьезно она говорит или с насмешкой. Подозреваю, что она к тому и стремилась.

А может быть, ей уже попадались на глаза некоторые высказывания в газетах: с недавних пор на страницах местной печати то и дело появлялось имя Джона. Сама я впервые увидела его в маленькой вырезке из газеты, выходящей в Атланте; ее прислала моя родственница Клара Худ. (В девичестве Клара Бэннистер из Мэдисон-Сити. Она вышла замуж за молодого священника-методиста по имени Сэмюел Худ и переехала жить в Атланту. Ее рыжеватый, некрасивый муж был человек весьма убежденный, благочестивый и рьяно защищал права негритянского народа. Познакомясь с ним, Клара Бэннистер, воспитанная в духе Совета Белых Граждан, начисто отреклась от своих прежних взглядов и заделалась, помимо всего прочего, членом Национальной Ассоциации

Содействия Прогрессу Цветного Населения. Даже ее далекая от жизни недотепа-маменька и та пришла в ужас. Дед находил все это крайне забавным.) Вырезка представляла собой интервью с Джоном. Откуда-то с последней страницы, не очень длинное и не особенно интересное. Полно простецких задушевных фраз: рад случаю побывать в Атланте, повидаться с родней супруги; всякий приезд в наш город — большое удовольствие, и тому подобное. Заключительные слова врезались мне в память: «Мистер Толливер — многообещающий молодой адвокат; его считают на Юге гордостью и надеждой сторонников сегрегации».

Я показала газету Джону.

— Я уже видел, милая.

— Ты разве читаешь атлантские газеты?

— Нет, мне присылают вырезки.

— А я и не знала, что присылают.

— Ты же не спрашивала.

— Ты что, правда, заходил к моим родственникам?

Он усмехнулся.

— Замотался с проклятыми делами, так что и позвонить-то было некогда. Но в газете это хорошо звучит...

Тот вечер — первый за полтора месяца вечер дома — он провел, терпеливо ползая с двумя девчурками на спине по полу гостиной. Он подарил каждой по большой фотографии и повесил у них в комнатах. «Чтобы не забывали, какой у них папа»,— сказал он. Он любил их, и они его обожали. У нас с девочками дни текли тихо и мирно, скучноватые и однообразные,— пока не являлся он. Он вносил с собой оживление — это он всегда умел.

По-видимому, мой вопрос насчет газетной вырезки Джон воспринял как некий упрек; во всяком случае с тех пор он стал приносить вырезки мне. Все до одной. Я аккуратно складывала их в коробку — на днях она случайно мне попалась,— но никогда не читала. Порой, когда он протягивал мне очередную статью, среди текста невольно бросались в глаза отдельные слова. Расист. Решительный сторонник сегрегации. Стойкий поборник прав штата.

Я как-то спросила его об этом и потом пожалела. Мы ехали в университет — он получил от студенческого комитета приглашение выступить. Стоял вечер; один из тех серо-серебристых зимних вечеров, когда все очерчено тонко и мягко и небо смутно розовеет, а земля мерцает и расплывается в дымке тумана. Машина сверкала новизной и дивно пахла; ноги обдавало ровной струей тепла. Ни с чем не сравнимо это ощущение езды в мощном автомобиле по хорошим дорогам в гористой местности. Как по морским волнам, неслись мы вверх и вниз по склонам холмов. Я была рада оторваться от детей — я чересчур засиделась дома. Мне льстило сознание, что я жена популярного оратора. К тому же Джон привез вчера в кармане пиджака сапфировое кольцо. «Под цвет твоих глаз, старушка»,— небрежно уронил он. Меня не ввел в заблуждение тон этих слов. Я знала, что такое для него деньги, а это кольцо стоило дорого. Он был хорошим мужем и работал не покладая рук, но впервые я получила от него нечто подобное: дань признания. Как это будет чудесно, думалось мне, пока мы с ревом летели по холмам; вместе состаримся, девочки на наших глазах станут взрослыми, будут привозить к нам внучат... Мечты, сентиментальные и длинные, под стать вереницам серых длинных холмов.

Убаюканная кротким вечерним светом, я задала ему этот вопрос — он занимал меня давно, о нем напоминали слова из газетных вырезок.

— Джон,— сказала я.— Что ты на самом деле думаешь про негров? Не то, что скажешь сегодня с трибуны, а честно — что?

Он хмыкнул и с протяжным сигналом вильнул в сторону, объезжая автофургон для перевозки скота.

— Души в них не чаю,— сказал он.— Совсем как твой дед.

Серебристый вечер померк, исчезли еще не рожденные внуки. Остались унылые зимние холмы и человек, который слишком гонит машину.

Еще несколько лет, безбедных и размеренных, прерываемых лишь поездками в отпуск, которые с некоторых пор стал позволять себе Джон. По этим поездкам я отличаю один год от другого: год путешествия на Ямайку, год Бермудских островов, год, когда мы отдыхали в Солнечной Долине. Мы уезжали два раза: летом и зимой. Подрастали девочки. Из колыбели в кроватку, от коляски — к велосипеду, из детского сада — в первый класс. Они росли красивыми, темноволосые и синеглазые, в отца. Ему хотелось еще детей, я знаю. Один раз он заикнулся об этом. Я только сказала:

— Дай я сначала справлюсь с этими. Погоди — с ними столько хлопот.

Он ждал; такой не попросит второй раз — из гордости.

А потом умер дед. Это случилось в январе, через несколько дней после сильного снегопада. Снегопадов в общепринятом смысле слова в наших краях вообще не бывает — так, припорошит землю, вроде как тронет изморозью. Но на этот раз с нависшего, серо-зеленого неба насыпался покров дюймов в пятнадцать толщиной, и все пошло кувырком. Скотину на отдаленных выгонах охватила паника. Коровы ломали заборы, продирались сквозь проволоку, оставляя на колючках кровавые клочья, забредали на лесные участки, а то и дальше. Их предстояло изловить по нескольку голов за раз и вернуть в стадо. Работали все мужчины, какие только были на дедовой ферме,— разыскивали раненых коров, чинили ограды.

Четыре дня подряд дед рано утром уезжал из дому на своем грузовичке и трясся по рытвинам оледенелых лесных дорог, которые медленно оттаивали, покрываясь лужами грязи. Три дня он возвращался к ночи, спотыкаясь от усталости, глотал, не прожевывая, ужин и валился спать. На четвертый вечер он не вернулся.

В тот четвертый день он работал один. Оливер Брендон, его всегдашний подручный, уехал в город купить несколько пар запасных кусачек и еще кое-что из инвентаря. Он взял машину Маргарет — прошлогодний подарок деда — и вернулся к полудню: в это время дед обещал за ним заехать. Когда в условленный час его не оказалось, ни Маргарет, ни Оливера это не встревожило. В последнее время он, как бывает в старости, сделался забывчив, тем более что вообще у него не было заведено возвращаться в полдень домой. Ехать его искать не имело смысла: он не предупредил, где будет; и Оливер принялся менять растрескавшиеся половицы на веранде.

Дотемна оба не беспокоились; когда стемнело, стали ловить себя на том, что все чаще посматривают на черные, слепые окна.

— Возможно, работает при свете фар,— предположил Оливер.

Маргарет покачала головой.

— Откровенно говоря, я и сам так не думаю,— сказал Оливер.

Маргарет подошла к окну и стала, прислонясь лбом к холодному стеклу, вглядываться, хотя ничего разглядеть было невозможно.

В десять часов Маргарет позвонила мне. Джон в этот вечер случайно оказался дома, дети спали, было тихо и уютно, покойно, уединенно — пока не зазвонил телефон. Джон взял трубку: он слушал, и его лицо становилось все более напряженным.

— Не вернулся.— Он коротко рассказал мне, в чем дело.

— Куда он поехал?

Джон покачал головой.

— Она не знает, и по следам не найдешь: на тех дорогах слишком много грузовиков.

Мы выехали тотчас же. Маргарет сидела одна. Оливер ушел домой; он был стар и устал за день. Джон торопливо обменялся несколькими словами с Маргарет. Потом пошел звонить. Добрый час он просидел у телефона, пытаясь вызвать полицейский вертолет. Он требовал, чтобы к поискам приступили немедленно; в полиции настаивали на том, чтобы отложить до рассвета. В конце концов договорились, что сразу будет выслан наземный отряд.

Потом он вернулся к нам. Мы сидели втроем в гостиной и ждали. Часов в одиннадцать стало слышно, как по дороге, одна за другой, проезжают машины; по зажженным фарам было видно, как возле раскидистого камедного дерева они сворачивают на проселок, ведущий к лесопилке и дальше, в глубь леса.

— Сколько их понаехало,— сказала я.

— Еще бы,— сказал Джон.— Тому, кто его найдет, я пообещал пять тысяч долларов вознаграждения.

Я только раскрыла глаза. Мне бы самой ни за что до такого не додуматься — а впрочем, когда и что я умела придумать...

Потом начались звонки по телефону. Казалось, просыпается весь округ. Часов в двенадцать позвонили даже из Атланты. Моя родственница Клара Худ спрашивала, правда ли то, что она слыхала. Я не думала, что вести способны разноситься с такой быстротой — даже дурные вести.

Первой сварила кофе Маргарет, потом я. В час ночи Джон достал бутылку дедова виски. С первой рюмкой я справилась, после второй сразу же пошла в уборную и меня вырвало. Когда я вернулась, Маргарет с Джоном сидели, как манекены, в мертвой тишине, пили и дожидались меня.

Он сказал:

— Ты, милая, больше не искушай судьбу.

Маргарет сказала:

— Мистер Джон говорит, у тебя душа не принимает спиртного.

Как-то по-особенному у нее получалось это «мистер Джон». Вполне уважительно и в то же время не без иронии. Устало и с усмешкой. С полным пониманием, что к чему. Время от времени среди негров встретишь человека, наделенного таким свойством. Мне от него всегда становится очень не по себе. Я не хочу, чтобы меня так видели насквозь.

Джону это как будто ничуть не мешало. И если Маргарет не могла держаться с ним вполне свободно (а она вообще была не из тех, кто держится свободно в присутствии посторонних), то он определенно чувствовал себя в ее обществе как нельзя лучше. Она нравилась Джону, ему было с ней легко. Куда легче, чем с дедом. Стоило тому войти в комнату, как Джон весь точно подбирался и пускал в ход эту свою показную безупречную улыбку. А с Маргарет ему было просто — всегда и в эту ночь тоже.

Мы были в тревоге все трое — в смертельной тревоге. Мы сидели и ждали; три человека: Маргарет, он и я.

Пока мы сидели и ждали в гостиной, дед сидел мертвый в своем грузовичке.

Ночные поиски не дали ничего. На рассвете прибыл полицейский вертолет и застрекотал над землей, деловито прочесывая пространство.

Грузовичок обнаружили за полчаса, но добираться к нему по разбитым дорогам пришлось гораздо дольше. Он оказался в таком месте, где никто не рассчитывал его найти. Очевидно, дед все же не поехал выхаживать скотину и чинить заборы. Он спустился на пойменные хлопковые участки, в так называемое старополье. Он проехал по широким полям к крутобокой островерхой гриве, густо поросшей лесом. Это были земли, облюбованные еще первым Уильямом Хаулендом. По преданию, именно здесь он распахал свои поля, первые свои поля. Но теперь от них ничего не осталось; теперь здесь разросся бор, частый и дремучий. Здесь и дорог-то не было, только узенькие тропки. В таком месте даже вертолету негде сесть.

В конце концов к нему все-таки сумели пробраться. Он съехал с тропы чуть в сторону, заглушил мотор, поставил машину на тормоз. Значит, он все-таки предчувствовал, что́ надвигается. И остался сидеть так, не сняв рук с баранки. Касаясь лбом костяшек пальцев. Словно ждал чего-то. Словно остановился и чего-то ждал.

Из полиции не стали звонить, а прислали с сообщением полисмена. Тот явился, сообщил, довольно-таки сбивчиво, и потом стоял, переминался с ноги на ногу, крутил в руках фуражку, не совсем представляя себе, что еще от него требуется; не зная, какие слова положено говорить, когда старого человека найдешь мертвым в лесу. Помню, я глядела на него и думала, до чего он похож на Джона. Немного плотней, пожалуй, но те же черные волосы и близко посаженные синие глаза, той же формы челюсть, те же тонкие губы. Джон был похож на всякого уроженца северной части штата...

Сухая, скупая весть, принесенная полисменом, не причинила мне острой боли. У меня была целая ночь, чтобы к ней подготовиться. Зато Джона она потрясла. Вся краска схлынула у него со щек, он побелел, верней сказать, даже позеленел. Он не брился, и от густой щетины, неровной и кустистой, казалось, будто лицо у него в синяках.

— О, господи,— сказал он.— Всю ночь я думал: наверняка авария, расшибся, ну — сердечный приступ или еще что-нибудь, все же возраст.— Он начал нервно кусать себе ногти; я еще никогда не видела, чтобы он это делал.— Я мысли не допускал, чтоб он мог вот так взять и умереть.

Он проводил полисмена до машины и зашагал дальше по грязной обочине шоссе. Я увидела это в окно и тронулась было за ним.

— Оставь его,— повелительно сказала Маргарет.

Я не подумала о ней — мы оба не подумали. Мое внимание было поглощено полисменом, а после — Джоном. Я забыла про Маргарет.

— Маргарет,— сказала я.— Я понимаю твое горе.

Она как будто не слыхала. Может быть, потому, что не желала принять от меня ничего, даже сочувствия.

— Оставь его,— сказала она вслед Джону.

— Он без пальто,— сказала я.— Холодно.

— Когда почувствует холод, вернется,— сказала Маргарет.

Ее чернокожее лицо, гладкое и округлое, было бесстрастно. Обыкновенное лицо немолодой негритянки, которая выглядит старше своих лет и вполне равнодушна ко всему, что бы ни творилось вокруг. Черная кожа, конечно, способствует этому — такой глухой, такой непроницаемый цвет. Под ним все скрыто от глаза — и кровь, и кость.

— Чего доброго, схватит воспаление легких.

— Он его уважал,— спокойно сказала Маргарет.— Не мешай, пусть горюет.

И пошла на кухню готовить завтрак. Счастье или смерть, а есть-то надо, и ее обязанность — приготовить еду.

Она шла чуть отяжелевшей походкой, слегка приволакивая ноги, как будто сила земного притяжения внезапно возросла для нее во много раз.

Маргарет, конечно, была права. Джон уважал его. И горевал по нему. Это не значит, что он любил деда. Вовсе нет. Уильям Хауленд его недолюбливал, и Джон это знал, стало быть, о любви тут говорить не приходилось. Но уважение — совсем другое дело. Уважение воздается человеку за то, что он есть. Уильям Хауленд заслуживал уважения, и для Джона Толливера было только естественно воздать ему должное.

Со мной все обстояло наоборот. Я любила деда, но не уважала. Вот почему за эту долгую ночь у меня хватило сил подготовить себя к тому, что он умер. А у Джона — нет, он не мог.

Маргарет начала петь, собирая завтрак. Этого еще никогда не случалось; она всегда молчала, как может молчать только черная женщина. А теперь она пела, голосом легким и высоким, мелодичным и нежным.

— «Что тут холодное в темноте жмется все ближе и ближе ко мне...»

Я никогда не слыхала этой песни. Я вникала в смысл ее слов, и мороз пробегал у меня по коже. Это подкрадывалась смерть; подкрадывалась и убивала.

— «Ноги мне вытянет, челюсть сведет, кость изломает и убьет...»

Маргарет пела, как поют псалмы, монотонно и горестно.

— «Дай мне, смерть, еще год, еще только год».

Она молила не за себя. Она оплакивала Уилла Хауленда, скорбя о том, что ему не был дан еще год жизни. Еще хотя бы год.

Мы с Джоном оставили ее за этим погребальным стенанием и вернулись в город. Когда мы выходили из передней двери, зазвонил телефон. Мы подождали. Маргарет не подходила, как будто не слышала звонка. Мы тоже не стали брать трубку. Это было бы все равно что прервать панихиду.

Все двери в доме были открыты настежь, несмотря на холодную погоду, и ее пение провожало нас до самой машины. Я не поручусь, но, кажется, Джон плакал.

Похороны в наших краях во многом похожи на свадьбы. Только чуть короче и чуть меньше шуму. Лишь это и дает силы их вынести. Но рано или поздно им тоже наступает конец, люди разъезжаются, пустеют комнаты, и остается лишь тяжесть в груди да скверный вкус во рту.

Через несколько дней после похорон я посадила девочек в машину и поехала к Маргарет — спросить, что она собирается делать дальше. Я чувствовала себя ужасно. Меня едва не вырвало по дороге. А тут еще девочкам, как нарочно, приспичило без конца петь одно и то же: «И мы встретимся, встретимся, встретимся вновь на прекра-а-сных тех берегах...»

Передняя дверь оказалась заперта. Я пошла к черному крыльцу. Там тоже было заперто. Я постучала, подождала. Со скотного двора медленно приплелся Оливер: увидел мою машину. Он протянул мне ключ.

— Это от черного хода. От парадного что-то не нашли.

Я поглядела: обыкновенный ключ от английского замка, которым запирали на ночь кухонную дверь.

— А где Маргарет?

— Уехала.

— Куда?

— В Новую церковь.

Девочки гонялись по двору за большим серым котом.

— К родным? Я не знала, что ей там есть у кого поселиться. И что ей может прийти в голову вернуться туда.

Оливер терпеливо объяснил:

— У нее там свой дом. Лет уже пять или шесть.

— Вот оно что. А я не знала.

— Мистер Уильям подарил.

— Я и этого не знала, Оливер,— сказала я.— Что поделаешь.

Черные губы тронула едва заметная улыбка.

— Понятно, откуда вам знать.

— Ты мне скажи, где это такое. Я к ней съезжу.

Он сказал:

— Она сама к вам придет.

И пошел прочь, а я с маленьким ключом в руке осталась стоять на пустом крыльце. Шагнула было к двери, но передумала. Расплачусь, и больше ничего, а при детях это не годится. Я позвала девочек, и мы поехали домой.

Несколько дней спустя огласили завещание; в нем не было ни слова о Маргарет.

— Джон, этого так нельзя оставить,— сказал я.— Это несправедливо.

Его лицо еще хранило зеленоватый оттенок, и у него был больной вид.

— Милая, не будь дурочкой,— сказал он.— Неужели так трудно сообразить?

— Маргарет должна на что-то жить.

— Избави нас боже от благожелателей и кретинов.

— По-моему, не обязательно говорить гадости.

— Ты забыла про машину — ту, на которой Маргарет уехала?

— Не будь мелочен, Джон.

— Это ее собственная машина. Записана на ее имя.

— Ах, так,— сказала я.

— Это одно.— Он сделал глубокий вдох.— Знаю, что ты мне на это скажешь, потому что твой образ мыслей для меня не тайна,— и все-таки порядочный человек не назовет среди главных своих наследников негритянку. Тем более если прижил с ней детей. Он не позволит себе поставить в неловкое положение своих белых родичей из-за отпрысков, зачатых под ракитовым кустом.

— Я не знала, что это тебе известно.

Он вспылил.

— Подумай раз в жизни, черт побери. Пошевели мозгами, вместо того чтобы сидеть и источать добрые чувства и женское обаяние.

— Но я действительно не знала.

— Слушай, милая, я тоже ничего не знаю, но могу сказать только одно. Он позаботился о Маргарет. Не год и не два тому назад, а гораздо раньше. Он оставил ей на жизнь более чем достаточно, и детям тоже. Через опекунский совет, пока они учились, или еще как-нибудь, но оставил.

— Он ничего не говорил.

— Это нетрудно устроить, при желании.— Скупая, быстрая усмешка краем рта.— К тому же на дарственную налог куда меньше, чем на наследство. Это его тоже должно было позабавить.

Примерно через месяц Маргарет, как предсказывал Оливер, подала о себе весть.

В тот день я ходила за покупками и, свернув на нашу улицу, заме-

тила у нас перед домом зеленый с белым «плимут». Машина Маргарет — и номер ее, и все остальное. Я побежала на кухню, роняя по дороге свертки, надеясь, что сейчас увижу массивную седеющую голову Маргарет. Но увидела только какого-то чужого подростка лет пятнадцати, стройного и темнокожего. Я свалила пакеты на кухонный стол.

— А Маргарет не приехала?

— Нет, мэм.

— Неужели.— Я была разочарована.— Но ведь это ее машина.

— Она прислала меня.

Красивый паренек, и в лице что-то знакомое.

— Ты ей родственник?

— Ее мамаша и моя бабка были родные сестры.

— Ты на нее похож.

— Она просила меня вам кое-что передать.

— Отлично,— сказала я.

— Она велела сказать, что живет в Новой церкви. Это на случай, если вам когда потребуется ее найти.

— Где же именно?

Он озадаченно наморщил лоб.

— На словах объяснить трудно, но вам там всякий покажет. В общем, на задах, возле купели на реке.

Я принялась машинально разворачивать свои покупки. Две пары спортивных тапочек, отрез синей материи на гимнастический костюм. Какой у них потерянный и нелепый вид на ярко-желтом пластике стола.

— Что она еще велела?

— Велела не заходить к вам, пока не удостоверюсь, что мистера Джона нет дома.

В этом была вся Маргарет, ненавязчивая, тактичная. Маргарет, черная и язвительная. Со всеми, кроме деда. Что же он разглядел в ней такое, что скрыто от остальных?

— Она одна живет? — спросила я.— Впрочем — нет, едва ли.

— Нет, мэм. Еще мы с матерью.

— Втроем, больше никого?

— Сейчас никого,— сказал он.— А когда дом только построили, там еще жила одна старушка, ее тетка.

— А теперь не живет?

— Она потом вся опухла и померла.

— Когда дом только построили — когда же это было?

Он поскреб в затылке.

— Я еще тогда был совсем маленький. Лет шесть назад или, может, семь.

Так вот как давно дед построил ей дом. Оливер знал: он говорил мне правду.

— Ну, хорошо,— сказала я.— Передай, если ей что-нибудь понадобится, пусть даст мне знать.

— Нет, мэм,— сказал он.— Ей не приходится работать.

— Все равно передай.— Значит, и Джон говорил правду. Все было предусмотрено заранее, давным-давно.

— Ей ничего не нужно.— Его взгляд с любопытством скользил по мне. В конце концов мы в некотором роде были родственники.

— И еще ей скажи.— Он обернулся с порога. Привычная маска негра, терпеливая, чуть насмешливая.— Скажи, что я к ней скоро приеду. Что я хочу спросить у нее кой о чем.

Так много вопросов... За все то время, пока мы жили в одном доме и ни разу не могли поговорить. О ней самой. О деде... Каким образом они встретились и как случилось, что она пришла к нему в дом, и как им жилось тут эти тридцать лет. И каково это — отсылать собственных

детей из дому, одного за другим, когда они еще такие маленькие. И ни разу не позволить вернуться назад, чтобы избавить их от позора быть негром. Ни разу не съездить к ним самой, чтобы избавить их от бремени видеть черное лицо своей матери. Они были белые, и это она сделала их такими.

Найти дом Маргарет в Новой церкви оказалось нетрудно. Я только раз остановилась у бензоколонки, спросила и дальше ехала по грунтовым дорогам, ни разу не сбившись с пути. Дом был новый, комнат на пять, с широкой, обнесенной решеткой верандой. Свежеокрашенный, аккуратный, с чисто выметенным немощеным двором и клумбами петуний и вербены.

Даже не разговаривая (она оставалась по-прежнему молчаливой), мы понимали друг друга. Это передавалось по воздуху, душноватому воздуху негритянского жилища. Мне было хорошо и уютно, как дома. Со мной сидела моя мать, она вырастила меня — мать и бабка вместе... Когда я наконец собралась уезжать, она спокойно спросила:

— Мистеру Джону говорила, куда едешь?

Я на секунду замешкалась, но солгать не смогла.

— Нет.

Она, кажется, не обиделась, даже не удивилась.

— Он не такой, как мы.— И едва она сказала это, как нас вдруг стало трое, и третьим был мой дед.

Весь обратный путь он ехал рядом со мной и рассказывал, как все случилось, когда он заблудился на болотах и должен был идти домой пешком от Новой церкви. Не по дороге (мощеной дороги тогда не было), а по тропам через холмы, сквозь сосновый, не тронутый топором бор, так густо выстланный иголками, что не слышно шагов.

Он сидел рядом. Я его видела. Если смотреть прямо на дорогу, он был тут и виден краем глаза. Один раз я повернула голову, чтобы рассмотреть его как следует, но он сразу же исчез. Машину занесло на обочину, из-под колес взметнулась желтая пыль. *Следи за дорогой, внучка,* сказал дед. Больше я не пыталась взглянуть на него прямо, только косилась краем глаза. И он больше не исчезал. Я даже слышала острый запах его пота, фермерского пота, высохшего под солнцем на коже, на хлопчатой ткани.

С ним можно было и поговорить. *Почему ты мне не рассказывал? Ни разу? Ничего? Ты должен был рассказать, должен.*

В тот вечер, пока я доехала до дому, я поняла. Поняла так, как будто он все объяснил мне наконец. За свою жизнь он пекся и заботился о стольких женщинах, что привык смотреть на нас как на бремя, обузу. Любимую, но все-таки обузу. Сначала была его жена — несмышленое дитя, полуребенок,— такая прелестная и недолговечная. Потом — моя мать, стихи в беседке, замужество с изящным англичанином и паническое бегство домой — опять-таки с девочкой. Как тень, она двигалась по дому, как тень, лежала в кровати и наконец умерла. Потом — я, сиротка; потом мои две девочки.

И все зависели от него. Должно быть, он временами чувствовал, что задыхается под гнетом ответственности. Ни одного мужчины в семье за столько лет. Наверно, это тоже не могло его не тревожить.

Столько женских рук цеплялось за него... Но была еще Маргарет. Высокая, как он сам. Способная работать в поле наравне с мужчиной. Родившая ему сына. Маргарет, которая ничего у него не просила. Маргарет, похожая на вольнолюбивую Альберту из старой сказки. Маргарет, сильная и чернокожая. Маргарет, которая не имела на него никаких прав.

(Окончание следует)

Из африканской поэзии

■

Вступление и перевод с английского
О. ТУГАНОВОЙ

Кения, Танзания, Уганда — три страны, объединенные в Восточно-Африканскую федерацию. Их часто называют «благословенной» Восточной Африкой. Именно здесь находится гора Килиманджаро, заповедник диких зверей Нгора-Нгора, зеленые холмы Африки, благоухающие высокие травы. Это «хемингуэевские» места.

Стихи поэтов стран Восточной Африки у нас еще мало известны. К тому же поэзия в Восточной Африке только начинается, и все же она занимает значительное место в жизни этих стран. Люди, не являющиеся профессиональными поэтами, прибегают к поэзии, чтобы ярче выразить свои мысли. Джозеф Кариуки, например, автор стихотворения «Бессонные в Анголе»,— ученый, он возглавляет Институт административных проблем Кении. Это явление, видимо, одинаково характерно для всей Африки.

Публикуемые здесь стихи были напечатаны в «Ист Африка джорнэл» — журнале политическом и социологическом; они затрагивают самые животрепещущие для Африки проблемы.

Ангола... Мы привыкли говорить «боль Вьетнама», но для жителя африканской страны будет также понятно, если сказать «боль Анголы». Стихи Эверета Станды как бы «изнутри» затрагивают племенные проблемы. Это тоже можно назвать болью Африки. Достаточно вспомнить Нигерию, кровавую гражданскую войну. Почти повсюду в Африке тлеют и вспыхивают конфликты, в рождении которых немалую роль играют племенные предубеждения и распри. Они терзают Африку, напрягающую свои силы, чтобы отстоять молодую независимость. И, наконец, проблема «своей» буржуазии и частых военных путчей — стихи Атиено-Одхиамбо; за его стихами — сложный путь Африки, включая и то, что произошло в Конго и Гане, и личный опыт, ход мыслей и вывод, в достаточной мере четкий, хотя Атиено-Одхиамбо и молод.

ДЖОЗЕФ КАРИУКИ (Кения)

Бессонные в Анголе

Сна больше нет.
И не звенят туго натянутые барабаны.
Их сбили с ритма
Пулеметные очереди, жалобы раненых.
А завтра...
Если оно настанет, это завтра.
Сна больше нет.

Порывистый ветер, дующий с севера,
Поднял их. Распрямил, наперекор насмешкам судьбы.
Насмерть стоят они. Ради того, чтобы так же,
Распрямившись,
Радовались жизни их дети.

Они не одиноки.
Гнев закипает от стонов их по всей нашей истерзанной Африке.
И никогда угнетатель не сможет больше жадно
Касаться ее неисчерпаемых, жарких, сгустками крови
обезображенных глубин.
Бессонным будет он отныне
На нашей земле.

Слепой

Когда ты меня покинула,
Не оставив ни слова,
Ты сердце мне вынула.

Я по тебе тосковал,
Страдал по твоей любви,
Твоей ласки все ждал.

Ты ушла насовсем, скрылась,
И горько стало оттого,
Что вдруг правда открылась.

Так долго, так безропотно
Душу тебе отдавал я.
Слишком поздно я прозрел,
Понял тебя — неблагодарная, лукавая.

ЭВЕРЕТ СТАНДА (Кения)

Изменись, Брат!

Когда я вижу тебя, Брат,
Я вижу твою мать,
Я вижу мою мать.
Я вижу твоего отца,
Я вижу моего отца.

Когда я рядом с тобой, Брат, мне кажется,
Я чувствую нежную ладонь твоей матери на своем лбу,
Тепло твоей семьи — это мое тепло.
Все твое племя со мной, а я — с вами.
Я — один из вас; мы все — одна плоть и кровь.

А когда я отдаляюсь от тебя, Брат,
Не вижу и не слышу тебя;
Когда я среди людей,
Не умеющих говорить, как ты говоришь,
Я все вглядываюсь и вглядываюсь в их лица.

Вдруг один из них восклицает: «Мулембе!»
И я не свожу с него глаз, я улыбаюсь ему,
Вырываю его из толпы.
Он — моя часть; я — его часть. Мы едины.
Он сказал слово так, как сказал бы его ты.

Снова я рядом с тобой, Брат,
Снова я обрел всех вас и каждого из вас, все ваше племя,
Всех, кто говорит теми же словами, какими говоришь ты.

Когда меня зовут присесть к котлу, в котором варится мясо,
Я ем вместе со всеми,
Но ухожу и больше этих людей не вспоминаю.
Я думаю только о вас, о племя мулембе!
Сестры, Братья,
Отцы, Матери,
Деды, Бабки.

Но, Брат, теперь все должно измениться.
Не кляни меня, если я
Не раскрою больше объятий при возгласе «мулембе!»,
Останусь холоден.
Потому что теперь все должно измениться.

Зрелость пришла. Научился я
Слышать все струны в человеке.
Поверь, жизнь перебирает их по-разному.
Возглас «мулембе!» больше меня не опьяняет.
Всему отвожу я свое место; каждому воздаю по заслугам.

О Брат, слезы бегут у тебя по щекам.
Из-за рыданий ты не слышишь меня.
Что это — ты кричишь хриплым голосом!
На меня! Лицо твое как маска, разрисованная колдунами.
О Брат, ты пугаешь меня.

Послушай: хочу пронзить твою душу
Стрелой всеобщей любви,
Сделать ее более человечной.
И тогда раздвинутся для тебя рамки сущего.
Взгляни, племя твое необъятно, оно повсюду:
Сестры, Братья,
Отцы, Матери,
Деды, Бабки.

О Брат, ты наступаешь на меня,
Грозишь раздавить во мне то, что едва-едва проросло,
То, что помогает мне проникать в людей,
Понимать, отличать
Голоса в народе.
Брат,
Выслушай меня;
Брат, выслушай меня, Брат...

Е. С. АТИЕНО-ОДХИАМБО (Уганда)

Возрожденная Африка

Адонго сидела на бревне, курила глиняную трубку,
Потягивала дым через прокуренный тростниковый мундштук
И размышляла о «ветре перемен».
Какой-то толстосум купил землю Окело и пустил ее в дело:
Насадил райский сад, поставил деревья ряд в ряд,
Не сад, а дамская завивка;
Сделал всем коровам медицинские прививки.
Вот это и было отмечено министром как «выдающийся прогресс».

Адонго посмеивалась; а чего ей было теперь бояться?
Чернокожий помещик — свой человек; его не приходится бояться.
Он построил новые магазины и раздавал соль бесплатно.
Кто мог бы назвать его эксплуататором?
К тому же его избрал народ.
Он не мог быть подлецом.
Ведь он только что прогнал всех подлецов.
Оговорить его мог только злейший враг.

Так она размышляла; часы текли незаметно.
Вдруг появился и стал держать речь о Справедливости быстроглазый
Военный.
Мы повесили носы, поняв, что
Обмануты глупейшим образом, бессловесные, покорные.
Но капитан держал автомат на прицеле и нас приободрил.
Он сказал, что освободит нас от злодея-помещика — вот этой рукой.
Надеясь на спасительный автомат, я поближе к нему продрался.
Я хотел увидеть своими глазами, как упадет злодей-помещик.
Но увидел вдруг, как упала Адонго с простреленной головой.

■

МЕША СЕЛИМОВИЧ

Чужая земля

МАЛЕНЬКАЯ ПОВЕСТЬ

■

Перевод с сербохорватского
АЛЕКСАНДРА РОМАНЕНКО

На рассвете капитан доктор Джурини — обессиленный, с ввалившимися глазами, заросший и осунувшийся за три дня бегства — остановился на берегу быстрой реки и, повернувшись к своим, сказал:

— Переправимся здесь. Вон лодка у берега.

Следовавшие за ним солдаты начали сбрасывать ранцы с натруженных плеч. Эдмондо растянулся на траве.

— Скорей на ту сторону,— чуть слышно предупредил всех Джурини.— Кто знает, чья это лодка, может быть, партизанская.

— А там что?

— Там запад,— устало ответил Джурини.

За рекою виднелись неоглядные леса — кровь и пламя багряной листвы.

Разговаривали тихо, шепотом. Чужая земля пугала.

Переправившись через реку, гуськом поднялись по крутому склону, покрытому кустарником.

— Тише,— шепнул Джурини.— Дорога. Лейтенант Франчески, идите вперед.

Франчески, молча посмотрев по сторонам, перебежал дорогу и скрылся в зарослях. За ним последовали остальные.

Джурини невольно оглянулся: шоссе разбито, долго не ремонтировалось, кюветы поросли травой, электрические и телеграфные столбы повалены, провода оборваны. Последние следы исчезнувшей цивилизации на пути в неведомое. Но долго раздумывать об этом не приходилось, решили выходить лесами, иначе никогда не выбраться из этой страны, где бушевала война. С них войны хватит. Если они пойдут по шоссе, их перехватят. А они не хотят, чтобы кто-либо их задерживал. Их армия разбита, это чужая война, зачем они здесь? Поэтому они избегали дорог, по которым могла двигаться одна из бесчисленных армий, сражающихся между собой в этой негостеприимной стране.

С вершины плешивой горы они смотрели на долину. Стремительно выкатилось солнце, осветив реку. Река заискрилась серебром, отразив молодые солнечные лучи. Отсюда, сверху, она казалась добро-

душной, спокойной и мелководной, но именно она сегодня на рассвете отняла у них все, что они тащили на себе три дня, готовясь к долгому и трудному пути через пустыню. Река разбила плот и подло выбросила их самих на правый берег.

Они направились к лесу — спокойному, молчаливому и пустынному, готовому принять их под свою сень.

Высоко на горе, посередине лесной поляны, виднелась крытая щепой хижина. Джурини поспешил к лесу. В хижине наверняка кто-нибудь да есть, и, не дай бог, их заметят.

Они углубились в чащу и расположились на поляне, освещенной солнцем, которое пробивалось меж высоких стволов.

Безмолвие, бесконечные заросли, птицы на ветках, сонные, только что проснувшиеся насекомые, стрекотание, безопасность.

Только сейчас пришла усталость, раньше ее не смели чувствовать.

Как было бы хорошо, если б это оказалось концом, а не началом. Но не нужно думать о предстоящем, не нужно думать о трудностях, не нужно ни о чем думать. Еще рано, все еще впереди, три дня остались лишь воспоминанием, три дня непрерывной игры в прятки, ночных маршей вдоль берега, а потом — безумная переправа на плоту в утренней мгле; теперь в уединении, в безмятежном покое дремучего леса, который никому не угрожает и равнодушно молчит, под усыпляющее гудение прозрачных насекомых, под далекие клики невидимого кобчика их одолевала дремота.

Они разложили на солнце шинели, платки, сигареты, все, что осталось, разулись, выжали носки. Марко скинул куртку и рубашку и, прикрыв глаза, загорал. Не нужно ни о чем думать, случится то, что должно случиться. Может быть, все будет хорошо.

И только Франчески продолжал стоять. В его стройном теле таилась бесконечная сила, он должен был истратить ее, он не выносил покоя. Его красивое загорелое лицо с резкими чертами, живыми, всегда бодрствующими глазами, полными твердыми губами свидетельствовало об уверенности, которая не часто встречается. Франчески не нравился капитану, но Джурини с невольным уважением вспоминал, как тот спасал Джанни, в то время как он сам думал лишь о себе. Странные люди эти воины-профессионалы, до бесконечности упрощенные, наделенные всего несколькими характерными чертами, но одаренные особым талантом в своем деле. Своей готовностью помочь Франчески поставил капитана в тупик, это был почти инстинктивный бросок на помощь тому, кому грозила опасность, без раздумий, без колебаний, с уверенностью в себе. Но ведь точно так же без раздумий и без колебаний Франчески прикончил бы и его. Джурини размышлял о Франчески, не приемля его, не позволяя чувству одобрения смягчить чувство неприятия. Для уравновешенного и трезвого доктора этот офицер был олицетворением всего того, чем не должен быть человек, но чем, к сожалению, он становится все больше и больше.

Франчески что-то задумал, к чему-то готовился. Вот он направился к опушке леса, постоял там, глядя на гору, потом вернулся за автоматом, окликнув боксера:

— Пошли, Луиджи.

— Вы куда?— спросил Джурини.

— Вон к той хижине на горе.

— Зачем?

— Нам надо поесть. Или вы полагаете, что это излишне?

— Мы обнаружим себя. Это может быть опасным.

— Есть вещи, которые необходимо делать.

Боксер тут же встал. Он тенью следовал за Франчески, счастливый тем, что есть кому повиноваться, что есть человек, который будет

думать за него и приказывать ему. Они шли, отдыхали и спали вместе, отделившись от всех, и если бы захотели, то смогли бы терроризировать группу как им заблагорассудится. Они превосходили остальных и своей наглостью, и своей силой, но, как ни странно, Франчески беспрекословно согласился с тем, что сейчас, когда сила ничем не могла помочь, командиром будет Джурини. Франчески считал его более осмотрительным и подчинялся, как старшему по званию, но подчинение это было весьма скромным и весьма ограниченным — он делал то, что хотел, не спрашивая разрешения и даже не ставя никого в известность.

— Можно и мне с вами, господин лейтенант?— поднялся и Джанни.

Франчески кивнул и зашагал по поляне.

— Долго не задерживайтесь,— крикнул им вслед Джурини; ему никто не ответил, никто не оглянулся. Его запоздалое согласие, которого никто не просил, выглядело смешным, он понимал это, но хотел сохранить хоть какую-то видимость, хотел сохранить хотя бы мизерную возможность ограничить самоволие отдельных лиц, поскольку оно могло стать опасным для остальных. Он понимал, что это вряд ли ему удастся и что в дальнейшем он будет вынужден соглашаться на все более и более жалкие компромиссы.

— Вы не воспротивились этой глупости?— задумчиво взглянул на него Марко.

— Что я мог сделать?

— Есть вещи, которые нужно делать, но значительно больше вещей, с которыми приходится мириться. Нас накормит чужая наглость. Мы с нашей щепетильностью подохли бы с голоду, а так забудем о том, что продовольствие конфисковано, совесть наша будет спокойной. Мы не испачкали своих рук, вот что важно.

Он был до неприличия откровенен, он издевался над самим собой и над другими, истязал себя разоблачениями собственного лицемерия. Это походило на мазохизм.

— Тебе с такими мыслями будет тяжело. Ты сам себя бичуешь. Это мучительно.

— А когда лгут, тебе легче?

— Может быть.

— Как может быть легче, когда я знаю, что это ложь?

— До капитуляции ты тоже так считал?

— Да, с тех самых пор, как меня мобилизовали, а это случилось давно. Я покончил с этой тренировкой духа.

— Нас заставили воевать, что мы могли сделать?

— Разумеется, нас заставили, в этом-то собака и зарыта. У меня семья — жена и трое детей. Я счастлив, что они существуют, это меня защищает в любой мерзости. Они как бы отмывают меня, оправдывают, делают из меня жертву, успокаивают мою совесть. Поэтому я держу их перед собой как щит, как знамя, под их знаком я ношу свою трусость, не слишком ее стыдясь.

— А ты мог бы поступить иначе?

— Я не хочу думать об этом.

— У нас было мало возможностей для выбора.

— У человека всегда мало возможностей для выбора. Чаще всего лишь две: пострадать с честью или без нее. Я честный человек и потому избрал вторую возможность. Самое скверное заключается в том, что мы свободны в своем выборе, но думаем, будто не свободны. Было бы лучше, если б это оказалось так на самом деле.

Джурини пожалел, что не прекратил разговор в самом начале. Это ни к чему не ведет, а особенно сейчас, они затеяли рискованное дело, почти отчаянное, и следует экономить каждое движение, чтоб сохранить

силы, контролировать каждую мысль, чтоб не лишиться мужества. Сейчас только вера в самого себя и в свою способность двигаться может помочь. Он не согласен с Марко, не имеет права согласиться с ним, но ничего не может сказать, его выводит из себя и этот разговор, и этот маленький сангвиник-триестинец с его осовремененным христианским чувством вины. «Мы свободны»,— говорит он. Разве мы свободны? Современное государство чрезвычайно упростило проблемы совести, освободив нас от моральной ответственности. Что представляет собой отдельный человек в этом механизме? Кто спрашивает нас, хотим ли мы чего-нибудь или нет? В чем предоставляют нам свободу выбора, кроме разве самых незначительных ситуаций? Во всем, что касается государства, оно диктует, а не дискутирует, требует, а не убеждает, времена мучеников прошли, сейчас ничья жертва больше не ведет к цели, не оказывает действия, но лишь пугает большинство людей. Он изолирован и одинок, подобно большинству, он — против насилия, подобно большинству, даже если оно само в нем участвует, но для него, Джурини, в самом деле важно, сколько бы Марко ни издевался над этим, не испачкать рук самому. Это он может и должен, чтоб не потерять уважения к себе. Впрочем, сейчас у него иные заботы, расчеты с совестью, если они понадобятся, отложим на потом.

Он стремился домой. Это стало его единственным желанием, стало смыслом жизни, выходом, который все решал. Домой! Подальше из этой страны, что уже три года горит в огне, изрытая, уничтоженная, ужасная, где ненависть, бесчисленные могилы и жестокость свели людей с ума, выбив их из колеи. Они уничтожают себя и все то, что не успели уничтожить другие, они принимают смерть, как первое причастие, принимают и приносят ее другим, забыв об осторожности, поскольку и другие по отношению к ним поступали так же. Здесь останется апокалипсическая пустыня, он в этом не виноват, он не мог ничего сделать, чтобы избежать этого, нужно уйти как можно скорее, выбраться из этого кошмара. Убежать потихоньку, ибо кто бы ни попался навстречу, и прежде всего жители этой страны, вряд ли они сочтут его другом. Какое им дело, что он долго оплакивал их, гнушался тем, что творили люди, близкие ему по крови и по языку, да и глупо платить за чужую вину. Выбраться, не встречая никого, миновать все армии, все виды оружия, несущие смерть, сделать невозможное, убежать с этой бойни. Он не знал, как это сделать, но желание было настолько сильным, что он верил в успех. Он вынесет жажду, голод, усталость, он вынесет все, чтобы больше не пришлось выносить ничего.

Волнение охватывало его, когда он вспоминал о своем доме на Монте-Париоли с каменными ступеньками и воротами из кованого железа, это был его город и его страна, и не существовало ничего дальше и больше этого его дома. Воспоминания доставляли ему боль, настолько они были живыми и настолько он жаждал их. Вероятно, на двери до сих пор висит никелированная табличка с его именем. Жена — на террасе, как было во время их последней встречи, когда она не пошла на вокзал проводить его; теперь, наверное, раскаиваясь в этом, она ждет от него писем. Он надеется, что ждет и что думает о нем. «Ведь война могла ее тоже изменить, мы становимся скромнее в трудную минуту, мы сами себе удивляемся, что когда-то могли столько требовать от жизни. Наверняка она изменилась, да и я стал другим, исчезли брюзжание и бессмысленное недовольство, осталось лишь желание, чтобы кругом воцарился покой и тишина. Несчастья смягчили нас, мы стремимся к тому, что тогда казалось пустым. Все это ужасно далеко, далека человеческая жизнь без вечного страха и мучительных разговоров с самим собой при постыдном молчании перед другими». Но нужно достичь эту даль, чтоб прежняя жизнь

пришла снова, пусть иной, чем была, он доволен, что сам не сделал ничего плохого, он сможет быть наедине с собою, он будет стараться ни о чем не вспоминать, будет вслушиваться в гаммы, которые играет жена, с большим участием и меньшей нетерпимостью, может быть, ее взгляд тоже не будет столь холоден, он станет читать книги, в которых нет ни слова о нашей планете, о плохо устроенном мире, он отгородится от него с помощью сознания, что ничего не должен ему, что слишком много отдал ни за что ни про что, во имя принуждения, которого сам стыдится.

На горе раздался глухой выстрел.

Что это? На кого-то напоролись?

Джурини и Марко пошли к опушке.

Эдмондо спал на теплой траве, путь утомил его. Калабриец поднял голову и посмотрел на гору, внешне спокойный и равнодушный, его изрезанное морщинами крестьянское лицо, тяжелое и угрюмое, ничем не выдавало того, что происходило в душе.

Солдаты выглядывали из густого кустарника и толком ничего не могли рассмотреть. Потом раздался еще один выстрел, прозвучавший громче, чем первый, за ним — третий.

— Кто-то стреляет по нашим из винтовки.

Выстрелы в лесной тишине звучали угрожающе, человеческих голосов не было слышно. Никто не показывался — ни тот, кто стрелял, ни тот, в кого стреляли, слишком серьезным делом были они заняты, и не было у них голосов.

Вскоре между стволами на склоне появились люди: сначала Джанни, бежавший сломя голову, за ним, на расстоянии, боксер и Франчески. Они тоже спешили и оглядывались, но не бежали.

— Джанни!— крикнул Франчески.

Тот замедлил бег, словно колеблясь, стоит ли слушаться, потом замер и упал в кусты, как бы нырнул в воду.

Почему Франчески не позволил ему первым добраться к своим?

— Странно,— произнес Джурини.

Они разглядывали склон, всматриваясь в чащу, но заросли все скрывали — и того, кто стрелял, и глаза, что следили за ними. Стало тоскливо, убежище показалось ненадежным.

Трое солдат подошли вместе.

Джанни прятал глаза, чтоб скрыть страх.

Лицо боксера было таким грубым, что по нему трудно было что-либо понять. Он нес в каждой руке по куску вяленого мяса.

А Франчески спокойно ухмылялся — или он превосходно владел собой, или наглость была врожденной его чертой. Он внушал одновременно и страх и уважение: такие люди создают трудности, но они же от них и избавляют.

— Что случилось?

— Кто-то стрелял в нас.

— Почему?

— Вы заметили, кто стрелял?

— Нет.

Франчески не хотелось пускаться в объяснения.

Боксер и Джанни молчали. Джурини понимал, что все расспросы напрасны.

Они выступили немедля, все глубже уходя в чащу, накрывавшую их прозрачной тенью и тишиной. Вокруг ничего не было слышно, и Джанни, все еще встревоженный, озирался напрасно.

Они утопали в чаще. Она была повсюду, куда бы они ни поворачивали, неоглядная, непроходимая, как вода, она лишала воздуха, солнца, зрения. И сил: она преграждала путь переплегающимся кустар-

ником и поваленными огромными стволами, которые громоздились друг на друга, свидетельствуя о бурях безумной силы, что бушевали повсюду. Эти обрушившиеся деревья утомляли сверх всякой меры. Люди пытались карабкаться на них, но это оказалось невозможным — ноги тонули в трухлявой коре, сухие и свежие ветки, сплетаясь там, где одна смерть питала сотни новых жизней, цеплялись за одежду, рвали ее и, бог знает, в который раз пугали узловатыми пальцами, заставляя в неразумном страхе видеть чью-то неведомую руку, протянувшуюся, чтобы их схватить.

Жуткое впечатление производил этот лесной океан. Этот мифический мир. Могучий, внешне спокойный, уверенный в себе и своем бытии, со своими дремлющими силами, что могли пробудиться в любую минуту и затеять игру сами с собой, уничтожая все, что окажется в широком кругу их страстей. Со страхом воображал себе Джурини, что могло бы произойти, захвати их буря посреди этого безбрежья из желто-красных ярких красок, посреди непроходимой заросли, под сенью столетних гигантов, кроны которых им не дано было видеть. Наверняка тысячи демонов бесновались в этом потерянном мире.

Ощущалась все большая тяжесть, словно предзнаменование, все накрывала глухая тишина. Сначала она пришлась по душе, казалась надежной защитой и укрытием, потом стала подавлять, с каждой минутой становясь страшнее и страшнее, и наконец превратилась в кошмар. Она перехватывала дыхание, злорадно сулила беду, опасность, которой невозможно избежать. Ничто не происходило, но могло произойти все что угодно. В каждом кусте могла оказаться засада, в десяти метрах от них могла располагаться невидимая армия. И еще более ужасными были таинственные опасности, которые видел страх, которые предчувствовало смятение, рожденное невыносимым молчанием. Ничто не может сравниться с ним, в нем все возможно, все, кроме спокойствия.

— Теперь я знаю, как возникают боги,— сказал Джурини Марко. — Через два дня я тоже поверю в существование бога лесов. И тишины. Эта бескрайняя живая пустыня может лишить всякой твердости.

— Почти так же, как город. Сходство огромное: пустыня, тревога, одиночество, и все это сильнее нас. Только здесь опасности воображаемые.

Говорили они почти шепотом, уважая тишину, пугаясь ее всеобъемлемости. Они хотели, чтобы хоть что-то нарушило ее — не они сами, а нечто невинное и безопасное. Но этого больше не было. И они окаменели бы на месте, если б сейчас вдруг вспорхнула птица.

Они шли гуськом, сохраняя дистанцию, этому их выучила война — пуля может поразить лишь первого. Однако сейчас это общее рассуждение, имеющее силу для целого, было лишено смысла. Они не представляют собой целого, они случайно оказались вместе, и каждый из них существует лишь для себя, каждый трепещет при мысли о том, что может произойти именно с ним. У них не было никакой общей цели, и, хотя она существовала одна для всех, каждый стремился к своей. Гибель одного ничем не помогала другому, и они хотели дойти до цели не все вместе, а каждый в отдельности. Однако они двигались так, как их научили, держась рядом из страха, как бы не отстать и не заблудиться, лишь постольку, поскольку это было необходимо, ибо и во время переходов, продолжавшихся часами, и на коротких привалах и перекурах они все больше разделялись, объединяясь в группки по общим особенностям или по минимальным отличиям.

Франчески и боксер отгородились от остальных презрением. На этом пути победят сила и ловкость, и у них — самые большие шансы. Франчески командовал отделением огнеметчиков и сам был чем-то похож на это оружие, необыкновенное, страшное, быстрое, неми-

лосердное. Джурини робел перед ним, холодный презрительный взгляд Франчески делал его еще более неуверенным в себе. С изумлением думал он об огнеметчиках, ему казалось, что для этого занятия нужно обладать большей жестокостью, чем при других воинских профессиях, в этом деле приходится непосредственно смотреть на живое, уничтожать людей и вещи из огнемета, словно бы забивая их. Временами ему казалось, что вот-вот из Франчески вырвется струя огня. Но, к его удивлению, лейтенант привлекал к себе людей, хотя и не стремился к этому, был груб и неразговорчив, но, может, именно благодаря этому они и тянулись к нему. Маленького, слабого Джанни подавляла его самоуверенность, и он льнул к нему, как любовница. Франчески терпел его послушание, но не уважал его. Как, впрочем, не уважал никого. Джурини видел в нем не только ярко выраженного солдата, но и определенный, более суровый тип человека, который действует не особенно размышляя, думая ровно столько, сколько необходимо, чтоб не ошибиться в своих планах, подчиняя окружающих своей исключительной волей и привычкой командовать — иного отношения к людям он не знал. Армия придала ему особые черты, и это выделяло его. «Эти прекрасные животные подожгут мир,— думал Джурини.—В силе — его право и его мораль. Сотни таких, как я, они вынудят к молчанию и даже к совершению зла, которым мы гнушаемся. Таких, как Марко, нервозного брюзгу, что спасается цинизмом и делает вид, будто ему нетрудно; как веселый, легко теряющийся Эдмондо, желающий только, чтоб люди оставили его в покое, оставили ему все, что принадлежит ему,— смех, шутку, песню, жизнь без трудностей и грубости, беззаботное петлянье по флорентийским улицам за рулем своего такси (кто знает, где теперь валяются его обломки), как недоверчивый калабриец, который с упрямой печалью думает о своей земле и своей семье. Всех нас вот такие Франчески снова втянут в этот ужас». Но нет, с ним, Джурини, этот номер больше никогда не пройдет.

Эти мысли вновь возвращали память к пережитым страданиям. Люди не любят зло, но тем не менее мирятся с ним. Если бы зло и жестокость были достаточно разумны и знали тот предел, до которого они могут следовать, не вызывая протеста, они долго бы существовали. Это скверная мысль, но, кажется, она справедлива, люди тяжелы на подъем, пока могут как-нибудь существовать, лишь когда им становится невмоготу, когда вода доходит до горла, они начинают задумываться и бороться. Если он вернется домой, у него будет о чем поразмыслить.

Солнце уже исчезало за высокими стволами, когда они решили передохнуть на открывшейся полянке. Они хотели до конца использовать дневной свет и искать ночлег уже в темноте; сколько пройдено — они не знали, ибо казалось, что они двигаются слишком медленно, а окрестность весь день оставалась одинаковой, словно они топтались на месте. Это было обманом, который утомлял отсутствием впечатлений.

Джурини устал, ему казалось, будто его ломали на дыбе, дорога была изнуряющей, но он старался, чтоб другие не замечали его слабости — ночь наверняка принесет облегчение. Опустившись на сохранившую солнечное тепло траву, он подумал, что больше не найдет в себе сил подняться. Лучше всего заночевать здесь, место удобное, вода близко, силы все равно на пределе, ну, пройдут на километр-другой меньше, зато завтра будут бодрее, нагонят. Но сказать это он не решался, не хотел обнаружить усталость, больше всего опасаясь Франчески. Тот взглянул бы на него с презрением и не согласился. Возможно, даже не произнес бы ни слова, просто пошел бы дальше вместе с боксером и Джанни, и остальные потянулись следом. Потянулись

бы наверняка, хотя сами не могли бы объяснить почему. Здесь с бо́льшим успехом прошли бы два-три человека, а не целая группа, в группе они заметнее, труднее находить еду, надо отвечать за любую ошибку, а силы никакой и так собой не представляешь. Однажды Джурини предложил бросить оружие, то, что оставила им река, чтобы и по внешнему виду быть тем, чем они были на самом деле — миролюбивыми беглецами, избегающими столкновений, но Франчески не пожелал даже разговаривать об этом, заметив лишь мимоходом, что это чистое безумие. И снова они шли вместе. Из боязни одиночества, из непонятного чувства большей безопасности, которую придает связь с другими, из неуверенности в себе, что, собственно, одно и то же. Много раз Джурини приходила в голову мысль отделиться от Франчески, но он тут же испуганно отбрасывал ее — так все-таки было спокойнее. Почему? Не потому ли, что, пусть подсознательно, он рассчитывал на вечно бодрствующий автомат Франчески как на возможную защиту? Это было почти невероятно, но он не смог подобрать иного объяснения и поразился самому себе и той тайне, что живет в нем отдельно от всех его убеждений и всего того, что он собой представляет.

Он приподнялся на локте, испытывая боль в пояснице. На лесной поляне, которую накрывали легкие вечерние тени, люди сидели врозь. Еще на первом привале разделили мясо и хлеб из сумки калабрийца, и теперь каждый распоряжался своей долей как хотел. Джурини советовал строго учитывать продовольствие, ведь два-три дня они ничего не найдут в этой пустыне, но никто ни отверг его совет, ни принял, никто слова не проронил в ответ.

Мясо недостаточно подсохло, хлеб был невкусный, вначале размокший, потом засохший, однако Джурини считал это благоприятным обстоятельством — провианта хватит подольше. Джанни даже шутил, что сможет принести остатки домой. Чем больше они углублялись в чащу, тем спокойнее он становился, стремясь приобрести расположение Франчески. Неулыбчиво, без всякой просьбы в голосе тот отправил его за водой. Он разделил обязанности между своими подданными: один был солдатом, другой стал слугой. Взяв фляжку боксера, Джанни поплелся к источнику.

«Чем он удерживает его? — думал Джурини.— Выражением суровости на лице, недостатком внимания, пренебрежением, дистанцией, которая никогда не уменьшится?» Слабый Джанни стремится жить в тени сильных. Он не ищет выгоды, но ему нужны иллюзии. Вероятно, он самый робкий в группе, но сейчас чувствует себя сильнее многих.

Джурини наблюдал за тем, как Марко аккуратно вытаскивал размокшие сигареты, теперь они подсохли, но выглядели отвратительно, покрытые ржавыми пятнами, мятые. «Мы тоже скоро станем походить на эти сигареты»,— дремотно думалось ему. Он засыпает, на мгновение уже обрывается нить сознания, приятное оцепенение погружает его в тишину и покой, давно уже не было так легко, тело обмякло, ничего нет — ни шума, ни опасности, ни их самих, ни его, лишь одурманивающая легкость.

Он вздрогнул спросонок, не понимая, что произошло. Кто стрелял? Кто-то из них, кто-то в них? Выстрел показался ему таким жутким, что долго еще отдавался в его мозгу.

Франчески припал к дереву с автоматом в руках, остальные залегли под кустами. Лишь Эдмондо в одиночестве, словно всеми покинутый, стоял на открытом пространстве.

— Прячься! — крикнул Франчески. Он всегда все видел и обо всем заботился.

Эдмондо как подкошенный упал за деревом.

— Что случилось?

— Кто-то стрелял. Наверное, в Джанни.

Марко растерянно, тревожно озирался вокруг. И, странное дело, страх соседа успокоил Джурини, успокоил, по крайней мере, настолько, что он, наконец, смог прийти в себя.

В ужасе, вне себя прибежал Джанни, побелевшее лицо его искажала гримаса.

Однажды это уже случилось, память или действительность теперь повторяют это — так же неожиданно, так же безмолвно, те же участники, та же внезапность, те же вопросы.

— Кто стрелял?

— Не знаю.

— Ты никого не видел?

— Нет.

Все, кроме Франчески, были взбудоражены. А он не сводил глаз с лесной чащи, на которую падали все более тяжелые тени.

— Далеко он не мог уйти... Доктор Джурини, вы останетесь здесь с Марко, калабриец и Эдмондо пойдут справа, Луиджи и Джанни — слева. Скорей.

Все молча повиновались, хотя это было нелегко.

Сам Франчески пошел прямо к источнику. Для себя он выбрал наиболее опасный путь.

Они смотрели, как он шел — пригнувшись, ловко и беззвучно пробираясь сквозь кустарник, слышался лишь тихий шелест листвы и слабый, но четкий хруст сломанной сухой ветки, на которую неосторожно ступала нога.

Ждали долго, собственное дыхание, казалось, несло опасность, осторожно, чтоб не слишком шуметь, поворачивались, он ведь мог появиться за спиной, этот одиночка или эти многие, ужасно, что никого не было в этом лишенном жизни пространстве, что никого и не может быть, хотя выстрел ведь не был галлюцинацией.

— Ничего не понимаю. Нас кто-то выслеживает?

— Или случайно напоролся.

— Здесь никто не ходит.

Они перешептывались, не осмеливаясь молчать в ожидании каких-то событий, какого-то выхода.

А когда, так никого и не обнаружив, все возвратились, облегченно вздохнули. Все-таки вместе лучше.

Тьма упала внезапно, абсолютная, словно ее вылили сверху. Они шли бесшумно, как можно тише, лишившись во тьме зрения, убегая от преследователя, рожденного глухой чащей, разбивая колени о поваленные стволы, подавленные собственным бессилием и страхом. Франчески остановился. Выставили часовых на ночь. Тревожная ночь — боялись всего: шорохов опавшей листвы, свиста крыльев лесной птицы, дикого вопля в лесной тьме; сон был лихорадочный и беспокойный.

Чужая земля пугала.

Утром, разбуженный похожими на рычанье голосами, Джурини с трудом смог понять, что Франчески и боксер сожрали еду из ранца калабрийца.

— Их надо было б убить!— В голосе калабрийца звучала ненависть.

Джурини ощутил в душе странную тяжесть и усталость, убивавшие в нем всякое желание подняться. Неужели уже дошло до этого? Неужели между ними началась борьба не на жизнь, а на смерть? Тогда

— конец. И ему вдруг показалось невозможным выбраться из этих лесов. Им не уйти, конечно. У него нет больше сил двигаться на отекших ногах, нет сил успокаивать людей, лица которых приобретают новые, незнакомые черты, которые пугают его, скоро они завоют как волки.

Но когда он совсем пришел в себя, горькая отупелость прошла.

Он подошел к Франчески, стараясь подавить растерянность и волнение, напуганный, пожалуй, больше возможными последствиями, чем нанесенным ущербом и несправедливостью, и спросил, что произошло.

— Мы съели вдвоем,— спокойно объяснил тот.

— Господин лейтенант, мы разделили продовольствие на равные части, как вы могли взять чужое?

— Мы были голодны.

— Означает ли это, что перестают действовать самые элементарные нормы товарищества, без которых нам не прожить и двух дней?

— Это означает то, что мы съели, и ничего больше.

Ответ Франчески и опасная возбужденность людей, настроенных за и против него, вынудили Джурини к тому, чего он менее всего хотел, — к разговору с лейтенантом с глазу на глаз. Но тот моментально оборвал его.

— Ваши моралистические проповеди, господин доктор Джурини, — без тени волнения, даже улыбнувшись краешком твердо вырезанных губ, сказал Франчески,— нисколько меня не интересуют, и, поверьте, они очень скучны. Если вы считаете, что ваши нормы должны к чему-то обязывать и меня, то я могу вам доказать, что вы весьма и весьма ошибаетесь. Я вам не навязываю своего образа жизни, оставьте и вы меня в покое. Впрочем, мы можем поговорить откровенно, чтоб избежать в дальнейшем подобных объяснений. Считаете ли вы, что все они,— длинными посеревшими от грязи пальцами он показал на наблюдавших за ними издали людей,— останутся в живых? Я не считаю. Я даже уверен, что не останутся. А я хочу остаться в живых.

— Неужели другие этого не хотят?

— Это их дело.

— Мне очень неприятно все это, господин лейтенант, но какая-то польза от этого есть. Имеет смысл узнавать людей, подобных вам. До сих пор мне приходилось лишь слышать о них.

— Рад, что в состоянии доставить вам по крайней мере хоть это удовольствие, господин капитан.

— Мне стыдно за вас,— тихо ответил расстроенный и взволнованный Джурини.

На это даже Франчески не нашелся, что сказать. Беззаботно повернувшись спиной, он направился к тому месту, где с автоматом на коленях сидел его угрюмый товарищ, и лег на сухой папоротник, не проронив ни слова.

В тот день они набрели на заброшенную лесную дорогу. Куда она вела? Пошли по ней и вышли на плоскогорье. Наверняка она могла привести к селу. Они не говорили между собой о том, нужно ли сворачивать в деревню, они просто шли, то ли потому, что у них не было продовольствия, то ли потому, что испытывали неодолимую потребность выбраться из лесных дебрей и увидеть дома, очаги, людей, не похожих на них самих, одичавших и растерянных; они шли молча. В окружавшем их кошмаре это приносило облегчение, давало передышку, помогающую собраться с силами. Мысль о том, что здесь не безлюдная пустыня, ободряла их.

Однако на поросшем травой плоскогорье дорога исчезла.

Впереди простиралась хмурая целина с полегшей некошеной травой, цеплявшейся за ноги. У опушки леса, подступавшего со всех сторон, торчали какие-то холмики, поросшие бурьяном. Джурини направился к ним. В зарослях папоротника и полыни виднелись следы фундаментов. Больше ничего не осталось, словно пламя или потоп слизнули все, словно кто-то камень за камнем растолок все в пыль и засыпал землею останки существовавшего здесь некогда села. И повсюду — мертвая тишина.

— Проклятая страна! Целыми днями не встретишь ни одной живой души,— выругался Франчески.

— Эти люди не виноваты в том, что их нет,— произнес Марко.

Франчески махнул рукой и устало побрел по цепкой увядшей траве, мокрой от дождя, что начал беззвучно идти. Джурини вздрогнул. Безмолвие мертвого плоскогорья кошмаром давило на него, рождало в нем ужас, тишина таила странную и страшную угрозу. Словно мертвая земля заманила их сюда и теперь со злорадством ожидала их гибели.

Подобрав полы шинели, он пошел за товарищами. Но вынужден был оглянуться, потому что ему почудилось, будто кто-то идет следом, подстерегая, подкрадываясь неслышным шагом. «Устал, нервы сдают»,— подумал он, пытаясь подавить беспричинный страх. Однако не смог освободиться от непонятного ощущения и, продолжая непрестанно оборачиваться, ускорил шаги.

Он едва шел, неоправдавшаяся надежда опустошила его, и не было утешения в том, что они никого не встретили; он знал, что обманывает самого себя, знал, что они не могут ни с кем встретиться, поскольку никого больше нет. Это гробница, которая их примет тоже. Догнав своих, он опустился на мокрую землю и обессиленно привалился к дереву. Дождь застучал сильнее, в лесу потемнело. Все вокруг было безнадежным.

— Пошли.

— Что? — вздрогнул Джурини.

— Идем.

Марко попытался приподнять его.

— Куда?

— Ну, вперед.

Франчески и боксер, не ожидая остальных, направились в лес.

Джурини с трудом встал.

Джанни шел последним.

— Поспеши, Джанни,— поторопил его Марко.

Солдат не отвечал.

— Кажется, он болен.

— Да.

— Тиф?

— Да.

Еще утром доктор заметил признаки, которые не оставляли сомнений: лихорадочный взгляд, одеревеневший шаг, судорожные движения и зловещие красные пятна. В этих лесах к ним присоединился опасный спутник.

Шаг их стал медленным и неверным, лес не редел, оставаясь неизменным, убийственно неизменным; нужно идти, идти, не думать о том, что им тяжело, не думать о том, что они голодны, не думать, нужно идти вперед, шагать, пока можно, ведь набредут же они на какое-нибудь поселение, не вся же земля — усыпальница.

Они шли и останавливались и будут останавливаться все чаще, их будут останавливать усталость и безнадежность; около полудня они присели у родника — хорошо, что хоть вода есть.

Напились, чтоб хоть что-нибудь делать, голод теперь станет сильнее, холод тоже. Лишь один Франчески не притронулся к воде, остался стоять на ногах, встревоженно озираясь, а затем вдруг скрылся в чаще. Вернувшись, он подошел к Джанни, который, шатаясь, только сейчас добрался до них.

Франчески вел себя странно.

— Джанни,— спросил он,— как ты себя чувствуешь?

— Плохо.

— Ты понимаешь, что я тебе говорю?

— Да.

— Ты можешь припомнить это место?

Джанни с трудом оглядывался вокруг.

— Мы уже были здесь?

— Да.

— Что произошло возле этого родника?

— Кто-то стрелял в меня.

Джанни говорил спокойно и тихо, но его услышали все. Невозможно! Позабыв об усталости, они полезли в чащу, к тому месту, откуда донесся выстрел Они узнали его, они вчера брели здесь, вчера вечером и сегодня утром. Целый день они вертелись по кругу и вышли к изначальной точке. Все напрасно, лес не выпускает их, теперь они могут ложиться и умирать.

В наступившей как признание поражения тишине Эдмондо вдруг тихо засмеялся. Все удивленно посмотрели на него, а он пошел в лес, смеясь все громче и громче.

— Эдмондо!— закричал Марко.

Тот не слышал.

Спотыкаясь, Марко последовал за ним.

Эдмондо остановился под высоким дубом, словно дерево преградило ему путь, и, прислонив голову к стволу, трясся в бессильном судорожном плаче.

Марко повернул его лицом к себе и встряхнул, а потом сильно ударил по лицу.

Эдмондо посмотрел на него, словно пробудившись после тяжелого сна, еще продолжая всхлипывать.

— Перестань, Эдмондо, успокойся. Сядем передохнем, я тоже устал.

Устали все.

Джанни, тяжело дыша, лежал на спине.

— У меня температура,— сказал калабриец.

Джурини, ничуть не удивившись, устало посмотрел на него. Так будет со всеми.

Прошла еще одна ночь, и начался еще один день, третий с тех пор, как они переправились через реку; они двигались с трудом, стараясь не сбиться с пути, Франчески ориентировался по мху и по звездам, после вчерашних блужданий он все время был начеку. Только ему одному удалось сохранить силы, даже боксер шел шатаясь. Они тащились все медленнее и отдыхали все дольше.

На одном из привалов Франчески подошел к Марко и грубо сказал:

— Дай консервы.

— Эти две банки — единственное, что у нас есть,— вмешался Джурини.

Франчески не обратил на его слова никакого внимания. Вместе с боксером они подошли к Марко, калабриец тоже приблизился, глаза их были безумными, они прерывисто дышали, и Марко отдал им консервы. Джурини привели в ужас их искаженные лица, изуродованные

голодом, не уступи им Марко, они растерзали бы его. Однако они разделили на всех последние запасы, ибо тоже боялись чужого голода.

Растянувшись колонной, они снова пошли — боксер и Франчески первыми, Джанни — последним, он упрямо тащился за ними, не осознавая, куда идет, как вдруг впереди раздался выстрел и чей-то крик. Они упали на землю, затрещали ветки, прогремел второй выстрел, третий, целая очередь. Что происходило? Тот ли это человек или другой? Тот шел по пятам, этот вышел навстречу. Почему они палят в любого пришельца? Но теперь не так страшно, как в первый раз, они слишком устали и обессилели, чтобы ощущать страх.

— Он ранен! Сюда!

Все окружили Франчески и боксера.

Пуля попала боксеру в плечо, кровь проступила сквозь ткань, стекала по рукаву. Он успел услышать шорох и машинально отклонился в сторону, это его спасло.

— Мне нечем вас перевязать.

— Неважно.

Франчески в ярости вышел из кустов. Они думали, что он бесится из-за боксера.

— Я попал в него. Я видел кровь.

— Поищем?— предложил боксер.

— Если он изойдет кровью, нам все равно. Если он легко ранен, не догоним.

Даже у него больше не находилось сил для сопротивления. А может быть, он не был уверен, что попал? Как можно заметить кровь в лесу, под дождем?

С наступлением вечера они остановились в буковой роще, не очень густой и почти захиревшей. Дальше идти не было сил. Лил дождь, и было холодно, не нашлось ничего, чем разжечь костер; они дрожали от стужи и голода, прислонившись к деревьям и друг к другу, сломленные, посиневшие, с ввалившимися, как у привидений, глазами. Молча люди глядели прямо перед собой. Казалось, у них нет сил шевельнуться, они так и погибнут, не сойдя с места. Но когда встал Франчески, поднялись и остальные.

— Джанни остался,— крикнул Джурини.

Никто не оглянулся. Все раскачивались из стороны в сторону, как призраки.

— Что с ним делать?— Марко устало смотрел на Джанни.

— Мы не можем его бросить.

— Он умрет.

— Мы не можем его бросить.

Они подняли его, поддерживая руками и плечами.

Джурини шел как пьяный. «Еще немного, и я упаду»,— думал он, мертвый от усталости. И когда после долгой, долгой дороги, в конце которой могла ожидать лишь смерть, вдруг услыхал радостный возглас, он изумился и встревожился.

— Село!— воскликнул Марко.— Доктор, село!

Внизу раскинулась долина, окруженная лесистыми горами. Посередине ее извивалась речка, по обоим берегам которой тянулись дома, хлева, амбары, заборы, сады, разбросанные повсюду, доходящие до самых склонов. Странная беспомощность охватила Джурини, когда он увидел это людское поселение, над которым, на одном из холмов, даже вздымалась церковь с красивой колокольней, серой в вечерней мгле. Никогда в жизни он так не радовался, никогда ничто не казалось ему столь прекрасным.

— Село!—шептал он растроганно, едва удерживая слезы.— Село, люди...— И вдруг заспешил:— Пойдем, Марко. Остальные уже внизу.

Подхватив Джанни, ставшего словно ватным, они, шатаясь, спустились в село. Перешли маленький мост, гнилой и полуразвалившийся, и увидели под деревьями большой красивый дом с вымытыми дождем стенами. На ступеньках перед входной дверью сидел Эдмондо, поддерживая руками голову.

— Что случилось, Эдмондо? Где остальные?

Он вяло взглянул на них, неопределенно махнув рукой, и снова спрятал голову в ладони.

— Вы с кем-нибудь здесь разговаривали?

— Никого нет,— плаксиво ответил Эдмондо.

— Как?

— Село пустое.

Оставив больного у школы (это была школа, чистая, целая, люди или время лишь только выбили стекла в окнах), они, обеспокоенные, поспешили в село.

— Как же это возможно!— говорил доктор.— Вот оно, все здесь: дома, хлева, загоны.

Однако людей не было.

В открытых безлюдных домах с угрюмыми трубами без дыма, в черных дырах окон, в которые никто не выглядывал, пустых хлевах, на заросшей травой улице, на молчаливой вершине над селом царила безжизненная пустыня. Слышался лишь шум воды, да над пологим склоном печальным клекотом отзывалась неведомая птица.

Навстречу им попался калабриец, оторопело стоявший посреди дороги. Обнаружить никого не удалось.

И вдруг с конца села донеслись глухие удары и вопли. Они поспешили туда и потрясенные замерли у последнего дома. В распахнутой двери его стоял Франчески, без фуражки, растрепанный, никого не замечающий, и кулаками и пистолетом колотил по доскам.

— Никого нет!— обезумев, кричал он.— Никого! Где они?

Боксер успокаивал его, слегка касаясь его локтя и что-то втолковывая, но тот ничего не слышал и продолжал стучать и выкрикивать непрерывно одни и те же слова. Потом вдруг умолк, руки его повисли вдоль тела, голова опустилась на грудь. Боксер обнял его и повел к школе. Держа пистолет в вялой, как у мертвеца, руке, лейтенант, оступаясь, шел по улице.

— Конец,— подавленно произнес Марко.

А Джурини, ошеломленно посмотрев на него и чувствуя, что вот-вот упадет, присел на мокрые жерди ограды. У него ни на что не было сил, он даже не мог заплакать.

Опускалась тяжкая глухая тьма.

Началось медленное умирание. Они сидели в просторном школьном классе, прислонившись к стене, на узких детских партах, возле остывшей земляной печи с красными и зелеными горшочками или лежали на полу, не двигаясь и не произнося ни слова.

Словно в полусне, всем телом ощущая подавленность, с которой не мог совладать, Джурини смотрел на утомительно серую доску стены, которая время от времени выгибалась и растягивалась, испещренная желтыми и розовыми линиями, или погружалась во тьму. Рядом с дорогой, что шла мимо школы, шумел ручей; он прислушивался к его шуму, как к биению собственной крови. «Надо лечь, слабость охватывает меня»,— думал он. Но часами продолжал сидеть у стены, не шевелясь, боясь, что, если ляжет, то не сможет больше встать.

Марко сидел рядом. Вялыми, непослушными пальцами он вынимал из ранца вещь за вещью и клал рядом с собой, потом долго копался

в его глубине, извлекая из углов завалившиеся крошки. И не перебирая, не глядя, слизывал их с ладони.

— Провалились мы на всех экзаменах жизни,— тихо, едва слышно, произнес он,— и вот снова — в первом классе начальной школы.

Зачем он говорит, зачем тратит силы?

Произнес ли он это вслух или это была всего лишь невысказанная мысль? Может быть, Марко говорит сам с собой?

— Нужно что-нибудь делать, нужно разговаривать, нужно считать до тысячи и обратно, будет страшно, если мы замолчим, мы никогда больше не сможем заговорить.

«Надо бы идти, так мы погибнем»,— думал Джурини, но ничего не произносил вслух. И удивился, откуда у этого худого нервного человека берутся силы двигать руками, искать. Ему самому все было безразлично, совершенно безразлично: он хоронил Марко вместе с собой.

— Я был журналистом в Триесте, прежде чем...

Голос у Марко был глуховатый, он бессильно замирал, наверняка у него и мысли такие же бескровные, а потом голос вдруг исчез совсем, оборвался, словно выключили радио; жутковато думать о том, что он еще продолжает говорить, мысль живет в нем, только голоса нет, нет слов, а он этого не знает; будет ужасно, если мы замолчим, сказал он.

Джурини стало мучительно больно от воспоминаний о прошлом. Где-то далеко, может быть, в облаках, стоит домик, на окнах зеленые жалюзи. И жена с длинными пальцами из перламутра. И ребенок, нежная снежинка, или сон перед кончиной. У девочки были карие глаза, как у него? Она ли это звенела ясными колокольчиками своего голоса, обнимая его теплыми и счастливыми руками? Он закрыл глаза и увидел их обеих. Кончено, говорил он им, а вам безразлично.

Однако, помимо его воли, их лица расплылись, словно их не было, и появился голод. Измученный Марко, наконец, уснул, привалившись к стене. Другие задвигались, разбудили его, и он с огромным усилием поднялся.

Дождь продолжал идти.

Склонившись над ручьем, в скользкой траве и иле возился калабриец.

— Что ты ищешь? Лягушек?— подошел Джурини.

Тот не ответил, продолжая копаться в иле.

— Ты что-нибудь нашел?

— Нет. Что тебе надо?

Солдат смотрел враждебно, и Джурини отошел, испытывая отвращение к пустому эгоизму. Бесцельно блуждая, он обнаружил в саду за школьным зданием под толстыми шуршащими листьями кучу грецких орехов и быстро, с жадностью, стал поедать их, словно бы отнимая или выкрадывая у кого-то.

Увидев, что Марко направляется к нему, Джурини нахмурился, в душе его вспыхнула ненависть. Он уже забыл о калабрийце у ручья.

Марко приближался медленно, печальный и неторопливый.

— Возьми,— угрюмо предложил ему Джурини и шепнул хмурясь: — А это мы спрячем. Для всех маловато.

Марко молчал.

Джурини посмотрел на него, тот стал похож на тяжело больного человека.

— Да,— ответил он,— конечно.

И отвернулся.

Джурини вспомнил о больном солдате у ручья, и ему стало стыдно.

Они спрятали орехи в копну почерневшего, уже давно сложенного сена.

Приближалась буря.

Эта ночь в мертвом селе была ужасной. Уже с вечера подул резкий ветрище и, разъярившись, начал бушевать с воем и грохотом в узкой долине. Как огромное чудовище, он налетал на дом и стучал по стенам своим громадным телом, завывая и ревя, обрушивался в пропасть, уходил и неожиданно возвращался, всю ночь не давал людям прийти в себя от страха.

Безуспешно пытался Джурини уснуть. Ветер и молнии лишали его рассудка.

«Я сойду с ума»,— с ужасом думал он. Как ребенок, впервые в жизни.

— Марко!

Кто-то заворчал рядом с ним, и чья-то рука коснулась его.

— Кто это?

При вспышке молнии он увидел перед собой тупое лицо боксера. Стоя на четвереньках, тот протягивал руку к его сумке.

— Что вам нужно?

Боксер не ответил, продолжая глядеть на него не моргая, почти в беспамятстве.

— У меня ничего нет, вот смотрите.

Боксер не шевелился, не изменились ни его поза, ни выражение лица. Он молча смотрел, и Джурини чувствовал на своем лице его дыхание. Потом он отступил и исчез во тьме.

Джурини дрожал, все казалось ему кошмаром. Может быть, страх принес ему эти видения? Он едва дождался наступления дня, тихого и солнечного, явившего собой словно бы упрек ночи. Однако ни прозрачная дымка над водой, ни безоблачное небо, ни нежное сияние солнца, разлившееся по сырой долине, не могли развеять его мрачного настроения. Все, что угнетало его, оставалось на месте, не изменилось, ему не стало легче.

Со стонами поднимались и остальные и выходили из класса. Люди совсем изменились. Они были изнуренными, небритыми, с неестественно большими глазами, которые казались пустыми, как у мертвецов, или, наоборот, возбужденно мерцали. Лица стали землистыми, губы потрескались. Проковылял дрожащий и скрюченный калабриец. Он уже ничем не напоминал человека, но упрямо следовал за остальными. Марко спал. Веки его посинели, виски пожелтели. Он напоминал труп.

«Может быть, он умер?» — подумал Джурини, не находя в себе сил подняться. Но, когда Марко открыл глаза, Джурини не удивился. И не обрадовался.

Дальше они не пошли. Все были угнетены, раздавлены, перепуганы и обманывали себя смутной надеждой, что выступят завтра. А каждое завтра оказывалось еще более беспомощным.

Сколько дней прошло в этом беспамятстве, два, три или больше, Джурини точно не знал. Многое потонуло в сумраке дремоты и слабости, многое упустили омертвелые чувства.

Как и чем могли утоляли голод. Бессознательно, безвольно, с муками тело само начинало двигаться и отправлялось на поиски пищи. Они рылись во дворах, подбирали фрукты, выкапывали корни, собирали улиток и личинки и непрерывно куда-то тащились, присаживались передохнуть и снова вставали, находя ровно столько, чтоб не умереть, по крайней мере, умереть не сразу. Силы покидали их с каждой минутой.

И преследовал страх. Особенно по ночам. Из мрачных лесных

зарослей, из угрюмых дворов, из тени деревьев, из мерцающей тьмы, из обманчивого лунного света словно бы выглядывало что-то, подкрадывалось, и все время казалось, что сию минуту произойдет нечто неведомое, жуткое именно в силу своей непостижимости. Все было против них. Ясное небо терзало их воспоминаниями, гроза преследовала жутью. Пустынная дорога непрерывно издевалась над ними, они не могли даже ступать по ней. Да и сами люди, глядя друг на друга, думали о смерти.

Однажды утром, бог знает каким, Джурини встал и, дрожа от холода и слабости, придерживаясь за стенку, вышел из дома, чтоб избавиться от загаженного класса, не видеть потерянных лиц, не видеть своего умноженного изображения.

На ступеньках лежал Джанни, голова его повисла, он словно прятался от смерти. Джурини замер над ним, опустив голову, руки, полный нерешительности, потом присел на каменную ограду у входной двери. Покачиваясь в воздухе, падали большие ребристые листья каштанов.

«Листья падают,— думал он,—последние».

И его охватило тихое, лишенное боли чувство пустоты, и откуда-то, бог знает, из какого уголка памяти, появились странные печальные строки Гверрини:

Когда ты увидишь, что падают листья, придешь
и увидеть захочешь открытой могилу мою...

Он опустил веки. Мысли не приходили. За его спиной лежал мертвый солдат, который не хотел быть ни мертвым, ни солдатом, он убегал от смерти и не смог убежать. Им тоже не убежать.

Время шло, Джурини неподвижно сидел на камне.

Услыхав человеческий голос, он вздрогнул и вышел из оцепенения. Нет, он не обманулся. Голос был детский, звучал весело и звонко, от него вдруг ожило пустынное село, исчезли мысли о смерти.

Из одного дома в ясное небо ровной струйкой поднимался дым. Растерявшись от счастья, не сумев удержать смех, вырвавшийся короткими бурными всплесками, он поспешил со двора, потом вернулся, чтоб позвать Марко, и увидел его стоящим над телом Джанни.

— Скорей,— сказал, задыхаясь, Джурини, скривив губы в судорожной улыбке.— Идем, они пришли.

— Пришли? Как, когда?— бессмысленно повторял Марко, ускоряя шаги и не сводя глаз с дыма, что вырывался из отверстия в крыше.

На песке у ручья играл маленький мальчик. Увидев их, он испуганно вскрикнул и бросился к дому. В дверях его встретили мать, женщина средних лет в длинной белой рубахе, и худенькая девочка. Изумленно глядя на пришельцев, женщина за плечи обняла мальчугана. Солдаты приближались медленно, растягивая губы в ласковой улыбке, видя, однако, по испуганным лицам, что выглядят они страшно. Подойдя ближе, они остановились. Джурини взволнованно смотрел на женщину и на детей, словно не веря, что они здесь, на самом деле, и, протянув руку, смущенно улыбнулся.

— Добрый день,— произнес он по-итальянски, дрожащим голосом.

Женщина не взяла протянутой руки. Она молча глядела на чужих людей, впалые глаза которых смотрели робко и умоляюще.

«Они в беде»,— подумала она.

— Мы там,— продолжал Джурини на ломаном языке женщины.— Мы не фашисты.

И, не сводя глаз с настороженного женского лица, не зная, пони-

мает ли она его, заморгал, стараясь придать своей физиономии веселое выражение и пытаясь приласкать мальчугана. Но тот спрятался за мать.

— Когда вы пришли? Вчера в селе никого не было,— вмешался Марко, выговаривая фразы чисто, но с акцентом.

— Вчера мы пришли, в сумерках.

— Вы одни пришли?

— Трое нас. Несколько семейств возвращается, да задержались в дороге. Не знаю, почему их нет, надо бы уж подойти,— солгала женщина из осторожности, хотя на самом деле с ними шла еще только одна семья, на несколько дней оставшаяся погостить по дороге у родственников.

Джурини что-то произнес на своем родном языке, Марко перевел.

— Мужа у вас нет?

— Умер он.

— Что случилось с селом?

— Кого побили, кого угнали, кто сам убежал.

— Мы из Санджака пришли сюда, долго шли.

— И теперь куда?

«Домой», хотел ответить Марко, но опустил глаза в землю и промолчал. Потом, кивнув в сторону школы, поторопился сказать то, что должен был сказать:

— Нас шестеро. Один умер утром. А мы... нам давно уже нечего есть.

Он говорил тихо, медленно, делая паузы, чтоб передохнуть, и женщина в его беспомощных, смятенных словах видела всю беду и печаль, которые обрушились на этих беглецов здесь, в неведомом краю, на чужой земле.

«Пошли вы по кривой дорожке, ну и пускай,— думала она со злорадством,— ничем хорошим мы вам не обязаны. Нам тоже не сладко пришлось».

Однако вслух она этого не произнесла и ничем не показала, что думает, жалеет ли их или равнодушна к их несчастью (первого она не могла чувствовать, второе — не смела), поэтому выглядело, будто она пропустила мимо ушей сообщение исхудавшего чужеземца. А он, дрожа, смотрел в ее суровые глаза и в замешательстве улыбался:

— Мы бы заплатили за еду.

— Я бы тоже заплатила,—хмуро возразила женщина,— если хочешь, сам погляди, нет у меня ничего. Мы два дня пешком шли. Что привезешь на себе да на тощей кляче?

— Верю,— грустно ответил Марко.

Он постоял в нерешительности еще минуту и побрел, едва волоча усталые ноги.

Глядя ему вслед прищуренными глазами, сжав губы, женщина задумалась. Как она стремилась в свой дом, в свое село, и вот, не успела прийти, не успела еще мусор из углов вымести, боль утишить, привыкая снова к своему гнезду, откуда ушла с мужем, а вернулась одна с ребятами, и вот уж беда на голову свалилась. Она понимала, что изголодавшиеся чужеземцы не оставят ее теперь в покое. Они будут кружить возле ее дома, тощие, ободранные, нетерпеливые, с налившимися кровью глазами, а ей нечего им дать. Ей самой придется жить за счет комитета. Приманивает их дым ее очага, запах хлеба на противне, струйки молока из коровьего вымени, и едва ли найдут общий язык их голод и ее нищета. «Эх, хорошо тому краю, откуда они уже ушли, да нелегко придется там, куда добрались»,— вырвался из сердца горький вздох.

Когда она с детьми села обедать, перед домом послышались медленные шаги, и в дверях появился нахмуренный высокий человек с черной бородой. Это был Франчески. Пробормотав что-то сквозь зубы, он опустился на корточки у порога и стал молча смотреть. Симку испугали его глаза: блестящие, как в жару, они внимательно следили за каждым их жестом, поднимаясь и опускаясь вслед за каждым движением рук от миски до рта. Лицо Франчески было напряженным и нервным, ноздри алчно раздувались. Он сидел на корточках, чуть наклонившись вперед, словно готовясь к прыжку, но не шевелился и не произносил ни слова. С тревогой глядя на него, Симка чувствовала, как кусок встает у нее поперек горла. Этот человек с голодным взглядом мешал ей, ей было так тяжело в его присутствии, словно он сел ей на шею. Отлив похлебки, она поднялась и протянула ему миску вместе с деревянной ложкой.

— На!— зло сказала она.

Франчески дрожащими руками принял миску и начал есть — жадно, торопливо, время от времени поднимая на женщину свои черные глаза, опушенные длинными ресницами. Покончив с едой, он встал, произнес какое-то слово на своем непонятном языке и вышел.

Налив щелочи в его миску, Симка опустилась на треногую скамеечку. Есть больше не хотелось.

— Как он смотрит, и руки у него дрожат,— сказала девочка, когда шаги затихли.

— Голодные они,— задумчиво произнесла Симка.

После этого она не могла найти себе места. Вымыла посуду, убрала двор, выкопала на полянке заржавелый и сломанный скарб, что спрятал перед уходом ее Войин, переделала кучу нужной и ненужной работы, но тревога не покидала ее. «Против таких вот и мой Войин боролся,— упрямо повторяла она про себя, вспоминая страдальческие глаза итальянца.— Что делать? Можно бы пойти в Кусачу и сообщить в комитет. Но до Кусачи добрых три часа ходьбы, а что будет с детьми, домом, коровой, тем немногим, что удалось сохранить? Почему их черт не унес в другую сторону, а завел именно сюда?» — со злобой думала она. На вот тебе, из всех существующих на белом свете дорог они выбрали как раз эту, и она привела их к той горсти муки, что у нее в ладони зажата, и теперь они стоят поперек ее пути. Ни о чем другом и думать она не может. «Придут, наверняка придут»,— выглядывала она в дверь, не зная, как поступить, когда голод заставит их прийти. Ребятишки сидели у огня, скрючившись, испуганно прислушиваясь, не осмеливаясь высунуть нос наружу. Чем больше проходило времени, тем сильнее становилась тревога женщины, словно бы теперь она хотела, чтоб они пришли, чтобы выяснить, наконец, как обстоит дело. Самым разумным ей казалось уйти ночью со всеми своими в Кусачу, чтоб избавиться от напасти.

Однако она не успела ничего решить, да и не легко это было. На дороге показались два солдата, за ними тот, приходивший утром, которому она дала поесть. Увидев их, она так и замерла на месте возле кучи хвороста. Они не улыбались, не казались смущенными, лица у них были враждебными, злыми. Франчески подошел к ней и стал что-то говорить, не упрашивая, а требуя, как поняла Симка по выражению его лица. Это не понравилось ей. Лишь одно короткое, резкое, грубое, повелевающее слово разобрала она: давай!

«Этому ты выучился, сукин сын!»— яростно подумала она, но рта не раскрыла.

Франчески пошел к дому, за ним двое других. Симка опередила их и, не останавливаясь в дверях, чтоб преградить путь, вбежала в дом, стараясь закрыть собой перепуганных детей.

— Чего вы хотите? — тихо и примирительно спросила она. Ее испугали страшные лица, жуткие голодные взгляды, которыми они шарили по дому, не обращая на нее внимания. Нервными, неуверенными движениями они разыскали муку в мешке, налили воды из бадьи в котел, раздули огонь и подвесили котел на цепи. Делали они все это лихорадочно, прерывисто, тяжело дыша, натыкаясь в спешке друг на друга и изредка обмениваясь короткими фразами, похожими на бормотанье, а она не смела сделать ничего, что походило бы на сопротивление. Они просто прикончили бы ее, казалось ей. Не стоит даже пытаться защищать свое добро, тогда они уйдут,— она даже успокоилась и стала с любопытством наблюдать за тем, что они делали, ведь ни разу в жизни ей не доводилось видеть такого голода. Казалось, будто глаза их вытекут в горячую жидкость, а один их них, сгорбленный и больной, зачерпнув деревянным половником жидкость, так вот с пылу с жару сунул ее себе в рот, скривился от боли, но не перестал глотать. Они позабыли о соли и жире, а Симка не стала напоминать, позабыли так позабыли, солью и жиром нелегко разжиться. И вмешалась лишь тогда, когда в нетерпении, не дожидаясь, пока закипит каша, они сняли котелок с огня.

— Не готово ж еще, бедняги. Сырое есть будете.

Никто не обратил внимания на ее слова, они вышли из дома, не выпуская из рук дымившийся котелок. В комнате остались следы спешки и неутоленного голода: рассыпанная мука, пролитая вода, разбросанные угли в очаге; однако женщину это не взволновало. Она села на скамейку и сказала:

— Мало от человека остается, когда его голод одолеет. Погубят они нас, бродяги.

Когда Франчески, боксер и калабриец отправились к Симкиному дому, Джурини встревожился. Перед этим они поспорили: доктор доказывал, что нельзя прибегать к насилию, это было бы опасно, они поставят себя в безвыходное положение, с гор на западе доносились взрывы, наверняка партизаны близко, но его не послушались.

— Надо было кому-то из нас с ними пойти. Они там дел натворят.

Марко молчал, пока шел спор, но потом сказал то, что думал. Тише, чем он говорил обычно, не смягчая улыбкой обнаженности своих слов, он сказал:

— Нам с тобой она еды не дала, а они возьмут сами. Мы бы тоже взяли, если б не стыдились быть искренними. А там мы не нужны, не нужны ни им, ни ей. Им помешать не посмеем, ее защитить не сможем. Самое плохое в том, что я понимаю и голодных людей, и бедную женщину, знаю, что ей нелегко. Я тоже изголодался.

Так этот скромный и добрый триестинский журналист, утешавший себя своей честностью и огорченный своей робостью, без лишних слов выразил все, даже то, что думал Джурини, не признаваясь в этом себе.

Они обрадовались, когда те трое принесли остатки еды, которую при всей своей жадности не смогли съесть. (Они и не спрятали ее про запас, как предлагал боксер: легкомысленный Франчески, насытившись, мог быть и великодушным, да и, кроме того, он полагал, что не составит большого труда снова забрать в доме все, что попадется под руку.) Когда они с Эдмондо разделили полученную пищу, приятная усталость овладела всеми членами. Теперь можно было, пожалуй, нормально думать.

— Пойдем к ней,— предложил Джурини,— объясним.

По многим соображениям он не хотел лишаться помощи и расположения женщины и хотел загладить поступок Франчески.

— Теперь можно,— просто сказал Марко.

Симка встретила их спокойно.

— Доктор и я просим вас не сердиться на наших людей.

— Он доктор?

— Да. Врач.

— Что ж из того, что взяли, ничего не поделаешь, у голода глаз нет. Я и сама хотела вам приготовить.

Ей показалось, будто она в самом деле так хотела, ведь теперь все равно ничего нет.

Она украдкой взглянула на доктора, на его лице блуждала болезненная улыбка; он выглядел иначе, чем те трое, может быть, потому, что он не забрал у нее ничего, как те, или потому, что она узнала, что он доктор, или, вероятно, он в самом деле был другим. Мягче, человечнее. «Потому и остался голодным»,— подумала она, издеваясь в душе и над собой, и над ним.

— Садитесь,— предложила она.

— Мы заплатим,— произнес Джурини, желая загладить случившееся.

— Кто тебе говорит о деньгах?— спросила Симка.— И чем ты заплатишь? Даже если б я и взяла эти ваши деньги, а я их не возьму, что я с ними делать буду? Ничего не стоят ни ваши, ни наши. Сядьте вы и отдохните, а о плате не беспокойтесь. Каждый за свое сполна получит.

Джурини удивился, и ему стало стыдно. Его привела в замешательство эта доброта, которой он не ожидал, и его собственный поступок представился ему грубым, даже лицемерным, лишь казавшимся великодушным, а он не хотел выглядеть лицемером. В самом деле, что она будет делать с этими деньгами военного времени, имевшими силу лишь в том случае, если ими расплачивались с винтовкой в руках. К счастью, Марко уже завел тихую, неторопливую беседу с хозяйкой, привлекая ласковой улыбкой на свою сторону успокоившихся детей. И Джурини, которому не мешали чужие взгляды, смог избавиться от неловкости, охватившей его, и целиком отдаться странной растроганности, волной нахлынувшей на него.

В очаге весело потрескивал огонь, освещал комнату и лица людей трепетным неровным светом, от горячих веточек и пламени, исчезавшего роями искр в дымоходе, струилось приятное тепло. Словно в полусне Джурини слушал разговор, какого ему давно не доводилось слышать. Не пытаясь вникнуть в его смысл, он наслаждался волшебством слов, слов, лишенных страха, лишенных отчаяния, его одурманивала музыка обыкновенной незначительной человеческой беседы. И словно рассматривая вещи изнутри, познавая их смысл, которого он до сих пор не знал, он думал: «Так должны разговаривать люди. В этом все. Больше ничего не нужно».

На скамейке сидели дети. Он смотрел на них и думал о своей дочери.

Симка поймала его взгляд.

— У тебя кто остался дома?— просто спросила она, проявляя скорее внимание, чем любопытство.

— Жена с дочкой,— ответил Джурини, потрясенный ее вопросом.

— Дай бог им здоровья,— сказала женщина и, подумав, добавила: — Гора с горой не сходится, а живые люди, глядишь, и встретятся. Только покойников никогда не увидишь.

И, умолкнув, неподвижно устремила взгляд в огонь, чужая и отталкивающая все от себя, сраженная неведомой болью, исказившей лицо.

— Много вы нам горя принесли,— произнесла она вдруг раздельно, не глядя на них, и в голосе ее зазвучали и суровый упрек, и ненависть. Однако Джурини уловил и нечто другое, какое-то затаен-

ное страдание, вспыхнувшее в ее сердце пламенем, которое, однако, не сжигало женщину, но угрожало всему, что окружало ее, превращаясь в мрачную стихийную силу. Он ощутил страх и уважение перед этим ее могуществом.

— Я никому не принес горя,— сказал он искренне, чувствуя неодолимую потребность оправдаться перед ней.

— Чего ж ты тогда убегаешь?

— Хватит с меня войны, хочу домой.

— Хватит с тебя войны, когда вам по шее дали. А не дали б, еще б остался.

Джурини не ответил.

— Что поделаешь,— вздохнула женщина,— целая голова тоже чего-нибудь да стоит. Нелегко быть человеком.— И с трудом встала, словно обессилев от этого разговора.— Не сердись, всякое люди болтают не думая,— сказала она, не глядя на него.

Утром Джурини проснулся в плохом настроении, со смутным ощущением чего-то неприятного, что угнетало его. Он знал, в чем причина этого настроения, но когда захотел разобраться в фактах, рассмотреть их и оценить, то не увидел ничего страшного: женщина сказала то, что думала обо всех них, обобщая его путь. И в ее словах не было ни брани, ни оскорблений, хотя воспоминание об этом наполняло его неприятным чувством, почти стыдом. Марко говорил подобное, но здесь — иное дело. Марко то же, что и он, а женщина — жертва, правда, не его, но он-то не был на ее стороне. «Нелегко быть человеком,— с трудом повторял он про себя ее слова, полные презрения и жалости.— Жестокая она. Что она знает обо мне? Женщина измучена, почернела от ненависти, все мы для нее враги, все едины. Не может она знать, что я не такой, как другие». Впрочем, ее образ мышления не мог совпадать с его, и странным было то, что он запомнил ее слова.

В классе было светло, солнце лилось сквозь разбитое окно.

Франчески лежал на полу, положив ноги на перевернутую парту. Его уныние и истерика улетучились, он снова обрел уверенность в себе.

— Надо двигаться дальше,— внушал он боксеру.

— Где-то впереди идут бои.

— Попытаемся обойти и партизан и немцев. Наверняка это они, я пушки слышу.

— А если не удастся пройти?

— Если не удастся? Ничего. Останемся.

— С кем?

— Каким глупым ты можешь быть, Луиджи. Ты бы остался с партизанами?

— Нет.

— Чего ж ты тогда спрашиваешь? Останемся с немцами. Может быть, это единственное, на что мы еще способны. И, вероятно, самое лучшее. Что мне делать на «гражданке»? Я — десять лет солдат. Я хорошо разбираюсь в воинском ремесле. Но с ним я не могу ни строить дома, ни шить ботинки. Десять лет меня учили убивать людей. Мне платили за это, меня награждали, приучали гордиться. Ну и хорошо, я горжусь.

— А если погибнете?

— Солдат думает только о чужой гибели.

— С меня хватит.

— Хочешь вернуться на ринг? Разбивать людям носы?

— Хочу.

— Как ты можешь заниматься такой ерундой, Луиджи?

Джурини встал и вышел из дома. Утро было свежее. У ручья, наклонившись к самой воде, над которой поднимался легкий пар, умывался Марко. Джурини неприятно кольнуло воспоминание, которое следовало забыть.

— Как вода?

— Теплая, ласковая, дружеская.

Немного пониже по течению брился Эдмондо, напевая тонким, но приятным голосом. Давно уж, целые годы, не слышали они этой солдатской песни.

Neanche I muss non
vuol mangiar
la pagnotta militar,
signor caporal.
Ella mi fa mal,
la mi fa mal,
la mi fa mal...
Neanche I muss non
la vuol portar
la beretta militar,
signor caporal,
ella mi fa mal,
la mi fa mal,
la mi fa mal*.

Все улыбались.

— Вчера он еще не знал этой песни.

— Теперь знает, раз улыбается,— сказал Марко.— Теперь он чувствует себя свободным. И мстит.— И тут же, продолжая свои мысли, добавил:— Вчера я долго не мог уснуть. Холодно было. И думал об этой женщине.

— Почему?

— Смутила она меня. Озлоблена очень. Но не только в этом дело.

Джурини сунул руку в воду.

— Побриться бы надо,— попытался он перевести разговор. Но тщетно.

— Наверное, у нее несчастье произошло. И считает она, что мы виноваты в постигшем ее и ее страну горе. Может быть, она и права.

Джурини почувствовал, как его охватывает знакомое нетерпение, рождавшееся всякий раз, когда Марко говорил о своей подлинной или воображаемой вине.

— Почему ты всегда об этом говоришь? И всегда ли только говоришь?

На этот нервный и едкий вопрос Марко не стал отвечать ни в шутку, ни всерьез, сквозь опущенные ресницы он смотрел в чистую воду ручья, разглядывая мелкие камешки на дне, о чем-то размышляя.

Джурини не успел повторить свой вопрос: из кустов чуть пониже школы выскочило на дорогу пятеро вооруженных четников. Озираясь, они подошли к итальянцам.

— Вы что здесь делаете?

— Идем домой,— ответил Марко, почувствовав, что это звучит анекдотично.

— Еще кто есть в селе?

* Даже ослу неохота есть солдатский хлеб, господин капрал. Мне плохо от него, мне плохо от него, мне плохо от него. Даже ослу неохота носить солдатскую фуражку, господин капрал. Мне плохо от нее, мне плохо от нее, мне плохо от нее *(итал.)*.

— Одна женщина с двумя детьми. В том доме, откуда дым поднимается.

— Партизаны не появлялись?

— Нет.

Они спешили, торопливо осматривая все вокруг, и пошли к Симкиной хибаре не прощаясь.

— Они могут быть опасны,— сказал Марко, глядя им вслед. — Выглядят жутко.

— Как мы,— усмехнулся Джурини.

— Позвать остальных? — Марко пошел к школе.

Его выслушали с кислыми физиономиями.

— Какое мне дело! Пусть делают, что хотят,— сказал Франчески.

Однако тоже пошел поглядеть. Да и завтракать было пора.

Четники гурьбой ввалились в комнату и сразу потребовали еду.

— Что за напасть на меня,— разозлилась Симка.— Притащила несколько килограммов муки и вот теперь корми целый свет. Отстаньте.

Высокий четник, крест-накрест перепоясанный ремнями, подошел к ней вплотную:

— У нас нет времени на болтовню. Давай, что есть.

— Кой черт есть? Самой голодать придется.

Четник подошел к полке над очагом, где лежал завернутый в тряпку каравай хлеба, взял его, разломил на пять частей и дал каждому из своих. Те сразу стали жевать.

— Давай еще что-нибудь.

— Нету. У детей отнимаете. Нету.

В комнату вошли Марко, Джурини и Франчески. Остальные трое остались у входа.

Высокий четник, посмотрев на них, спросил Симку:

— Это кто?

— Были ваши.

— А теперь ваши?

— Сам их спроси, чьи они.

— С нами, с нами пойдемте!— повернулся тот к итальянцам. — Мы партизанам чик-чик!

— Что ж вы тогда, господи помилуй, так испугались,— улыбнулась Симка,— раз вы их чик-чик? Сами бежите, а их с собой зовете.

Где-то в направлении Кусачи застучал пулемет. Четники замерли, переглядываясь между собой. Перестав жевать и оскалив здоровые белые зубы, один из четников выпучил огромные глаза и пошел на женщину, видимо, не на шутку рассердившись.

— Ах, так! И ты смеешь мне это говорить?

Марко встал у него на пути.

— Что вам нужно?— крикнул он, задрожав, неестественно высоким голосом. Он сам не знал, смог ли бы он что-нибудь выдавить из себя от волнения и как поступил бы, если б четник, отшвырнув его, ударил женщину. Но тот не отшвырнул Марко — застыв в изумлении, лишь смерил взглядом его, маленького и бледного, от измятой пилотки до истлевших ботинок, и, услыхав снова пулеметную очередь с той стороны гор, молча повернулся и вышел. За ним пошли остальные.

Развеселившись неведомо отчего, то ли от вида распетушившегося Марко, то ли от забавной ситуации, то ли потешаясь над всеми, Франчески с хохотом вышел из дома.

— Разрази их гром!— ругалась Симка.— А ты,— повернулась она к Марко,— что бы ты сделал, если б он тебя ударил? Помогли б твои?

— Может быть, и помогли,— пожал плечами солдат.

— Вряд ли.

После этого случая она стала внимательной и любезной к Марко, по-своему, немного грубовато. Она встречала его насмешкой, не щадя его, потом расспрашивала о пустяках, чтоб подчеркнуть свое внимание, и относилась к нему как к человеку, который ради нее сделал больше, чем мог, больше, чем смел, и поэтому стал ей ближе других. Она понимала, что он, слабый и худой, не защитил бы ее, но он попытался это сделать, как пересиливший страх мальчишка, и это было прекрасно.

А он не хотел больше об этом говорить, ему было стыдно своего испуга.

— У вас есть кто-нибудь в партизанах?— спросил он.

— Нет.— И добавила, словно не желая ограничиться столь коротким ответом: — Был.

— Муж?

— Да. Погиб он.

И снова, как и вчера вечером, во взгляде ее ожили неведомые воспоминания, а на лице появилось выражение оцепенелости и горечи, которым она отгораживалась от окружающего. Это длилось недолго, промелькнуло тенью, а потом женщина подняла взгляд, в котором остался лишь мимолетный след страдания.

— Хочу спросить тебя кое о чем. Смог бы доктор поглядеть одного больного?

— Какого больного?

— Раненого.

— Партизан?

— Я нашла его у дороги, когда мы сюда возвращались.

— Кто его ранил?

— Пусть он сам вам скажет, если захочет.

Они вошли в комнату, и женщина наложила на дверь деревянную щеколду.

На деревянной лежанке, прикрытой грубой тканью, лежал юноша, мокрый от пота, в жару.

— Не бойтесь,— сказал Марко.— Мы ваши друзья.

— Я не боюсь, раз она вас пустила,— тихо ответил юноша.

— Кто вас ранил?

— Один из ваших.

— Вы следили за нами в лесу?

— Да.

— Зачем?

И пока Джурини мыл руки, юноша скупо рассказал, что он подлечивался дома, вот-вот собирался вернуться в отряд, а в тот день помогал отцу заготовить дров на зиму, они работали в лесу за домом. Вдруг послышался выстрел, они побежали на него и нашли мертвого брата, его убили те трое итальянцев, он видел, как они убегали. Он похоронил брата, не зная, за что его убили, может быть, потому, что прекословил, не дал мяса, подготовленного для вяления. Он пошел по их следу, желая убить хотя бы одного. В первый раз произошла осечка, в другой раз он растерялся, упустил их, видимо, они заблудились, и он вышел вперед. На обратном пути они попались в неудобном месте, ранили его самого, и он спустился в долину и ждал в кустарнике, потерял много крови, не мог идти, думал, что пришел конец.

Он был молод, хорошо, если ему исполнилось восемнадцать лет. Когда он ушел в партизаны? И почему?

— Их счастье, что это оказался мальчишка,— сказал Джурини.

— Жаль, что это оказался мальчишка,— сказал Марко.

Паренька ранили в пах с левой стороны, ничего как будто не было повреждено, пуля застряла в подкожной ткани. Надо было делать операцию. Но чем?

Они обошлись тем, что оказалось под рукой, и вскоре Джурини сделал странную операцию — острым крестьянским ножом, продезинфицированным в пламени очага, без скальпеля, пинцетов, анестезии, без марли, ваты, без света, не располагая даже знаниями, ведь он не был хирургом. Он желал удачи себе и юноше.

— Все в порядке?

— Да. Думаю, что да.

Он завязал рану клочками льняной рубашки, которую разыскала женщина.

Вымыв руки, Джурини посмотрел на девочку с карими глазами.

— Ты похожа на мою дочку.

Девочка не испугалась.

— Она тоже убегала из дому?— спросила она.

— Нет.

Задумавшись, он молчал.

Марко был возбужден, встревожен, он что-то решал про себя, видимо, безуспешно.

— Не знаю,— бормотал он,— не знаю, не знаю.

— Чего не знаешь?

— Ничего не знаю.

— О чем ты?

— Я вспоминаю одного солдата, он должен был отправиться сюда, в эту страну, когда его мобилизовали. Он не захотел. Ему угрожали судом. Не захотел. «Если они на нас нападут, я буду стрелять,— твердил он,— а я на них нападать не хочу». Его отправили на каторгу.

— Почему ты сейчас о нем вспомнил?

— Я не сейчас вспомнил. Я думаю так же, как и он. Но у меня не хватило духу сказать, и я почти стал тем же, что и Франчески, но это все равно. Он заправлял своими фьями-фери*, а я — телеграфом. Большой разницы нет. Напрасно я думал, будто она есть.

— И что же дальше?

— Не знаю. Нелегко быть человеком, сказала эта женщина. Я боюсь, что упущу последний шанс.

Около полудня все собрались у Симкиной хибарки. Ждали обеда. Эдмондо ветками подметал двор, остальные сидели, с трудом пытаясь бороться с дремой. У забора скорчился калабриец, высохший, сморщенный, потонувший в своей мятой одежонке, ставшей теперь слишком для него широкой. Он справился с болезнью, хотя оставался желтым и слабым, хотя взгляд его был еще рассеян. Однако о ложке и жестяном котелке он не забывал, крепко держа их в руках.

Словно бы дожидаясь именно его, Франчески заявил, что после обеда они выступают дальше.

— Куда?— спросил Марко.

— Дальше.

— К немцам?

— Может быть, вы хотите воспрепятствовать мне?

— Не собираюсь.

— Кто со мной?

Послышался ленивый голос боксера:

— А другие? Эдмондо? Лодовико?

Те молчали, растерянно хлопая глазами.

— Они пойдут с нами,— сказал Марко.

— С кем это «с нами»?

---

* Огнеметчики *(итал.)*.

С кем «с нами»? Мы — не они, мы другие, они борются, ведут людей, а он самого себя убедить не может. Не стоит упускать шанс, он ничем больше не смог бы защититься, этот парень заставил его принять решение. И, волнуясь, он заговорил о том, что со вчерашнего дня засело у него в голове. Он убеждал других и все сильнее убеждал себя, он смог позабыть о трудностях и опасностях, о которых говорила ночь, он воодушевился, иначе ему трудно было бы принять решение. Да и день сверкал, весело сияло солнце, его окружало больше хороших, чем кровожадных, людей. Он не ссылался на те соображения, которые помогали ему, он пользовался простой логикой: немцы наверняка проиграют войну, этого не видят только дураки. И если уж они должны к кому-то примкнуть, а они должны это сделать — одним в чужой стране оставаться нельзя,— то тогда нужно идти к партизанам.

Воодушевления ни у кого не было. А Франчески, сидя на пне, поднял голову и спросил у Марко внешне спокойным тоном, за которым чувствовалась ненависть:

— Вы это всерьез думаете?

— Вполне. Почему вас это удивляет?

— Боюсь, что я плохо слышал.

— Вы отлично слышали.

— Согласитесь, что предложение по меньшей мере необычное.

— Для вас, может быть. Вы убивали людей в этой стране.

— Я воевал в этой стране.

— Вы убивали и без борьбы. Пока мы бежали сюда.

— Вы — коммунист?

— Почему это вас интересует? Что из того, если да?

— Ничего. Не худо бы знать.

— Жаль, что вы узнаете так поздно. Не было случая сказать вам раньше.

— Никогда не поздно.

— Поздно, господин лейтенант.

— Кто вам сказал, что я кого-то убил?

— Неужели это важно?

— Воспользуйтесь случаем. Партизаны близко, можете сообщить обо мне.

— Невредно было бы.

Франчески не ответил. В глазах его сверкнул опасный огонь, но он тут же опустил их.

Когда Джурини вышел во двор, чтоб вымыть руки, Франчески пристально посмотрел на помогавшую доктору Симку и на детей, стоявших на пороге.

— Как я вижу, у вас пациент,— крикнул он доктору.

Тот не ответил.

— Я могу взглянуть?

Он встал и пошел к дому.

Марко преградил ему дорогу, сегодня он был меньше взволнован, чем вчера. Он ненавидел этого человека. Тот не должен войти, он что-то заподозрил, у него нюх убийцы. Он, Марко, сам виноват, зачем ему понадобилось говорить об убийстве? Он должен помешать ему что-либо сделать в эти последние минуты, пока они вместе, последние, больше они никогда не встретятся.

— Уходи!— гневно крикнул Марко.

Франчески изменился в лице и, подойдя к нему ближе, со всего размаху ударил в челюсть. Застигнутый врасплох, слабый Марко качнулся назад, натолкнувшись на стену дома, а потом пошел к поленнице, где торчал топор. Франчески поднял автомат, и потрясенный доктор, не успев ничего предпринять, увидел, как сверкнул на солнце ствол

— короткая очередь оглушила Джурини. Марко вздрогнул, прижал к груди правую ладонь и, скорчившись, упал лицом в землю.

Джурини подбежал и перевернул его. На зеленом сукне выступили три красных пятна, которые росли с ужасающей быстротой. По пожелтевшему худому лицу протянулась тонкая пурпурная нить. Доктор расстегнул куртку, разорвал окровавленную сорочку и грязными ее лоскутьями стал затыкать раны, из которых фонтаном била кровь.

Но Марко уже ничего не было нужно.

— Господи, что ж это такое?— потрясенно склонилась над ним Симка.

Джурини не ответил. Он посмотрел вслед Франчески и боксеру, уходившим по дороге, и опустил голову.

Женщина ни о чем не спрашивала. Опустившись на колени возле тела, она смотрела, как бьется жилка на выпирающей ключице, все тише, легче, все незаметнее, все реже, и ей было жаль этого человека, что умер, неоплаканный, на чужбине.

Она не понимала, почему позволили спокойно уйти тем двоим, но никого не упрекнула. Доктор подавленный стоял над телом человека, который жил без храбрости и умер в тот момент, когда хотел освободиться от страха. Калабриец смотрел на погибшего и, двигая желтыми губами, беззвучно молился. Эдмондо, словно потеряв рассудок, мял пилотку.

— Он хотел остаться здесь,— произнес он отсутствующе.— Но не так.

Джурини смотрел вниз, в долину, на село, безмолвствовавшее под тихим осенним солнцем, спокойное и неподвижное. Лишь из одного дома поднимался дым к ясному небу. Во дворе его стояла женщина в белой рубахе.

Она проводила их до опушки леса, здесь они простились. Джурини оглянулся на свежий холмик на краю снесенного кладбища.

Женщина поймала его взгляд.

— Если увидите когда-нибудь его жену и ребят, скажите, что я оплакала его вместо них. Им легче будет.

Они не понимали ее слов. Но почувствовали нежность ее голоса и человеческое соболезнование, которое даже чужой язык не может скрыть.

— Прощайте,— сказал Джурини, глядя на нее, стоящую перед домом, над которым тянулся дым.

Перед его взглядом плясали очерченные резкой тенью горы, пылал багрец безграничных лесов, сверкали пламенем роскошные пятна некошеных лугов.

Чужая земля не казалась ему больше ужасной, не переполняла его больше тревогой, возможно, и из-за этой женщины, которая в длинной белой рубахе продолжала стоять среди опустевших домов.

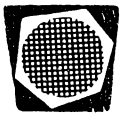
РЕЙНГАРД ФЕДЕРМАН

ГОЛОС

РАССКАЗ

■

Перевод с немецкого
Л. ЛЕЖНЕВОЙ



И медленно приходил в себя. Видел небо и пшеницу, кровь на своих руках и на груди, чувствовал, что кровь течет струйками, и они, эти тоненькие струйки, все больше и больше ослабляют его.

Неожиданно перед его глазами мелькнули штаны и сапоги, в гуще колосьев выросла фигура лейтенанта, и тот совсем рядом бросился на землю. В ту же секунду раздалась пулеметная очередь. Маттей с усилием приподнялся на локтях и успел сказать:

— Господин лейтенант!

Но тот, приникнув лицом к жесткой земле пшеничного поля, ничего не ответил. И Маттей усомнился, слышал ли он сам свои слова. Он откашлялся, но и кашля своего не услышал. Снова закричал:

— Господин лейтенант, господин лейтенант!

И опять ничего не услышал. «Неужели я оглох? — с испугом подумал Маттей.— Но ведь пулеметную очередь я слышал!»

Широко раскрыв глаза, Маттей пытался пристальным взглядом привлечь внимание лейтенанта, уткнувшегося лицом в проросшую корнями землю. Один раз лейтенант приподнял голову и посмотрел на Маттея. На лбу и щеках у офицера была земля, может, поэтому его глаза казались белыми и пустыми. Маттей помахал руками, сигнализируя ему, как это делают матросы своими маленькими треугольными флажками. Лейтенант следил за движениями Маттея, но взгляд его по-прежнему был пуст.

Вокруг стало тихо. «Ах, если бы я мог хотя бы шептать,— подумал Маттей,— лейтенант услышал бы меня. Я бы попросил его отвести меня на опушку. Это совсем рядом, наши наверняка будут защищать лес, а оттуда меня смогут доставить на ближайший перевязочный пункт. Я бы сказал ему: «Возьми меня с собой, это не опасно: хлеба высокие, нас не увидят». Я воззвал бы к его чести офицера... Ах, если б только я мог шептать, пусть даже еле слышно,— а так мои знаки, должно быть, ему непонятны».

В тот же миг пшеница вдруг раздвинулась, и чужое лицо склонилось над Маттеем. На этом лице он прочел испуг, затем услышал короткий вскрик, но, прежде чем человек успел опомниться, Маттей схватил его за ногу и подтянул к себе.

Человек этот был санитаром.

Снова поднялась стрельба, и санитар упал, наполовину прикрыв собой Маттея — тот грудью почувствовал удары чужого сердца...

Маттей все еще не отпускал обутую в сапог ногу, а санитар уже подсунул руки под плечи раненого и, браня и проклиная его, ползком потащил за собой. С каждой минутой стрельба становилась все ожесто-

ченнее, и санитару пришлось напрячь все силы: пот катился по его багровому лицу, вздувшаяся артерия выдавала учащенное биение сердца. Маттей отпустил ногу санитара.

«Я вынужден ему довериться»,— в отчаянии подумал он, однако изготовился мгновенно схватить санитара за руку, если тот вздумает от него освободиться и сбежать.

Вскоре Маттей увидел, что лежит на лесной опушке под редкими сосенками, и почувствовал, что на усыпанной хвоей земле солнце припекает еще сильнее, чем на пшеничном поле.

Санитар, став рядом с ним на колени, вытащил из своей полевой сумки бинт и ловко наложил Маттею временную повязку вокруг шеи. Потом поднялся и ушел.

«Неужели он бросит меня?» — с тоской подумал Маттей.

Шум нарастал и приближался. Один раз совсем близко разорвалась противотанковая граната. Потом все стихло и наступила чудесная тишина. Маттей, вдыхая запах лесной земли, напомнивший ему детство, даже уловил жужжанье пчел. Услышав шорох чьих-то шагов, он хотел повернуть голову, но не смог — шея точно окаменела и малейшее движение причиняло ему боль. Собственно, он уже давно ощущал эту боль, но только сейчас обратил на нее внимание.

Санитар вернулся, а с ним еще какой-то бледный малый в очках в стальной оправе.

«Священник»,— подумал Маттей.

Они принесли с собой носилки, поставили их на землю рядом с раненым и попросили его вытянуться в струнку, но когда поднимали, Маттей перегнулся в поясе. Санитары кряхтели, топтались вокруг и немало потрудились, пока уложили раненого как надо. Затем они рывком высоко подняли носилки и понесли Маттея через лес.

Все трое были рады, что удаляются от линии огня, имея на то законное право, но особенно радовался Маттей. Он смотрел на зеленовато-золотые верхушки сосен и думал: «С таким ранением меня, конечно, отправят на родину... Госпиталь. Еда. Питье. Отпуск. Девушки».

Маттей уже видел себя на улице родного города, веселой торговой улице, сверкающей огнями, еще не поврежденной войной, такой, какой она была год назад, во время его отпуска.

Санитары опустили носилки на полянке, откуда-то появился ротный фельдфебель — Маттей его всегда недолюбливал — и протянул ему плитку шоколада «Колла». Маттей жестом попытался выразить благодарность, но в это мгновенье поблизости разорвалось несколько противотанковых гранат, и фельдфебель поспешно скрылся в бункере, так и не оценив его немой благодарности. Вместе с фельдфебелем исчезли санитары, и Маттей остался один на залитой солнцем поляне.

Спустя некоторое время подъехала санитарная машина. Когда в нее погрузили Маттея, он улыбнулся носильщикам, подняв в знак приветствия руку. Внутри, в полутьме машины, ему пришлось дожидаться, пока погрузят еще трех раненых, но он не знал, кто они, так как не мог повернуть голову. Когда захлопнули заднюю дверцу, в машине стало совсем темно. Маттей лежал тихо, думал о наступающей ночи и вертел в пальцах плитку шоколада. В пути машину подбрасывало и трясло. Маттей потел, мысли его путались, вскоре он впал в забытье.

Проснувшись утром после глубокого и крепкого сна, Маттей удивился стоявшей вокруг тишине. Прямо над собой он увидел два неотесанных серых столба с прикрепленными к ним нарами, перед собой — голубое клетчатое одеяло, чуть поодаль — покосившуюся дверь. Вчера ночью, когда его привезли сюда, он слышал позвякивание инструментов, столовой посуды и мисок, стоны и вздохи раненых, ворочавшихся на на-

рах, топот сапог в коридоре, отдаленное рычанье моторов. Сейчас не было слышно ни звука. И раненого охватил ужас.

«Уж не оглох ли я за ночь?» — испугался Маттей. Он поковырял указательными пальцами в ушах, но это не помогло. По-прежнему ни звука. «Надо позвать на помощь»,— решил Маттей, но ему стало ясно, что позвать он не может, он вообще ничего не может, разве только молча лежать и ждать. И его терпеливое ожидание было вознаграждено. Наконец он услышал голоса: два голоса, мужской и женский, разговаривали между собой.

— Ни в коем случае! — сказал женский голос.— Я его здесь не оставлю.

— Уж не собираешься ли ты нести его на себе? — спросил мужской голос.— Или надеешься на санитарную машину? Она больше не придет. Разведчики прошли, пехота тоже прошла. Никто к нам больше не придет.

— Кроме русских танков,— сказал надтреснутый женский голос.

— Может быть, ты хочешь их дождаться? — спросил мужской голос.

— Он не должен попасть в руки русских,— ответила женщина.

Маттей прислушивался изо всех сил. Казалось, ему бы радоваться словам женщины, она явно желала ему добра, она заботилась о нем. Но он, как ни странно, почему-то пугался, едва она начинала говорить. Его симпатии были на стороне мужчины, слова которого казались ему вескими и убедительными.

— Иди,— говорил мужчина,— все время прямо, вдоль улицы. Может быть, тебе еще удастся поймать грузовик. Я останусь с ним.

— Не собираешься ли ты стать перебежчиком? — язвительным тоном спросила женщина.

— Далеко бежать не придется,— с усмешкой ответил мужчина.

— Почему ты хочешь остаться с ним? — допытывалась женщина.

— Ты же сама считаешь, что его одного оставлять нельзя. Ты права,— сказал мужчина и, помолчав, добавил: — Но на этот счет существует, вероятно, какая-нибудь инструкция?

— Послушай,— сказала женщина (теперь Маттею надо было напряженно вслушиваться, так как она вдруг заговорила очень тихо),— я ему сделаю укол.

— Нет! — крикнул Маттей, крикнул беззвучно, ибо голоса у него не было, крикнул всем своим нутром, чтобы его услышали или хотя бы прочли в его глазах. Но никто ничего не прочел в его глазах, никого рядом не было. Два человека, споривших о его смерти, находились в соседней комнате. Вот снова заговорил мужчина, и Маттею показалось, что он с этим мужчиной слился воедино, что мужчина говорит вместо него. А тот произнес одно лишь короткое слово: «Нет!»

— Я не допущу, чтобы он попал к ним в руки,— скороговоркой произнесла женщина.— Кто знает, что они с ним сделают? Уверяю тебя, они его изуродуют, разве ты не слышал об их зверствах?

— Мало ли что болтают...

— Значит, ты не веришь тому, что нам говорят?..

Мужчина не ответил, но Маттей мысленно представил себе его жест — вялое отрицательное движение руки. Нет, мужчина не верил в злодеяния врага, и Маттей тоже не верил. Он был убежден, что русские сделают ему свежую перевязку и вылечат его. А через несколько месяцев, а может быть лет, он вернется на веселую улицу своего родного города. Будь он в силах подняться, он прошел бы в соседнюю комнату и высказал этой женщине все, что о ней думает. Ей самой надо сделать укол. Из-за нее и ей подобных мы погибаем,— так бы и сказал!

— Теперь ты начинаешь грубить,— возмутилась женщина,— а все

потому, что здесь нет никого, кто мог бы тебе втолковать, как следует с ним поступить.

— Я — против, я не позволю убивать его,— повторил после короткой паузы мужчина.— Ты не имеешь на это права.

— Но разве ты не слышал, в каком виде их находят?

— Не слышал... а убивать раненых запрещается! — сказал мужчина.

— Никогда не подумала бы, что ты такой. У тебя нет чувства реальности.— Внезапно перестав спорить, женщина крикнула: — Я не допущу, чтобы этому человеку отрезали нос и уши.

— Я ему укола не сделаю,— спокойно ответил мужской голос.

— Уходи! Постарайся поймать грузовик. Обо мне не беспокойся,— настаивала женщина.

Маттей услышал шаги и какое-то позвякивание. Его ненависть к женщине угасла. Теперь он испытывал только страх и от этого совсем ослаб. «Сейчас она принесет шприц,— подумал Маттей.— Если бы у меня была дубинка, если б я мог сказать хоть слово, одно-единственное слово!»

— Ты не сделаешь ему укола,— повторил мужчина.— Ты...

Голос женщины вдруг смягчился.

— Не дури,— терпеливо сказала она.— Я не причиню ему вреда. Он даже не заметит. Скажу, что это обезболивающее, если только он будет в сознании...

«Высуну ей язык или плюну в лицо,— подумал Маттей.— Пусть только войдет сюда! Это наверняка поможет».

— ...он просто уснет,— продолжала женщина.— Неужели ты готов взять на свою ответственность все, что такой несчастный беззащитный человек испытает, когда увидит, как они вытаскивают свои ножи?.. А еще собираешься стать врачом. Стыдись!

Наступила жуткая тишина. Маттей услышал медленно удаляющиеся мужские шаги.

Дверь осторожно открылась, и в комнату вошла сестра. Она была опрятна, хороша собой. В руках у нее дымился тазик, в котором что-то позвякивало. Должно быть, она согласно инструкции прокипятила шприц. Маттей приподнялся. Он еще сможет выбить у нее тазик. Но она поставила тазик на табурет и подошла к раненому с сочувственной улыбкой.

«Держись!» — сказал себе Маттей.

Он лежал одеревенелый, но ему казалось, что с головы до ног его пронизывает мелкая дрожь.

«Только не силой!» — подумал Маттей. Он вспомнил о врачах и служителях в доме умалишенных. Если больной сопротивляется, его автоматически признают невменяемым. И уже тогда против воли больного делают то, что считают необходимым — для его же блага... Это существо в халате собирается его убить тоже «для его же блага»... Нужно найти к ней разумный подход. Нужно объяснить ей, что он не согласен с ее намерениями, и объяснить так, чтобы она поняла, чтобы его доводы убедили ее. Маттей сглотнул и попытался откашляться. За это время сестра успела закатать рукав на его обессилевшей руке. И тут она заговорила:

— Я знаю, что у вас боли. Не волнуйтесь, мы вам поможем. Сейчас я сделаю вам укол,— мягко сказала она,— и вы ничего не будете чувствовать. Пожалуйста, держитесь спокойно, сейчас все пройдет.

Глаза ее смотрели приветливо. Рот был очарователен. Она звякала шприцем в тазу. Маттей даже не заметил, как отдернул руку, словно от укуса пчелы. Потом он соединил обе руки перед грудью и вытянутым указательным пальцем правой начал писать точки и тире на ладони левой. Рот его судорожно кривился.

— Вы хотите что-то написать? — дружелюбно спросила сестра.

Маттей сделал усилие, чтобы кивнуть, и хотя это выглядело лишь намеком на кивок, сестра поняла. Быстро одернув рукав его рубашки, она вышла и вернулась с блокнотом и карандашом. Придерживая одной рукой его туловище, сестра другой держала блокнот. Маттей вдыхал запах мыла, которым она умывалась, и из последних сил нацарапал: «НЕ ХОЧУ УМИРАТЬ».

Сестра, ранее с любопытством наблюдавшая за ним, теперь взглянула на него с ужасом. Потом неожиданно отпустила его туловище, вскочила и, схватив тазик, быстро вышла из комнаты.

Маттей начал терять сознание. Боль утихла. Он был счастлив и горд. Ему казалось, что он победил. «Они убили бы меня,— подумал он засыпая,— а я не могу им даже сказать, как я их ненавижу».

Почувствовав, что кто-то подошел к нему, Маттей вновь открыл глаза.

— Мы уходим,— сказал вернувшийся с улицы санитар.

Маттей на миг закрыл глаза, показывая, что понял.

— Мы не можем взять тебя с собой.

Маттей снова закрыл глаза.

— Тебе будет не так уж плохо. Они ведь тоже люди... Тебе что-нибудь надо?

Маттей сделал отрицательный жест рукой.

— Смотри, сюда я кладу сигареты, сюда — блокнот. Карандаш я вложу тебе в правую руку. Вот так. По левую стоит холодный чай. Больше у меня ничего нет. Всего тебе хорошего!..

Маттей начал писать в блокноте: «Всего хорошего!»

Он очень старался, чтобы его буквы можно было прочесть. Иногда он замечал, что засыпает. Санитар ушел. Стало тихо. На сей раз тишина не страшила Маттея. У него не было охоты курить, не было и жажды. Он крепко держал в руках блокнот и карандаш — своих последних спутников, свою опору, свой посох — и начал писать историю своей жизни. Это была длинная-предлинная, чудесная история...

Отряд советских разведчиков, занявший дом, нашел его пустым. Переводчик, сопровождавший отряд, обнаружил труп немецкого унтерофицера, который держал в окостеневших пальцах блокнот и карандаш. Переводчик собирал документы, написанные врагом, просил друзей передавать ему письма убитых, а если находил сам, то с большим интересом часами разбирал их. Он хотел понять чуждый ему мир и потому тщательно изучал разные бумаги, письма, дневники, радиограммы — все, что попадалось на глаза. Увидев в руке мертвого блокнот, он немедленно схватил его и тут же, присев на нары, стал с интересом рассматривать свою находку. Но лицо его омрачилось На оборванных листочках ничего нельзя было разобрать. Вдоль и поперек были нацарапаны совершенно неразборчивые, путаные каракули.

ЛУЧАНО ДЕЛЛА МЕА

СЕМЕЙНОЕ ТОРЖЕСТВО

РАССКАЗ

■

Перевод с итальянского
Л. ВЕРШИНИНА

Синьора Маддалена жила на втором этаже небольшого двухэтажного дома в самой середине улицы. Она жила здесь уже давно, и почти не осталось соседей, которые помнили бы ее юной девушкой — сначала модисткой, потом продавщицей в магазине тканей и наконец женой чиновника. За эти годы она успела оплакать очень многих.

Спокойный, размеренный уклад жизни сделал синьору Маддалену заметной фигурой в квартале: она всегда в одно и то же время появлялась в подъезде, на улице или на своем маленьком балкончике. По воскресеньям она надевала черный с белой вышивкой чепец и отправлялась в церковь, держа в руках вместо привычной хозяйственной сумки молитвенник.

Седая опрятная старушка шагала торопливо, сохраняя, однако, плавность движений. Глядя на нее, такую худенькую и хрупкую, трудно было себе представить, что у нее четверо уже взрослых сыновей, что она сумела вырастить их здоровыми и сильными людьми, помогла им занять в жизни солидное положение. Но синьора Маддалена никогда этим не хвасталась. А своего дня рождения так нетерпеливо ждала только затем, чтобы посадить герань на балконе. В этот день она надевала светло-серый чепец и вместе с привратницей проверяла, хорошо ли вымыта лестница. Потом присаживалась у двери в маленькой гостиной, где стояла светлая мебель, плетеные соломенные стулья и стол; на стенах в позолоченных рамках висели фотографии ее сыновей — сначала мальчики, а затем солдаты, студенты, мужья. В комнате приятно пахло лавандой, в полутьме поблескивало зеркало.

Привратница поднималась к ней поболтать и, видя, как она старательно наводит чистоту, говорила:

— О господи, синьора Маддалена! Можно подумать, что сюда должен прийти священник! Вы укорачиваете себе жизнь.

Но синьора Маддалена только еще сильнее краснела под своим белым чепцом, который надевала в дни уборки. Она так проворно наклонялась над ведром, что можно было только удивляться, как ее хрупкие старушечьи кости при этом не поскрипывают. Лицо под чепцом покрывалось румянцем; широко открытые глаза смотрели живо и весело.

«Не хватает ей только запеть, а потом взять да снова выскочить замуж»,— думала привратница.

Покончив с уборкой, Маддалена садилась в полутемной гостиной на стул с мягким сиденьем и выгнутой спинкой. Она все посматривала в зеркало, поправляя седой локон, выбившийся из-под чепца.

Услышав шаги на лестнице, она вздрагивала. Лестница, темная и жалкая, затянутая паутиной, которую никогда не убирали, постоянно приводила ее в ужас. Потому-то она и решила поставить в комнатах

светлую мебель, но иногда ее смущал контраст между квартирой и парадным. Когда гости, поднявшись по лестнице, звонили или просто распахивали почти всегда приоткрытую дверь, у них менялось выражение лица.

И каждый раз, когда она слышала шаги на лестнице, у нее почему-то начинало сильнее биться сердце.

«Хоть бы постучали не в эту дверь,— думала она,— ведь если я открою сама, все будет по-другому».

Действительно, один раз все было по-другому.

На санитарной машине привезли мужа. Она услышала сирену издалека и представила себе, как от бешено мчащегося автомобиля разбегаются люди. Машина остановилась у их парадного; но, может, просто по ошибке — на этой улице все двери похожи одна на другую.

И в тот раз она ждала, пока откроется дверь, даже привстала на стуле. Ого, сколько людей топает по лестнице! Это могли быть крестьяне из тех мест, куда муж ездил летом: они приезжали в город продавать скот вечно подвыпившие, неуклюжие, но очень предупредительные, они никогда не забывали зайти к ней. Но сейчас это были не крестьяне, а люди в белых халатах, казавшихся еще белее в полутемной комнате. Белизна отражалась в зеркале, в сочетании с мебелью этот цвет становился просто праздничным.

— Он выздоровеет?

Санитары в белых халатах небрежно кивнули. Молодые, крепкие, уверенные в себе, они одним своим видом придали ей бодрости.

Обычно в день рождения первыми приходили внуки. У старшего сына Густаво четверо детей, но двое еще слишком малы, чтобы участвовать в торжестве, и их оставляли дома под присмотром женщины, помогавшей по хозяйству. В таких случаях синьоре Маддалене весь вечер не сиделось на месте. Густаво всегда был очень легкомысленным, и без всякой на то причины ей казалось, что точно такой же должна быть и его служанка.

Вдруг с ее внуками что-нибудь стрясется, пока она веселится с гостями? Она бы никогда себе этого не простила, а ведь так просто оставить газ невыключенным или окно открытым. Ее начинала бить дрожь, она краснела от волнения. Нужно поговорить с Густаво. Изредка она бывала в доме сына. Несмотря на свое легкомыслие, Густаво хорошо устроился, и теперь его небольшое предприятие, выпускавшее хозяйственные товары, процветало. А ведь кто бы мог подумать! Дом у Густаво был высокий, внизу блестела брусчатка мостовой, и по улице бесшумно проносились черные блестящие машины. Когда машина резко трогалась с места, опавшие листья веером вздымались в воздух. Если ее внучек сорвется и упадет на улицу, то так и останется лежать, как одинокий листик. Улица там узкая и тенистая, и, наверное, даже господь не сразу заметит, что погибает невинная душа младенца. Она снова вздрогнула всем телом — в старости тепло возвращается медленно, а хорошее настроение приходит так редко. Она встала, отдернула занавеску. Висевший высоко фонарь слегка осветил противоположную стену, в комнате стало не так мрачно.

«Но уж Франческо — тот форменный бездельник».

Начинал он хуже некуда, что там говорить. Ему совсем не хотелось учиться. Он нахально пожимал плечами и говорил:

— Жить нас учит улица, а не книги.

Беда с ним была, да и только; но попробуй его приструнить! Неаккуратный, встрепанный, придирчивый, мстительный, он знал все обо всех и нередко пользовался этим для собственной выгоды или просто из желания сделать другим гадость. Правда, и ему порой изрядно доставалось; но вот смеяться он умел заразительно, как немногие, причем даже

по самому ничтожному поводу, словно только ему был доступен какой-то особый смысл происходящего.

Потом он пристроился с лотком на углу площади и стал продавать всякую мелочь; ему доставляло удовольствие смотреть по сторонам, болтать со всеми. Через несколько лет ему удалось открыть магазин в центре, на самой людной улице. Но он так и не утихомирился, особенно после того, как разошелся со своей женой Анитой. А ведь женился он на ней после бесконечных распрей между обеими семьями; во время этих ссор он вел себя просто вызывающе. Вначале Анита позволяла ему делать все что угодно: она словно выздоравливала после тягостных лет помолвки. Потом постепенно она стала плаксивой, вошла в роль жертвы и часто приходила к ней, Маддалене, плакалась и умоляла ее вмешаться: так дальше невозможно, что ей делать, что делать! Если бы у них хоть был ребенок! Но Франческо не хочет иметь детей.

Маддалена говорила ей:

— Такова жизнь, Анита; горести — для хороших людей, радости — для дурных. Франческо, конечно, не кроткий агнец, но когда хочет, все понимает. Нужно оставить его в покое, перебесится.

Но она ошиблась. Даже облысев, обзаведясь брюшком и став солидным владельцем магазина, он не перебесился. В его глазах играла дьявольская улыбка, заставлявшая плакать тех, кто его любил.

Анита вернулась к своим, отношения между обеими семьями стали весьма натянутыми. Она и после разрыва приходила к Маддалене, давая понять, что не сердится на нее и с радостью вернется к Франческо, если только он сделает первый шаг к примирению. Но Маддалена и так знала, что Анита не способна сердиться, как, впрочем, и любить. Она была слишком мягкой, скромной, незначительной для Франческо — вот и все.

Два других сына жили далеко. Они были холосты. Один пошел по стопам отца — стал государственным чиновником. Регулярно раз в месяц он присылал написанную четким почерком открытку и так же регулярно откладывал обещанный приезд. Маддалена почти не помнила его. У него было бесцветное лицо, спокойный характер, приветливостью и общительностью он никогда не отличался. Вглядываясь в его фотографию, она иной раз вздрагивала. Ей казалось, что это грустное лицо на светлом фоне принадлежит ее мужу, усталому и больному — он все собирался уйти на пенсию, но так и не решился. Нет, Марио с его печальным лицом не был похож на отца, хоть и избрал ту же странную карьеру чиновника. На его открытках всегда была запечатлена одна и та же панорама города, где он жил, снятая с одного и того же места; буквы всегда были выведены одинаково четко, одинаковыми были и слова привета, и цвет чернил.

Казалось, будто Марио все время сидит за столом и пишет открытки, однообразные, как его мысли и чувства. Можно было подумать, что в городе, где он теперь живет, остались лишь серое небо да громадное дерево вдалеке, а все остальное захлестнула неумолимая чернильная река. Впрочем, в городе была и настоящая река. Вот о ней-то Марио должен был бы написать: мальчишкой он очень любил купаться и плавать.

Но на открытках реки не было, и Марио никогда о ней не упоминал. Может, это и к лучшему. Должно быть, любовь к плаванию и сейчас живет в его душе как воспоминание о днях юности. Маддалене всегда нравилось, когда люди сохраняли что-нибудь от детства, верили в какой-нибудь маленький талисман, подлинный или мнимый. У нее, например, хранились кружева, сплетенные ею в молодости. Она никому их не показывала. Иногда Маддалена доставала свои кружева, открывала шторы и, усевшись на кровати, начинала перебирать их; и сразу оживали далекие, милые ее сердцу воспоминания. Она могла насладиться ими и по-

грустить, не досаждая другим бесполезными, унизительными и вызывающими жалость слезами.

Самый младший сын учился в военной школе, братья помогали ему. Он присылал письма, то банальные и самоуверенные, то мрачные, безрадостные. Он был молод, ему так хотелось рассказать матери, но при этом изящно и словно невзначай, о своих светских успехах; он часто намекал на весьма пикантные приключения. Маддалена усмехнулась в полутьме — стоило ее мальчику взяться за перо, как все покоренные им женщины становились феями.

Еще в школе Луиджи только и делал, что влюблялся — столь же страстно, сколь и быстротечно — во всех молодых женщин, которым он однажды сказал «Добрый вечер». Быть может, военная служба его со временем изменит: в последнем своем письме он больше всего писал об экзаменах и занятиях. Чувствовалось, что он устал. Когда он столкнется с жизненными трудностями и повзрослеет, то феи превратятся в обыкновенных женщин со всеми их достоинствами и недостатками.

«Чаще с недостатками, чем с достоинствами»,— подумала она и улыбнулась.

На лестнице послышался шум и крики. Это уж точно они. До нее отчетливо донеслись голоса Мауро и Марии-Грации, препиравшихся, кому войти первым. Маддалена едва успела подняться со стула. Каждый год она испытывала острое чувство нетерпения, хотя потом сама беззлобно подшучивала над собой. Наконец она увидела их. Они потихоньку толкались. Носы у обоих были мясистые, как у Густаво; оба, как и отец, были слегка полноваты. А вот мягкая линия подбородка у них от нее, Маддалены. И все же Мария-Грация, с голубой лентой в волосах и глазами, полными лукавой наивности, симпатичнее своего брата.

Мария-Грация прямо с порога объявила, что мама и папа немного задержались и что Мауро пинками заставил ее бежать изо всех сил и говорил ей всякие глупости, да вдобавок совершенно недопустимым тоном. Но увидев, что бабушка улыбнулась ее чисто женской обиде, протянула ей завернутую в цветную бумагу и перевязанную лентой коробочку и, сделав реверанс, сказала:

— Это мой подарок.

Маддалена наклонилась, поцеловала девочку в лоб, взяла коробочку и положила ее на стол. Так уж было заведено. Все пакеты, даже те, что прибыли по почте, останутся на столе до окончания торжества. Она их развернет, когда в комнате уже никого не будет.

Мария-Грация и Мауро снова выскочили за дверь и теперь что-то кричали родителям, медленно поднимавшимся по лестнице... «Соседи, наверное, поворчат немного из-за шума, но только про себя».

Первым, тяжело ступая, появился Густаво; Мария-Грация и Мауро подбежали к нему и просунули голову отцу под мышки. Он был хорошо одет, но в нем чувствовалась какая-то неряшливость — может быть, причиной тому была его неуклюжесть или же странная неуверенная улыбка, которая сбивала с толку собеседников. Он протянул матери руки, Маддалена взяла его ладони в свои и постояла немного рядом. Он был выше ее на целую голову. Она заметила у него на подбородке пучок волос и улыбнулась, подумав о том, что ее сын так и не научился аккуратно бриться. Бритье для него было пыткой, но он никогда не ходил к парикмахеру: он не выносил массажа, а ему казалось, что в парикмахерской им злоупотребляют, чтобы завоевать расположение клиента.

Его жена Джизельда, женщина уже не первой молодости, с крупными чертами лица, все еще была привлекательна. Серьезная и спокойная, она стояла в стороне, дожидаясь, когда настанет ее очередь поздравить Маддалену, и приберегала для этого соответствующую улыбку.

Мягкая улыбка очень красила грубоватое лицо Джизельды. Маддалена подумала, что может быть спокойной за маленьких внуков, которые остались дома. Вряд ли что-нибудь ускользнет от бдительного ока такой женщины, как Джизельда; служанка, конечно, не оставит газ невыключенным. Неожиданно Маддалена вспомнила небольшую аспидную доску, которую она видела в кухне у Густаво во время одного из своих редких визитов. Джизельда мелом записывала на ней меню и покупки на завтра. Она вспомнила эти четкие, аккуратные записи. Тогда ей даже показалось, что тщательность и предусмотрительность, отлично характеризующие ее невестку, создают в доме атмосферу чрезмерной, давящей дисциплины.

Дети возились с проигрывателем, и вот уже полились звуки старинной песни «Снова расцвели розы».

Маддалене больше нравилась современная музыка, живая и динамичная, которая создавала хоть иллюзию мимолетной радости. Но она не хотела, чтобы ее родной сын вдруг обнаружил, что вкусы у матери совсем не такие, как он думает. Ведь тогда ему придется пересмотреть и многое другое, а это всегда скучное и неприятное занятие.

Маддалена втайне подозревала, что другие считают ее вечно погруженной в далекие воспоминания — покойный муж поет ей серенаду, а она стоит у раскрытого окна. Но на улице всегда было слишком холодно или жарко, чтобы он мог отважиться на такой подвиг.

Джизельда поцеловала ее в щеку и, конечно, оставила следы помады; Маддалена подождала, пока Джизельда отошла, достала из-за манжеты платок и незаметно провела им по щеке.

Густаво положил на стол два свертка. Он повернулся к ней и спросил:

— А Франческо разве не придет?

В его голосе слышалась зависть к брату, который может позволить себе такую роскошь, как небольшое опоздание. Они хоть и жили в одном городе, но виделись редко.

Джизельда заходила к Франческо в магазин за покупками и потом передавала мужу весьма лаконичные приветы.

— Конечно, придет,— ответила Маддалена.

Она произнесла это с огромной радостью, хотя должна была следить за собой, чтобы ее не сочли пристрастной в своих материнских чувствах. Она посмотрела на Густаво. Плотный, крепкий, но спокойно, рассеянным взглядом скользил по стенам; на губах его играла легкая улыбка,— быть может, какая-то из вещей напомнила ему детство, которое прошло в этой самой комнате.

Негромко звучала музыка, дети спорили, кому менять пластинки. Маддалена знала, что детей держат в строгости и что это единственный день, когда они могут насладиться непривычной свободой. Она видела гримасу раздражения на лице Джизельды, но ни за что не позволила бы ей сделать им выговор. Она даже надеялась, что дети сломают или уронят что-нибудь. Было бы неплохо, если бы каждый раз хоть немного нарушался твердый, раз навсегда установленный порядок, постепенно утрачивающий всю свою первоначальную разумность. Грохот упавшей вещи вызвал бы чувство изумления и непоправимой беды, детишки на миг застыли бы в ожидании чего-то нового, необычного.

Молча появился Франческо и встал у дверей. Он запыхался, и Маддалене показалось, что он еще больше располнел. Она смотрела, как Франческо переводит дыхание, стоя рядом с Густаво, а потом, когда подошла к нему, чтобы поздороваться, увидела сияющее лицо Джизельды, все в мелких морщинках; на ее руке сверкал большой нелепый перстень. Маддалена заметила лукавую усмешку Франческо, его шутовской поклон и блестевшие от пота и бриллиантина редкие волосы.

В комнате жарко — лучше оставить дверь открытой. Тем более что не будет ни песен, ни танцев, как во времена ее молодости; не будет ни гирлянд под потолком, ни растрепанных, раскрасневшихся подружек, ни доброго пьемонтского вина. Да, ни песен, ни танцев.

Она подошла к Франческо, тот обнял ее и прижал к себе. Он был ниже ростом, чем Густаво, плотнее и гораздо увереннее в движениях. Он шепнул ей:

— Ты так хороша, что твой сын мечтает станцевать с тобой вальс.

Потом опустил руку в карман и достал оттуда футляр, в котором на красном бархате лежало ожерелье. У Маддалены сильнее забилось сердце. Это была не слишком дорогая вещь, но она видела такое ожерелье в витрине ювелирного магазина, когда ходила за покупками, и оно ей понравилось. Как это Франческо догадался? Она с любовью посмотрела на него снизу вверх, потом взяла ожерелье, не зная, куда его положить. Мария-Грация и Мауро отчаянно шумели, мешая ей сосредоточиться, подумать. Она крепко держала драгоценность в руке, боясь выронить ее; в эту минуту ей очень хотелось остаться одной в комнате перед зеркалом и, отыскав сзади золотую застежку, ощутить на шее прохладу ожерелья.

Нужно быть повнимательнее, не то она непременно уронит подарок сына.

— Ради бога,— сказал Франческо,— спрячь его.

Густаво крепко сжимал руку брата в своей; Джизельда стояла у стола, разливая вино в бокалы из сервиза, который Маддалена хранила в веленевой бумаге и доставала лишь раз в году. Наконец все уселись; Мария-Грация потянулась и взяла букет, который Джизельда положила на стол, сразу как пришла. Это были красные гвоздики, перевитые зеленой травой и завернутые в целлофан. Маддалена заметила, что у одного цветка сломан стебель, и ей вдруг захотелось встать и выбросить его, чтобы он не портил букета. Но она тут же подумала, что Джизельда, вероятно, обидится, истолковав это как молчаливый упрек за небрежный выбор цветов. В комнате царило молчание. Она слышала, как Мауро что-то горячо нашептывал Марии-Грации, та встала со стула, но не решалась подойти к бабушке. Тогда брат толкнул ее, и она чуть не заплакала. Потом все же набралась храбрости и, раскрасневшись, выступила с букетом вперед, в белом платье, с бантом в волосах; взрослые умолкли, а Мауро за ее спиной захихикал.

То и дело запинаясь, Мария-Грация начала читать стишок. Теперь у Мауро на лице была написана зависть, он отчаянно гримасничал, повторяя движения губ сестры; сейчас он был очень похож на Франческо, и Маддалена испугалась, вспомнив, какое у Джизельды было напряженное, улыбающееся лицо, когда она здоровалась с Франческо,— до чего же недогадлив Густаво. Пышные слова старинных стихов ей мало что говорили. Ей больше нравились сама дикция, ритм, молчание присутствующих и дрожащие гвоздики в тонкой детской ручонке. Скоро Мария-Грация вырастет, станет девушкой и, конечно, не захочет читать стихи вслух. И ее нельзя будет упрекнуть: в определенном возрасте подобные церемонии кажутся смешными, нелепыми. Двое других детей Густаво — еще совсем малыши, а у Франческо детей вообще нет, он их не хотел и не хочет. Наверное, это последний раз, когда Мария-Грация читает стихи, в будущем году никто уже не придет поздравить ее.

Она прослезилась — это означало, что стихи оценены и можно не читать их до конца. Тогда Мария-Грация, как обычно, бросилась к бабушке, уселась к ней на колени, помяв при этом цветы, расцеловала ее в обе щеки и с торжествующим видом вернулась на свое место рядом с Мауро. Маддалена поправила лепестки, ее лицо оставалось в полутьме, теплой полутьме морщин, но оно светилось радостью.

Джизельда поднялась, чтобы выложить на поднос пирожные с кремом, некоторые из них были увенчаны вишенкой. Она выложила пирожные из яркого пакета с рекламой лучшего городского кондитера. Раз в год Густаво не жалел денег. Пирожные были свежие. Взяв свою тарелочку, Маддалена извинилась, встала и торопливо вышла из комнаты. Она спустилась по лестнице и пошла к привратнице. На мгновенье она остановилась и тихо позвала ее, не решаясь отдернуть занавеску, отделявшую комнату от оборудованной сзади кухоньки.

Однажды, не предупредив привратницу, она вошла и увидела, что та надевает на голое тело узкую рубашку. Она стояла в корыте с водой, совершенно нагая и показалась Маддалене странно помолодевшей. У нее был гибкий стан, а воздетые над головой руки придавали ей грациозность и мягкость.

Привратница увидела ее и сказала:

— Зря вы беспокоитесь.

— О, что вы,— ответила Маддалена,— вы так помогли мне, а это ведь сущий пустяк. Простите, пожалуйста, что я не могу побыть с вами. Я вас позову позже.

Дома Густаво и Франческо спорили, а дети слушали пластинки и дергали друг друга за волосы. Лицо Мауро уже не дышало кровожадной злобой, он улыбался сестре. Улыбался вполне миролюбиво, а сам ждал, что вот сейчас ее крики и слезы снова нарушат спокойствие и тишину и он опять перенесется на Дальний Запад и сможет совершать дерзкие набеги на врагов.

Джизельда держа руки на коленях, смотрела на затылок Франческо, лишь время от времени она поднимала руку и неторопливо брала очередное пирожное. Маддалена поняла, что никто даже не заметил ее возвращения.

— Ты не в состоянии проверить того, что пишут в газетах,— говорил Франческо брату.— Если хочешь пощупать пульс народа, поезжай в большой город. Там всегда есть люди пришлые, и от них ты действительно сможешь узнать правду, пока местные провинциальные интересы и раздоры окончательно не затемнили для тебя общей картины.

— Ерунда,— отвечал Густаво.— Независимо от наших суждений и желаний есть заранее предопределенные, фатальные события. Это вечные проблемы жизни, и провинция тут ни при чем.

Франческо пожал плечами и саркастически усмехнулся. Он знал, что брат в чем-то прав, но ему не нравился его тон, тон человека, который никогда не сомневается в собственной правоте. Эта самоуверенность огорчала его. Такие вещи всегда огорчали его, однако именно вечная неудовлетворенность и позволяла ему оставаться молодым душой. Вот только жаль, что он не может ни с кем поделиться своими сокровенными мыслями.

Прислушиваясь к их спору, Маддалена подумала, что надо встать и закрыть дверь. Ей не хотелось, чтобы Франческо ушел раньше времени — ведь он пришел ради нее, а не для того, чтобы спорить с братом.

— Франческо,— воскликнула она,— твое ожерелье очень красивое. Так и привратница сказала.

Она взглянула в задумчивое лицо сына, такое грустное и усталое, даже когда он наконец улыбнулся, и подумала: «Неужели это мой сын?»

Маддалена увидела, как он молодцевато расправил плечи, став прежним беззаботным мальчишкой, ее непутевым сыном, услышала, как с облегчением вздохнула Джизельда — она надкусила вишенку и теперь жадно посасывала ее. Густаво сидел неподвижно, сложив руки на животе.

— Ну да,— сказал Франческо,— мы просто даем себя обмануть и сунуть в мешок. Да еще сами его завязываем. Ты как себя чувствуешь?

— Хорошо,— ответил Густаво, которому не нравились эти внезапные повороты в разговоре. При чем здесь его здоровье? И с досады он солгал. У него болела печень, и он рассказал бы об этом подробно и обстоятельно, если бы брат не застал его врасплох своим неожиданным вопросом.

— Вы думаете, если будет война, Луиджи заберут?

— Ну, конечно, мама,— сказал Франческо,— ведь это его работа. И к тому же сверхурочная.— Чтобы подчеркнуть смысл своих слов, он выпятил живот. Потом, увидев лицо матери, добавил: — Э, ничего, может, Луиджи повезет и его сделают писарем.

Теперь в комнате было уже темновато; Маддалене не нравилось, что Джизельда молча наблюдает за всеми. Вдруг упала и разбилась пластинка; Франческо тяжело наклонился, подобрал осколки и положил их на стол. Мауро прислонился к стене, глядя Маддалене прямо в глаза.

— Это она разбила, Мария-Грация,— сказал он.

Все видели, что это неправда, но он яростно настаивал. Мария-Грация прижалась к матери, а Мауро упорно указывал на нее пальцем и повторял, что да, это она разбила. Франческо, улыбаясь, подошел к нему, потрепал по щеке и сказал:

— Браво, всегда защищайся до последнего.

Густаво фыркнул:

— Ты неправ, Франческо; он виноват, пусть честно признается.

Тогда Франческо внимательно посмотрел на Мауро и сказал:

— Так не поступают, Мауро, запомни, это несправедливо.

Он бросил взгляд на мать — черное платье, чепец — и увидел, что из кармана, словно четки, свешивается подаренное им ожерелье.

— Можешь даже попросить прощения у Марии-Грации,— добавил он.

Но Мауро не сказал ни слова. Он подошел к сестренке и впился в нее взглядом, пока та не спряталась за мать.

Потом, сгорбившись, снова подошел к проигрывателю, взял другую пластинку, положил ее на диск, послюнявил палец и провел им по краям пластинки — в тишине зазвучала музыка, вдали прогромыхал трамвай, в комнате становилось все темнее, свет быстро слабел и таял.

Франческо встал.

— Ну, мне пора,— сказал он.

В его кресле осталась вмятина. Маддалена спустилась с ним по лестнице, хоть он и не хотел. «Незачем зря силы тратить»,— говорил он ей. А наверху, на площадке, Джизельда и Мария-Грация, наверное, слышали, как необычно нежно звучал при этом его голос.

У дверей она протянула ему руку, а потом долго смотрела, как он быстро идет по улице; внезапно он остановился — машина, чуть не сбив его с ног, вихрем пронеслась мимо — и потом с минуту сокрушенно разводил руками, он, ее сын, торговавший галантереей, не очень ловкий коммерсант, весьма плохой муж, но хороший сын.

Ей не хотелось возвращаться наверх. Она немного прошлась по тротуару, посмотрела на собаку, перебегавшую улицу; какая-то старая женщина очень любезно поздоровалась с Маддаленой, а она даже не могла припомнить, где ее видела. Наконец, она вернулась к себе. Густаво о чем-то разговаривал с Джизельдой. При ее появлении они замолчали. Потом Джизельда собрала вещи и велела детям одеваться. Теперь, выполнив свой долг перед ней, Маддаленой, они уходили. Джизельда сказала, что ей нужно кормить ребенка, и Маддалена невольно с неприязнью оглядела ее грудь под блузкой. Мауро заворачивал в бумагу обломки пластинки.

— Это мои,— сказал он. Он покраснел, волосы упали на лоб.— Я скоплю денег и в будущем году заплачу тебе,— добавил он фальцетом.

Маддалена погладила его по голове, но он стоял неподвижно, точно истукан, и угрюмо молчал.

Кто знает, как называлась разбитая пластинка! Быть может, это была американская музыка, религиозная негритянская песня, напоминавшая шум опадающих листьев («...И никто не сидит на скамейках, и никто не знает, куда девались старики, сидевшие под жарким летним солнцем на этих скамейках и казавшиеся такими одинаковыми».).

Она отошла от Мауро, встала на цыпочки, чтобы поцеловать Густаво, наклонилась и поцеловала Марию-Грацию. Мауро молча прошел мимо нее. Она выбежала на лестницу и сунула ему пирожное. Спускаясь вслед за ним, она увидела, как внук, держа завернутые обломки пластинки в одной руке и пирожное — в другой, вышел из парадного и бросил пирожное на землю. «Ну что ж, может быть, в этот момент собака снова перебегала улицу»,— подумала она. Джизельда протянула ей на прощанье руку. Маддалена ощутила через белую вязаную перчатку теплоту кожи.

Она снова поднялась по лестнице, вошла к себе и оглядела комнату, накрытый стол, проигрыватель, крошки на полу, сдвинутые стулья.

Это был ее праздник, такой же, как и каждый год. Она села в углу возле стола. Занавеска еле заметно шевелилась, Маддалена вынула из букета сломанную гвоздику. А потом уронила голову на стол и заплакала, вспоминая слова стихов и путая их со стихами прошлых лет. Слова эти казались ей сейчас ненужными, глупыми. Она встала, пошла в кухню, взяла вазу, налила в нее воды и вернулась в комнату; поставила букет на стол, оглядела цветы среди тарелок с остатками еды. В комнате стало совсем темно.

Из турецкой поэзии

Рифат Илгаз

Вступление и перевод с турецкого РАДИЯ ФИША

Если тебе некуда больше податься, в Турции говорят: «Расскажи о своей беде Марко-паше». Утверждают, что Марко-паша — фигура историческая. Так звали стамбульского врача, который жил в прошлом веке и славился бескорыстием и справедливостью.

«Марко-паша» — называлась «ежедневная сатирическая газета для народа», которая выходила в Стамбуле после второй мировой войны. На первой полосе был изображен сам доктор, приложивший ладонь к уху. А в подзаголовке стояло: «Марко-паша выслушивает горести».

Власти не раз закрывали газету. Но она снова выходила — под иным названием: «Всем известный паша», «Покойный паша». Наконец, издатель газеты выдающийся романист Сабахаттин Али был убит охранкой, а его сотрудники брошены за решетку. Одним из них был поэт Рифат Илгаз.

Много воды утекло с той поры. Изменился мир, изменилась и Турция. Немало модных течений сменило друг друга на турецком поэтическом рынке.

Рифат Илгаз не изменился. Не изменилось и его убеждение, что избавить его народ от многих горестей и бед может только социализм. За эти убеждения вместе с другими заключенными его водили на цепи по Стамбулу, выгоняли из школ и колледжей, где поэт — преподаватель по профессии — обучал детей родному языку и литературе.

Поэзия Рифата Илгаза по-прежнему чутко прислушивается к народным бедам. И потому, вероятно, в ней так много не прикрытой сладкозвучием горечи.

Поэт родился и вырос на берегу Черного моря. Здесь так же, как и на нашем Черноморье, рыбаки, матросы, лодочники любят крепко просоленное, острое слово. И это сказалось в поэтическом творчестве Рифата Илгаза.

Впрочем, не только в поэтическом. В последние годы наряду со стихами из-под его пера вышло много прозаических книг. Сатирический роман «Держись, ребята!» выдержал десять изданий. Более двух лет из вечера в вечер шла в Стамбуле пьеса, написанная поэтом по мотивам книги, теперь готовится ее экранизация. Пожалуй, ни одно литературное произведение в последние десятилетия не знало в Турции такого успеха.

Говорят, испытание успехом перенести подчас труднее, чем испытание бедой. Успех романа впервые в жизни писателя, привыкшего к тюремным и больничным палатам — несколько лет Рифат Илгаз провел в туберкулезных больницах,— принес ему материальное благополучие. Рифат Илгаз выдержал и это испытание.

Когда осенью прошлого года он приехал в Москву, он вдруг стал вспоминать свою юность. По его словам, одним из самых сильных впечатлений молодости было для него впечатление от русских советских моряков: в годы национально-освободительной войны против империалистов Антанты они привозили в крохотные, необорудованные черноморские порты оружие для повстанцев Турции, оружие, в котором наша страна сама так остро нуждалась.

С той поры Рифат Илгаз стал нашим другом. Им он остается и до сего дня.

Как-то я спросил Назыма Хикмета, что он думает о поэзии Рифата Илгаза.

— Настоящий поэт. Непохож на меня. И это, может быть, одно из доказательств того, что он поэт настоящий...

Считают, что всякий перевод стихов похож на оригинал в лучшем случае, как оборотная сторона ковра похожа на лицевую. Это обычно справедливо. Но мне думается, что даже в переводе читатель сумеет ощутить — Назым Хикмет был прав.

Знать бы

Эти вот ноги мои
Однажды спросят с меня —
Столько по улицам их гонял
Мысли единой ради.
И эта вот голова, голова моя несклонимая
Порою пьяна, иногда, как чугун, тяжела
И всегда с подушкой в разлуке.
И эти вот легкие взыщут с меня ответ —
Им ни солнца, ни воздуха нет.
И этот вот рот, и зубы, и мой живот —
Чем я их попотчевать мог?
И эти вот руки спросят с меня —
На мученья их я сквозь пальцы смотрел...
Знать бы только, что в этой пытке
Нет ни жертвы, ни палача.
Даже бровью не поведя,
Я б на перекладине вздернул себя,
Знать бы только,
Что в этом моя вина.

Мои дети

Не по классным журналам
Узнал я вас, дети мои.
С самым злостным прогульщиком
Встретился я по пути из кино —
Пачку газет нераспроданных
Нес он под мышкой.
А прославленный в классе лентяй
Предложил мне в прокуренном зале кофейни
Постный сахар с лотка своего.
Невнимательный самый из вас
Предложил донести мне с базара
Шпината пучок...
Большинство теперь в школу и носа не кажет,
У одних нет пальто, у других сапоги просят каши.
Кто торгует лимонами в Рыбном ряду,
Кто чай подает в ресторанах.
А без вас мы так много прошли:
Сколько в масле калорий
И в свежем яйце витаминов, узнали,
Подсчитали расстоянье до звезд
И окружность экватора
И об Азии потолковали.
А когда иссякали слова,
Вместе о чем только мы не мечтали,
В облаках мы витали,
Не видя того, что под носом.
Мы жалели листву,
Что осенние ветры срывали,
Мы жалели зимой воробьев.
О себе забывали.

Книги

Когда я сниму себе дом из трех комнат,
Книги мои избавятся
От ящиков из-под сахара,
Что нынче стоят под лестницей.
Я заведу себе шкаф,
Постелю перед ним ковер.
И тогда, мое имя назвав,
Непременно помянут количество
Мною написанных книг,
А затем количество строк,
Отведенных персоне моей
В литературной энциклопедии.
Я же, далек от мирской суеты,
Запрусь и забудусь среди своих книг.
Если дома не будет меня,
Улыбаясь, служанка моя
Сообщит посетителям:
«Он очень занят».
Но гости, которые сделают вид,
Что прочли толстейшую из моих книг,
Меня непременно врасплох застанут.
Задумчиво глядя в лицо
Моему ближайшему другу,
Я спрошу: «Мы, кажется, с вами знакомы? —
И добавлю, взявшись за дужку очков: —
Я где-то вас видел, кажется».
Но забывчивость эта моя
Никому не будет смешна.
И когда меня спросят:
«Как в мире дела?» —
Оглядев портреты великих людей,
Я в ответ прочитаю
Абзац из Платона.

А ты, интеллигент?!

Как челноки, что ткут ковер беды,
По небосклону птицы черные снуют.
Построены ряды, за ними — голос пушек.
А под ногами землетрясенье черных мин.
Не слышишь ты?

Пусть сердце биться перестанет,
Пусть в жилах кровь твоя застынет,
Коль не подымешь головы с подушки снов
мертвецких.
Стань голосом!
Стань ветром!
Стань пятернею, сжатою в кулак!

Покуда смерчем крышу
Тебе на голову обрушить не успели,
Покуда пядь за пядью черным селем
Не унесло всю землю из-под ног,
Поторопись!
За дело вместе с солнцем. Пробил час.
Найди те книги снова,
которым ты в лицо плевал:
В них беспощадный свет за каждым словом.
И не стыдись — во всем твоей вины лишь часть.
Диплом, что в тридцать получил,—в корзину брось!
Стань мальчиком, читающим букварь!

Да, под врагом аэродромы,
И клекот хищных птиц над головой.
Вокруг — колючей проволоки сеть
И перерезаны дороги.

«Что я могу?!» — ты хочешь мне сказать.
Ну что ж, пошире руки разведи,
Еще одна возможность есть —
Стать пугалом в горохе.

Этот день недалек

Вечерами, когда одолеет отчаянье,
Глядя в слепое глухое окно,
Изнывая в тоске по глотку
Свежего воздуха, чистой воды,
В тоске по теплу руки,
Я придумал тебя, дорога.
Взять и податься куда глаза глядят,
Слиться с лесами, полями, с горами.
Дорога...

Утром на берегах Эгейского моря, зелено-оливковых,
Во влажных глазах пастушьих собак,
В молотьбе налитых плодородьем колосьев,
В просоленной работе людской
Меня примирило с судьбой
Жизни моей придающее силу и смысл
Счастье мое, его я обрел, шаг за шагом шагая
своею дорогой.
В предрассветном тумане большак на Хавран,
Желтизна на ослиных копытах — улыбкою света.
Трепет листьев на кончиках веток
И в распаханных землях тепло очага.
— Я живу! Я трава той же самой земли! —
Чтобы мог я сказать в полный голос об этом
Древним соснам, могучим платанам.
Ток, текущий по жилам, меня уподобит
Не гвоздике — татарнику: он не клонит головы.

Только нет, не слепым и немым, как растенье.
С первым проблеском света — в ответе за свет.
За одно с мастерством бессознательной матери
нашей — природы,
Каждый миг сознавая, что я ее сын-человек.
Обладаю такою свободой на этой земле,
Что подвластен лишь только закону
Ее тяготенья.

Лист весенний, моя Анатолия,— под сапогом!
Ты распахнута настежь для лжи,
А для правды закрыта, как гроб...
День придет не кладбищенским нищим.
Будут наши деревни, и спутники наши, и наши
дороги.
Жар сердец полыхает.
Этот день недалек.

Из ирландской поэзии

Остин Кларк

Перевод с английского Д. ОРЛОВСКОЙ

Современная ирландская литература ассоциируется в представлении русского читателя прежде всего с именем Шона О'Кейси, творчество которого обозначило новую веху в развитии мировой драматургии. Но наследием этого великого ирландца она далеко не исчерпывается. Ирландия обладает одной из самых древних и богатых литератур Запада, эта маленькая страна на краю Европы щедро дарит миру яркие таланты.

Поэт, драматург и романист Остин Кларк (род. в 1896 г.) принадлежит к старшему поколению ирландских писателей. Если творчество У. Б. Йетса определяет предыдущую эпоху ирландской поэзии, то О. Кларк, за которым утвердилась заслуженная слава крупнейшего поэта современной Ирландии, представляет ее новый этап. Его первая книга стихов «Мщение Финна» была опубликована в 1917 году. Затем последовали «Паломничество» (1929), «Ночь и утро» (1938), «Древние огни» (1955), «Полет в Африку» (1963) и другие сборники. За это же время он написал более десяти поэтических драм и несколько романов. В 1967 году вышел сборник стихов «Старомодное паломничество», а в прессе уже сообщается о его новых книгах и новых планах.

Учителями Кларка были поэты «Ирландского возрождения» (так называлось литературное движение конца XIX — начала XX века) — Уильям Батлер Йетс, Джордж Рассел, Дуглас Хайд. Вслед за ними он обратился к богатейшим традициям национальной литературы и фольклора. Его эпические поэмы, пьесы в стихах написаны на мотивы старинных песен, баллад и легенд. Во многих из них, стилизованных в духе ирландского эпоса, лирический герой отождествляется с легендарными героями, бардами. В произведениях Кларка 10—20-х годов прозвучала тема ухода от действительности, характерная для ирландской поэзии этого времени. В поэме о Дайармиде и Грании («Мщение Финна») его герои бегут от мира насилия, ночью и днем скитаются они по долинам и лесам Ирландии, тщетно надеясь обрести покой.

Однако с конца 20-х годов в произведениях Кларка начинает все настойчивее звучать современная тема. В стихотворении «Эшлинг» (сборник «Паломничество») поэт обращается к традиционному в ирландской поэзии жанру «видения» (по-ирландски «эшлинг») не только для того, чтобы возродить забытую форму. Он использует ее, чтобы поставить вопрос о месте и роли поэта в современной действительности. Время, когда Ирландия призывала своих верных сынов к борьбе с чужеземцами, когда поэт оплакивал павших и сражался за свободу, миновало. А теперь, когда «мир наступил, и в нашем доме — пир», вплетется ли голос поэта в хор гостей? Прекрасная незнакомка, олицетворяющая Ирландию, исчезает, не ответив на вопрос. Ответ можно найти в творчестве самого поэта — он не стал изгнанником, но и не присоединился к хору довольных. В его голосе боль за обездоленных, гнев против несправедливостей, которых еще много в его стране.

В 30-е годы начинается новый период в творчестве Кларка. «Я стал интересоваться социальными условиями современной Ирландии — поверьте мне, они очень тяжелы и несправедливы,— вспоминает поэт.— Все чаще я обращался к жанру сатиры, к политическому памфлету, для того чтобы выразить свое отношение к важнейшим проблемам, волнующим моих соотечественников и все человечество».

Стихотворения Кларка 50—60-х годов составляют сатирический комментарий к современной жизни Ирландии. Многие из них написаны по конкретному поводу, но каждый раз за отдельным событием встает трагическое обобщение, по-свифтовски язвительные интонации поэта пронизаны тревогой за судьбы родины. Мы узнаем голос Свифта в «Третьем стихотворении о детях» (сборник «Древние огни»), горькая

ирония которого не может скрыть боли и негодования, терзающих сердце поэта. Поводом для стихотворения послужил пожар в сиротском доме, во время которого погибло шестьдесят детей, оказавшихся запертыми в объятой огнем спальне. В авторских примечаниях к стихотворению говорится, что оно написано под впечатлением лицемерной проповеди епископа. Как бы соглашаясь с ее успокоительным тоном, поэт по-свифтовски замаскировывает свои обличения под защиту, и этот пародийный прием усиливает взрывчатую силу его гнева. Ненавистью к католической церкви, имеющей в Ирландии почти неограниченную власть, к церковникам, духовно и физически калечащим людей, пронизаны и многие другие произведения Кларка. Он называет монахов «плантаторами, захватившими нашу землю». Стихотворение «Похороны ирландского президента» (сборник «Полет в Африку») направлено против лицемерия и ханжества католической церкви, запрещающей католикам переступать порог протестантского собора. Имя Дугласа Хайда (умер в 1949 г.), старейшего национального деятеля, основателя Гэльской лиги, первого президента Ирландии, было окружено почетом. Однако, чтобы отдать последний долг своему первому президенту, в собор Святого Патрика, деканом которого когда-то был Свифт, смогли войти только два католика — французский посол и сам поэт. Он пришел проститься со своим учителем, от которого много лет назад впервые услышал музыку ирландской поэзии.

Перед поэтом открылись дороги мира. Несмотря на свой преклонный возраст, он много путешествует, и вместе с ним странствует его муза. Последние сборники стихов («Полет в Африку», «Старомодное паломничество»), явившиеся результатом этих путешествий,— не путевой дневник. Дорожных впечатлений много, но не они вдохновляют поэта. Его поэтические маршруты не повторяют туристских — они ведут дальше и глубже. Поэта волнуют политические бури, духовный мир современника, его тревожит превращение эстетических ценностей в коммерческие. И как бы далеко ни уходили маршруты поэта, тема ирландской жизни всегда с ним.

Как и большинство ирландских поэтов, Кларк пишет на английском языке. Перевод старинных поэтических памятников с ирландского языка на английский стал для него, как и для ирландской поэзии в целом, необходимым источником вдохновения, необходимым средством связи с национальной традицией. «Странствующий учитель» (сборник «Паломничество») — свободный парафраз анонимного ирландского стихотворения, в котором, однако, очень точно выдержан классический размер оригинала. Изучение традиционной системы ирландского стихотворения, отличающейся большим разнообразием ритмов и сложностью ассонансов, не только позволяет Кларку дать очень точный перевод с ирландского, но и наталкивает его на поиски новых поэтических форм. В своих последних произведениях Кларк отказывается от стилизации в духе старинных ирландских легенд, но он утверждается в необходимости глубокого осмысления национальной традиции, и тогда драматичность ритма, особенность языковых средств с наибольшей силой передают драматичность проблем самой национальной жизни.

А. САРУХАНЯН

Странствующий учитель

Странствующий учитель
Летом копит знанья и мудрость.
Кто же еще так счастлив
В лугах, как он?

Ничего не должен приходу,
В логике — первый.
И все-то его богатство —
Посошок да сума.

Утихают летние ливни,
Он свою собирает жатву,
Потому что доля ученых —
Перо в руке.

В летний полдень
Он у речки дремлет
Или уходит в горы,
Где жилье святых.

Но зимой у огня собравшись,
Люди слушают его скрипку.
Или он с хозяином дома
Вступает в шахматный бой.

Третье стихотворение о детях

В былые дни еретик
Сгорал, как сухой тростник.
Но дым от костра нам не выел глаз —
Вера спасала нас.
Верящим в Провиденье
Не угрожают сомненья.
Что же нам убиваться тут,
Глядя на этот горящий приют,
И отказывать детям в случае
Переправиться в царство лучшее?
И разве может набат
Спасти от огня ребят?
А лестничные ступени
Продлили бы лишь мученья.
Епископ не зря уверял нас всех,
Что детские души замолят грех.
Любые годны предлоги,
Чтоб сердце сдалось пред логикой.

А дети спешат, сгорая,
Из Пекла в обитель Рая.

Надпись на могильном камне

Воззванья Джима Ларкина к толпе
Теперь мусолят за столом в гостиной
И в кабинете. Вера возродилась
Назло неверным. Кто ж мог догадаться,
Что полицейские дубинки — это
Благословенье в маске? Ведь тогда,
В то воскресенье, сотнями возили
Кареты скорой помощи избитых,
Рождая в человеческих сердцах
Тоску и страх — одних ожесточая,
Других смягчая. Но теперь мы знаем,
Чье имя на священнейших скрижалях
Запечатлела дублинская голь.

Обычная история

Разнорабочий по имени Рурк,
Приехавший в Дублин с кирпичных заводов
С женой и детьми, не нашел здесь работы.
Они ночевали в подвале, и было им слышно

(Как только лишь свет покидал их решетку
И мчался на запад от взморья до взгорья),
Как чайки в порту надрывали глотку,
Как рылась в отбросах дворняжка и кот
О мусорный ящик почесывал спину,
Покуда не хлопали двери в молочной
И в булочной. Вскоре отец
Предстал пред Законом. А дочке и сыну
Велели отправиться в школу
Для беспризорных. Поплачьте о папе-маме.
Мы семьи рушим. Мы сами
Топим тех, кто за бортом.
Любовь, милосердье, жалость —
Не наша забота.

Похороны ирландского президента доктора Дугласа Хайда

Колокол храма Святого
Патрика гулким трезвоном
Заполнил переулки,
В каждый ворвался дом,
Страшным грозя судом.
Под знаменем и в цветах
Над полусотней скорбящих
В гробу возвышался прах
Ирландского президента.
Арки и монументы,
Отчаянная гробница
Свифта. Имперский флаг.
Корунна. Претория — справа.
Где их былая слава?
Ушла с голубым дымком
Залпа. Простое слово
Господне звучит во храме,
Колеблемое свечами.
У задней скамейки узкой
Католики — я и французский
Посол, преклонив колени.
А прочие ждали. За дверью.
Шум города в отдаленье,
Коллеги во всем облаченье,
Костелло, его Кабинет
В правительственных машинах
Прячутся за углом.
С цилиндрами наготове.
Бледнеют при каждом слове
«Отче наш» на английском.
Уж лучше смириться с риском
Сгубить бессмертную душу,
Чем низкое это «чего»
Слышать вместо «о чем»!

Письмо к другу

Днем изо рта выдыхаю пар,
Кутаю горло, а ночью кашляю.
Утром брожу по нашему парку,
Статуями не украшенному.
Такой холодный, дождливый, дождливый август
Подкрался незримо.
А ты, как встарь император Август,
Наслаждаешься солнцем Рима,
И ходишь в музеи с гидами,
И дразнишь открытками с видами.
А у нас что? Да все по-старому —
Готовятся к осени вязы и грабы,
В отелях все так же грабят
Приезжих. Бастуют могильщики.
Пикеты, посты. И мимо постов
Люди проносят своих мертвецов,
И, обливаясь слезами,
Копают могилы сами.
Невнятно бормочет священник.
Смерть потеряла декорум.
Всем бы побольше денег
На питье да корм.
Бастуют печатники, ротопринтеры.
На этот раз дело в принципе.
Закрылись газеты. Правительство
Сносит дома времен короля Георгия.
Такая стоит кутерьма —
На широкую ногу оргия.
Лишились работы многие фургонщики и курьеры,
И удалились они на покой,
Так и не сделав карьеры.
А я утешаюсь чтением
Книжного обозрения,
Пока ты меняешь свою точку зрения
И думаешь — странного качества
Словесные эти трюкачества:
Серый туман над нами.
Брожу одиноко.
За облаками
Ирландии око.

Антонио Мачадо

■ ■ ■

Испания, от моря и до моря
простертая, как лира... Руки злые —
окопы, рвы и щели фронтовые
ведут через поля, холмы, нагорья.

В трусливой злобе, отчий край позоря,
дубы корчуют; гроздья золотые
в давильнях мнут; колосья налитые
жнут, на твоем взошедшие просторе.

Опять, мой скорбный край, опять страною,
омытой ветром и морской волною,
предатель помыкает! Все, что свято

во храмах, разрывают зубы песьи!
Все, что прояснилось,— цена и плата.
Все отдается алчности и спеси!

Старому вязу

Старинный вяз, с полуизгнившим боком
и молнией клейменный,
с дождем апрельским, с майским солнцепеком
зажег скупых листков огонь зеленый.

Вяз вековой, застывший над откосом,
источенным дуэрскою волною,—
на дряхлом теле, на стволе белесом
растекся мох смертельной желтизною.

Не быть ему, как вербам звонколистым,
стоящим вдоль реки и у обочин,
для соловьев пристанищем тенистым.

Рать муравьев ползет в строю рабочем
вверх по стволу. И в темноте глубинной
паук корпит над серой паутиной.

Покуда ты не свален лесорубом
и плотник, обнажив бревно под лубом,
тебя не сделал колокольным билом,
ярмом или оглоблей для повозки,
мой вяз, покуда в очаге унылом,
в сторожке на пустынном перекрестке
огнем не взвился алым,
не вырван с корнем ураганным шквалом,
не сломлен ветром с ледяных нагорий,
пока рекой, петляющей в округе,
не унесен ты в море —
в блокноте я помечу взлет упругий
зеленого отростка — легкость эту!..
И жду я, точно милость,
всем сердцем повернувшись к жизни, к свету,
чтоб так же мной весна распорядилась.

Парабола

Коня деревянного мальчик
увидел однажды во сне.
Проснулся — а где же коняшка,
который примчался ко мне?

Он снова глаза закрывает —
и белого видит коня,
его он хватает за гриву,
теперь не уйдешь от меня!

Но только схватил он красавца,
как снова очнулся от сна:
рука его сжата до боли,
но нету нигде скакуна!

Нахмурился мальчик печальный
и верить в коней перестал,
которые только лишь снятся.
Он больше о них не мечтал...

Стал юношей маленький мальчик,
и вот он впервые влюблен,
и спрашивает у любимой:
— Скажи мне, ты явь или сон?

Когда же пришла к нему старость,
он думал: все заткано сном —
и кони, которые снились,
и те, что стоят под окном.

И в час, когда черная гостья
слетела к нему на балкон,
спросил он у жизни: —Ты снишься?..
Кто знает, проснулся ли он!

Перевод П. ГРУШКО

Путешествие

— Девушка, сигнал к отплытью дан...
— Если не возьмешь меня с собою,
Я тебя забуду, капитан.

Капитан на мостике поник
На руки усталой головою.
Девушку увидел он во сне:

— Если не возьмешь меня с собою...
Он вернулся из далеких стран
С маленьким зеленым попугаем...
— Я тебя забуду, капитан...

■ ■ ■

Санлукарский берег. Море.
И летняя ночь темна.
И слышится чья-то песня:
«Пока не взошла луна...»

Пока не взошла луна
Из горьких морских глубин,
Два слова хочу сказать
Тебе один на один.

О санлукарский берег!
Апельсиновые сады.
И одинокий голос
У кромки горькой воды.

Прислушайся — плещет волна:
«Нас никто не увидит,
Пока не взойдет луна!»

■ ■ ■

Пегасы, красавцы пегасы,
Мои деревянные кони!
. . . . . .

В детстве я знал это счастье —
Мчаться под звуки шарманок
Сквозь ярмарочное веселье
На скакуне деревянном.

В воздухе, пыльном и душном,
Мелькают, мигая, свечи.
А в небе сияет синий,
Усеянный звездами вечер.

О где вы, радости детства,
Когда за медяк на ладони
Подхватят красавцы пегасы,
Умчат деревянные кони!

Перевод В. СТОЛБОВА

■ ■ ■

Игра детских рук — не гармония,
а чтение по складам —
убогая какофония
неверных, но вечных гамм.

А в детстве под гаммы бродила
мечта, и ее влекло
к тому, что не приходило,
к тому, что уже ушло.

Перевод О. САВИЧА

Нория

Вечер спускался,
печальный и пыльный.

Вода распевала
гортанную песню,
толкаясь по желобу
нории тесной.

Дремал старый мул
в такт медленной песне,
в такт медленной песне,
журчащей по кругу.

Вечер спускался,
печальный и пыльный...

Не знаю, не знаю,
какой добрый гений
связал эту горечь
покорных кружений

с той трепетной песней,
журчащей несложно,
и мулу глаза
повязал осторожно.

Но знаю — он верил
в добро состраданья
всем сердцем, исполненным
горечью знанья.

■ ■ ■

Иду, размышляя, по росным
лугам, по тропе луговой.
Дубы пропыленные, сосны
зеленые над головой.

Куда убегает тропинка?
Не знаю. Она далека.
Ложится вечерняя дымка,
И падает песня в луга:

Ах, в сердце заноза застряла.
Однажды я вырвал ее
и чувствую — сердца не стало.
Кто скажет, где сердце мое?

И дума моя безответна,
и в тишь отдаются шаги,
и слышно в тиши, как от ветра
звенят тополя у реки.

И песня моя безутешна,
а вечер темней и темней,
и за темнотою кромешной
не видно тропинки моей.

Заноза моя золотая,
как счастлив я был бы опять,
горючие слезы глотая,
забытую боль ощущать!

Перевод О. ЧУХОНЦЕВА

■ ■ ■

— Жди,— говорит надежда,—
И ты увидишься с милой.
— Нет,— говорит безнадежность,—
Я вас навек разлучила...
Бейся, тревожное сердце!
Не все унесла могила.

■ ■ ■

Была на площади башня,
И был на башне балкон,
Была на балконе сеньора,
Сеньора с белым цветком.
Но вот прошел кабальеро,
Кто знает — зачем прошел?
Он площадь унес и башню,
Башню унес и балкон,
Унес балкон и сеньору,
Сеньору с белым цветком.

■ ■ ■

Мой стариковский вам совет таков:
Не слушайте советы стариков!

Перевод В. ВАСИЛЬЕВА

Е. КНИПОВИЧ

ОБ УМЕНИИ «ДУМАТЬ ВПЕРЕД»

В мае—июне 1968 года мне довелось беседовать в ряде городов земли Северный Рейн-Вестфалия со многими представителями различных слоев интеллигенции ФРГ.

Время было бурное: по всей области катились волны митингов, демонстраций, забастовок — рабочих, студенческих, школьных. Причем каждая группа бастующих включила в общую программу борьбы против чрезвычайных законов еще и свои специфические требования.

Наряду с рабочими и студентами активное участие в движении принимали прогрессивные писатели области — члены «Группы-61» и члены различных организаций, борющихся против всех форм неонацизма.

Однако большая часть тех высококвалифицированных интеллигентов, с которыми мне приходилось беседовать, принадлежала к разряду доброжелательных «аутсайдеров», комментировавших происходящие события, стоя (во всяком случае в своем представлении) «над схваткой».

Правда, даже от этой категории собеседников я редко слышала «антилиберальную» оценку тех или иных действий правительства или казуистическую защиту чрезвычайных законов (вроде того, что в других странах Западной Европы аналогичные законы гораздо суровей или что новые формы, мягко говоря, правительственной «опеки» якобы ущемляют права американской военной администрации).

Характерно для всех высказываний было другое — стремление перевести реальные, «укорененные» в сегодняшней действительности конфликты в область столкновения неких общих понятий, которые к тому же как бы украшались заглавными буквами и возносились над временем и историей.

Так, конкретный вопрос о запрещении в ФРГ коммунистической партии и о свободной деятельности НДП тут же переносился на абстрактно-философские высоты. Оговорюсь сразу: ни один из моих собеседников (некоторые, быть может, и из любезности) не считал запрещение коммунистической партии справедливым. Но лишь немногие считали справедливым и законным не только легализацию компартии, но и запрещение НДП. Для большинства — с точки зрения справедливости и закона (с большой буквы) — речь шла всего лишь о двух партиях (также с большой буквы). И хотя программа и деятельность одной из них — НДП—безусловно «неправильна», запрещение ее нарушило бы равные права всех партий и тем самым посягало бы на демократию (конечно же с большой буквы). Убеждать, дискутировать, но не запрещать — таков был вывод большинства. Конечно, я указывала моим собеседникам на то, что трудно говорить о равных правах, когда деятельность «неправильной» партии защищает правительство, субсидируют магнаты рейнско-вестфальской и баварской тяжелой индустрии, оберегает полиция с помощью слезоточивых газов, арестов, дубинок, в то время как против деятельности другой партии направлен весь этот аппарат и все силы, оберегающие первую.

Но ответом на это были ссылки на общий прогресс, задачи демократии и общественное мнение.

Безусловно, общественное мнение — даже робкое — это положительный фактор, точно так же, как и демократия, даже половинчатая, как парламент, пусть избранный по несовершенной избирательной системе.

Но в наши дни невиданно острой классовой борьбы в странах капитала, активизации идеологических диверсий надо настойчиво и последовательно спорить с рядом привычек буржуазно-либеральной мысли, несомненно влияющих на общественное мнение в капиталистических странах, в том числе и с фетишизацией определенных институтов, понятий, лозунгов.

Потому что каждое понятие, вознесенное над своим конкретно-историческим воплощением, неизбежно может стать обратимым.

Вечная справедливость, провозглашенная первой французской буржуазной революцией, как известно, нашла свое «земное воплощение» в буржуазной юстиции. И замечательные книги Фейхтвангера, Арнольда Цвейга и других — «Успех», «Спор об унтере Грише», «Воспитание под Верденом»,— в центре которых всегда стоял вопрос о взаимоотношениях «вечной справедливости» и «земного» правосудия, были героической попыткой пробиться сквозь конкретно-историческую, классовую, буржуазную юстицию к сияющей, вечной, «платоновской» идее справедливости, которую надлежит как знамя поднять в борьбе с фашистской угрозой. Однако в конкретном творчестве осуществилось нечто совсем другое. «Индии» в своем плавании художники эти не достигли, но по пути они для себя открыли «Америку». Силу и непреходящую ценность не только во вчерашней, но и в сегодняшней борьбе всех тех произведений, о которых мы упоминали (и многих других), составляет именно то, что подсудный буржуазной юстиции конфликт между личностью и государством объективно раскрывался в них как конкретно-исторический, классовый, социальный.

Любопытно, что аналогичный процесс конкретно-исторического и социального наполнения «вечных» понятий можно сейчас наблюдать во многих произведениях литературы и искусства США. И здесь — перед встающей угрозой фашистского беззакония — апелляция к «вечному» через конкретное воплощение его в буржуазно-демократических институтах нередко приводит к объективному изображению классовой ограниченности институтов и социально-политического содержания конфликта личности и государства.

Обратное может произойти (и происходит), когда понятие, например, все той же справедливости фетишистски отождествляется с *буквой* буржуазной юстиции. Когда, например, на основании закона о давности преступления возникает требование в равной мере применять его и к воришке, совершившему ограбление двадцать лет назад, и к фашистскому палачу, «на счету» которого сотни или тысячи зверски замученных беззащитных людей.

Возвращаясь к антифашистской литературе Германии 20—30-х годов необходимо вспомнить о том, что Бертольт Брехт, весьма настойчиво исследовавший вопрос о «вечных» понятиях и их «земном» воплощении, во всем творчестве своем проводил резкую грань между «справедливостью» и «правосудием» буржуазного общества. Антиметафизичность всей идейно-эстетической системы брехтовской драматургии естественно ведет к тому, что «суд» в его пьесах — это всегда пародия на справедливость, балаганное представление, такое как суд над безработным полуидиотом (судимым за поджог, которого он не совершал) в «Карьере Артуро Уи», как дело о продаже казенного слона в комедии «Солдат есть солдат»*, как процесс Мэкки Ножа в «Трехгрошовой опере». Впрочем, объясняется это тем, что не только во второй половине 20-х годов (когда были написаны пьеса «Солдат есть солдат» и «Трехгрошовая опера»), но уже и в пору самого своего юношеского бунтарства (время «Ваала») Бертольт Брехт никак не укладывался в понятие прогрессивного буржуазного писателя.

Не надо думать, однако, что в прогрессивном искусстве буржуазного мира тенденции капитуляции перед абстрактными понятиями или, напротив, преодоления их проявляются, так сказать, в чистом виде.

Чаще всего в романах, кинофильмах, пьесах художников ряда капиталистических стран можно наблюдать различные формы, я бы сказала, «немирного сосуществования» метафизической и диалектической трактовки событий истории и современности.

И, может быть, наиболее острыми формами такого «братоубийственного сосуществования» богат талантливый, сложный, противоречивый конгломерат левого крыла литературы ФРГ.

Нет, я отнюдь не претендую на то, чтобы коснуться ее общего состояния. Моя задача — взглянуть на одно-два заметных произведения, в которых, как мне кажется, отразилось разнородное «брожение умов», происходящее в среде западногерманской интеллигенции. В произведениях этих по-разному отражены попытки найти «общую формулу» соотношения понятий и их земного воплощения в конкретных исторических событиях.

В Дортмунде я узнала от Макса фон дер Грюна, что на митингах, созванных организациями борьбы против чрезвычайных законов во Франкфурте-на-Майне, Мюнхене и других городах, он выступал вместе с Рольфом Хохгутом и Кристианом Гейслером. Мне приходилось читать книги Гейслера, и я много слышала о нем не только в ФРГ, но и в ГДР. Что касается Хохгута, то победное шествие его пьесы «Наместник» было отмечено не только во всех странах капитализма, но и в странах социалистического сектора, в том числе и у нас. И это лучшая для нее рекомендация.

Новая его пьеса «Солдаты» построена гораздо более сложно. Попытка автора вложить в подлинные исторические и социальные конфликты некий «надысторический» смысл в «Наместнике» не смогла нарушить общей правдивости произведения. Гнев и мужество художника-антифашиста востор-

* В русском переводе опубликована под названием «Что тот солдат, что этот».

жествовали здесь над изъянами философских взглядов автора.

Метафизичность в пьесе «Солдаты» гораздо глубже проникла в идейно-художественную ткань произведения. Сама трагедия (таков один из двух подзаголовков, данных на титуле) вполне реалистична. Время действия ее — апрель—июль 1943 года, основной герой — сэр Уинстон Черчилль. Но четыре акта трагедии — это всего лишь «пьеса в пьесе», разыгранная актерами лондонского малого Welttheater'a. И глубинный смысл этого спектакля должно раскрыть «обрамление» его, в котором реалистические мотивы весьма условной чертой отделены от символических и реальное время — 1964 год — столь же условной чертой отделено от «вечности».

Двойствен и сам герой «обрамления». Да, у него есть и, так сказать, «земной» облик, и «земная» биография. Он — летчик английской бомбардировочной авиации, участник второй мировой войны. Сейчас — в 1964 году — он уже немолод и смертельно болен, дни его сочтены, и пьеса, которую он написал для торжеств в честь годовщины первого антивоенного конгресса в Женеве (1864 год), это как бы завещание рядового «солдата», постигшего «общий смысл» современной войны, каждой и всякой войны. Но у героя есть и второй и уже «вневременной» облик. Самое имя его Дорланд — это имя одного из драматургов-елизаветинцев, который в 1529 году создал пьесу об everyman'e — «простом человеке» (или человек просто), о веселом грешнике эпохи Ренессанса, чья жизненная цель — защита «радости плотских вожделений».

По мысли автора, Дорланд — это everyman XX столетия, типичный грешник нашей эпохи, чья совесть обременена убийством сотен или тысяч людей, убийством «с воздуха», так сказать, «математическим», без реального, зримого восприятия содеянного им.

Вот почему борьба за международную конвенцию, ограничивающую воздушные бомбардировки лишь чисто военными объектами,— это, по мысли Дорланда (и автора), первое и главное в борьбе за будущее человечества.

Дорланд, который совершил «эпохальный грех» «математического» убийства и вместе с тем осознал всю его тяжесть,— это для автора и «типичный грешник» нашего века, и вместе с тем нечто иное, «поднимающееся» над временем.

Пьесу заказал Дорланду также персонаж двойного значения, именуемый Каменотес. В Ковентри (где происходит действие «обрамления») на фоне разрушенного фашистскими бомбами древнего собора будет стоять изваянный Каменотесом ангел Ковентри (по ремарке автора, близкий работам Цадкина и Эпштейна). И лицо Ангела будет лицом Дорланда.

Второй же аспект Каменотеса — это его вневременное родство с тем черным человеком, который, по легенде, как вестник смерти явился к Моцарту, чтобы заказать ему реквием.

Двойным аспектом основных героев отнюдь не исчерпывается символика обрамления.

Не знаю уж — сам ли «грех» или осознание его дает в пожизненные спутники Дорланду один из реальных и вместе с тем ставших символом образов бедствий войны. Это «Мертвая Дрездена» — женщина, сожженная горящим фосфором, который выел ее глаза и лицевые мускулы, оставив черепу носовой хрящ и длинные распущенные волосы.

Нет, в принципе я отнюдь не возражаю против символики, против того, что «сверхличные» черты начинают просвечивать в облике того или другого героя, что мертвые, воскрешенные памятью живых, вместе с ними выходят на сцену.

В реалистическом романе Арнольда Цвейга «Спор об унтере Грише» стол, за которым спорят о справедливости генерал фон Лихов и генерал Шиффенцан, вдруг раздвигается до размеров земного шара, и моральный поединок носителей двух пониманий справедливости и правосудия по жанру становится сродни прологу на небесах гетевского «Фауста». Примеров такого рода я могла бы привести десятки. А мертвецы, с легкой руки Карела Чапека, одно время пошли на сцену так густо, что порою там уже не хватало места для живых. И опять-таки смешно бы было на этом основании упрекать в чем-либо автора замечательной пьесы «Мать».

Все дело в том, какова та капля сверхличного, которую увидел в личной, частной судьбе героя художник, и каковы те решения, к которым пришел герой и автор.

Мне думается, что идейную концепцию «обрамления» во многом определяет та «абсолютизация относительного», то изъятие понятий из конкретной исторической обстановки, о которой мы уже говорили.

Безусловно, борьба за международное соглашение о том, чтобы удары с воздуха были точно ограничены одними лишь чисто военными объектами,— это важное и нужное дело. Потому что такое соглашение, как и всякое аналогичное, в той или иной степени может связать действия агрессора.

Но это лишь один из десятков эпизодов борьбы против войны и фашизма. И такого рода акции отнюдь нельзя придавать значение некой окончательной победы над «математическим» истреблением людей, при котором как бы исчезает чувство *личной ответственности* того, кто в нем участвует.

Против такой абсолютизации прежде всего легко выдвинуть возражения чисто эмпирического порядка. Расчеты тяжелых батарей фашистской артиллерии, обстреливавшие осажденный Ленинград, находились за много километров от города. И они также не видели последствий того, что они совершают,— детей и женщин, растерзанных снарядами в очереди за стограммовой пайкой хлеба или возле проруби на Неве, куда

Е. КНИПОВИЧ
ОБ УМЕНИИ «ДУМАТЬ ВПЕРЕД»

они за несколько километров приплелись по воду.

Обстрел, который вела фашистская артиллерия, истребил неизмеримо большее количество мирных жителей Ленинграда, чем налеты фашистской авиации. Но артобстрел осажденного города, сколько мне известно, не противоречит международным соглашениям о войнах (если город не объявлен открытым). Следовательно, поскольку речь идет не об ударах с воздуха, артиллеристы, обстреливавшие Ленинград, по логике Дорланда, имели и имеют право спать спокойно. Совесть Дорланда пробудилась, когда он, сбитый во время полета, увидел в одном из немецких городов содеянное им. Совесть Клода Изерли пробудилась не от зрительных впечатлений. И непробудно спит совесть сотен тех, кто собственноручно сжег, отравил, расстрелял четыре миллиона узников Освенцима, и всех других, им подобных,— будь то палачи греческой хунты или те, кто вырезал полмиллиона коммунистов Индонезии.

Надо бороться против всех видов империалистической реакции, всех зверских способов ведения несправедливых войн, но каждое звено этой борьбы должно существовать в общей цепи, «не возносясь» на абстрактные высоты, где один «вид» пролитой крови миллионов объективно противопоставляется всем другим.

Конечно же, в «обрамлении» пьесы «Солдаты» звучит не одна «метафизика» и действуют в нем не одни персонажи «двойного значения». Символическая драма (почти средневековое «действо») прослоена в «обрамлении» острейшей сатирой. И наряду с Дорландом и Каменотесом (отделенные от этих героев тонкой, прозрачной завесой) действуют на сцене вполне реалистические персонажи — такие, как японский ученый, пострадавший при атомном взрыве, французский генерал, немецкий полковник, английский маршал авиации. И их споры о «допустимом» и «недопустимом» в ведении войны, сдобренные цитатами из философов и военных теоретиков — немецко-фашистских и иных,— могут служить образцом блестящей антифашистской и антиимпериалистической сатиры. Да и «материал», привлеченный в споре, здесь становится значительно обширней, чем в диалогах Дорланда и Каменотеса,— это и уничтожение Роттердама, и разрушение Белграда, и весь комплекс «бедствий войны».

И все-таки почему прогрессивный писатель ФРГ делает «типичным грешником» XX века англичанина — участника справедливой войны против фашизма? И почему в сюжетной части пьесы, в самой трагедии, воплощение войны — это Уинстон Черчилль?

Конечно, это последнее решение можно истолковать и в духе наибольшего благоприятствования для авторского замысла. «Гитлер — война» — это-де ясно для широких слоев интеллигенции Запада (в том числе и ФРГ), но «Черчилль — война» — это уже подрывает бесспорный для этой интеллигенции авторитет «демократии свободного мира». А на этой «платформе» порою как бы объединяются самые различные слои граждан ФРГ.

Я находилась в Федеративной Республике, когда было совершено убийство сенатора Роберта Кеннеди. Либеральная и нейтралистская печать выражала по этому поводу естественное возмущение. Но даже такие издания, как «Франкфуртер альгемейне» или даже «Вельт», были полны злорадного негодования (классическое немецкое «О, пфуй!») против «политических методов Дикого Запада». Вот про нас говорят, а сами-то — таков примерно был подтекст комментариев правой печати.

Естественно, что мы, советские люди, меньше всего склонны брать Черчилля под защиту. И все-таки перенесение проблемы «эпохального греха» за пределы третьего рейха разрывает то двуединство войны и фашизма, которое сохранило свой смысл и значение и для сегодняшнего дня.

«Благоприятному» истолкованию авторского замысла вообще противоречит многое — и в «обрамлении» и в самой трагедии. В «обрамлении» — это прежде всего тот русский военный атташе, чей выход, вместе с американским, относится к сатирическим сценам «действа».

Немецкий полковник этих сцен — тупой фашистский мерзавец, французский генерал — болтун и фанфарон, английский маршал авиации — лицемерный убийца. Но русский и американец — это всего лишь два легковесно-комических персонажа, которые к тому же выступают, говоря словами Пушкина,— «точь-в-точь двойной орешек под одною скорлупой». И это не случайно, как не случайны и летные головные уборы (без «голов») *всех* наций, воевавших во вторую мировую войну, на равных правах изображенные на обложке «Солдат».

Это странное «равноправие» несомненно рождено глубинной сущностью замысла пьесы. Да, война против фашизма карала зло и защищала добро, говорит Хохгут своей трагедией. Но и те, кто вел эту войну, неизбежно должны были вступить в союз со злом, ибо наша эпоха ведет к «математическому» убийству с воздуха «солдат» и «не солдат», *обезличивая* убитых и снимая чувство личной ответственности с убийц.

Думаю, что это метафизическое обобщение так же не стоит на ногах, как и все прочие. Оно выступает в трагедии Хохгута как искаженный отзвук прошлого, как узурпация некогда прогрессивных устремлений мировой литературы. Когда старые формы общественного уклада бывают еще крепки и уже очень ненавистны широким массам, в литературе устной и письменной возникала тема борьбы со «злом» в союзе с разрушительным началом.

Тема эта была очень широка по диапазону своего воплощения — от высокой романтики и символики до трезвейшего бытового реализма. Но каждый, кто в высокой трагедии готов ради победы над злом вступить в союз со злом — Фауст Гете или капитан Ахав Мелвила, Карл Моор Шиллера или

Жан Сбогар Шарля Нодье,— это не только для автора, но и «объективно» положительные герои. Ценою жизни или «спасения души» расчищаются пути в будущее. И эта мудрая оценка «союза со злом» в мистифицированной форме выражала ту мысль, которую с гениальной точностью сформулировал впоследствии Чернышевский: «Защита добра невозможна без оскорбления зла». Историческое оскорбление зла, иногда очень беспощадное по своим формам, отнюдь не является неким специфическим порождением нашего времени. Об этом свидетельствуют великие крестьянские революции XVI—XVIII веков в России, Англии, Франции, Германии, Венгрии, якобинская диктатура и революции XIX—XX веков и все народные справедливые войны истории.

Участник любой формы исторической самодеятельности народных масс — это не отвлеченная «величина» во вневременной игре «вечных» понятий. Это представитель определенного народа, который осуществляет определенную историческую задачу. И действия его меряются не отвлеченными нормами гуманизма («не убий!»), а тем, во имя чего и за чьи интересы он поднял оружие.

«Общую формулу», с какой вторая мировая война войдет в историю, можно и должно вывести только при точной и исторически конкретной оценке действий всех ее участников.

В «обрамлении» же пьесы Хохгута Советский Союз, его подвиг спасения человечества от фашизма, негласно выключен при подведении моральных итогов войны. И в этом невосполнимый изъян авторской концепции.

Ну, а как же обстоит дело с самой трагедией? С пьесой в пьесе, разыгранной актерами малого лондонского Welttheater'а?

Может быть, здесь вместо идеологов империализма в военной форме, комических персонажей и символических рупоров идей появятся наконец солдаты, коллективы и народы, вступившие в битву против самого злого исторического зла?

Нет, ни солдат, ни народов не будет и в трагедии. И здесь — уже на вполне реалистическом материале и в кругу реальных людей — будет решаться, тоже с точки зрения «вечных» категорий, все тот же вопрос соотношения «исторической активности» и морали.

Искусство — коварная вещь. И автор, не обладающий «общей идеей», которая помогает увидеть большие, крупные линии, определяющие пестрое, многообразное кипение жизни, часто не в состоянии укротить духов, которых он сам вызвал. Тогда в произведении его «плоть искусства» входит в непримиримый конфликт с замыслом. Поэтому Рольф Хохгут (как и многие его собратья — прогрессивные писатели капиталистического мира) не смог остаться в пьесе «Солдаты» вполне последовательным метафизиком.

Реальная диалектика исторического процесса вторглась в его трагедию, самым причудливым образом нарушив метафизичность общей концепции.

По замыслу Черчилль, прагматически стремящийся к победе над третьим рейхом (цель — и с точки зрения автора,— несомненно лежащая в пределах «добра»), делает основной упор на безжалостную дезорганизацию «тыла». Так, например, удары с воздуха английская авиация наносит не по военным и промышленным объектам, а по рабочим кварталам, так как истребление и деморализация рабочей силы более быстро и эффективно, чем что-либо другое, подрывает военную мощь противника.

Итак, Черчилль и его окружение — военные и государственные деятели Англии — ратуют за победу исторического «добра», отрекшись вместе с тем от морали, вступивши в союз со «злом».

У П.-М.—премьер-министра Великобритании — есть в трагедии два, так сказать, идейных противника. Философский спор о «политике» и «морали» Черчилль ведет в пьесе с епископом Чичестерским. Причем епископ, в сущности, повторяет те бесспорные положения о недопустимости ударов с воздуха по «мирным объектам», которые в «обрамлении» уже изложил Дорланд. И так же, как Дорланд, епископ абсолютизирует это *одно* из необходимых требований ведения войны. Но в трагедии есть еще и, так сказать, практический поборник морали в делах войны и политики. Это генерал Сикорский — глава буржуазно-националистического крыла в антигитлеровских организациях Польши. Да, и Сикорский и адъютант его, поручик Косиан — это для автора «дети в железном веке», запоздалые поборники «рыцарской морали». Но, может быть, также и хранители «золотого зерна» чистой морали в наш жестокий век, который не позволяет побеждать «зло» без содействия «зла».

Увы, здесь абстракции терпят крах еще более наглядно, чем в «случае» с Дорландом и епископом Чичестерским.

Сколько бы ни пытался автор выдать «антикремлевские» выпады польских националистов за служение «вневременной» морали — они остаются обычной буржуазно-националистической клеветой. И тут-то и начинаются не предусмотренные автором причудливейшие превращения.

П.-М. «Черчилль — война», безнравственный прагматист, практически оказывается единственным персонажем трагедии, который — по необходимости! — имеет дело не с абстрактными категориями, а с реальной исторической действительностью. Конечно, в войне против третьего рейха он защищает интересы Британской империи, конечно, «Кремль» — советский строй, коммунистическая партия — для него нечто чуждое и враждебное. Но, как участник антигитлеровской коалиции, он *вынужден* трезво оценивать роль, возможности, действия своего союзника. И этот факт самым парадоксальным образом поднимает этого *отрица-*

Е. КНИПОВИЧ
ОБ УМЕНИИ «ДУМАТЬ ВПЕРЕД»

тельного героя трагедии над положительными ее персонажами.

Ах, освобождение Западной Белоруссии и Украины было (по мнению Сикорского) кремлевской экспансией? Нет, резонно возражает на это Черчилль, после того как, к стыду европейских демократий, Прага была отдана на растерзание Гитлеру, действия Советов были актом защиты Восточной Европы и своих границ от фашистской агрессии.

Ах, освобождение Польши Красной Армией таит угрозу для деятелей типа Сикорского? Вероятно, отвечает П.-М. холодно, но кто же еще может освободить Польшу, кроме Красной Армии?

«Конкретно-историческое» мышление дает отрицательному герою возможность ставить на место абстрактные укоры своих противников. И если епископ Чичестерский готов, например, заклеймить именем убийц всех участников второй мировой войны, независимо от того, на чьей стороне они сражались, то П.-М. отвечает на это гневно (и справедливо): «Война — вообще убийство. Но *убийца* в ней лишь тот, кто напал. А это был Гитлер».

Как мы видим, стремление приладить исторические события к своей концепции привело в пьесе к неожиданным результатам. И попытка обойти вопрос о Советском Союзе во второй мировой войне, о соотношении реального подвига советского народа и абстрактных категорий «морали» кончилась тем, что кусочки правды, исторической правды, проникли в пьесу через безнравственного прагматиста. И все же в истоках своих апелляция Хохгута к вневременным категориям морали носит иной характер, чем устремления некоторых «гуманизаторов» социализма.

Апелляция Хохгута *первоначально* рождена ненавистью к фашистскому и неофашистскому «культу силы», а также к тому снобическому презрению к вопросу о связи этики и эстетики, которое характерно для довольно широких слоев интеллигенции «свободного мира».

Апелляция к морали это — в капиталистическом обществе — есть первая ступень законного протеста. Но от нее путь лежит или «вверх» — его избрали большие немецкие писатели-антифашисты в 30-е годы,— или «вниз» — туда, где с точки зрения «демократии» и «справедливости» уравниваются в правах агрессор и жертва агрессии, фашист и антифашист.

Итак, в трагедии «Солдаты» можно обнаружить очень многое, кроме реального солдата фашистской или антифашистской армии, реального свершителя исторических преступлений или, напротив, исторических подвигов. Ведь нельзя же «всерьез» назвать носителем этой важнейшей темы Дорланда и в его качестве «падшего ангела» (в «обрамлении») и в его качестве одной из малых планет, вращающихся вокруг П.-М. (в самой трагедии). В остальном же мы встретились с крупными политическими деятелями, военными теоретиками, высшим командованием, а не с теми представителями военных коллективов, миллионных армий, чьими руками и чьим оружием осуществлялись предначертания этих «высших». Да, исследуя «душу» солдата второй мировой войны (того, кто дрался на стороне агрессора), и писатели ГДР и писатели ФРГ во многом исходили из личного опыта. Вот почему их «солдат» был человеком с навыками гуманитарной культуры, обогащенный рефлексией, сложный по своему «жизненному составу».

Вот почему почти вне поля их зрения остался действительный everyman наших дней, тот пресловутый «маленький человек», «простой человек», не злодей и не преступник по своей данности, который вместе с тем может увенчать свою не склонную к размышлениям голову зеленым беретом или бундесверовской каской со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Я отнюдь не хочу преуменьшать заслуг писателей ФРГ «военного поколения» и, тем паче, писателей ГДР.

Важнейший для темы «солдат» вопрос о *ложном коллективе,* о «банде» с ее *ложным* товариществом, о проникновении в сознание неофита «солдатских идей» стоит со всей наглядностью и в «Приключениях Вернера Хольта», и в «Еврейском автомобиле», и в «Мы не пыль на ветру», и в других произведениях литературы ГДР — литературы социалистического реализма.

И все же об эволюции подлинно типического грешника нашей эпохи, усвоение которого «бандой» протекает несколько иначе, чем в названных нами книгах, следовало бы подумать и поговорить сегодня. Впрочем, такой разговор, весьма острый и убедительный, уже состоялся. И начат он был сорок с лишним лет назад.

Бертольт Брехт, с необычайной остротой ощущавший движение, развитие действительности, обладал гениальным даром «думать вперед». Вот почему и пьесы его, написанные десятилетия назад, точно, без морщинки и складочки, накладываются на сегодняшнюю действительность. Пьеса «Солдат есть солдат» о «превращении грузчика Гэли Гэя в лагере Килькоа», написана в 1925 году — в ту пору, когда «маленький человек» со всеми его (вполне реальными!) бедами в послевоенной Германии был лишь объектом жалости, нежности, сочувствия широкого круга писателей.

Однако Бертольт Брехт увидел в герое своем и нечто другое — не пассивность отчаяния и страх перед волчьими законами капиталистического общества, а стремление приспособиться к ним, опереться на носителей этих законов, войти с ними в полюбовную сделку. Вот эту-то тягу к «ложному коллективу», «банде» как выходу из «социального одиночества» и вытащил на первый план в своей комедии Брехт.

Любопытно, что герой Брехта тоже англичанин, и армия, в которую он вступает,— английская, и война, в которой он участвует,— колониальная. Против кого? Это даже не очень важно.

«А с кем мы, собственно, будем воевать?»—спрашивает один из солдат. «Если нам нужен хлопок, так это с Тибетом, а если овечья шерсть, так пойдем на Памир».

Важен самый факт войны, где может проявить свои качества «славный пулеметный расчет», по прозванию «подонки», который помог выиграть сражение при Хайдерабаде.

И вся комедия — это развернутый и предметный урок на тему, что может сделать «коллектив» подонков с мирным, штатским существом, «маленьким человеком», который не пьет, очень мало курит и почти лишен каких-либо страстей.

В сферу притяжения коллектива подонков Гэли Гэй попадает случайно. Но не случайно то, что он практически и не хочет выйти из этой сферы. Каждый раз, когда у него появляется реальная возможность вернуться к нормальному бытию, он сначала хитро и пассивно, затем уже энергично и вполне сознательно отвергает ее. И происходит это потому, что на продолжение неправедного пути его каждый раз толкает жадность.

Как же отказаться от маленькой польвы — от лишней бутылки пива (а к нему непьющий Гэли Гэй быстро пристрастился), от барыша при продаже казенного имущества? Мелочи, одни мелочи — «Einmal ist keinmal», этот припев сопровождает постепенное растворение личности Гэли Гэя в солдатской «банде».

Так на наших глазах происходит демонтаж и перемонтирование человеческого существа, поставленного на конвейер военной машины империализма.

И он катится по этому конвейеру, сопровождаемый вторым припевом комедии — «Einer ist keiner».

И вот к концу действия робкий, добропорядочный мещанин становится героем среди героев «военной банды». Он разрушил артиллерийским огнем ворота крепости Зир эль Джур и дал возможность истребить семь тысяч беженцев — женщин и детей, которые в ней укрывались.

Ироническая Ева—соблазнительница солдатского рая — вдова Бегбик произносит монолог между двумя сценами комедии, толкуя заранее (как это полагается по теории брехтовского театра) все намерения автора,— то, что не только утверждает, но и доказывает «господин Бертольт Брехт»:

...Если очень хотят, то одного человека
превратят
В совершенно другого.
...А потом уж не важно, что было вначале,
С какой именно целью все это свершали,
Ведь тот, кого так переделать сумели,
Будет пригоден для всякой цели.
Упустив сегодня, забудем о нем.
А завтра он к нам же придет палачом.

Думаю, что именно так и обстоит дело с everyman'ом наших дней, если подойти к этому вопросу без метафизики.

О том, какой была постановка комедии Брехта в Берлинском штатстеатре в 1931 году, я знаю только из «брехтианы».

Бертольт Брехт и режиссер театра дали гротескную, апокалипсическую трактовку «военной банды», поставив солдат и их командира на ходули, увеличив габариты их тел с помощью проволочных каркасов, закрыв их лица устрашающими масками. Постановка эта была как бы наглядным предупреждением, «барабаном в ночи», криком о том, что «ужас при дверях».

Когда через двадцать с лишним лет — в 1954 году — Бертольт Брехт, руководитель своего театра в столице ГДР, вновь вернулся к вопросу о постановке комедии, он многое увидел по-другому. Ведь за плечами его и его народа лежал страшный опыт двенадцати лет бытия «тысячелетнего рейха», преступная война, но также и разгром фашизма и строительство нового, подлинно народного государства. На первый план в новом замысле должна была выйти будничность ужаса, деловитость преступлений. Вот почему Брехт в режиссерском решении предполагал отойти от внешнего гротеска, от принципов постановки 1931 года.

Осуществить этот замысел он не успел. И лишь через десять лет после его смерти театр начал работать над новой постановкой пьесы, премьера которой состоялась в начале 1967 года. Нет, ничего фантастического не осталось сейчас ни в облике «славного пулеметного расчета», ни в других действующих лицах комедии. На первый план вышла тема воспитания «маленького человека» в «ложном коллективе», тема массовой фабрикации убийц из нейтрального и податливого материала. И сержант Фарчайльд — «тигр из Килькоа» (обладающий сверхчеловеческой способностью «вынюхивать измену»), и пулеметчики Уриа, Полли и Джесси ничуть не «выше ростом», чем кругленький, рыженький Гэли Гэй. И этапы усвоения маленького мещанина «бандой» внешне отмечены только тем, что военная форма с каждой сценой все лучше и лучше сидит на его некогда «штатском» теле, пока не прирастает к нему как собственная кожа.

Нет, действующие лица комедии в новой трактовке—это не видения Апокалипсиса и не облеченное в плоть «имманентное зло». Это всего лишь рядовые *свершители* исторических преступлений, которых может в наши дни изготовить любой реакционный режим и, прежде всего, тот, где, как в ФРГ, еще живы традиции «рейха». Тема «свершителей» тревожит литературу обеих Германий. И настойчивое утверждение того, что речь тут идет не об «исчадиях ада», а всего лишь о подданных гитлеровской Германии, с особой силой звучит в прогрессивной литературе ФРГ. И смысл этих утверждений заключается отнюдь не в защите свершителей, а в том, чтобы возбудить в гражданах своей страны ненависть к самой системе, при которой Освенцим был учреждением, палач — государственным служащим, убийца стариков и детей — солдатом. Что касается комедии «Солдат есть солдат», постановки ее «Бер-

---

Е. КНИПОВИЧ
ОБ УМЕНИИ «ДУМАТЬ ВПЕРЕД»

линским ансамблем», то и здесь, как и во многих других случаях, Брехт по-прежнему идет впереди современников, осуществляя дело «заземления» ненависти к фашизму точно, трезво, без всяких «накладных расходов».

Мне уже приходилось говорить в печати о том, что антифашистская публицистика многих писателей ФРГ (или писателей немецкого языка, не живущих в пределах Федеративной Республики, таких как Петер Вейс) отмечена большей исторической проницательностью, чем художественное творчество тех же авторов. Впрочем, наименьший разрыв между этими двумя видами деятельности свойствен как раз творчеству Петера Вейса. Он по характеру дарования своего художник «объективный», и его широкие политические полотна, созданные в последние годы, не окрашены тем «трагическим лиризмом», который так отчетливо чувствуется в некоторых произведениях Вальзера и Гейслера. «Трагический лиризм» этот связан в творчестве двух названных писателей с темой ответственности — личной ответственности каждого гражданина ФРГ за преступления, совершенные фашизмом. Казалось бы, что каждый здравомыслящий гражданин их собственной страны, а также и любой из зарубежных стран (независимо от ее общественно-экономического строя) могли бы только приветствовать устремления этих художников. Однако дело тут обстоит не так просто.

Лет шестьдесят назад Эмиль Верхарн написал драму «Монастырь», в которой был весьма диалектически поставлен вопрос о форме и характере ответственности за преступления. Вина героя драмы тяжела и бесспорна — он убил своего отца. И тот факт, что отец его был насильником и злодеем, не может его освободить от моральной ответственности. Но покаяние, самоунижения становятся для героя самоцелью, чувство вины, замкнувшись в солипсический круг, рождает легенду о том, что отец был благостен и добр. Ненависть к себе переходит уже в ненависть к живым и к жизни, и сознание вины, по мысли Верхарна, становится объективно большим грехом, чем само преступление. Я боюсь, что нечто подобное происходит и с иными талантливыми писателями ФРГ, когда «с неба» (где пытался решить проблему ответственности Рольф Хохгут) они спускаются на реальную почву своей родной страны.

«Запрос» Кристиана Гейслера по праву привлек внимание и в ФРГ, и в ряде стран капитализма, и в социалистическом секторе Европы, и у нас в СССР. Юношески бескомпромиссная ненависть не только к фашистскому прошлому, но и к его корням, сохранившимся в ФРГ и дающим свежие ростки, сделали первый роман Гейслера значительным и запоминающимся произведением. И все же «Запросу» были свойственны некоторые черты, свидетельствующие об опасностях, которые могут встать на пути молодого писателя. Самой основной из них была именно та чрезмерность покаяния, о которой мы только что говорили. Проблема фашизма как системы, в сущности, сводилась для героя книги, молодого физика Кёлера, к проблеме вины «отцов», и ненависть к фашизму съеживалась до семейных размеров. Да и сам герой, смятенный молодой человек, и друг его Штейнхоф (якобы коммунист, а на деле левак-всеотрицатель) мучительно напоминали нечто уже давно знакомое — литературные образы, рожденные лет 50–60 назад. В памяти невольно вставали герои «веймарских» романов Генриха Манна, и персонажи экспрессионистских драм (с их лозунгом «на отцов», который, по умному замечанию одного критика, заменил для них шиллеровское «на тиранов»), и, увы, еще более давние и столь же смятенные действующие лица драм Франка Ведекинда. И все бы это было, как говорится, полбеды, если бы «Запрос» не был скрытым «ich-романом», если бы кругозор автора всегда и во всех случаях был отчетливо шире, чем кругозор его героя. Умонастроение Кёлера очень благородно. Но действия его — это, во многом, поиски доказательств уже доказанного, того, что весь аппарат власти ФРГ последовательно предает забвению содеянное фашизмом. Что касается антифашистской демонстрации двух друзей, то она все-таки находится на детском уровне. Можно, конечно, выразить свое презрение к гитлеровскому режиму, нацепив на шею собаки «рыцарский крест» и произведя таким способом уличный скандал. И все-таки в этом случае приходят на память слова бедной жены Победоносикова: «Смешно? Не смешно».

«Запрос» держится героями второго плана, теми, кто, как семья Валентин, убиты в застенках фашизма до начала действия романа и живут лишь в памяти живых, или такими, как садовник их дома Мольвиц — человек чистый и честный, у которого вместе с тем не хватило мужества на активную борьбу с фашистским злом. Не менее убедительно звучат в романе все те эпизоды, где проблема вины поднимается над «семейным делом», становится обвинением политики боннского государства, лжи и лицемерия правящих кругов.

Здесь от романа «Запрос» протягивается живая нить к «Концу запроса», жанр которого определить не так просто, потому что в нем слиты воедино элементы очерка, рассказа, публицистической статьи. История того, как автор — Кристиан Гейслер — обманом проник в тайны одного из самых страшных эсэсовских застенков — Хартхэйма, — дана объективно и потому отличается большой и убедительной силой. Кстати, «Конец запроса», написанный по заказу журнала «Штерн» (и не опубликованный им) четыре года назад, в сущности, увидел свет лишь в прошлом году в книге радиопьес, речей, очерков Гейслера.

Мне думается, что самое сильное (а также и объективное) произведение Гейслера это пока что «Холодные времена»* — повесть, в центре которой стоит тот рядовой гражданин ФРГ, который во всей своей трудовой

* Опубликована в журнале «Иностранная литература» № 10, 1967 г.

и общественной практике, в самых интимных сторонах личной жизни ежеминутно и ежечасно испытывает давление системы общественно-экономических отношений боннского государства.

Герои повести — молодой рабочий-экскаваторщик Ян Алерс и его жена Рената. Это, по видимости, счастливая супружеская пара. У него есть постоянная работа, квартира (по милости «шефа»), стиральная машина (в кредит), новейший радиоприемник (в кредит), даже «фольксваген» и другие радости «индустриального века», все, разумеется, тоже по еще неоплаченному кредиту. Но расходы на ребенка — если он родится—нельзя, к сожалению, оплатить в рассрочку, а кроме того, и в этом случае надо, чтобы все было «как у людей»: одеяльце, пестрые занавески в комнате, дорогая колясочка. «Мещанство»? Не только. Гейслер с большой чуткостью человека и художника открывает ту неуверенность в завтрашнем дне, ту (в молодых «наследственную») память о войне и ее бедствиях, страх перед возможностью новой войны, которые и заставляют людей цепляться за вещи, уют, дом, создавая хотя бы видимость чего-то прочного. Война, память о войне, страх перед войной все время проступают в повести, как кровь через повязку. Они — корректив к мыслям, мечтам о будущем, разговорам, быту. Они сквозят даже во внешнем облике бедных кварталов Гамбурга. И это правда. В самых больших и богатых городах ФРГ: в монументальном Кёльне, в переулочках Дортмунда, столицы угля, стали и пива, в Дюссельдорфе, — уйдя с залитых разноцветным неоном магистралей, украшенных роскошными фасадами, вдруг натыкаешься на глухую стену дома, опаленную старым пожаром или выщербленную осколками. Но Гейслер понимает еще одно — то, что правящей клике ФРГ выгодно объяснять «внешней», то есть военной угрозой все те чувства, которые рождены в представителях непривилегированных классов внутренней политикой правительства. «Здорово они нас скрутили» — эти слова вновь и вновь возникают в сознании Алерса, как рефрен проходят по всей повести. Но понять, кто такие эти «они», у него нет ни сил, ни времени. И на работе, и в чистенькой квартирке среди добротных (и почти своих) вещей Алерс, вымотанный до предела, дичает в борьбе за себя, не понимая, кто его враг, что его давит, где искать объяснения и выхода.

Ну, а Рената? Чем порадует жизнь ее — домашнюю хозяйку, кроме песенки по радио и американского бульварного журнальчика? Муж приходит домой такой усталый, что даже и есть не может, только бы добраться до постели и заснуть, и свести концы с концами, в сущности, невозможно. Ребенок, дочка — это только мечта, и притом вряд ли осуществимая. Счастье Ренаты — это всего лишь прогулка по городу с воображаемой дочкой лет 7—8 (такой, какой у 22-летней Ренаты и быть не может) — веселой, живо откликающейся на все маленькие приключения в пути. Прогулка Ренаты с дочкой, на мой взгляд, принадлежит к лучшим страницам сегодняшней зарубежной прозы. «Воображаемая дочка» — плод неутоленной жажды материнства — выходит на прогулку «с душой, открытой для добра». Даже волка, которого в шутку нарисовала мать на запотевшем окне трамвая, дочка тут же «заколдовала», чтобы он стал добрым. Но шаг за шагом, квартал за кварталом происходит то воспитание действительностью, которому подвергаются незащищенные души в дебрях капиталистического государства. Мальчишка — маленький «агрессор» — обидел ребят и распугал уток, которых они кормили, а отец его смеется и одобряет злую шалость. Мать уводит дочку, чтобы она не слушала злого смеха. Но, оказывается, девчушка уже «наколдовала» возмездие тому, кто смеялся, — утки так расклевали ему губы, что он больше никогда не сможет смеяться.

Эта «защита справедливости», несколько страшноватая,—только начало. Жестокость, а за ней и мораль «человек человеку волк» постепенно, впечатление за впечатлением, входит в душу ребенка. И вот к концу прогулки, на детской площадке, дочка уже не заступается за обиженную малышку, а сама обижает, толкается, хватает.

«Здорово они нас скрутили», так здорово, что Алерс в одичании своем утратил представление о классовой солидарности и в конфликтах становится на сторону хозяев, а Рената отказалась от мечты о материнстве. В маленькой белой каморке не будет ни занавесок, ни веселых картинок, ни колясочки — туда небрежно свалят весь мусор, оставшийся после ремонта.

Да, понятие узкого и широкого мира, отраженного в произведении искусства, определяется не количеством и не качеством героев, а лишь узостью или широтой авторского взгляда. Малый мирок Алерсов Гейслер увидел в контексте больших социальных трагедий капиталистического мира, увидел к тому же глазами человека и художника взыскательной совести, который забывает о своем «трагическом лиризме» при виде объективно исторического содержания обычной трагедии обычных людей.

Забвение грехов фашизма — это злое, очень злое дело. Но та личная «перегрузка ответственностью», которая по-разному ощущается в некоторых произведениях Хохгута, Гейслера, а также Вальзера и многих других, — это вещь очень опасная, как и все, что рождает в человеческом сознании не взыскательная, а больная совесть. Для больной совести свое бескомпромиссное состояние греховности, своя подсознательная связь с былым злом становится тормозом при активной борьбе с этим злом. Ибо тот, кто не изжил скверну в себе, якобы не имеет права бороться с ней «вне себя».

Я очень далека от того, чтобы отнести это ко всей общественно-публицистической деятельности и названных писателей и многих других. Как блистательно — слово за словом — разоблачает низость и лицемерие

Е. КНИПОВИЧ

ОБ УМЕНИИ «ДУМАТЬ ВПЕРЕД»

американских и западногерманских правителей Вальзер в своей речи о Вьетнаме. Как точен прицел многих радио- и телепередач Гейслера. Но метафизическое понимание общих понятий—и «ответственности», и «справедливости», и «свободы» — порой мешает объективному постижению исторических конфликтов не только в творчестве, но и в общественно-политической жизни. И тогда иные из противников всех установлений боннского государства объективно становятся помощниками его политиканов, как это и случилось в ФРГ после августовских событий 1968 года.

Есть сведения, не знаю истинные или легендарные, что в 1908 году, после мессинского землетрясения, корреспонденты разных стран тут же попросили первый заработавший телеграфный пункт назвать имена героев, проявивших себя при этом стихийном бедствии. Но телеграфист отстучал в ответ: «Героев нет. Все слишком заняты».

Очень бы хотелось, чтобы аналогичный ответ можно было дать относительно мятущихся в сознании своей греховности деятелей зарубежной культуры. Когда можно будет сказать: «Грешников нет. Все слишком заняты», тогда и начнется для них трезвая, без накладных расходов ликвидация прошедших грехов и недопущение будущих. И тогда, несомненно, еще более действенной станет прогрессивная литература и публицистика стран капитализма, в том числе и ФРГ.

В. ИВАШЕВА

В ДЕБРЯХ АБСУРДНОГО МИРА

1

...Барабаны бьют и бьют в ушах, бьются о стенки черепа, отбивая непереносимую дробь, от которой вот-вот разобьется голова. Шумит в ушах. Надо любой ценой остановить этот бой барабанов, не дающий ни сосредоточиться, ни думать... И Джири уходит жить на вокзал... Людей здесь много, но все они настолько анонимны, что перестают быть суммой отдельных личностей и сливаются в один безликий поток. Сменяясь, как капли воды в реке, они не мешают ни жить, ни думать. И барабаны здесь замолкают. На время...

...Почему Лиони так часто бывает похожа на разных животных? То она лань, то кошка. А ее любовник Нейпир похож на боа констриктора. А на кого похожа теща Моргана — этот ходячий сборник прописных истин? Впрочем, и сам Морган недаром возится с чучелом гориллы. Его опасные приключения заканчиваются (в сумасшедшем доме) после того, как на нем загорается шкура обезьяны, когда он является на свадьбу к своей бывшей жене...

...Почему существует эта кошка? Она мяучит и дурно пахнет, а Брон не выносит запахов. Почему в доме брата так много часов и все они тикают, нарушая тишину? К тому же они все спешат, и надо положить конец этому непростительному убийству времени... Кошка сидит сейчас на низкой стене, окружающей пруд. Ее надо утопить, тогда больше не будет запаха, и Брон будет свободен. Часы надо бросить туда же в пруд, вслед за кошкой. Правда, их тиканье еще слышно из пруда, но они замолчат, когда Брон войдет в комнату к женщине на верхнем этаже...

...Почему кончает самоубийством Джон Хэндли, возвращаясь из Алжира и совершив там много разумных поступков, совсем неожиданных для этого сумасшедшего радиста? Кончает с собой, придя в себя от бреда. «Англия,— размышляет он, перед тем как выстрелить себе в рот из давно заряженного пистолета,— если бы ты только могла начать сначала и стать зеленым младенцем, рожденным землей и соленым морем, и жить разумно и ласково... Только уже без меня, без меня...» Сирена возвещает о том, что и корабль, и Джон наконец возвратились домой...

Какие разные книги—и какие разные имена! «Меньшее небо» Джона Уэйна, «Подходящий случай для психиатра» Д. Мерсера, «От руки брата твоего» Н. Льюиса. Наконец «Дерево в огне» Алана Силлитоу. А это только несколько романов и пьес из очень многих. Литературу и драматургию Великобритании тема безумия буквально захлестывает в последнее время, примерно с середины 60-х годов.

Шизофрения, паранойя, раздвоение личности, различные виды психозов и неврозов на грани психоза, которые вползают в чистенькие и такие нормальные на первый взгляд дома, мечутся по улицам, взрывают семьи, угрожают прохожим.

Сегодняшний мир и в самом деле может показаться миром невиданного в истории абсурда в международном масштабе, в котором Гарольд Вильсон и президент Джонсон могли претендовать на то, чтобы выступать защитниками социализма или демократических свобод, а вершители китайской «культурной революции» объективно помогают Пентагону, истребляющему мирных жителей Вьетнама. В Англии, в «государстве всеобщего благосостояния», тоже много такого, о чем стоит задуматься. Ведь как будто все обстоит хорошо. Или совсем

еще недавно так обстояло. Никакой безработицы, никаких «голодных походов», никаких больших забастовок... Многие представители английской интеллигенции даже часто — и притом всерьез! — говорят о «британском социализме». Но куда же ведет этот «британский социализм» и это общество промышленного процветания — потребительского благополучия? Машины для мгновенного мытья посуды и стирки, сверхусовершенствованные пылесосы и дешевые автомашины разных марок. Огромное изобилие и разнообразие товаров, навязываемых покупателю назойливой, всюду проникающей рекламой и всяческими бюро добрых услуг. Реклама в метро, по радио, на экране телевизора, на экранах кино, на улицах, в газетах, в журналах... «Курите нашу марку сигарет!» «Почему вы все еще плететесь в хвосте и курите другую?» «Употребляйте только светлую губную помаду!» «И только крем для лица «Лунные капли»!»

Страна неповторимых кружевных соборов и римских стен, оставшихся от древней цивилизации, умершей, но в чем-то еще живой, страна Шекспира, Бэкона и Резерфорда... По улицам ее больших и малых городов, опошленных крикливыми витринами и плоской рекламой, ходят толпами и в одиночку длинноволосые юноши в одежде, театрально разорванной на локтях и театрально заплатанной, и девушки, похожие на средневековых пажей. Мода на битников продержалась неожиданно долго, хотя певцы их туманного протеста — битлы — уже накопили миллионы и накупили старинные имения разорившихся аристократов, не зная, куда девать деньги. Декорация времен Чосера, одежда из костюмерной мастерской, а пьеса идет современная, притом под американский музыкальный аккомпанемент.

Переизбыток товаров широкого потребления и удивительно спертый климат мысли. Она барахтается в мелкой сетке новых теорий очень старой философии. Измышляются новые варианты антимарксистской социологии и, конечно же, все новые и новые вымыслы — один фантастичнее другого — об СССР. Скучно. Старо.

Начал Симпсон. Может быть, никто из англичан лучше него не увидел абсурд того мира, в котором они живут, и не нашел лучшей формы его изображения, чем автор «Однобокого маятника». Разве не едет тетушка Милдред путешествовать в далекие страны... сидя в удобном кресле против окна? Разве миссис Грумкёрби не готовит разнообразные блюда для того, чтобы их поедала нанятая для этого специально соседка Гэнтри? И разве Кёрби Грумкёрби не совершает убийств исключительно для того, чтобы иметь возможность... носить черную одежду? Кстати, и суд его оправдывает именно потому, что он виновен! Очень злое осмысление окружающей жизни через прием остранения, а вовсе не модернистская пьеса, как думают иные. А «Кресто»? Некая держава по другую сторону железного занавеса, «которую не будем называть, но, короче говоря, Россия», угрожает зеленому острову военным нападением. Поэтому представитель «Интеллидженс Сервис» Фрэнсис Харкер приносит ночью в дом мистера Фоусета — одного из тысяч обывателей Лондона — секретное предписание, которое тот должен спрятать в... водосливе своего клозета... А русские подводные лодки у берегов Великобритании и пути их опознания? Сколько злой издевки в этой пьесе и как эта издевка бьет в цель, показывая всю бездарность, плоскость и пошлость излюбленного конька британской прессы — «советская опасность»!

Недавно Памела Хэнсфорд Джонсон написала (в романе «Выживает сильнейший»): «Как они мечтали в тридцатых годах именно о таком мире! Война выиграна, безработица и голод (во всяком случае в нашей стране) побеждены· уже не идут с Севера под проливным дождем толпы людей с больными изможденными лицами в колоннах голодных походов, нет леденящего страха по ночам, нет... А молодежь смотрит на все эти свершения... и ей скучно».

Трудно было бы выразить лучше контраст между бурным прошлым «тридцатых» и сегодняшним днем. Только пласт тех, которым «скучно», гораздо шире того, который подходит под определение «молодежь». То, что Памела Хэнсфорд Джонсон назвала «скукой», распространяется сегодня в Англии на очень широкие слои интеллигенции, притом разных поколений. Одним сегодня 20 и 30 лет, многим даже 40 или около 50. Один из молодых, а впрочем, уже относительно молодых драматургов Англии недавно сказал: «Мы все шизофреники». Это говорил автор «Подходящего случая для психиатра» Дэвид Мерсер и говорил, ссылаясь на Р. Д. Лэнга, все еще очень популярного, хотя, может быть, и несколько меньше, чем пять-шесть лет назад, в тех самых слоях интеллигенции, которым «скучно», но еще более душно в атмосфере торжествующего стандарта и которые находят что-то вроде выхода для себя, ставя вещи с ног на голову. Не безумный мир, а безумные индивиды. Безумие становится лазейкой. Не здоровые люди в сумасшедшем доме, а кучка сумасшедших в запертом помещении, из которого нет выхода.

«Как вы объясняете это массовое увлечение ваших писателей темой психоза? — спросила я, будучи в Лондоне осенью 1968 года, Алана Силлитоу.— Даже вы отдали ей дань. Не говоря о Мерсере, Стори, десятке других ваших писателей». Силлитоу не стал спорить, но задумался, ища объяснения. «Пожалуй, действительно,— ответил он.— Может быть, это результат стремления еще глубже заглянуть в психику человека?.. А может быть, одна из форм эскепизма?..» Последнее, пожалуй, верней, но не все здесь так просто, и эскепизм этот носит новую, незнакомую раньше форму. И требует изучения.

2

«Скучно» английской молодежи не от достижений «государства всеобщего благосостояния», как полагает автор романа «Вы-

живает сильнейший». У молодежи скука давно начала переходить в различные формы бунта, но чаще всего анархического и беспрограммного, потому что рваная одежда, употребление ЛСД и подвиги хиппи — это уже своеобразный бунт, хотя и не эффективный. Те, что постарше, реагируют иначе. Именно о них здесь и пойдет речь.

То, что лишь условно можно назвать за Памелой Хэнсфорд Джонсон «скукой»,— явление сложное, но еще больше, пожалуй, страшное. И проистекает оно, думается, из той «тотальной индустриализации» и того «тотального автоматизма», которые царят в послевоенной Англии, как, впрочем, и во всех других наиболее развитых странах капиталистического Запада, мира «экономического чуда»: в ФРГ, Италии и, конечно же, в США. Оно проистекает от массовой унификации и стандартизации, его определяет безликость того комфортабельного, «процветающего мира, «целью которого человек,— как верно сказал Моравиа,— не является».

Вспоминается разговор с тем же Мерсером и слова, сказанные им мне два года назад: «Мы достигли очень многого. Имеем очень много. Имеем стандарт жизни, о котором не могут даже мечтать многие, многие народы. Мы имеем комфорт, товары, разнообразие товаров, к нашим услугам техника, в нашем быту все облегчено до предела. Но именно тут и возникает вопрос: а что дальше? К чему стремиться? Куда идти?.. И тут мы начинаем ощущать раздвоение личности».

О все большем распространении разнообразных психозов и так называемых «пограничных» состояний на грани психоза на Западе пишут уже давно, а в настоящее время все больше и чаще. В западной печати постоянно читаешь о воздействии на людей шумов больших городов, оглушающего гула станков на заводах-гигантах, гудения самолетов, треска мотоциклов, автомашин и т. п. Психиатрические больницы поглощают тысячи людей, и количество лечебниц не отвечает потребности.

Но, видимо, какую бы роль ни играли в возникновении психозов, и в особенности неврозов, внешние раздражители, думается, они не в меньшей, а в большей мере результат растущей обезличенности человека в равнодушном к нему и не менее обезличенном мире победившей вещи. Человек и техника, ставшая как бы «вещью в себе».

Еще в середине прошлого столетия Маркс писал (в «Немецкой идеологии»): «В современную эпоху господство вещных отношений над индивидами, подавление индивидуальности случайностью приняло самую резкую, самую универсальную форму»*.

Сегодня, во второй половине XX столетия, господство вещи над человеком обнаруживает себя во много раз более властно, а последствия отчуждения в области умственной жизни приобрели более трагический характер, чем когда-либо раньше, привели сегодня к угрозе полной утраты индивидуальности — тому loss of identity, о котором так часто и в разной связи говорят сегодня английские журналисты, критики и писатели.

Для большинства английских интеллектуалов (так себя все более охотно называет сегодня в Англии интеллигенция) вещное воспринимается как неизменное, а трагедия личности — как трагедия человека вообще: в данный конкретный исторический момент и в данных социальных условиях — the human predicament, как опять-таки называют эту трагедию англичане. Далеко не преодоленная «английская нелюбовь к теории», о которой полвека назад писал В. И. Ленин, способствует в немалой мере стойкости подобного убеждения.

В конце 20-х годов один из основателей философии экзистенциализма М. Хейдеггер писал о власти «man» над личностью, капитуляции личности перед стандартом поведения, стандартом мысли, стандартом привычек и вкусов... Интеллигент середины 60-х годов, когда стандартизация жизни возросла в прямой пропорции по отношению к росту техники и «технического оснащения» жизни, попадает под власть «man» значительно больше, чем после первой мировой войны, когда М. Хейдеггер писал свое «Бытие и время». «Обыденный» человек в капиталистическом мире (и «средний интеллигент» тут не составляет исключения), хочет он того или нет, живет «wie man lebt», то есть «как все», ибо так легче и проще.

Интересно, что в двух европейских странах и почти одновременно два писателя, каждый, не зная, возможно, что было сказано другим, горько сопоставили среднего человека-обывателя с сардиной. Это сопоставление применимо и ко многим интеллигентам. «Сардины плывут. Не знают зачем и знать не хотят,— рассказывает старый рабочий в романе Сида Чаплина «День сардины» грустную притчу.— Их вылавливают грудами, они лавиной текут в трюм, трепыхаются и прыгают, пока люк не задраят. А потом их набивают в бочки, везут сюда и здесь укладывают в жестяные гробики голова к хвосту и хвост к голове». Притча кончается еще более грустным обобщением: «Они знают только одно — свою отмель... Вот они и попадаются в сети, а потом в жестянки. Тут им и крышка».

Через три года после выхода «Дня сардины» человека—жертву всеобщей стандартизации — назвал сардиной Альберт Моравиа. Человек сегодня, писал он,— что-то вроде «совершенно одинаковых сардин» или «совершенно одинаковых шведских спичек».

В «государстве всеобщего благосостояния», как и в Италии — другом «обществе благосостояния»,— все подчиняется стандарту: потребности, привычки и даже стремления. Жизненный опыт одного человека

---

* К. Маркс и Ф. Энгельс. Собр. соч., изд. II, т. 3, стр. 440.

почти совпадает с жизненным опытом другого — так, как совпадает марка сигарет, которые они курят. Существование «сардины» затягивает. Живя, как живет сосед и тысячи таких же, как он сам, вокруг него, человек-сардина ни за что не несет ответственности ни перед окружающими, ни перед самим собой.

Но в тех случаях, где уютный комфортабельный гробик-жестянка человека не устраивает и он восстает против засасывающего стандарта, ему зачастую не хватает сил порвать связывающие его путы обыденного и всеобщего, и тогда возникает ощущение раздвоения личности. Все большее число интеллектуалов в Англии, испытывая нечто близкое к ужасу от сознания своей обезличенности и отчуждения, воспринимают свое состояние как начало бреда. Навстречу им еще десятилетие назад пошел Р. Д. Лэнг, объявивший этот бред одной из форм «экзистенции».

3

Почти десять лет как английские интеллигенты молодого и среднего поколения читают Р. Д. Лэнга и обсуждают его книги. Концепция автора «Расщепления личности» и «Политики опыта», молодого еще врача-психиатра, представляющая не что иное, как одну из форм популяризации экзистенциалистской точки зрения в психиатрии *, рассматривается, однако, его сторонниками как крупное открытие в исследовании глубин человеческой души. Говорят и пишут о лэнговском методе «проникновения» (mind opening technique), претворяют его идеи в художественных произведениях.

Рассуждения Лэнга пришлись по вкусу английской интеллигенции, охваченной «скукой» 60-х годов. Подхвачена была мысль автора «Расщепления личности», что психическая норма, в сущности,— всего лишь фикция, поскольку нет якобы точного критерия для отграничения «болезненного» от «нормального». Неврозы, как и психозы, всего лишь разные формы экзистенции, подлежащие наблюдению и изучению скорей, чем лечению.

Объявив на словах войну Фрейду, Лэнг тем не менее на каждом шагу обнаруживает прямую связь с его учением. Психическая «норма», или то, что считается ею, для него результат подавления человеком врожденных инстинктов. Шизофреником может быть объявлен всякий, кому не удалось подавить в себе эти (нормальные) инстинкты и проявить конформизм по отношению к сдерживающему его (и этим ненормальному) обществу. Главный враг человека, по Лэнгу,— семья, первое и наиболее сильное в его жизни орудие насилия над ним общества. Якобы присущие человеку инстинкты для Лэнга (как и для Фрейда) это прежде всего эротические желания, и в их подавлении на ранней ступени развития личности виновата всякая семья, «подавляющая эрос». Человека «насильно социализируют от младенчества», заявил Лэнг в «Политике опыта», опять-таки повторив тем самым общеизвестный тезис Зигмунда Фрейда.

Правда, в своей первой книге («Расщепление личности») Лэнг еще признавал отличие шизофреника от психически нормального индивида, однако тенденцией его теории, последовательно изложенной в «Политике опыта», было убедить читающего, что «опыт» шизофреника (его «экзистенция») такая же норма, как опыт любого человека, не пораженного безумием. «Шизофрения — не более как бирка или этикетка, привешенная одним человеком к другому»,— заявляет Лэнг в «Политике опыта». «Не существует такого состояния, как шизофрения,— повторяет он там же,— но определение это (бирка, привязанная к человеку) социальный факт, а социальный факт — политическое событие». То, что в его терминологии является «политическим событием», случаясь в обществе, «накладывает на человека клеймо врачебного определения и влечет за собой последствия для того, кто таким образом определен» *.

Какой же выход предлагает Лэнг для личности, якобы с малых лет искалеченной семьей и обществом? Объективно все его тезисы читаются как анархический призыв сбросить все связующие человека путы общественных (и, понятно, семейных) связей, переоценить все установленные ценности и формы общественного бытия и преодолеть собственное «я», находя в этом процессе освобождения новую свободную индивидуальность. Как врач-психиатр, Лэнг видит свою задачу в нахождении естественных методов лечения личности, считающей себя нормальной.

Идеалистическая основа экзистенциаль-

---

* Экзистенциальный анализ в психиатрии (или философствующей психопатологии) производное от философии существования и, в частности, от философии Хейдеггера. Для анализа психопатологических расстройств психиатры-экзистенциалисты применяют в психиатрии данные его феноменологии. Для экзистенциальной психиатрии характерно утверждение, что источником идей является не чувственный опыт, а внутренний дух, не зависящий от нервной системы. Для лечения больных психиатры-экзистенциалисты применяют экзистенциальный анализ в форме психотерапии.

Один из авторитетов направления Л. Бинсвангер («Die Formen missglückten Daseins») заявлял, что человек живет в созданном его психикой «эскизе» или «концепции мира» (отсюда термин esquisse du monde). Психоз — одна из «экзистенций». Психически «больные» живут как бы в других мирах по сравнению со «здоровыми», а потому задача врача — изучать того или иного больного с его экзистенцией в конкретном отрезке времени и вместе с существующим в данное время в его сознании миром. См. труды В. М. Морозова и, в частности, его книгу «О современных направлениях в зарубежной психиатрии и их идейных истоках». М., 1961.

* Предлагая вдуматься в «старое этимологическое значение слова шизофрения» (Schiz — надломленный, Phrenos — сердце, душа), Лэнг пишет в «Политике опыта»: «Шизофрения в этом — экзистенциалистском — смысле не имеет никакого отношения к клиническому обследованию, диагностике, медицинскому прогнозу и предписаниям лечения шизофрении» (стр. 107); ср. с определением на стр. 100: такого «состояния», как «шизофрения», не существует.

ной психиатрии Р. Лэнга, эклектически сочетающего мотивы экзистенциальной философии Хейдеггера и Сартра и психопатологии позднего Фрейда, очевидна уже в «Расщеплении личности». В «Политике опыта» Лэнг, развивая дальше свою концепцию, предлагает уже открыто мистическую теорию «трансцендентального озарения» (см. 6 главу «Трансцендентальный опыт»), притом в рассуждениях его есть своя последовательность. Исходя из тезиса «психическое здоровье и психическое заболевание понятия относительные», Лэнг без труда переходит к трактовке безумия как состояния озарения, а безумца — как человека, прозревающего «миры иные» (в его терминологии — истины потусторонние).

«Состояние сумасшествия вовсе не обязательно предполагает болезнь,— заявляет здесь Лэнг,— хотя в нашем ходячем представлении две категории (психической нормы и психической патологии.— *В. И.*) оказались смещенными». И несколько дальше: «Свет, озаряющий безумца,— свет неземной. Это не обязательно результат его жизненной ситуации. Возможно, что его озаряет сияние других миров». Лэнг даже постулирует возможность общения человека с богом, развивая учение о «внутреннем» (истинном) и «внешнем» (наносном) опыте личности. Он пишет: «Вера никогда не была проявлением убеждения в существовании божества (God), но надеждой (trust) на его Присутствие... Видимо, большое число людей в наше время не осознает ни присутствия божества, ни его отсутствия, а скорее томится тем, что его вообще не ощущает».

Глава «Трансцендентальный опыт», завершающая трактат, заканчивается той же мыслью, с которой она начинается: «Пусть никто не воображает, что существует истинное безумие, так же как не полагает, что есть истинное психическое здоровье... То, что принято называть психической нормой (sanity), предполагает в том или другом виде распад (dissolution) личности, наличие «я», искусственно приспособленного к нашей отчужденной социальной действительности: проявление «внутренних» архетипов, выступающих проводниками божественной власти, рождение подлинного «я» в процессе преодоления «я», искусственно созданного, приводит к восстановлению деятельности того «man», которое послужит божественному, вместо того чтобы его предавать».

Учение Лэнга отнюдь не представляет сегодня магистрали английской научной психиатрии. Об этом говорят, в частности, труды Г. Гантрипа, У. Фейерберна и многих других ученых. Некоторые утверждения названных ученых даже нельзя не воспринять как прямую полемику с экзистенциально-фрейдистскими теориями, популяризируемыми Лэнгом.

Так, подавление обществом якобы императивных инстинктов (эроса и агрессии) Г. Гантрип называет «старейшим из тех самообманов, которыми себя тешил человек». Для Гантрипа главная задача не в борьбе с инстинктами, а в преодолении той слабости, того патологического страха перед неустроенностью (ontological insecurity) человека, той пустоты, которую испытывают сегодня люди, их тенденции бежать от жизни, противостоять которой они не видят в себе силы.

Конфликт, переживаемый нередко личностью, Гантрип, в противоположность Лэнгу, видит не в подавлении им эроса под воздействием враждебного общества, а, напротив, в утрате способности нормального общения с другими людьми, характерной для современной общественной ситуации. Нормальные взаимоотношения между людьми — первейшая потребность человека, утверждает Гантрип. И дело вовсе не в удовольствии, которое он при этом испытывает, а в том, что без этого общения нельзя себе представить личность. Важнейшая мысль в рассуждениях Гантрипа идет, таким образом, вразрез со всем тем, что столь претенциозно пытается доказать Лэнг. Человек, как таковой, иначе говоря, Homo sapiens, не может реализовать свои возможности, не общаясь с другими людьми. И напротив — погоня за наслаждением, удовлетворение инстинкта агрессии не норма, а препятствие к достижению этой цели.

Любопытно, что, говоря об окружающем его западном мире и признаках современной эпохи, Гантрип называет их шизоидными. Но если мы, люди этой эпохи, рассуждает он, разделяем некоторые проблемы, стоящие перед психическими больными, то это еще не дает основания к тому, чтобы считать каждую отдельную личность современного мира шизоидной. Гантрип четко разграничивает норму и патологию и отнюдь не разделяет посылку экзистенциальной психиатрии, что опыт шизофреника — одна из форм экзистенции. Для Гантрипа, как и для других представителей английской материалистической науки, существует вполне определимое состояние психической патологии, именуемое шизофренией. Оно имеет свои отличительные признаки, проявления, типологические особенности, выступающие в поведении, ходе мысли, чувствах и реакциях больного.

Примечательно и другое, что Гантрип не только отвергает экзистенциальную философию, всецело определяющую подход Лэнга, но находит в экзистенциальном мировосприятии все признаки шизоидности. Это прежде всего ощущение бесплодности (futility), утраты каких-либо твердых начал, объясняющих экзистенциалистскую тревогу (anxiety, angoisse).

Еще задолго до появления первых работ Лэнга Гантрип (в 1952 г.) писал: «Эти мыслители от Кьеркегора до Хейдеггера и Сартра считают, что человеческому существованию свойственны тревога и неуверенность и лежащий в основе всего страх перед неведомым. Единственное бесспорное

для них — это «ничто», нереальность, непреодолимое чувство бесплодности и бессмыслицы бытия. Что это, как не шизоидное отчаяние... претворенное в философскую систему?» В экзистенциализме, принимаемом таким образом за мироощущение расстроенной психики, Гантрип увидел «симптомы общего психического состояния нашего века». Точнее было бы сказать — современного духовного климата западного мира.

Нетрудно понять, читая книги Лэнга, что автор их зашел в тупик и как врач-психиатр (отказываясь отличать норму от патологии), и как философствующий социолог (отвергая всякое общество на том основании, что оно — источник мнимого подавления личности). В этом смысле вполне обоснована критика концепции Лэнга, с которой выступил летом 1968 года английский психолог Дэвид Холбрук в статье «Р. Д. Лэнг и короткое замыкание смерти».

«Экзистенциалист Лэнг,— писал в ней Холбрук,— выступает сегодня популярной фигурой в европейском психоанализе. Вместе с Трокки, Лири и иже с ними Лэнг сам подсовывает нам на деле не что иное, как шизоидную фальшивку».

Холбрук довольно точно и горько определяет то, что, по его мнению, обусловливает ценность той или другой личности для капиталистического мира: это «стяжательство, ловкость в приобретении материальных ценностей, погоня за обогащением в ущерб накоплению эмоциональных богатств и внутреннего умиротворения». Современное общество, пишет Холбрук, презирает все проявления слабости: «Мы все хотим казаться Джеймсами Бондами, воротилами, ловкачами, взломщиками — чем угодно, лишь бы не слабыми пешками (nobodies)». «Как параноики,— продолжает Холбрук,— мы видим мир лишь с точки зрения тех предметов, которые могут стать объектом потребления, и с точки зрения возможности дать отпор внешним врагам, угроза которых при этом непомерно преувеличена».

Правда, положительные идеи Холбрука не идут далеко и сводятся к довольно расплывчатому гуманизму (который он сам называет «социальным альтруизмом»), но в данном случае важнее та негативная часть его выступления, где критик резко и убедительно идет в атаку против Лэнга и его «логики смерти».

Но несмотря на очевидность преувеличений и парадоксальность мысли, характерных для книг Лэнга, на противоречивость его заявлений в «Расщеплении личности» и «Политике опыта», на очевидный эклектизм этого «учения» (много ли в нем нового?), именно Лэнг и никто другой из современных исследователей психики человека получил в Великобритании (а сегодня и за ее пределами) широкую известность. Именно Лэнг с его mind opening technique читается и обсуждается той частью английской интеллигенции, которая запуталась в железных джунглях современного мира и ищет выхода из его лабиринтов в анархическом бунте против всего и вся: семьи, этических норм, любых форм общества и государства.

Какой бы очевидной, казалось бы, ни была ошибочность точки зрения Лэнга, из которой он исходит в своем учении об относительности (и в то же время универсальности) психозов, Лэнг все же выразил настроения большой части буржуазно-демократической интеллигенции. Это настроения той части английских интеллектуалов, которые восстают против универсальной власти «man» и покорного приятия позиции «быть как все», но не готовы опрокинуть их, опираясь на коллективное действие.

Мотивы из Лэнга легко узнать в творчестве ряда современных авторов. Они подхватывают его тезис о зыбкости границ между нормальным и анормальным и его трактовку отчуждения личности (осознать ее якобы человек может лишь «вернувшись вспять к своим истокам»). Они повторяют за ним его тезис враждебности мира «я» и мира «они», стремятся вслед за ним обличить позицию «будь как все», не предполагающую никакой личной ответственности. «Каждый человек,— пишет Лэнг,— отрицает какую-либо связь с другими, каждый заявляет о своей незначительности: я только выполняю приказ. Если бы не я, его выполнил бы другой. Почему ты не поставил свою подпись? Все другие это сделали и т. д.». Но как и Лэнг, они не делают из этого обличения каких-либо конструктивных выводов.

Истолкование бреда и паранойи как одной из форм экзистенции и безумия, как своеобразной нормы не просто устраивает многих современных авторов: они находят в этой теории («все мы шизофреники») то, что Силлитоу удачно назвал современной формой эскепизма.

4

Душно, серо, скучно в семье Арнольда Миддлтона, преподавателя истории — одного из тысяч таких же преподавателей — в провинциальном городке — одном из тысяч таких же точно городков Великобритании. Он пытается вложить что-то большее, чем от него требует школьная программа, в свои уроки, но не получает желательного отклика, не может добиться понимания. Он приходит домой — стандартный «хоум» со стандартным благополучием — и слышит будничный щебет о пустяках, от которого ему несказанно скучно.

Арнольд Миддлтон покупает манекен, облаченный в латы средневекового рыцаря, и ставит его посреди общей комнаты, где семья собирается по вечерам: он, жена, теща. Этот рыцарь в латах воплощает мир, в который Миддлтон хотел бы уйти от стандартных будней,— это символ его «особости». Но в доме не становится ни лучше, ни светлей. Не лучше и на работе. Напившись, Миддлтон завязывает интрижку с тещей. Почему бы и нет? Все разнообразие!

Такова завязка пьесы Дэвида Стори «Вознесение Арнольда Миддлтона» (1967). Она очень точно — и чуть страшновато — воспроизводит духовный климат «среднего интеллигента» в «государстве всеобщего благосостояния» середины 60-х годов. Когда Арнольд в последнем действии выходит на сцену в тюрбане восточного магната с мечом в руках и провозглашает: «Я бог, я властелин», не испытываешь изумления: поведение его воспринимается как бегство героя в мир собственного безумия от мира безумия коллективного — все, как у всех, все, как ты, стандарт, благопристойность и непереносимая духота. Да и безумен ли Арнольд? Где бред и где норма? — как будто бы спрашивает у зрителя Стори, уже обращавшийся к теме психоза в своем вышедшем пять лет назад очень спорном романе «Радклиф».

Где граница, отделяющая «здорового» Миддлтона первого действия от Миддлтона «больного» — озаренного светом своего «внутреннего опыта» (лэнговские «внутренние истины») и объективирующего в своем поведении мечту о величии, а главное — власти над обстоятельствами?

Еще более душно в семье, похожей на зверинец, молодых Брайана и Шийлы — в пьесе Николса «Один день в умирании Джозефины Эгг» («A Day in the Death of Joe Egg»). Блохи от бесчисленных кошек Шийлы, беспорядок, сквозняки, припадки и вой дебилки Джо... В школе, где Брайан работает учителем, дети доводят его до исступления, дома он впадает в отчаяние при виде собственного ребенка, лишенного каких-либо проблесков сознания.

Брайан кривляется, кричит, паясничает, бросается на жену, наконец пытается умертвить дочь и, не достигнув цели, спасается бегством от близких, а в конечном счете — от самого себя.

В пьесе Николса много мотивов из Лэнга: идеи его либо непосредственно вдохновляли автора, либо, «носясь в воздухе», были Николсом освоены. Несчастье Брайана — его воспитание. Он искалечен матерью. «Большой ребенок! — кричит Шийла во втором действии пьесы.— Большой заянченный ребенок!» Его мать Грейс — типичная английская мещанка, со всеми представлениями ее среды о респектабельности и благопристойности. А за этой «респектабельностью» драматург дает ощутить постыдные страницы в жизни родителей, тщательно скрываемые Грейс, тяжелую наследственность.

Страх и растерянность Брайана перед школьниками, которыми он не может управлять (он не может владеть даже самим собой), влечение к жене и отвращение к «ее» ребенку, жалость и ненависть к Джо, стоящей на пути его эротических желаний,— все это приводит к раздвоению личности и «бунту» против всего того, что мешает удовлетворению императивных инстинктов.

«Шийла, конечно, могла бы втащить меня в зрелость,— рассуждает Брайан.— Если бы не рождение Джо. Я был слишком молод, когда она родилась... Вместо этого я превратился в часть общего зверинца». И Брайан воровато бежит. Куда? Сам он едва ли знает: «Возьму какую-нибудь такую работенку... сторожа в Риджент-парке... или даже лучше в садах Кью»... Он, как, впрочем, и Шийла, типичный «nourotic misfit», о которых сегодня часто пишут английские критики: один из тех психопатов, не принимающих жизнь, но и не способных бороться с нею и бегущих под защиту психозов и бреда.

Душно, серо, скучно и в тех семьях и домах, куда вводят зрителя пьесы Дэвида Мерсера. И в богато меблированной (на средства жены) квартире Делтов («Подходящий случай для психиатра»), и в неряшливом доме Питера и Нэн («На своем коньке»), и в изящной и со вкусом обставленной квартире Джеральда и Моники («Давай убивать Вивальди»). И тем более в мещанском раю Уинтеров («Раздвоение личности»).

Мерсер любит сопоставлять и противопоставлять, развивая параллельно идущее действие, показывая параллельно идущих людей. Этот прием драматурга особенно очевиден в короткой пьесе «Давай убивать Вивальди». Джули и Бен, Моника и Джеральд. Сопоставляя и противопоставляя, Мерсер хочет показать общее. В квартире Бена на окраине Лондона, в сущности, происходит то же, что и в красивом доме Джеральда и Моники в фешенебельном районе столицы. Одна и та же духота. Одни и те же, хотя и по-разному подавляемые до времени инстинкты. Одна и та же расплата Разные «экзистенции», только и всего. Границы нормы и ее нарушения такие же зыбкие, как у Стори и Николса, только Мерсер в своих пьесах недвусмысленно и прямо об этом говорит. Догадываться ни о чем не надо: в пьесе «Раздвоение личности» дается почти клинический анализ процесса раздвоения сознания героини. И его причин — опять-таки по Лэнгу. Даже с текстуальными совпадениями.

В «Чаепитии в воскресный день» шизофреник Николас сбежавший из психиатрической больницы, является на чашку чая в благопристойный дом преданной ему подруги Бидди и топором разрубает всю мебель. Джеральд — в «Давай убивать Вивальди» — всегда сдержанный и корректный чиновник с солидным положением, не выдержав психологических разговоров с Моникой, аккуратно вонзает ей кухонный нож в самое сердце. В той же пьесе Бен уродует ножом лицо своей подруги Джули, подозреваемой в неверности. Все тот же кухонный нож летит в миссис Уинтер («Раздвоение личности»)... Человеческая натура, инстинкт просятся наружу. Довольно знакомый мотив, но обработанный на современный лад.

В. ИВАШЕВА

В ДЕБРЯХ АБСУРДНОГО МИРА

«Один из наиболее многообещающих драматургов авангарда», «молодой, талантливый автор», «человек, знакомый с современными течениями европейской драматургии»... Так характеризуют Дэвида Мерсера английские театральные критики и издатели его пьес в аннотациях от редакции. Дэвид Мерсер, впрочем, уже не так молод (ему около сорока), и сегодня он прочно занял одно из первых мест среди английских драматургов, успешно соперничая с Осборном. Еще два-три года назад его стали называть лидером «второй волны» на английском театре — это совпало с началом постановок его пьес в Вест-Энде. Фильм «Морган», снятый по его собственному сценарию «Подходящего случая для психиатра», обошел в 1965 году все экраны Великобритании и закрепил его известность.

Выходец из рабочей среды, сын йоркширского шахтера, Мерсер не дает забыть о своих социальных «корнях»: почти во всех пьесах его есть герои с большой «автобиографической нагрузкой». В трилогии «Поколения» — прототип героя сам Мерсер. В «Подходящем случае для психиатра» Морган, в «На своем коньке» Питер, в «Чаепитии в воскресный день» Николас — тоже молодые люди, вышедшие из рабочей среды. Мерсер на театре — запоздалый драматургический вариант «рабочего романа». Много тех же примет: первая пьеса Мерсера почти целиком написана на диалекте. Тот же по облику герой.

Мерсера в Англии до сих пор называют драматургом социального протеста. Но протест этот очень ограничен, а идеалы, как и представления Мерсера вообще, чрезвычайно путаны. Нэн — жена романиста из рабочей семьи, получившего известность («На своем коньке»), говорит об идеалах Питера как о чем-то «близком к коммунизму», но считает нужным пояснить, что «иллюзии он, конечно, давно утратил». Жаргон, хорошо знакомый каждому, кто читал выступления ревизионистов современного Запада!

Тут и там выпады против колониализма («Вдова губернатора») и расизма (там же): так, леди Боско трудно разуверить в том, что если солнце Британской империи еще и не зашло, то лишь из страха навлечь на себя ее — леди Боско — неодобрение... Насмешки над чиновниками колониальной службы, их расистскими предрассудками... Тут и там разбросанные выражения протеста против гонки вооружения и угрозы атомной войны, Не очень много. Об антифашистской теме всерьез можно говорить лишь, пожалуй, в «Парашюте», хотя намечена она уже в трилогии «Поколения».

Все герои Мерсера шизофреники. Они либо бегут из психиатрической больницы, как Николас, и водворяются в нее обратно, либо попадают в нее, как Морган или Китти («Раздвоение личности»). Другое дело, как шизофрению трактует автор. Подтекст Мерсера: «больные», если это болезнь,— намного человечнее здоровых, а больными их сделали люди — семья, общество, строй. Они поступают и думают «нормальней», чем так называемые «здоровые»: Николас рубит вещи, поработившие человека, держащие его в своей власти. Но его недаром полюбила Бидди: он добрый и нежный в одном из своих существ. Ему мерещатся добрые звери — «добрый безвредный и улыбающийся леопард...» «Было бы нелепо, если бы я заявил об особой *мистике* безумия,— говорит Николас... если бы я вам сказал о божественности идиотизма и святости мучимых безумием». Именно это утверждает Лэнг в главе «Трансцендентальный опыт» своей «Политики опыта».

Безнадежно больна Кейт Уинтер, в чем, как считает Мерсер, повинны родители, воспитавшие в ней «не человека, а мертвеца». Опять Лэнг, цитирующий Сартра: «запрячьте ребенка в кожу мертвеца и посмотрите, какие будут последствия». Бесконечные запреты. Узда на инстинкты, в конечном счете всегда сексуальные. В девятой сцене в репликах миссис Уинтер (она рассказывает психиатру, какая хорошая была Кейт ребенком — послушная, тихая, покорная — и какой стала теперь) дается не что иное, как конспект «Раздвоения личности» Лэнга, комментария автора к записанным им самим историям болезней. Во второй сцене даже воспроизводится один пример, приводимый Лэнгом в «Политике опыта» (глава 4, «Мы и Они»).

И здесь же, как и в других пьесах, Мерсер, следуя за Лэнгом, впадает в противоречие, которое и определяет двойственность его творчества, идейного направления, в котором идет драматург.

Он безусловно очень остро ощущает несправедливость и бездушие окружающего мира, его автоматизм, безразличие к отдельной личности — трагедию того мира, где не вещь для человека, а человек для вещи. Превосходно показан контраст между людьми с горячим сердцем и манекенами, живущими «как все», в «Чаепитии в воскресный день» (Николас и самодовольные Айан и Робин, Бидди, полюбившая Николаса, и ее подруги Кристин и Сю). С большой силой показан бред Кейт, рожденный жизнью («Раздвоение личности»): «Мне начинает казаться, что я — машина. Все ее части и винтики жужжат и тикают, но это не я. Это *вещь*. И она *вне* меня. Впрочем, мое «я», которое вне машины, тоже не человек».

Кейт то ощущает себя частью этой бесчеловечной и безликой машины, которая безостановочно работает и шумит за пределами ее внутреннего «я», но вторгаясь в него, его разрушает, то ей мерещится, что она сделана из стекла — вот-вот разобьется.

Увлечение Мерсера Лэнгом родилось в процессе поисков подлинной человечности. Но нашел он совсем не то, что искал, и объективный смысл его пьес неожиданно страшен: вырываясь из-под власти стандарта, машины, герой Мерсера берет нож. Человек начинает оборачиваться зверем. Отсюда и натурализм в пьесах Мерсера.

Его «мистика» безумия не что иное, как освобожденный инстинкт. В символическом плане все это очень ясно выступает в «экспериментальной» пьесе «Вдова губернатора».

Леди Хэриет Боско — вдова губернатора одной из британских колоний, добившихся самостоятельности. В ее отдаленный от жилья бунгало забредает из джунглей горилла, и леди Хэриет — женщина пожилая, выживающая из ума — принимает ее за мужа, умершего полгода назад. Возникающие ситуации неотразимо смешны, но пьеса совсем не безобидный фарс, а целая философия в гротескно-аллегорических образах.

Грубость, сексуальная ненасытность мужа (гориллы) и противоестественная сдержанность леди Боско, привыкшей подавлять инстинкты, противопоставлены. Она берет ружье и убивает гориллу («мужа»), пожелавшую воспользоваться супружескими правами. Так ли это смешно? Смысл конфликта в этой пьесе становится понятным в контексте всего творчества Мерсера. Губернатор-горилла—гротескное воплощение всевластного инстинкта, леди Хэриет — искусственного человека-истукана, искалеченного общественными запретами. Выстрел леди Боско в мужа-гориллу — акт самообороны. Смысл пьесы — недобрая насмешка над существом с «подавленными инстинктами».

Английский критик Брайен, рецензируя спектакль («Вдова губернатора» была поставлена в Олдвиче осенью 1965 года), назвал Мерсера «авангардистом» и так определил содержание этого явления: «Авангардизм сегодня—это наркотик. Может быть, и нужно иногда облегчить страдания умирающей культуры и придать ей смелость умереть. Но, как всякий наркотик, он может войти в привычку. И спекулирующие на нем становятся рабами того магического средства, которое продают».

Некоторые из авангардистов предпочитают Театр Парадокса, другие Театр Протеста, продолжает Брайен. Одни стремятся изолировать человека, освободив его от пут общества и «показав спрятанного в нем зверя, поставить его лицом к лицу со смертью». Другие отвергают культ индивидуального и хотят изобразить человека «как одного из безличных миллиардов муравьев, ползущих по истории». Но все авангардисты, кто бы они ни были, стремятся прежде всего потрясти. А для того, чтобы этого достигнуть, они все больше увеличивают дозы, не замечая того, что эффект от этого уменьшается. Пьесы Мерсера порой смешат, но всегда эпатируют и бьют по нервам. Доза «авангардистского наркотика» в них действительно велика, и лэнговское начало в большинстве из них превалирует.

5

Тема психоза определила содержание романа Колина Уилсона «Стеклянная клетка», и это не могло удивить: образы психопатов, проблема психической патологии волнуют автора давно. Впервые она наметилась в «Мире насилия» (1963), в «Необходимом сомнении» (1964) получила неожиданное развитие.

«Стеклянная клетка» — художественное исследование поступков и поведения тяжело больного параноика. Десять лет назад убежденный последователь Камю и один из наиболее известных английских экзистенциалистов, автор «Клетки» сегодня очень далек от экзистенциальной трактовки психозов вообще и совершенных в параноидном бреду поступков Сандхейма в частности. Ученый Дэмон Рид, случайно вовлеченный в поиски убийцы, устрашающего даже Скотланд-ярд, найдя его, констатирует болезнь и высказывает прогнозы ее дальнейшего течения. Состояние садиста Сандхейма для него не одна из возможных «экзистенций», а тяжелая патология, требующая лечения. Как показывают его «Паразиты мозга», роман, вышедший вскоре после «Стеклянной клетки», психические болезни и психически больные интересуют сегодня Уилсона в связи с его далеко идущими размышлениями о работе человеческого мозга и его возможностях.

Склонность к философским раздумьям не была характерной для автора «Спеши вниз» и «Убей отца». Уэйна всегда глубоко волновала психика человека, но, до последнего времени, психика человека вполне нормального. Вместе с тем логика рождения темы, даже скорей мотива безумия в его психологическом, а в подтексте и социальном романе «Меньшее небо» (1967) — вполне ясна.

Роман оставляет неизгладимое впечатление своей трагической простотой: никакой игры в прятки с читателем, никакой зашифровки и ребусов. Эпизод, рассказанный Уэйном, написан сдержанно, лаконично, местами даже намеренно скупо. Содержание его — гибель человека и ученого, не выдержавшего напряженного автоматизма современного мира и бездушия искалеченных им людей, живущих и мыслящих, как машины.

Может быть, именно в силу той сдержанности, с которой ведется повествование, трагедия Джири особенно волнует. Во всяком случае заставляет додумывать многое из того, что не сказано и даже не намечено в книге.

Джири бросает лабораторию, не окончив исследования, оставляет жену и ребенка и бесследно исчезает. Его поступок необъясним: Джири всегда был такой же, как все, никаких странностей, никаких, казалось бы, серьезных отступлений. Куда и почему он бежал? Отчего и зачем? В завязке намечено многое, хотя не с нее начинается книга.

Мы встречаемся с Джири впервые на одном из вокзалов английской столицы. Но он никуда не уезжает: напротив, вокзал для него не начало, а конец пути. Здесь, в анонимности непрестанно сменяющихся люд-

ских масс, состоящих из столь же анонимных единиц, Джири находит покой и возможность существовать и дышать, не задыхаясь. По ночам чистенький номер в привокзальной гостинице, днем — неторопливые прогулки по перронам, кружка пива в привокзальном баре, обед в привокзальном ресторане...

Началось с барабанов в ушах, барабанов, раскалывавших череп. Их бой преследовал ученого за работой, звучал еще громче в уютном «хоуме», где царствовала его благопристойная жена — классический образец буржуазной респектабельности. Но барабаны были лишь поводом. Причина лежала глубже, и о ней автор не говорит, но, описывая людей, судачащих о пропавшем, позволяет догадываться. Барабаны в ушах и мозгу замолкают на вокзале, где Джири находит покой, скрывшись от назойливого вторжения в его жизнь посредственности и стандарта.

В контексте сменяющихся глав (то Джири на своем вокзале, то те, от кого он бежал в их повседневной жизни) читатель ощущает причину «болезни» Джири. Да и болезнь ли это в настоящем — научном — смысле этого слова? Джири бежал от господства вещей, от стандарта служения вещам. От бездушного стандарта технического прогресса ради прогресса, от бездушного комфорта и стабильности своего дома и семьи. Он, конечно, любит сына, но даже Дэвид, нашедший отца на вокзале (образ ребенка решен превосходно), не в силах вернуть Джири в ту тесную душную клетку, из которой он безвозвратно вырвался и ушел.

Впрочем, счастье Джири оказывается хрупким, и финал его трагичен. Спасаясь от объектива телекамер и теснящих его со всех сторон операторов. Джири погибает: его преследует Суортмор, растленный карьерист, для которого Джири — прекрасный «материал» для телерепортажа. Смерть Джири трагична, как всякая гибель человека, бегущего от опасности, а не встающего к ней лицом. Но перед смертью Джири открывается то, что он долго искал ощупью.

Стараясь уйти от Суортмора и его бригады операторов, Джири взбирается на металлические крепления стеклянного купола над железнодорожными путями. Он стоит без движения и дышит очень тихо. На него мягко падает снег с «очень мягкого и озаренного неба». Джири по-новому видит это небо, «наслаждаясь его жемчужной красотой». «Небо показалось ему каким-то необычно большим и необычно ласковым. Никогда Джири не видел его таким. И внезапно он почувствовал, что вокзал ему больше не нужен»... Захотелось ходить свободно под этим огромным сводом и свободно смотреть в него, свободно получать его дары: «Вокзал был ему необходим тогда, когда он (Джири) нуждался в меньшем небе, покрывающем его, как удобная крышка. Теперь ему нужно было большее небо, неизмеримая щедрость пространства».

Он хочет, он должен бежать куда-то, «где небо необъятно, тогда барабаны замолкнут». Но Джири уже подстерегает смерть. Глядя в небо, он ложится навзничь на стекло купола и проваливается вниз на стальные рельсы железнодорожных путей. Ломает позвоночник и череп. Смерть наступает почти мгновенно.

Роман кончается символическим описанием — скупым и выразительным. В предсмертной конвульсии Джири дернулся и рухнул на рельсы лицом вверх. «Его темная фетровая шляпа, скатившись с головы, легла рядом с ним и смотрела в небо, как кружка просящего подаяние». Когда Джири скончался, «замолчали барабаны, а снег продолжал идти».

Как ни странно, роман Уэйна лишен щемящего пессимизма и тем более фатализма. Вместе с тем это горькая констатация неизбежного: рванувшись к неведомым просторам, Джири должен был погибнуть: он вступил на стекло. Был ли Джири безумен? Едва ли, отвечает один английский критик, рецензируя роман. «Джон Уэйн показал,— пишет он,— как просто иногда наклеить на человека ярлык сумасшествия». Это замечание справедливо, но вывод не так прост. Едва ли действительно «Меньшее небо» — роман о безумце. Скорей это книга о безумии, порождаемом определенными условиями жизни (что не равнозначно), лирический рассказ о человеке, задохнувшемся в душной клетке стандартного мира. Он потянулся к большим просторам, но, не дотянувшись до них, погиб. Уэйн не видит сейчас иного выхода, хотя сочувствие его, понятно, на стороне героя.

6

Тема безумия есть и в новой книге Нормана Льюиса — этого лаконичного и беспощадного обличителя американской экспансии, американских методов колонизации, американской секретной службы. Откуда она у автора «Вулканов над нами» и «Зримой тьмы»?

А впрочем, может быть, именно Льюис и дает неожиданно ключ к разгадке смысла и происхождения этого все более широкого интереса к психологии безумия.

Вспоминаешь «Вулканы над нами»: аккуратные, чистые до больничной белизны асептичные дома для индейцев, насильно приобщаемых к американскому образу жизни мистером Элиотом — аккуратным и вежливым управляющим. Разве индейцы не голосуют против этого больничного рая и стандартного благополучия своеобразным путем — внезапно начав вымирать? И разве портрет Бильбао не меняется от месяца к месяцу на глазах жителей несчастной страны, превращенной в латифундию Соединенных Штатов Америки? Безумный мир, в котором человек теряет все человеческое, а в белоснежном проступает зелень тления и плесень. Недаром так грустно бывает по вечерам в Гвадалупе, где сдают нервы и охватывает неизъяснимая тревога, а цветы наполняют воздух «одуряющим кладбищенским ароматом».

О своей книге «От руки брата твоего» автор ее Норман Льюис сказал мне в свое время: «Я писал ее, сам не зная, почему ее пишу. Не знаю я и того, почему должен был ее писать. Причем должен был писать именно так, как писал».

Норман Льюис убежденный материалист, человек, не приемлющий ничего, чего не может объяснить его трезвый разум. Его признание может поначалу удивить, вместе с тем в нем нет ничего идущего вразрез с представлением о личности автора многочисленных политических романов, обличающих империализм и империалистическую агрессию. Н. Льюис ощутил на этот раз необходимость вылить в художественные образы кое-что из того, что давно тяготило его память, жило в его воспоминаниях. Он обобщил наблюдения и впечатления давних лет. В этом (но только в этом) смысле роман автобиографичен.

«От руки брата твоего» — роман об Уэльсе и валлийцах, о «валлийском характере», каким его понимает Н. Льюис—сам валлиец.

Трагические события назревают и развертываются у подножия Пен-Гофа — зловещей горы в районе западного Уэльса, как бы символизирующей проклятье, наложенное природой и историей на нравы и жизнь края. Нигде прежде мастерство Льюиса в выборе образных средств, красок и их оттенков не было столь тонким и столь совершенным, как здесь, в изображении ландшафта, знакомого ему с детства и с детства, пожалуй, в равной мере и любимого, и ненавистного. Но этот ландшафт не простой «фон», и как таковой никем не воспринимается.

Люди края — недобрые люди, живущие как бы в тени Пен-Гофа,— даны так же превосходно, как и пейзаж, который их окружает. Прекрасно даны местные характеры — характеры людей, которых Льюис знает с детства. Автор не питает к ним каких-либо сентиментальных симпатий, готов понять все то, что в них отталкивает.

«В моей книге не будет политики»,— говорил Льюис, создавая роман. «Политики» в том смысле, в котором она кричит со страниц «Вулканов над нами» и «Зримой тьмы», конечно, здесь нет, но в подтексте ее сколько угодно. Убежденный антирасист и антиколониалист, Льюис и здесь остается с первых страниц верен себе.

Подобно богу в романе Грина «Суть дела», «полюбившему человека, зная о нем худшее», Льюис нарисовал валлийцев такими, какими узнал их с детских лет — с их пороками и слабостями, но не без учета причин, сделавших их такими. Он ничего не утаил, ничего и не приукрасил, но и не сгустил краски. Все взвесил и помог верно понять.

Из года в год, из столетия в столетие обреченные заранее на поражение земледельцы дрались за то, чтобы вырвать себе пропитание со склонов горы Пен-Гоф. Их гнало к вершине непреодолимое, но самоубийственное стремление к земле, которая, казалось, сама предлагала себя и заманивала. Земля на Горе ничего не стоила, но это становилось понятно лишь после того, как по ней проходил плуг. Под гипнозом края земледельцы Пен-Гофа превращались постепенно в особую породу людей. Они так привыкли к тяжелому труду, что почти перестали ощущать физическую боль и огромное напряжение. Они замыкались в себе, поздно заключали браки и мало плодились, а друг с другом разговаривали, как сторожа маяков — односложно и знаками.

Книга Нормана Льюиса — глубокое исследование психологии двух братьев, один из которых («здоровый») охвачен неистребимой ненавистью и злобой к другому («больному»), замышляет и почти осуществляет его гибель, но сам погибает.

Перед титульным листом книги стоит строчка из Библии: «...я взыщу... душу человека от руки человека, от руки брата его... Кто прольет кровь брата...» Смысл названия, таким образом,— «пролитая кровь взыщется».

Н. Льюис рассказывает об огромном числе книг по психиатрии, прочитанных им в процессе создания романа, о том, как он часто консультировался с учеными-психиатрами, создавая роман, который получил в конечном варианте их одобрение.

Здесь нет никакого любования патологией, никаких излишеств, столь знакомых по книгам многих модернистов современного Запада. Книга эта что угодно, но не натуралистическое исследование «истории болезней» Ивена и Брона Оуэнов. Брон — это глубоко несчастный человек тяжелой судьбы, в которой в конечном счете виновен формализм закона и черствость и безразличие к людям. Молодой валлиец из Морфа, отбыв пятилетний срок тюремного заключения (за преступления, которые не помнит и совершил в полубреду), разыскивает своего единственного брата Ивена, переселившегося после смерти их матери в район Бринарона близ горы Пен-Гоф. На деньги, полученные по завещанию, из которого Брон был вычеркнут как пропавший без вести, Ивен покупает ферму и женится на Кэти, девушке намного моложе себя. Доктор Гриффитс (по слухам, не только бывший любовник матери, но и, вполне возможно, отец Брона) предупреждает Брона в Морфе о том, в силу каких обстоятельств и по чьей злой воле молодой человек оказался фактически нищим и обездоленным. Но Брон — преступник в глазах людей и закона — не питает зла к брату: он не злопамятен и не корыстолюбив, покладист и добр. Разыскав брата в Бринароне, младший брат протягивает перепуганному старшему руку дружбы и доверия, ничего не требуя и ни в чем не упрекая.

До середины шестой главы образ Ивена вызывает недоумение, временами кажется даже неудавшимся. Поступки и реакции его поначалу не убеждают. Скупой и жадный, набожный до ханжества, недобрый и замкнутый, этот ревнитель Христовой веры по-

---

В. ИВАШЕВА

В ДЕБРЯХ АБСУРДНОГО МИРА

ступает не в духе своего характера, впуская к себе в дом и даже «в долю» им же самим обманутого и обиженного брата, отбывавшего наказание за покушение на убийство... То, что может показаться слабостью рисунка, оказывается постепенно проявлением сложности характера. Глаза Ивена теплеют и голос становится мягче в присутствии Кэти — молодой жены. Быть может, обрадованный поворотом, который приняло дело, Ивен предлагает Брону кров, всяческую помощь, владение фермой на равных с ним началах. И встреча, оказанная вначале Брону,— отнюдь не ловушка.

Впрочем, участие и симпатии читателя вызывает не «правильный» Ивен, а Брон — недавний заключенный, «преступник».

Выпущенный на свободу совершенно беспомощным, Брон скоро оказывается вновь во власти страшного недуга (лобальной эпилепсии). Он совершает странные поступки, которые тут же забывает, а следовательно, не может объяснить ни себе, ни другим. Внезапное посещение спальни Кэти... Брон так и не понял, что там произошло, как он не понял реакции Ивена и все последующие события... И наконец все то, что было в кухне: ссора и драка с Ивеном. Его исчезновение.

Напряжение действия после исчезновения Ивена возрастает. Кольцо подозрений вокруг Брона сужается. Затравленный полицией, привыкший не доверять себе, убежденный врачом-психиатром в своей невольной виновности, Брон подчиняется неизбежному и принимает как должное «мягкий» приговор — пожизненное заключение в тюрьме для душевнобольных. В глазах людей он убийца брата. Верит в это и сам «убийца».

Но как в общую картину романа и личную судьбу Брона вписывается его «здоровый» брат Ивен, начинаешь до конца понимать, только дочитывая последние три-четыре страницы романа.

Темный подвал в душе Ивена приоткрывается лишь ненадолго в главе шестой и снова надолго закрывается. Когда старший брат исчезает, проблема кажется снятой. И только в конце книги автор предоставляет читающему вершить суд над «здоровым» и «праведным» братом.

Разгадка обоих характеров дается за три страницы до конца романа. Пожизненно заключенный в Нортфильдс «преступник» Брон узнает о внезапной кончине брата, ушедшего в горы и работавшего на чужой ферме под чужим именем. Он оказался способным на высшее для него самоотречение — отречение от благ земных во имя мщения и ненависти, но кровь брата, которую он хотел пролить, взыскалась. Так кто же больной и кто здоровый, кто праведный и кто преступный? Кто Ивен—злой, как дьявол, возлюбивший месть и ненависть выше всего,— здоровый или тоже больной?

Н. Льюис действительно обратился, как и другие английские авторы, к теме безумия, но эта тема в его романе прозвучала по-своему и получила глубокое социальное звучание, и притча, как бы заключенная в его книге, в отличие от Уэйна, содержит суровый авторский приговор.

7

Весной 1966 года страшный процесс, происходивший в Честере, глубоко взволновал общественное мнение Великобритании. Судили Айана Бреди (27 лет) и его сожительницу Эстер Миру Хиндли (23 года), совершивших несколько чудовищных убийств несовершеннолетних, связанных с другими противоестественными злодеяниями.

Как во время процесса, так и после того, как был вынесен приговор, публицисты, писатели, психологи, врачи долго обсуждали в печати вопрос о психической вменяемости преступников. Памела Хэнсфорд Джонсон, присутствовавшая на суде от газеты «Санди телеграф», опубликовала в марте 1967 года публицистическую книгу «Кто виноват»* — отчет об этом страшном процессе «преступлений на болотах» и свои соображения о причинах возможности их возникновения. Книга нашумела и вызвала бурную дискуссию в связи с предложенным Памелой Хэнсфорд Джонсон объяснением.

Я вспомнила здесь о книге Памелы Хэнсфорд Джонсон не для того, чтобы вступить в уже затихшую дискуссию по поводу того, права ли была писательница в своем анализе причин, сделавших возможными «преступления на болотах»: процесс в Честере лег в основу одного из эпизодов нового романа Ч. Сноу «Уснувший разум», вышедшего в самом конце 1968 года. Он определил главную тему книги и ее заглавие.

Нетрудно заметить, что прототипами Коры Росс и Китти Пейтмен — молодых лесбиянок, совершивших чудовищное убийство восьмилетнего мальчика, предварительно замучив его до полусмерти,— послужили Бреди и Хиндли, точнее, прообразом эпизода судебного разбирательства этого преступления послужил процесс 1966 года в Честере. Роман писался в 1967 году под свежим еще впечатлением нашумевшего процесса и был вкладом известного писателя в полемику, которую вызвала книга его жены Памелы Хэнсфорд Джонсон. Но приковывает внимание другое: писатель, неизменно шедший в эстетическом русле традиции классиков, многократно и последовательно выступавший против любых форм и проявлений модернизма и его идей в литературе, не остался, как показывает его новый роман, вне воздействия своеобразного «духа времени». В этой новой книге Сноу появились мотивы, буквально висящие в воздухе сегодняшней Англии и совсем не характерные для его творчества в предыдущие годы. Сноу всегда был далек от экзистенциальной философии. Я сомневаюсь в том, читал ли он книги Лэнга, но последнее и не существенно, так как не идеи Лэнга определяют литературный климат, а, наоборот, определенный «климат», идеи, носящиеся в воздухе 60-х годов, выдвинули Лэнга.

* См. журнал «Иностранная литература» № 8 за 1967 г.

Читаем третью часть книги, главы, изображающие процесс над Росс и Пейтмен. Психиатры, вызванные на процесс, спорят по вопросу о вменяемости подсудимых. Ученый-эксперт Корнфорд, привлеченный защитой, после длительного выступления внезапно останавливается, затрудняясь ответить на прямой вопрос прокурора, можно ли считать обеих женщин «столь же ответственными за свои поступки, как нормальных людей». «Меня несколько смущает термин «нормальный»,— говорит, запинаясь, Корнфорд и оставляет вопрос по существу без ответа. Несколько дальше читаем: «Скажи,— спрашивает Льюиса Элиота его брат Мартин,— они обе сумасшедшие?» «Я не уверен, знаю ли я, что такое сумасшествие»,— отвечает Льюис, в данном романе, бесспорно, сам Сноу.

Присутствуя на суде, Льюис и Мартин Элиоты, потрясенные тем, что́ на нем предается гласности и обсуждается, много говорят о проблеме свободного выбора и границах индивидуальной свободы. Вопрос этот явно волнует автора, и ему уделено много внимания и страниц. «Что такое свободный выбор?» — размышляет Льюис. И возможен ли он вообще? Все мы ведем себя так, как будто он существует. Как будто.

Рассуждения Сноу в этом направлении идут далеко. Он мысленно возвращается к тем теориям, которые слышал в молодости — в далекие предвоенные годы (это теории Пэссента — главного героя первой части «Чужие и братья»). В свое время было много разговоров о безграничности личной свободы. И о том, что не может быть каких-либо запретов и препятствий на пути ее осуществления. Брат Льюиса Мартин вспоминает идеи Пэссента — их общего учителя: «Что может связать меня, кроме меня самого? Мне одному надлежит решить, что я приемлю и что себе разрешаю. Почему я должен подчиняться условностям, которые сам не устанавливал?» Мартин считает нужным заметить: «В этих словах Джорджа не было ничего от Ницше». Но так ли это на самом деле? Сама оговорка симптоматична. Волюнтаризм Пэссента недаром оставляет впечатление чего-то давно известного. Сами собой у читающего приходят сопоставления идей Пэссента с идеями Ницше. И Сноу недаром прибавляет: «Он (Пэссент) был наивен, утверждая, что существует некое «я», которому все дозволено в его беспредельной свободе».

Мартин Элиот теперь сомневается в справедливости принципов своего старшего друга и учителя, которые в молодости слепо разделял: между их молодостью и зрелостью легла вторая мировая война. И она показала реальную цену, заплаченную за идеи, высказанные Ницше. Автор задается вопросом о том, не повинен ли моральный климат, некогда созданный Пэссентом в городе, где происходит суд над двумя садистками, в том, что там были совершены поступки, продиктованные убеждением, что «все позволено». Ответ Льюиса поражает своей двойственностью: «Я не знаю ответа на этот вопрос. И знает ли его кто-нибудь?» Ближе к концу книги автор заключает: «Разум... Разум оказался очень слабым по сравнению с инстинктом. Инстинкт был ближе к первозданному хаосу, из которого вышли мы все».

Сноу не произносит приговора, не высказывает сколько-нибудь прямо свою оценку того, что показывает, хотя эта оценка как будто и подразумевается. И дело здесь не в эстетических принципах романиста, предпочитающего предоставить слово героям, а в чем-то другом: уверен ли автор сегодня в незыблемости моральных санкций и границах дозволенного? Элиот говорит о преследующем его порой чувстве вины и о власти подсознания, тех чувств и реакций, которые это подсознание диктует даже ему — трезвому Льюису Элиоту.

Несколько раз Льюис возвращается к мысли о том, что многое в нем самом и двойственно, и противоречиво. Эта двойственность испугала его, когда он присутствовал впервые на демонстрации документального фильма об Освенциме после войны. Страшные документы человеческого озверения отталкивали и ужасали его и в то же время чем-то постыдно притягивали. Притягивали под давлением каких-то темных импульсов, шедших из глубин подсознания. Что они — присущи человеческой природе? И что происходит с Элиотом? Расщепление личности? Убеждение в присущем якобы человеку от природы садизме или мазохизме, о чем так много пишут сейчас в Великобритании, да и за ее пределами?

Смысл этого копания Льюиса в самом себе во всяком случае очевиден: мы все до известной степени в чем-то виновны, мы все можем оказаться (мысленно, во всяком случае) соучастниками даже самого чудовищного садизма, даже самой страшной патологии... Так Сноу включается — по-своему, конечно, и сдержанно—в «mind opening», которому предаются другие, столь непохожие на него английские писатели и драматурги.

Чем-то — при всем отличии этих книг и их авторов — «Уснувший разум» напоминает «Повелителя мух» Голдинга. Задачей Голдинга, неоднократно им декларированной, было предостеречь человечество, показав ему то страшное, звериное, что таится якобы в его «природе». «Уснувший разум» тоже предостережение. «Повелитель мух» был написан участником второй мировой войны, потрясенным зрелищем фашистских злодеяний. Роман Сноу написан почти через четверть столетия после окончания войны, но в памяти автора преступления фашизма не стерлись. Нельзя пройти мимо тех ассоциаций, которые диктует Элиоту его подсознание: поступки садисток Коры Росс и Китти Пейтмен — таких обычных на вид «средних» молодых женщин сегодняшней Англии — заставляют его вспом-

---

В. ИВАШЕВА

В ДЕБРЯХ АБСУРДНОГО МИРА

нить фашистские лагеря смерти и людей — на первый взгляд таких же обычных,— хладнокровно производивших истребление себе подобных. «Преступно забывать. Мы забыли слишком многое»,— взволнованно говорит Мартин Элиот брату.

Сноу ищет разрешения этической проблемы и проблемы человечности и как будто подходит к ее решению. «В другом обществе, более строгом и управляемом, может быть, подобных преступлений было бы меньше. Более того, такое общество, может быть, свело бы к нулю возможность их возникновений». Но ни Льюис, ни Мартин Элиот не уверены в этом, да и ни в чем не уверены до конца.

8

Широта распространения темы психозов и неврозов в литературе 60-х годов, продиктованная определенным психологическим климатом на Западе, заставляет поставить вопрос об общественном резонансе этого «ухода в психозы».

Если книга Нормана Льюиса «От руки брата твоего» говорит о наличии больного, патологического, громко утверждая здоровое; если книга Силлитоу («Дерево в огне») помогает осознать всю трудность борьбы одиночек с «безумием» капиталистического мира (в романе это безумие мира английского), если, наконец, «Меньшее небо» Джона Уэйна — констатация отчужденности современного человека, могущей довести до безумия, то пьесы Мерсера, Д. Стори, Николса — нечто качественно иное.

От садистских кривляний и игры с ножом в пьесах Мерсера — в пьесе «Давай убивать Вивальди» это уже не игра, а самое настоящее, притом хладнокровное убийство — до садизма Бреди и Хиндли и «убийств на болотах» всего один шаг. Патология, свободная отдача себя на волю инстинктов и прославление — реабилитация — их власти над человеком, мотив «все позволено», куда они в действительности приводят? И как действуют инстинкты, «когда разум спит»? Каков *объективный* общественный резонанс этих книг о безумии и безумцах, психопатах, невротиках и истериках в той сложнейшей обстановке международных конфликтов и противоречий, в которой мы живем сегодня?

Разве покончено с угрозой фашизма сегодня, через четверть столетия после победы над фашистской Германией? Возможность возвращения фашизма в этом мире «государств всеобщего благосостояния» и «экономических чудес» не исчезла. Но вот климат, в котором фашизм возвращается и который его питает, всегда один: это климат насилия, садизма, агрессии, это сумерки, когда разум спит.

Я далека от того, чтобы искать прямых параллелей, говорить о *прямых* связях и *прямой* преемственности. Говорить так—означало бы непростительно упрощать вопрос. Но каков общественный «выход» темы безумия, куда приведет пропаганда лэнговского принципа «безумие и норма — где их граница»? Восстание против семьи, общества, государства — притом всякого — во имя свободного проявления «естественного человека», иными словами, во имя свободного проявления инстинктов — это восстание опасное. Думается мне, обращение к теме психозов в литературе Великобритании во многих случаях не только своеобразный эскепизм, как полагает Силлитоу.

В. И. Ленин, говоря в работе «К характеристике экономического романтизма» о теориях Сисмонди и Прудона как о теориях реакционных, подчеркнул в сноске, что термин «реакционный» употребляется им в *историко-философском* смысле, «характеризуя только *ошибку* теоретиков, берущих в пережитых порядках образцы своих построений. Он вовсе не относится ни к личным качествам этих теоретиков, ни к их программам». И, что существенно, Ленин добавляет: «Всякий знает, что реакционерами в обыденном значении слова ни Сисмонди, ни Прудон не были» *.

Мне кажется, это важнейшее методологическое указание Ленина важно вспомнить сегодня. Потому что, хотя ни один из тех авторов, о которых шла речь, не реакционен «в обыденном значении слова», «уход» их в психозы — в современной литературе Британии проявление серьезного недуга. Недуг этот может оказаться опасным, возрождая мироощущение, питающее идеологию фашизма. Именно поэтому тема психозов и неврозов, звучащая в богатой и многообразной литературе современной Британии за последние годы слишком назойливо,— явление, мимо которого нельзя, не следует пройти. Конечно, литературная карта Англии остается пестрой и разнообразной, более того, магистралью литературного развития ее остается реализм, но тема безумия, в особенности в ее лэнговской трактовке, может иметь непредвиденные «выходы», может завтра прозвучать страшнее, чем сегодня.

* В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 2, стр. 211.

ЭЛЬВИО РОМЕРО

ПАРАГВАЙСКАЯ ХРОНИКА

Не много известно в Европе о литературной жизни Парагвая. Эта расположенная внутри континента, слаборазвитая в индустриальном отношении страна десятки лет, чуть ли не целые века, жила в условиях постоянной изоляции. Долгие годы правления военных хунт сделали свое дело — парагвайская культура в прошлом стояла на более низком уровне, чем культура других латиноамериканских стран. В немалой мере способствовало изоляции Парагвая и то, что наш народ — народ двуязычный: кроме испанского мы говорим также на гуарани, и, несомненно, именно гуарани является у нас основным средством коммуникации. На гуарани наш народ выражает свои мысли, на гуарани он думает, мечтает, поет. Через испанский язык к нему приходит мировая культура, с гуарани же связаны его самые глубокие духовные корни.

XIX век был для Парагвая тяжелым, полным превратностей веком. Жестокая война, известная в истории под названием войны против Тройственного Союза, когда войска коалиции трех стран — Аргентины, Бразилии и Уругвая — вторглись на нашу землю, прервала естественный ритм развития Парагвая. В живых осталось 300 тысяч человек, среди них дети, старики, инвалиды. У этой войны был свой певец — молодой поэт Наталисио Талавера, до конца разделивший с народом его жертвы.

Трудным, скорбным было возрождение. Потребность утвердить себя перед лицом иностранного захватчика породила литературу, полную националистических тенденций. Полуфеодальный образ жизни больше, чем то было необходимо, да и полезно, способствовал сохранению этого национализма.

Но, во всяком случае, на пороге нового века мы уже видим в Парагвае оригинальную, самобытную литературу. Большой писатель Рафаэль Баррет, скончавшийся в 1910 году, оставил нам превосходную прозу — книгу «Скорбь Парагвая»; поэт Элой Фаринья Нуньес написал прекрасную поэму о жизни народа — «Столетняя песнь». Такие писатели, как Мануэль Гондра, Ортис Герреро, Хулио Корреа, Эриб Кампос Сервера, творившие в первой половине века, высоко подняли престиж парагвайской литературы.

За последние годы литературная атмосфера нашей маленькой столицы — Асунсьона — заметно оживилась. Широко известный романист Роа Бастос за книгу «Сын человеческий» получает несколько международных литературных премий; прозаик Габриэль Касаксия приобретает большую известность в Аргентине; моя «Книга миграций» предложена в качестве пособия по испанскому языку для Сорбонны. Все это свидетельства того, что парагвайская литература выходит за пределы национальных границ.

1968 год был не только годом значительных политических событий, но и плодотворным годом в литературе.

Особо следует отметить большой интерес парагвайских литераторов к книгам исторического характера, которые пишутся теперь не только историографами, но и писателями. Сейчас, как никогда, возникает необходимость более глубоко проанализировать сегодняшний день нашей нации и осветить те значительные периоды ее развития, которые до сих пор еще не получили четкого объяснения.

1968 год был весьма богат историческими публикациями. Без перерывов стал выходить ежегодник Парагвайского института истории, объединяющий вокруг себя таких известных ученых, занимающихся исследованиями нашего прошлого и настоящего, как Эфраин Кардосо и Хулио Сесар Чавес, принадлежащих к либеральной школе. Издан ряд архивных документов, проливающих свет на многие важные аспекты нашей истории.

Минувший год был плодотворным и в области собственно художественной литературы. Потребность исследовать самым глубоким образом нашу национальную действительность стала столь насущной для наших писателей, что на конкурс, организованный газетой «Трибуна», было представлено 120 рукописей. А 120 рукописей для страны с полутора миллионами населения — очень высокая цифра! Неделя парагвайского романа — симпозиум, на котором обсуждались вопросы литературной техники и взаимоотношения формы и содержания,— вызвала живейшую полемику.

Что касается собственно художественных произведений, то среди опубликованных в самом Парагвае и за рубежом имеет смысл отметить прежде всего книгу Хуана Басана «Из борозды гуарани», трактующую крестьянскую тему, затем «Семейную хронику» Ирис Чавес де Феррейро, рассказывающую о повседневной жизни мелких буржуа, и «Манхуэльо и куропатка» Карлоса Вильягры. Карлос Вильягра рассказывает нам лирическую историю из жизни народа, используя народный песенный строй и язык. Стиль его производит большое впечатление и обнаруживает в писателе глубокое знание народной разговорной манеры. Один из наших лучших романистов Габриэль Касаксиа издает в Буэнос-Айресе роман «Изгнанники». Он пытается отразить в нем моральную и духовную атмосферу, в которой живут высланные из страны, показать, сколь печальна и тяжела жизнь на чужбине. Наконец, наш самый большой писатель Роа Бастос опубликовал книгу «Пустошь», сборник рассказов с самой различной тематикой — от картины гибели партизана до жестокой сцены уличного расстрела,— и еще раз продемонстрировал в этом произведении читателю свое прославленное мастерство.

У нас выходит много хороших поэтических книг. Поэзия в Парагвае, как и в других странах Латинской Америки, выражает то, о чем нельзя сказать прямо в условиях террора, развязанного диктатурой. Как и у каждой поэзии, возникшей в обществе с низкой ступенью развития, одно время ее основное достоинство заключалось лишь в том, что она была связана с насущными проблемами, требовавшими немедленного разрешения. Но за последнее десятилетие парагвайская поэзия достигла столь же высокого уровня формального совершенства, как и в любой другой латиноамериканской стране. Парагвай — двуязычная страна. Отсюда и две литературы. Гуарани создал благоуханную народную поэзию; испанский язык приносит нам достижения мировой поэзии. Испаноязычная поэзия в Парагвае прославлена такими значительными именами, как Эриб Кампос Сервера, Хулио Корреа, Хосефина Пла, Висенте Ламас и другие; поэзия на языке гуарани — Нарсисо Кольманом и Дарио Гомесом Серрато. Наш самый возвышенный бард Эмилиано Фернандес пал жертвой военно-фашистской клики в 1959 году.

В минувшем году была переиздана книга Бусо Гомеса «Указатель парагвайской поэзии», представляющая собой обширную антологию, способную дать достаточное представление о национальной поэтической продукции от ее истоков до творчества новых поэтов.

А вот другие книги этого года: «Тайный человек» Эриба Кампоса Серверы, «Скрытая тропа» Висенте Ламаса, «Раненая молния» Эльвио Ромеро. Среди самых молодых стоит отметить автора стихотворного сборника Рене Давалоса. Наконец, один из значительнейших наших поэтов Луис Мариа Мартинес опубликовал две книги с ярко выраженным социальным звучанием — «Речные доспехи» и «Гореть — вот оно слово».

В литературной критике также заметны сдвиги. Старая, соглашательская, без конца перепевавшая одни и те же мотивы критика отступила перед появлением новой, более строгой, возглавляемой молодыми писателями, располагающими широкой информацией. Они пытаются с новой точки зрения не только воссоздать нашу культурную историю, но и в особенности определить отношение интеллигенции к новым проблемам, волнующим страну. Все это — следствие тех явлений, которые происходят сейчас и в Латинской Америке и в самом Парагвае, где все более и более дает себя знать национальное самосознание. Сегодня смысл понятия «завербованность» ясен для всех; ранее же об этом попросту запрещалось говорить. Молодежь выдвигает перед интеллигенцией требования порвать с консерватизмом и пассивностью, покончить с отжившими формулами, вплотную подойти к тем насущным проблемам, которые нас волнуют и обязывают к более определенным решениям. «Национальная действительность и наша литература» — так называет свою книгу поэт и очеркист Роке Вальехос, подвергающий сомнению ценности прошлого и выступающий на страницах своего исследования с осуждением старой критики. Это страстная, а кое в чем и несправедливая книга; страстная, ибо слова автора полны поистине разрушительной силы; несправедливая потому, что он зачастую не оставляет камня на камне от нашего культурного прошлого. Но при всем этом книга имеет большое значение, ибо автор справедливо выступает против новых компромиссов, столь вредных в настоящий момент. «Краткая история культуры Парагвая» профессора философского факультета Эладио Веласкеса, представляет собой полезнейший рассказ о нашем прошлом. Самое ценное в этой работе состоит в том, что

автор связывает духовную жизнь нашей страны с ее общественными проблемами. Практически это книга о социальной, политической и культурной истории Парагвая. Известная, заслуженная писательница Хосефина Пла опубликовала «Историю парагвайского театра» — ценнейший труд, основанный на исследовании архивных материалов, в котором впервые серьезно рассматривается театральная жизнь нашей страны, начиная с эпохи Колонии и кончая сегодняшним днем. Пожалуй, после этой книги мало что остается сказать будущим исследователям. Наконец, была переиздана монументальная «История парагвайской культуры» Карлоса Р. Сентуриона в двух томах, насчитывающих в общей сложности 1500 страниц. Правда, не весь материал в ней можно использовать; вернее, все это скопление дат и фактов следовало бы по-иному интерпретировать, но в любом случае «История парагвайской культуры» явится необходимым пособием для каждого, парагвайского и зарубежного, историка или критика.

Как и полагается двуязычной стране, в Парагвае театр развивается на двух языках: испанском и гуарани. Основатель театра на гуарани, ныне уже умерший Хулио Корреа, поставивший свою первую пьесу в 1931 году, продолжает оставаться образцом для теперешнего поколения драматургов. Его произведения, неизменно связанные с самыми насущными общественными и политическими проблемами нации, и по сию пору часто появляются на театральных подмостках. Вместе с тем парагвайский театр на языке гуарани является пока единственным из существующих в Латинской Америке театров на индейских языках, который трактует индейские проблемы. Огромное количество публики заполняет театральные залы; в провинциях крестьянские массы идут смотреть пьесы, отражающие их жизнь. Верный и последовательный ученик Корреа — Эрнесто Баэс, директор известной труппы, носящей его имя, написал пьесу «Анья́-Рета́-И» («Маленький уголок дьявола»), действие которой протекает на окраинах Асунсьона, в ночлежках, где живет бедный беззащитный люд. Пьеса имела огромный успех среди критики и публики.

Пользуется популярностью ряд хороших пьес на испанском языке. «Бегство Чипи Гонсалеса» Риваролы Матто и его же «Коза и цветок» идут с неизменным успехом, обещающим им долгое существование на сцене; они прочно вошли в репертуар национального театра, так же как и «Мадалена Сервин» Марио Аллей Моры.

Самым лучшим театром с точки зрения актерской игры, пожалуй, является Передовой народный театр, возглавляемый превосходными актерами Руди Торга и Антонио Печчи.

Таковы основные события литературной и театральной жизни Парагвая в минувшем году.

ПУБЛИЦИСТИКА

М. Б. МИТИН

О ТАК НАЗЫВАЕМЫХ «НОВЫХ ВАРИАНТАХ» МАРКСИЗМА

XIV Международный философский конгресс, состоявшийся в начале сентября в Вене, был показательным в ряде отношений. Это был, пожалуй, самый представительный среди всех философских конгрессов. Его активными участниками были многие крупнейшие представители буржуазной философии. На пленарных, секционных заседаниях, на коллоквиумах обсуждался небывало широкий круг вопросов. Дискуссии нередко носили довольно бурный характер, и список ораторов обычно оставался неисчерпанным. И все же, несмотря на всю эту активность, мировой философский форум свидетельствовал об углубляющемся кризисе современной буржуазной философии. Экзистенциализм, неопозитивизм, неотомизм — философские учения, которые еще недавно можно было назвать безраздельно господствующими в капиталистическом мире, явно начали сдавать свои позиции. Их влияние заметно уменьшается, начинается «переоценка ценностей». Так, экзистенциализм, который в течение более чем трех десятилетий успешно эксплуатировал пессимистические мотивы, едва ли не объявляя основным философским вопросом проблему самоубийства, ныне пытается перестроиться под флагом «позитивного экзистенциализма», который видит свою задачу не в том, чтобы научить человека умирать, а в том, чтобы учить его жить, внушать ему надежду. Однако экзистенциалистские категории — бытие перед смертью, страх, одиночество, пограничная ситуация и т. п.— явно не пригодны в качестве материала для «философии надежды».

Неотомизм, который постоянно выступал как официальная философская доктрина Ватикана, осуждая модернистские философские учения в католицизме, ныне все более настойчиво подчеркивает «единство» всей католической философии, явно затушевывая те мотивы, которые отличают неотомизм от других теологических философских учений.

Один из лидеров неопозитивизма К. Поппер в своем докладе на пленарном заседании конгресса фактически отказался от своего символа веры в пользу некоей новой теории — родственного платонизму учения о существовании наряду с чувственно воспринимаемым физическим миром и миром субъективного человеческого духа третьей, трансцендентной реальности. Неопозитивизм, как остроумно заметил однажды Р. Оппенгеймер, лишен чувства юмора, так как он пытается убедить людей в том, что внешнего, независимого от сознания мира не существует. Естествоиспытатели, которые вначале симпатизировали неопозитивизму, представлявшемуся им наиболее «респектабельной» философией, теперь уже прямо указывают на его субъективистский и агностический характер.

Углубление кризиса главных течений современной буржуазной философии сделало еще более очевидной ту анархию философских систем, которая характерна для современного капиталистического мира и которая до недавнего времени выдавалась за необходимое проявление многогранности философского развития. Становится все более очевидным, что это «многообразие» философских учений не имеет ничего общего с попытками искать истину на разных путях. В сущности, это лишь видимость многообразия: множество направлений и направленьиц, течений и теченьиц, школ и школок конкурируют друг с другом, опровергают друг друга, но все они — лишь различные вариации на одну и ту же весьма старую, идеалистическую тему. Эта истина была засвидетельствована философским конгрессом, так сказать, в полном объеме.

На фоне полемики между буржуазны-

ми философами, которые, в сущности, были согласны друг с другом в главном, решающем, особенно внушительное впечатление на участников конгресса производили многочисленные выступления философов-марксистов, каждый из которых выступал по-своему, выдвигая, обосновывая свои идеи и вместе с тем отстаивая единство и цельность концепции марксизма. Наука потому, собственно, и является наукой, что она разрабатывается коллективами ученых, а не оракулами, вещающими абсолютные истины в последней инстанции. Именно так и разрабатывается не только физика, химия и другие науки, но и марксистско-ленинская философия.

Нужно ли говорить о том, сколь актуальной оставалась задача защиты марксизма на всех этапах истории развития общественной мысли? Конгресс показал, с какой остротой ставит жизнь ее сегодня.

Прозвучали на конгрессе, к сожалению, и голоса людей, называющих себя марксистами, ратующих за творческое развитие марксистской философии и, увы, «развивающих» ее путем отказа от ее основных научных положений.

В некоторых социалистических странах Европы, в первую очередь в Югославии, под флагом борьбы против догматизма сложилось за последние годы «антрополого-гуманистическое» направление в философии, ратующее за отказ от марксистско-ленинской теории отражения, настаивающее на внеклассовой, внеисторической, антропологической концепции человека, превращающей отчуждение в центральную проблему марксизма и т. п. Идейным вдохновителем и организатором этого направления является журнал «Праксис», издающийся с 1964 г. в Загребе. Редакция «Праксиса» находится в теснейшем идейном содружестве с такими чуждыми марксизму людьми, еще недавно, правда, называвшими себя марксистами, как Э. Блох, А. Лефевр, Л. Гольдман, а также с такими известными критиками марксизма, как Г. Маркузе, Ф. Фетчер.

Представители «антрополого-гуманистического» направления вместе с буржуазными «марксологами», с марксиствующими теологами широко пропагандируют лозунг «Назад к Марксу», смысл которого состоит в том, чтобы выдвинуть на первый план ранние работы Карла Маркса, особенно его «Экономическо-философские рукописи 1844 г.» *, в которых, по их мнению, выражена подлинная гуманистическая сущность марксистского учения, которая в последующих работах как самого Маркса, так и в трудах Энгельса и Ленина якобы была утеряна, предана забвению.

Противопоставляя ранние произведения Маркса произведениям зрелого марксизма, буржуазные марксоведы и их единомышленники-ревизионисты пытаются обновить старую легенду о существовании множества разновидностей марксизма. Раньше противопоставляли Маркса Энгельсу, Маркса Ленину. Теперь дошли уже до противопоставления Маркса Марксу. Любые отклонения, извращения марксизма объявляются новыми разновидностями марксистской теории. Короче говоря, применяется тот же принцип «плюрализации», который характерен для современной буржуазной философии, где множество философских учений многими путями осуществляют, в сущности, одну и ту же идеологическую задачу. С этих позиций представители «антрополого-гуманистического» направления всячески пытаются «доказать», будто нельзя говорить о единстве марксизма, единстве марксистской философии. Так, например, Л. Супек в статье «Еще раз об альтернативе: сталинизм, позитивизм или творческий марксизм» утверждает, что **не существует еднного марксизма,** как не существует и **единства мысли у самого Маркса;** более правомерно якобы говорить не о принципах марксизма, а только о некоем **«горизонте** Марксовой мысли» («Праксис» № 6, 1965). Эта неопределенная метафора (кстати, заимствованная у экзистенциалистов), по существу, выхолащивает главное в марксизме.

Основу Марксовой мысли — по Л. Супеку — составляет «теория отчуждения». «Марксизм без теории отчуждения,— пишет он,— не только лишен Марксовой исторической диалектики, без которой нет Марксовой мысли, но и лишен своего самого глубокого и в современных условиях самого успешного критического острия, чего, конечно, не видят многочисленные противники «абстрактного гуманизма», то есть теории отчуждения».

Превращение проблемы отчуждения в основное содержание марксизма равнозначно отказу от революционного содержания марксизма. Мы не собираемся здесь специально рассматривать историю проблемы отчуждения, ее место в немецкой классической философии, в произведениях Маркса периода формирования марксизма и т. д. Подчеркнем лишь ту основную мысль, что в «Экономическо-философских рукописях 1844 г.» Маркса понятие «отчужденный труд» является непосредственным переходом к анализу эксплуатации пролетариев капиталистами, присвоения неоплаченного труда, то есть прибавочной стоимости. Между тем, буржуазные марксоведы и их ревизионистские единомышленники ставят вопрос на голову, пытаясь представить де-

* См. об этом статью Г. Глезермана «Проблемы социалистического гуманизма в современном мире» в «Иностранной литературе» № 11 за 1968 г.

ло таким образом, будто бы, с точки зрения Маркса, возникновение частной собственности, классов, государства — все это не конкретно-исторические вопросы, которые исследуются экономически и исторически, а простые спекулятивные дедукции из абстрактного понятия отчуждения. При таком подходе к марксизму история человечества **перестает быть историей классовой борьбы**, она становится чем-то вроде истории отчуждения.

Современные «абстрактные гуманисты» все время твердят о «человеке вообще», оставляя в стороне общественные, классовые отношения, составляющие социальную сущность индивида.

Супеку, иронизирующему над критиками буржуазного абстрактного гуманизма, стоило бы напомнить замечательные характеристики, данные в свое время Марксом и Энгельсом так называемым «истинным социалистам» в «Манифесте Коммунистической партии»: «Немецкий истинный социализм был убежден, что он отстаивает вместо истинных потребностей потребность в истине, а вместо интересов пролетариата — интересы человеческой сущности, интересы человека вообще, человека, который не принадлежит ни к какому классу и вообще существует не в действительности, а в туманных небесах философской фантазии».

Маркс и Энгельс показали, что возвышенная абстрактно-гуманистическая фразеология, которую немецкие мелкобуржуазные социалисты противопоставляли «грубой» классовой борьбе, в сущности, дезориентировала, расслабляла немецкое рабочее движение, отравляла его «надклассовыми» иллюзиями. Современные сторонники абстрактного гуманизма, якобы возвышающегося над противоположностью капитализма и социализма, не просто повторяют ошибки «истинных социалистов», они возводят эти ошибки в символ веры.

В связи с возрождением сентиментального абстрактного гуманизма многие современные буржуазные идеологи вновь повторяют давным-давно сданный в архив тезис о том, будто корни ленинизма в теоретическом плане надо искать не в марксизме, а в русских анархо-бланкистских учениях Бакунина, Ткачева, Нечаева. Эту же версию усиленно пропагандируют «марксологи» и «советологи», известные антикоммунисты Г. Веттер и И. Бохенский.

Буржуазные идеологи ставят в вину Ленину «отрыв теории от практики», «незаконное» применение к «чужой» практике — анализу экономики отсталой царской России — законов, открытых Марксом и Энгельсом на материале развитых капиталистических стран.

Альфред Мейер, например, утверждает, что враги ленинизма имеют основание обвинить его «в разрыве с марксизмом, в превращении в типично русское революционное движение, чуждое западным традициям социализма». Примечательно, что измышления прямых противников марксизма-ленинизма смыкаются здесь с тезисами социал-демократических оппортунистов и реформистов, называющих себя марксистами. Социально-политическое идеологическое содержание подобных версий однозначно — отрицание международного характера ленинизма, интернационального значения великих ленинских идей, отрыв ленинизма от марксизма, противопоставление их друг другу. Именно к этому сводится объективный смысл и выступлений философов группы «Праксис». Они также противопоставляют Маркса Ленину, также пытаются изобразить ленинизм как якобы чисто русское явление, обусловленное особенностями отсталой в экономическом отношении страны. И также утверждают, будто Ленин, собственно, был не теоретиком, а практиком и поэтому-де нет смысла говорить о ленинском этапе в развитии философии марксизма. К этой ревизионистской группе «Праксиса» принадлежит один из видных югославских философов Предраг Враницкий, которому мы хотим уделить основное внимание в данной статье.

* * *

На Международном философском конгрессе в Вене при обсуждении проблем современной идеологической жизни в мире Предраг Враницкий выступил с 12 тезисами «О необходимости различных вариантов в марксистской философии». Всемирно известны исторические 11 тезисов Карла Маркса о Фейербахе. Разумеется, критическое внимание наше к произведению Враницкого вызвано не какими бы то ни было ассоциациями с эпохальным философским документом, на которые, видимо, рассчитывал не страдающий излишней скромностью автор, а тем, что тезисы эти в какой-то мере подводят своего рода итог деятельности группы югославских философов за несколько последних лет в области ревизии марксизма. Марксистская философия давно не подвергалась такой деформации, какую осуществила в своих работах вышеназванная группа, не избегающая случая обвинить в отступничестве от принципов марксизма... советских философов.

П. Враницкий в своем выступлении на конгрессе в обобщенном и резюмированном виде изложил выводы всей своей предшествующей философской деятельности. Уже в 1961 году П. Враницкий в книге «История марксизма» сформулировал претензии на особую линию в марксизме, которую, по его словам, можно было бы назвать «интегральным марксизмом». Суть этого «интегрального марксизма» заключалась в попытке объединить под флагом марксизма все учения, когда-либо объявлявшие себя марксистскими, то есть объединить марксизм и ревизионизм, который, откалываясь от марксизма, прикрывается его именем. В этой связи П. Враницкий до-

казывал возможность различных вариантов марксизма. «История марксистской мысли,— писал он,— должна в первую очередь показать, какой вариант марксизма на определенных этапах имеет подлинное историческое оправдание и является действительно исторически современным». Разумеется, П. Враницкий считает ленинизм всего лишь одним из «вариантов», одной из «интерпретаций» учения Маркса, которому, как он полагает, явно не хватало философского понимания сущности... практики.

Все марксисты, заявляет Враницкий, начиная с Энгельса и кончая Лениным «недостаточно понимали практику как важнейшую марксистскую категорию». Что означает это обвинение, видно из следующих положений П. Враницкого. По его мнению, В. И. Ленин в период работы над «Материализмом и эмпириокритицизмом» исходил из классовой материалистической концепции отношения субъекта и объекта, а не из практики как основного и существенного «горизонта марксистской интерпретации человека». В этом вопросе Ленин в тот период якобы стоял на позиции Фейербаха и Плеханова (а также и Энгельса). Чтобы понять эти весьма невразумительные положения, следует иметь в виду, что, с точки зрения Враницкого, гносеологическое разграничение субъекта и объекта якобы затемняет сущность марксистского понимания практики. Экзистенциалисты, как известно, объявляют это разграничение искусственным, рационалистическим, «метафизическим», проповедуют слияние с «бытием», и философы «Праксиса», не разобравшись, что к чему, доказывают, что Маркс также выступал против разграничения субъекта и объекта, так как он исходил из понятия практики, а в практике субъективное и объективное едины.

Совершенно очевидно, что все подобного рода рассуждения — явная путаница. П. Враницкий обходит существо философского вопроса о практике, который именно в трудах Ленина был разработан с наибольшей полнотой. Подобно большинству буржуазных марксоведов, П. Враницкий главной в марксизме считает проблему отчуждения. Поскольку Ленин, естественно, не уделяет этому вопросу такого внимания, которое уделял ему молодой Маркс в то время, когда он лишь разрабатывал свою теорию, постольку Враницкий делает вывод, что Ленин... не создал нового этапа в развитии философского учения Маркса... На симпозиуме «Маркс и современность» в июне 1964 г. в Новом Саде П. Враницкий выставил 27 тезисов на тему «Социализм и проблема отчуждения». Все они в основном сводились к вопросу об отчуждении. При этом задача творческого развития марксизма сводилась к применению категории отчуждения к социалистическим отношениям. В 10 тезисе прямо сказано: «Мы должны решительным образом выдвинуть тезис, что проблема отчуждения представляет собой центральную проблему социализма».

В советской «модели социализма», полагает Враницкий, проблема экономического и политического отчуждения приобрела важнейшее значение. Короче говоря, социализм истолковывается как дальнейшее углубление, усиление отчуждения, характерного для капиталистического строя. Если современные антикоммунисты пытаются доказать, что социализм представляет собой нечто вроде суперкапитализма, то П. Враницкий выражает ту же фальшивую идею, закамуфлировав ее понятием отчуждения. При этом понятие это начисто лишается конкретно-исторического смысла, который придавал ему Маркс.

Маркс говорил, что отчужденный труд есть труд, создающий частную собственность. Но социализм уничтожает частную собственность и постепенно преодолевает социальные последствия ее многовекового существования. Очевидно, что отчуждение, о котором говорит Враницкий, не имеет ничего общего с тем отчуждением, о котором говорил Маркс. Враницкому следовало бы прямо сказать, что он, собственно, развивает не марксистскую, а буржуазную концепцию, согласно которой отчуждение вечно и усиливается в силу общественного, в особенности научно-технического, прогресса. Однако Враницкий этого не сделал. Впрочем, в одном месте своих очерков «Человек и история» (1966 г.) он слегка приоткрывает завесу:

«То, что я думал о философии, о человеке, об истории и нашем времени, я сказал в этих своих очерках... Они одновременно означают для меня окончательный переход к созданию собственной философской концепции и введение в действие тех философских традиций, которые я считаю лучшими, причем в этом отношении Марксу принадлежит важнейшее место». Итак, Маркс рассматривается как важнейшая традиция на пути создания собственной философской концепции. Эту концепцию, подытоживающую предшествующие ревизионистские идеи, П. Враницкий и представил XIV конгрессу в Вене. В этих тезисах, как и в других своих работах, Враницкий выдает оппортунистические, ревизионистские извращения марксизма за различные варианты этого учения, противопоставляет Энгельса — Марксу, Маркса — Ленину, претендуя на единственное аутентичное понимание философии марксизма, именуемое «собственной философской концепцией». Как говорится — вольному воля. Никто не может воспрепятствовать П. Враницкому создавать «собственную философскую концепцию». Но мы впра-

---

М. Б. МИТИН
О ТАК НАЗЫВАЕМЫХ
«НОВЫХ ВАРИАНТАХ» МАРКСИЗМА

ве спросить: на каком основании, почему свою интерпретацию марксизма, свою «собственную философскую концепцию» он выдает за единственно правильную. Ведь то, что П. Враницкий говорит о марксизме, о марксистской философии, принципиально не отличается от воззрений ее современных противников?

В венских тезисах Враницкий говорит уже не только о возможности или о наличии различных вариантов марксистской философии, а о **необходимости** таких вариантов. Постановка вопроса о необходимости разных вариантов марксистской философии в **теоретическом отношении** представляет собой отказ от единой системы марксизма, от единства марксистской философии, то есть отход от существа марксизма. В. И. Ленин неоднократно указывал, что учение Маркса есть стройное, последовательное, единое научное мировоззрение, несовместимое с эклектизмом, с уступками буржуазным идеологам, качественно отличное от всех предшествующих, в том числе и прогрессивных философских учений. Подчеркивая единство марксизма, Ленин указывал, что нельзя изъять из этого учения ни одного камня, чтобы не пострадало все здание в целом. В **политическом отношении** постановка вопроса о **необходимости** различных вариантов марксизма — это линия на разложение марксизма, на идейное разоружение рабочего движения. Идеологическая функция такой «теории» очевидна, она полностью отвечает целям современных так называемых «советологов» и «марксологов».

Посмотрим, однако, как пытается П. Враницкий теоретически обосновать необходимость «разных вариантов» марксистской философии, обосновать, так сказать, плюрализм в области философии. Многосторонность, историческая изменчивость исторической практики человека, говорит Враницкий, обусловливает многообразие теоретических подходов к ней, многообразие ее истолкований. Существование в философии несовместимых друг с другом философских учений, с этой точки зрения, является абсолютно неизбежным, исторически непреходящим явлением. Так было, так будет и впредь. Значит, и в марксистской философии, дабы она соответствовала многообразной, изменчивой исторической практике, необходимы различные системы воззрений, различные варианты. Такова, скажем прямо, нехитрая логика рассуждений П. Враницкого. Несостоятельность этой «логики» обнаруживается при конкретном рассмотрении вопроса. Практика действительно многообразна, и это относится в особенности к той производственной, научно-технической практике, к которой имеют непосредственное или опосредованное отношение естествознание и технические науки. Тем не менее никому из представителей этих наук не приходит в голову доказывать, что необходимы различные варианты квантовой физики или строительной механики. Разумеется, методы естественно-научного и научно-технического исследования по-разному применяются к разным объектам, но это, конечно, не означает утери единства науки.

Основоположники марксизма постоянно подчеркивали, что их учение не догма, а руководство к действию. Они были непримиримыми противниками всякой шаблонизации марксистского метода исследования. Но это не дает никаких оснований для расчленения единого марксистского учения на всякого рода «измы». История марксизма показывает, что люди, пытавшиеся противопоставить марксизму иное учение, выдаваемое за новую интерпретацию марксизма, в действительности искажали марксизм и в конечном итоге порывали с ним. П. Враницкий явно не хочет относить к философии марксизма критерии, применяемые в науке. Все дело в том, что философия для него не наука. Поэтому он не видит принципиального отличия марксистской философии от прежних философских систем, так же как и от современных западных философских направлений. Все философские системы он ставит в один ряд. Многообразие философских учений, существование несовместимых друг с другом философских мировоззрений представляется ему непреходящей особенностью развития философии, так как он совершенно игнорирует классовые причины этого явления, то есть то, что различные классы и социальные группы по-разному выражают в философии свои потребности, интересы, социальные устремления, нравственные идеалы и т. д. Разумеется, наличие многих философских течений имеет и гносеологическое объяснение. Каждое новое философское направление не возникает, как пистолетный выстрел, оно развивается на базе прежних исторических традиций, впитывая в себя богатство прежних идей. Развивая ли эти идеи, или же их упрощая, или даже отвергая их целиком — каждое новое направление вместе с тем не может оторваться ни от традиций, ни от конкретной исторической почвы. Самый же характер философского мышления, его целенаправленность формируются социальными потребностями, которые данное направление философски выражает или осмысливает, независимо от того, сознают это или не сознают создатели философских учений.

Наличие в современном буржуазном обществе разных философских систем — различных видов прагматизма, позитивизма, экзистенциализма, неотомизма и т. д.— должно быть объяснено как историческими, социальными, так и гносеологическими причинами.

Например, разнообразие и многоликость экзистенциализма — характерное явление современности. Доктрина экзистенциализма сочетается с различными идеологическими явлениями современной эпохи, которые в свою очередь являются

выражением определенных социальных интересов,— с католицизмом, с протестантизмом, с мусульманством, а также с традициями буржуазного гуманизма и атеизма. Немецкий экзистенциализм, представленный Ясперсом и Хейдеггером, отличается от экзистенциализма французского — Сартра и Камю. Все это свидетельствует о противоречивом развитии западноевропейской идеологии в XX веке, о наличии различных концепций и тенденций в этой идеологии. Это различие тенденций и концепций в пределах даже одной философской доктрины экзистенциализма говорит о том, как различны социальные слои, группы в разных странах, выражающие в этой философской системе свои интересы, свои взгляды, свои стремления. Многоликость экзистенциализма — не случайное явление, оно глубоко социально детерминировано, именно **социально,** так как иначе совершенно нельзя понять и объяснить столь разные явления и процессы. Мы говорим о социальной детерминированности, ибо как иначе объяснить тот факт, что французский экзистенциализм был связан с французским Сопротивлением, а немецкий экзистенциализм, в лице, скажем, Хейдеггера, выказывал свои симпатии германскому фашизму. Все сказанное свидетельствует, что ход философского развития не может быть сведен к одной бедной и упрощенной формуле П. Враницкого — действительность многозначна и поэтому философское познание тоже должно быть многозначным.

Современная западная философия, отклоняющая, как правило, монизм, плюралистична в своей основе, то есть полностью солидаризируется с принципом, который в начале нашего века сформулировал прагматист У. Джемс: «Истин столько, сколько точек зрения». В философии современного позитивизма плюрализм в области теории оправдывается учением о конвенциональном (условном) характере ее исходных посылок. Р. Карнап сформулировал «принцип терпимости», согласно которому в основу каждой научной теории можно положить любую систему аксиом, любую совокупность правил логического синтаксиса или «языковых форм».

Типично субъективно-идеалистическую трактовку вопроса о различных философских направлениях дают экзистенциалисты К. Ясперс и М. Хейдеггер. К. Ясперс свою собственную философию рассматривает лишь как средство изучения истории философии, как мыслительный аппарат понимания великих исторических образцов философствования. «Объективные выводы относительно истории философии невозможны, так как каждый видит историю, находясь в ней самой, а не из точки, находящейся вне ее». М. Хейдеггер считает, что понять философскую теорию — значит увидеть в ней решение тех вопросов, над которыми бьется сам мыслитель. Учение философа, творившего за 1000 лет до меня, полагает Хейдеггер, только тогда станет для меня живым, когда я увижу, что в нем искали своей реализации мои собственные возможности.

Мы привели эти высказывания, чтобы показать, какими субъективистскими, идеалистическими соображениями руководствуются представители различных философских направлений, чтобы объяснить или обосновать многоразличие философских систем, существующих ныне или существовавших ранее в истории.

Никаких элементов исторического или социального подхода или единства того и другого нет у представителей буржуазной философии Но в этом и нет ничего удивительного, ибо они являются противниками марксистской методологии, материалистического понимания истории. Однако положение П. Враницкого о необходимости различных вариантов марксистской философии ничем принципиально не отличается от буржуазного представления о необходимости и неизбежности плюрализма философских систем.

Экзистенциалисты говорят, что существует столько же разновидностей экзистенциалистской философии, сколько философов-экзистенциалистов. Прагматисты заявляют, что истина в сущности индивидуальна, то есть она есть выражение того, что тот или иной индивидуум принимает как благо. Но марксистская философия есть отрицание этой субъективистской интерпретации философии. Диалектический и исторический материализм кладет конец противопоставлению философии наукам и практике, которое столь характерно для буржуазной (в особенности для современной буржуазной) философии. Философия марксизма есть научная философия, и именно поэтому к ней совершенно неприменима буржуазная идея о неизбежности разделения ее на всевозможные «равноправные», то есть аутентично выражающие ее содержание течения и направления, или, говоря словами Враницкого, варианты.

У П. Враницкого нет ни грана классового, исторического подхода к проблемам философии и объяснению многообразия философских систем. Но какой же это марксизм, если отсутствует классовый подход и историзм? Это — действительно «собственная философская система», имеющая мало общего с марксизмом. В вопросе о необходимости различных вариантов марксизма П. Враницкий мало оригинален — он повторяет как «марксологов», так и теологов, занимающихся марксизмом и выдвинувших призыв к отходу от «интегризма» марксизма.

Христианские теологи, участвующие в диалогах с марксистами, возлагают большие надежды на то, что, как они говорят,

---

М. Б. МИТИН
О ТАК НАЗЫВАЕМЫХ
«НОВЫХ ВАРИАНТАХ» МАРКСИЗМА

внутренняя эволюция марксизма приведет к отказу от «интегризма». Под «интегризмом» марксизма они понимают органическую цельность марксизма, тот факт, что каждое положение его может быть понято только в связи с целым. Интегризм — это концепция органически взаимосвязанных ценностей, в соответствии с которой нельзя принять определенные ценности без того, чтобы не принять все или по крайней мере самое основное.

Джулио Джирарди в книге «Марксизм и христианство» пишет: «...такой интегризм отвергается многими марксистами, которые провозглашают необходимость диалога с другими философскими течениями, особенно с частью христианского мира, и занимают позиции, отличающиеся от позиций их товарищей, стоящих у власти: речь идет о позициях по таким вопросам, как утверждение плюрализма, принцип светскости государства, выработка морали, признание положительной революционной ценности религии, обсуждение вопроса о партийности ценностей и истины, утверждение автономности культуры, новый подход к проблемам субъективности и др.».

Марксизм, утверждает Джирарди, может преодолеть интегризм путем внутреннего развития, другими словами, интегризм не является неотъемлемой частью его сущности.

Джулио Джирарди, всеми помыслами своими, всеми силами стремящийся добиться такой эволюции марксизма, утверждает, что «плюрализм в марксизме» не представляет ничего удивительного, а даже является «признаком жизненности».

«Такой плюрализм,— пишет он,— все более открыто утверждается западными марксистами в вопросах, касающихся автономности различных институтов по отношению к партии и государству, а также допустимости во всех сферах человеческой деятельности многообразных ориентаций и организаций — особенно политических партий, в которых эти институты воплощаются». Теолог Джирарди, таким образом, невольно раскрывает зловредный политический смысл своей борьбы за «плюрализм в марксизме». Он ратует за плюрализм политических партий, за множество разнообразных общественных организаций в странах социализма, за «автономию» их от коммунистической партии и т. д. и т. п., то есть он ратует за самую всамделишную буржуазную демократию. С большой радостью сообщает Д. Джирарди своим читателям, что уже в настоящее время существуют различные «модели» марксизма и что это надо всячески приветствовать. Так, связываются одной нитью тезисы П. Враницкого о **необходимости** различных вариантов марксизма с надеждами противников марксизма на «эрозию» марксизма, на отказ от его цельности, от его единства.

В документах совещания представителей коммунистических и рабочих партий сказано: «Марксизм-ленинизм — это **единое, великое** революционное учение, путеводная звезда для рабочего класса и трудящихся всего мира на всех этапах их великой битвы за мир, свободу и лучшую жизнь, за создание самого справедливого общества — коммунизма».*

Это исходный пункт марксистов-ленинцев в борьбе за коммунизм. Отношение к единству и цельности марксизма является критерием и проверкой верности марксизму в современных идеологических битвах, происходящих в мире между силами коммунизма и капитализма.

В пределах марксистской теории возможны, конечно, различные точки зрения по различным вопросам, на базе единой марксистской методологии возможны различные объяснения тех или других общественных, политических, экономических, научных или других проблем, но это в корне расходится с теорией о различных «вариантах» марксизма, подобно тому как различные воззрения в физике или химии по не решенным еще вопросам не нарушают единства физиков и химиков по вопросам, которые уже решены и составляют основное достояние этих наук.

Как единственно научная идеология, целостная и последовательная в своем объяснении и изменении мира, марксизм-ленинизм противостоит современным антинаучным концепциям общества и общественного развития. Ленинизм представляет собой органическое, закономерное и творческое продолжение марксизма. В XX веке ленинизм является творческим развитием марксизма. Марксизм XX века — это и есть ленинизм. Если речь идет о подлинном, аутентичном, творческом характере марксизма, то не может быть различных его вариантов, противоречащих друг другу и базирующихся на различных исходных методологических принципах, вопреки тому, что утверждают следом за антикоммунистами разного рода ревизионисты — правые и «левые».

---

* «Программные документы борьбы за мир, демократию и социализм». Госполитиздат, 1961 г., стр. 84.

Дневники, Воспоминания

ХИЛЬДА БЕРНСТАЙН

ЭТОТ МИР БЫЛ НАШ

Перевод с английского
Н. ВОЛЖИНОЙ

Ниже публикуются отрывки из книги «Этот мир был наш», которая вышла в Лондоне в 1967 году. Ее автор — Хильда Бернстайн, журналистка из Южно-Африканской Республики. В середине 1964 года она вместе с мужем, архитектором Лайонелем Бернстайном, коммунистом, деятелем революционного подполья, была вынуждена тайно перейти границу и покинуть родную страну.

Приводимые страницы рассказывают о самых трагичных событиях в жизни ее автора — об аресте ее мужа, о суде над ним, когда ему грозило пожизненное заключение, и об их бегстве за границу.

11 июля 1963 года. Тревога не отпускала меня весь тот день. Правда, таких дней и ночей было много и раньше, и давящая тяжесть дурных предчувствий вспоминалась мне уже после того, как беда пришла. Много, много было таких дней и ночей; поводы для предчувствий, месяцы и даже годы, прошедшие под их знаком, слились в памяти, умолкли, потеряли остроту.

Но тот день стоит особняком.

Он должен был возвращаться домой к шести тридцати вечера. К половине седьмого он должен был находиться в пределах нашего дома и сада, и так до шести часов тридцати минут следующего утра. В его пребывании под домашним арестом было даже нечто успокоительное, так как дети знали, что по вечерам отец всегда дома. Чем бы я ни была занята, сколько бы раз за день ни отлучалась, папа-то всегда будет с ними. Он жил под ограничениями домашнего ареста вот уже девять месяцев.

Ему полагалось отмечаться в полиции на Маршалл-сквере, в центре Иоганнесбурга, от двенадцати до двух часов, кроме воскресных и праздничных дней, когда он совсем не имел права выходить из дому.

Таков был предписанный для Рэсти жим. Мы с ним ни разу не заводили разговоров об этом, но у обоих у нас было такое чувство, что настанет день, когда он войдет отметиться в здание на Маршалл-сквере и больше не выйдет оттуда. Уже потом, долгое время спустя, Рэсти рассказал мне, каким тяжким испытанием для нервов была для него ежедневная отметка, как он каждый раз делал глубокий вдох, прежде чем переступить порог этого краснокирпичного здания и расписаться в книге у сержанта полиции, ведавшего теми, кто находился под домашним арестом.

В конце прошлого года эта толстая книга была совсем новенькая. Сержант аккуратно вписал в нее имена отмечающихся, отведя каждому по нескольку страниц. Но люди выбывали из списка — кто попадал в тюрьму, кто скрывался, кто уезжал из ЮАР. Постепенно сержанту приходилось листать одну пустую страницу за другой, и вот теперь остались только двое, кто все еще отмечался, Рэсти и Хелен Джозеф.

Это было в четверг, в июле месяце, когда в Иоганнесбурге стоит зима. Рэсти ушел из дому около двенадцати. Он сказал:

— Поеду отмечусь. Потом завезу чертежи заказчикам. Днем буду занят — вернусь домой поздно.

«Поздно» значило около шести часов вечера. Чем «занят», не уточнялось — это было лишнее, мы и так понимали друг

друга. Наша деятельность за последнее время была так скована, над нами тяготело столько запретов и ограничений, установленных правительством, что для нас обоих всякая политическая активность стала противозаконной. Первые ограничения были десятилетней давности — тогда мы лишились права состоять членами длинного списка организаций и посещать какие бы то ни было «сборища». А «сборищем» считалось, если двое или больше двух человек встретятся с какой-нибудь общей целью.

Подчинение всем этим запретам было бы равносильно отказу от активной оппозиции апартеиду. Мы не могли пойти на такой отказ и никогда даже не помышляли об этом.

Когда Рэсти предупредил меня, что будет занят днем, речь шла не о его архитектурной работе — это я поняла, иначе он сказал бы: «Я поеду в Брентхерст» — клинику, строившую новое крыло по его проекту; или: «В Отдел городского хозяйства, посмотреть планы». С тех пор как в 1960 году, после расстрелов в Шарпевиле *, вступили в силу чрезвычайные законы, и мы оба несколько месяцев просидели в тюрьме, Рэсти отказался от своей конторы в городе. Теперь контора помещалась у нас в доме, а наша с ним спальня стала его рабочей комнатой.

«Днем я буду занят...» С этой минуты меня и охватило беспокойство. Я сказала ему:

— Береги себя... будь осторожнее.

Мне хотелось сказать: «Не надо! Это стало слишком опасно». Но ничего такого я не сказала, потому что многолетняя дисциплина не позволила мне вмешиваться в его дела, да это все равно ничему бы не помогло. Он сознавал опасность не хуже меня. Он рисковал, основываясь на точном расчете.

Может быть, я начала поджидать его раньше времени. Было пять или половина шестого. Десять минут, четверть седьмого. Только раз он вернулся домой за десять минут до срока. Раньше, когда он запаздывал, я обычно готовила ужин на кухне и ждала шороха шин на усыпанном гравием подъезде к дому. Потом хлопала дверца машины, шаги Рэсти, он окликает детей в передней комнате, идет на кухню сказать мне «хэлло» и поцеловать меня. И каждый раз я говорила ему: «Ты что же, довел сегодня до последней минуты?» Это был не вопрос, а подтверждение факта, укор за тревогу, которую мне не удалось скрыть полностью.

— Еще уйма времени,—отвечал он.— Минут десять по крайней мере.

В тот вечер, в двадцать минут седьмого, я все еще ждала, что вот подъедет машина, хлопнет дверца, он войдет на кухню и услышит мое: «Ты что же, довел сегодня до последней минуты?»

Но как только эти слова возникли у меня в голове, я поняла, что он не вернется. Мне неоткуда было это знать, но я поняла, куда он ездил и с кем, поняла, что ему уже не вернуться, и передо мной со всей очевидностью встала чудовищность всего, что за этим последует, и нескончаемая пытка, ожидающая нас впереди.

В дни катастроф дети становились для нас одновременно и дополнительным бременем и надежным якорем спасения. Мы всегда как-то затруднялись объяснить им то, чего они не могли понять. Еще труднее было наводить лоск нормы на свое поведение, чтобы не превращать их в жертв н а ш е й причастности к сложному, полному угроз миру нелегальной работы.

Но в самые трудные времена дети также предохраняли от погружения в трясину горя, лишая меня сомнительного удовольствия «отпустить тормоза».

Наша девятнадцатилетняя Тони училась на курсах медсестер, готовясь к работе в детском саду. Она была уже взрослая, и у нее накопилось достаточно жизненного опыта в нашей семье, чтобы разобраться в той или иной ситуации без лишних вопросов. Патрик был еще подросток — личность хмурая, погруженная в себя. Июль он проводил в лагере. Насколько он сознавал характер нашей деятельности, принимал, отвергал ли все это, а может быть и ненавидел, не берусь судить. Френсис исполнилось тогда одиннадцать лет. Она была девочка пытливая, понятливая, но по существу совсем еще ребенок во всех своих проявлениях. Кит — шести лет, родился в 1956 году, за два дня до того, как Рэсти попал в тюрьму по обвинению в государственной измене. В тот июльский вечер Кит лежал в постели с ангиной.

Мне надо было во что бы то ни стало поделиться с кем-то тем страшным, что случилось, обсудить, как действовать дальше. Но нельзя настораживать полицию, которая, ведя слежку за нами, подслушивая телефонные разговоры, а может, с помощью микрофонов, установленных в доме, сразу уловит малейшую необычность и подозрительность моего поведения.

В тот вечер мне предстояла деловая встреча с нашим другом, молодым юристом Бобом Хепплом. Он должен был подъехать в половине восьмого к одному пригородному отелю, посадить меня в свою машину и отвезти туда, где нас ждали другие наши друзья.

Я подозревала, что Боб тоже был там, куда уехал в тот день Рэсти. Если он не заедет за мной, это подтвердит мои худшие предположения. Если же появится, тогда все не так плохо, как можно думать. На встречу с Бобом н а д о идти. Но как оставить дом? Полиция, того и гляди, нагрянет с обыском. Надо остаться д о м а.

Я пошла к М., который жил в двух

* Шарпевиль — африканский поселок в районе золотых рудников Трансвааля, неподалеку от Иоганнесбурга.

шагах от нас, и застала его за ужином. Встав из-за стола, он вывел меня на веранду, подальше от телефонного аппарата и микрофонов.

Я сказала:

— Рэсти не вернулся.

— Когда он должен быть дома?

— В половине седьмого.

— Куда он ездил?

— Он не сказал мне, но я догадываюсь.

Я попросила М. съездить к тому отелю, где меня должен ждать Боб Хеппл. Предупредила, что это не безопасно. Он согласился.

— Если Боб не появится вовремя, не задерживайтесь там,— сказала я.

И вернулась домой — ждать.

В начале девятого я вышла в сад — посмотреть, нет ли там М. Луч карманного фонарика скользнул мне навстречу сквозь переплет подсохших виноградных лоз, и в темноте послышался сдавленный детский голос:

— Ой, как вы меня напугали!

Это был маленький сын М., не побоявшийся прибежать в темноте с запиской от отца. В записке было сказано: «Я прождал его почти полчаса. Он не приехал».

Впереди долгая ночь. Читать мы с Тони не можем. Мы все время начеку, прислушиваемся, не идет ли машина, ждем полицейских. Если Рэсти в руках полиции, они непременно привезут его домой к обыску; вслед за арестом всегда бывает налет. Мы с Тони наскоро проверили, не лежит ли на виду то, что надо уберечь от их глаз. Это дело нелегкое. Наш дом полон книг и газет, по которым можно судить о политической стороне нашей жизни. У Рэсти все ящики забиты архитектурными чертежами и калькой. Я храню множество газетных вырезок, статей, заметок, рукописей и карандашных набросков. За шестнадцать с лишним лет, что мы здесь прожили, в доме накопились груды печатного материала, им набиты все шкафы. В прежние разы полиция не добиралась до них. Нас пугает мысль, что они наткнутся на какой-нибудь старый номер газеты или журнала, которые при выходе были вполне легальными изданиями, а теперь считаются запрещенными, и мы попадем в тюрьму за хранение их.

Мы сидим и прислушиваемся. Два раза звонит телефон, и Тони бежит ответить на звонок. Спрашивают Рэсти.

— Что говорить? — шепчет она, прикрыв трубку рукой.

— Скажи, он занят... позвонит сам.

Вечерами Рэсти часто звонят, так как знают, что в это время он всегда на месте. Но мы не решаемся сказать: «Его нет дома». Может быть, он еще не арестован, и тогда полиция, подслушивающая наши телефонные разговоры, узнает, что он нарушил режим домашнего ареста.

Я думаю: ему не следовало ездить туда. Риск был слишком велик. Но рисковать приходилось все время, без риска ничего не сделаешь, полная безопасность равносильна полной неподвижности. Выбор всегда лежал между отважными поступками и безрассудством, осторожностью и трусостью. И чаще всего граница между отвагой и безрассудством измерялась тем, поймают тебя или нет.

Огонь в камине гаснет, мы выгребаем из него серую золу и подкладываем еще угля.

Около часа ночи я говорю:

— Надо ложиться.

— Да, пожалуй,— отвечает Тони.

В третьем часу, вот когда надо их ждать — самая темень, самое затишье.

В нашем пригороде не слышно ни звука, весь Иоганнесбург спит.

Пять утра. Еще темно, но вот-вот начнет быстро светать. Около шести я наконец-то засыпаю. Наступает утро, а полиция так и не появилась.

В Иоганнесбурге выходят две утренние газеты — «Ранд дейли мейл», антиправительственная, на английском языке, и «Трансваалер» на африкаанс, проводящая политику апартеида. Я не настолько знаю африкаанс, чтобы читать «Трансваалер».

По утрам африканец Клод, который служит у нас четырнадцать лет, ходит в угловой магазин за молоком и покупает «Дейли мейл». Я жду его на кухне, где стол накрыт к завтраку.

Как только Клод приносит газету, я пробегаю глазами первую полосу — ничего. Просматриваю весь номер до конца, сначала наспех, потом внимательно. Ни единого слова.

Что же теперь делать?

Решаю ехать в Иннс Чеймберс, где помещаются конторы всех адвокатов. Узнаю, там ли Боб Хеппл. Если его нет, может быть, мне даст совет какой-нибудь другой знакомый юрист.

На площадке каждого этажа этого здания сидит за столиком дежурная машинистка, без разрешения которой пройти дальше нельзя. Я справляюсь о мистере Хеппле.

— Он еще не приходил,— отвечает мне дежурная.

— Но должен прийти?

— Да, ему пора быть здесь. Мы его ждем.

Я отхожу от столика и сталкиваюсь лицом к лицу с адвокатом Дж. Д. — тоже моим знакомым.

— Что вы здесь делаете? — спрашивает он.

— Мне нужно повидать Боба Хеппла, но его еще нет.— И я решаюсь обратиться к Д.: — Дж., у меня беда.

— Пройдемте ко мне. Здесь нельзя говорить.

В его конторе я рассказываю ему о

том, что случилось, — о своих догадках и опасениях, о том, что до сих пор все скрыто завесой молчания, обыска не было, в газетах ни слова.

— Мне надо домой, — говорю я под конец, — и как можно скорее.

Он отвечает:

— Я довезу вас.

Выйдя из его конторы, мы встречаем Харолда Уолпа. Он тоже адвокат и наш единомышленник.

— Харолд! Рэсти, наверно, арестован, и не только он. Видимо, взяли всю нашу верхушку. Он не вернулся вчера вечером.

Харолд с изумлением смотрит на меня и говорит:

— Вы ничего не знаете?

— Нет... Что?

— В «Трансваалере» — через всю первую полосу. Арестованы Рэсти, Уолтер, и Кэти, и Гавэн, и многие другие. Всех задержали в Ривонии у Артура Голдрейха. Сам Артур и Хэзел тоже арестованы. Всем дали по девяносто дней.

— Когда?

— Вчера днем. Неужели у вас не были с обыском?

— Нет... Но сейчас, наверно, уже там. Дж., отвезите меня домой, скорее, прошу вас!

Мы едем молча. Я совершенно спокойна, и вряд ли это спокойствие результат шока. Только внутри меня давит тяжесть, точно там какое-то постороннее тело, и время от времени мне приходится делать глубокий вдох, чтобы наладить дыхание.

За всю дорогу я заговорила только раз.

— Поймите, Дж., это ужасно не потому, что Рэсти... Ведь я не только о нем...

И он отвечает:

— Да, да, знаю. Все понятно.

Дж. считает, что лучше не подвозить меня к самому дому. Он останавливает машину на параллельной улице, за квартал от нас, и я бегу через соседний участок, чтобы попасть домой со стороны сада. Задыхаясь не только от усталости, бегу по длинному зеленому склону к высокой куче компоста около изгороди, перелезаю через стену сада, соседнего с нашим, потом этим садом и через калитку в живой изгороди к себе.

Последнее, что я делаю у калитки, это останавливаюсь на секунду, чтобы выбросить содержимое своей сумки — записную книжку, дневник и несколько личных писем — в высокую сухую траву около изгороди.

Наш дом на Риджент-стрит всегда был полон жизни; все двери стояли настежь, будто их и не было, даже зимой входную закрывали только в самые холодные дни, а запирать ее на ночь частенько и вовсе забывали. Люди шли к нам всегда — кто искупаться в бассейне, кто просто поговорить, взять книжку. И не надо было нажимать звонок, стучать в дверь.

До прихода к власти националистов никому из нас не приходило в голову, что политическая обстановка может потребовать кое-каких архитектурных изменений в нашем жилье.

Теперь нам понадобились окна не по фасаду, с подоконниками выше человеческого роста, высокая каменная стена вокруг дома с запирающейся на замок глухой калиткой, холл, изолированный от комнат, и печь для сжигания мусора.

Из всего этого у нас была только кухонная печка, которая топилась круглый год для подогрева воды. Условия моей работы стали таковы, что я полностью зависела от этой старомодной, полной сажи уродины.

Что касается остального, то мы жили как на юру. Калитка плотно не закрывалась; от нее через большое, от полу до потолка, окно просматривалась внутренность всего дома. Входная дверь с рифленым стеклом, сквозь которое по силуэтам можно было опознавать людей, открывалась прямо в гостиную, так как мы убрали стену, отделявшую ее от холла. Разговоры наши ничего не стоило подслушать. У каменной стены по ту сторону дороги всегда торчал следивший за нами африканец, поставленный полицией.

В 1948 году, когда переделка нашего дома еще не была закончена, состоялись всеобщие выборы, и к власти пришла откровенно профашистская националистическая партия. Наступил период реакции — насколько суровый и насколько длительный, трудно было предугадать.

Накануне войны мы с Рэсти вступили в коммунистическую партию — тогда еще легальную организацию. Она — единственная — не знала цветного барьера и объединяла в своих рядах различные расовые и социальные группы. Если вступаешь в коммунистическую партию в таких странах, как Англия и Америка, это незамедлительно отгораживает тебя от некоммунистических слоев общества. В ЮАР последствия такого шага усиливаются расовыми предрассудками («А вы хотели бы, чтобы ваша дочь вышла за кафра?»), и это сразу же воздвигает стену между тобой и обществом белых. Но среди широких народных масс к коммунистической партии относятся как к единственной организации, которая и словом и делом ведет непреклонную борьбу против расовых барьеров.

Принятый в 1950 году «Закон о подавлении коммунизма» дал коммунизму столь широкое определение, что в дальнейшем под статьи этого закона подпала всякая активная оппозиция правительству.

На нас все больше и больше распространялись всяческие правительственные запреты и ограничения, мы то и дело стали подвергаться обыскам и другим формам преследования. Полиция вела слежку за нами. И в 1960 году, вернувшись из тюрьмы, я поняла, что дом, в котором мы живем, уже перестал отвечать нашим потребностям. До сих пор мы жили открыто, так же, как всегда, были открыты

настежь двери нашего дома. Эта жизнь подходила к концу. То, что ожидает нас впереди, рассеет наших друзей. Мало-помалу в дом придет тишина, одиночество, и нас заставят закрыть входную дверь нашего дома — закрыть и держать ее на замке.

Перемены, вызванные политической обстановкой, сказывались даже на неодушевленных предметах. В саду у нас появились места, где можно было прятать на ночь бумаги и записи; каждую зиму мы сажали перед верандой душистый горошек, пестрым барьером заслоняющий входную дверь от дороги. Даже старая ванна, которая была вынесена в глубь сада, по-своему отражала перемены, происшедшие в нашей жизни. Эту ванну перенесли тогда, когда в доме появилась новая, и дети использовали ее для своих игр и больше всего любили разводить в ней костры, что разрешалось им, так как огонь не мог распространиться оттуда дальше. Но теперь мы тоже разводили костры в старой ванне и сначала сжигали там только газеты и журналы, присылаемые нам из социалистических стран, а потом взялись и за брошюры и книги, уцелевшие за последние пятнадцать лет при обысках. Все эти запрещенные издания нельзя было теперь ни выбросить в мусорный ящик, ни отдать кому-нибудь — их следовало сжигать. Итак, мы стали сжигателями книг. Но книги противятся, когда их жгут; страницы обгорают с углов, загибаются, и огонь тухнет. Для того чтобы сжечь книгу, надо как следует п о р а б о т а т ь. И может быть, эта старая ванна, плотно забитая черным, хрупким прахом уничтоженных книг и газет, была самым ярким символом тех тяжелых, гибельных времен, до которых мы дожили.

Нам приходилось теперь приспосабливаться к новому повседневному обиходу, навязанному необходимостью и уже переходившему в привычку. Поглядывать в зеркало заднего вида в машине, когда отъезжаешь от дома,— не следуют ли за тобой. Не говорить ничего важного по телефону — телефоны вещь опасная; выключать их или заваливать сверху одеялом, подушкой, если разговор идет на политические темы. Телефонный аппарат может зафиксировать и передать куда следует твои слова, даже когда трубка лежит на рычаге, так что во время собраний включай радио или запускай пластинку на проигрывателе — это помешает магнитофонной записи.

Эти правила уже не забудутся, и потом, в какой бы стране ты ни жил, телефон будет служить тебе только для самых безобидных разговоров, а звуки музыки навсегда останутся принудительным фоном для политических дискуссий.

Свод этих правил все расширялся, они становились все более обязательными. Ни одного неосторожного слова в присутствии детей — дети могут повторить сказанное, а это приведет к беде. Ни одного документа, неосмотрительно оставленного на виду,— обыски, налеты полиции все учащаются. Не опаздывай на встречи с товарищами — ждать сверх назначенного времени опасно.

По временам меня одолевало желание приобщиться к нормальному по-обывательски образу жизни, стать человеком незаметным, за которым никто не следит, печь пироги, водить детей к зубному врачу, вышивать наволочки на диванные подушки, ездить к морю на отдых и, принимая гостей к обеду, вести с ними застольные беседы только о литературе или современном искусстве — словом, быть самой обычной, как все.

Но стоило мне попробовать это, и всякий раз случалось что-нибудь такое, что срывало с меня щит обычности и обнажало нашу непохожесть на других. Спутники по поездке за город отпускали какое-нибудь оскорбительное замечание по адресу небелых. Отмалчиваться — значило бы поддерживать их расистскую позицию. Мы возражали и тем самым подвергали себя остракизму. Следовал новый запрет, новый налет полиции, и наши имена появлялись в газетах. Словом, не было такой темы для разговоров, которая не задевала бы в конце концов реальной подоплеки нашей жизни — расизма и основ полицейского государства.

Иоганнесбург всегда был «городом, разделенным в самом себе». Теперь власть имущие довели это разделение до полного разрыва всех контактов между расовыми группами, и это в то время, когда по законам развивающейся индустриализации и в связи с ростом городов должна была бы взять верх как раз обратная тенденция расширения связей между людьми.

Хотя среди жителей Иоганнесбурга белых гораздо меньше, чем африканцев, последние не имеют права жить ни в черте города, ни в пригородах. Они ютятся в л о к а ц и я х. Локация — это не самостоятельное поселение, а некий нарост, который льнет к городской окраине и без города существовать не может.

Как член муниципального совета, я могла более или менее свободно посещать отделенные одна от другой части Иоганнесбурга. Это было в трудные послевоенные годы. Война задержала жилищное строительство, но рост промышленности привлек людские массы в города. Локации были перенаселены. Африканцы селились возле них в лачугах из картонных ящиков и рогожи. Я бывала в местах, куда посторонним вход запрещен; видела, как люди спят в темных норах на голом цементе: как они выстаивают в очередях, чтобы помыться остывшей водой, после того как горячая пойдет на мытье муниципалитетских мулов. Мулам — горячая вода, людям — холодная.

Локация «Орландо» лепилась в тени вышек электростанции, освещающей половину Иоганнесбурга, но обитатели «Орландо» жили при свечах, в трущобах, где комнаты часто приходилось разгораживать газетными листами, перекинутыми через веревки, чтобы отделить одну семью от другой.

В 1954 году локацию «София-таун» сровняли с землей бульдозерами, жителей ее всех взяли на учет, многим вовсе запретили селиться возле города.

Там, где была «София-таун», построили дома для белых рабочих и дали этому новому пригороду имя «Триумф». Триумф алчности белого человека, триумф несправедливости, апартеида. Триумф!

Но в других местах локации оставались. Мы жили двойной жизнью — были изгоями в обществе тех белых, позицию которых отвергали начисто, хотя нам и приходилось как-то общаться с ними. Выхода из этого не было — переезжать в локацию нам запрещал закон. Отношения с небелыми товарищами были у нас и далекие и близкие. Мы были далеки друг от друга в пригороде, где стоял наш дом, в школе, где учились наши дети, далеки по работе, далеки на отдыхе, на пляжах, отведенных только для белых,— близки в политических убеждениях, в дружеских связях, в наших чувствах и глубочайших верованиях.

Правительственные запреты все больше и больше сковывали нашу жизнь, но мы не переставали бороться за сохранение хотя бы тоненькой ниточки контакта между пригородом и локациями, чтобы не чувствовать себя виновными в создании гетто для наших ближних. Локации были неотъемлемой частью нашей жизни.

В начале мая 1961 года наш дом, как и многие другие, подвергся обыску. Обыски эти, видимо, преследовали две цели: наводить страх и выуживать, не найдется ли чего-нибудь подозрительного.

Годы, годы, которые мы терпели все это! Газеты, книги, брошюры, письма, отобранные у нас, рассортированные, переписанные, вывезенные в штаб-квартиру Тайной полиции Иоганнесбурга,— что стало с ними? Что сделали с этой горой печатного материала? Год за годом вывозя из нашего дома книги, политические и не имеющие никакого отношения к политике, бесчисленные номера легально опубликованных газет и журналов,— что они почерпнули из всего этого, кроме того, что эти издания никто не прятал и что мы много читали и интересовались социализмом? Зачем им понадобились ежегодные выпуски Южно-Африканского института расовых отношений, которые можно было свободно получать в любой библиотеке страны? А газетные вырезки? А черновики моих писаний? И кого в Тайной полиции могли заинтересовать «Рассказы» Чехова, «Словарь цитат» или «Женщины Азии и Африки»?

От всех этих обысков у меня остался в памяти образ двух рослых мужчин — их всегда было двое, большей частью разные, но двое,— которые неспешно шарили среди архитектурных чертежей Рэсти, среди моих стихов, записей и рисунков.

С мучительной медлительностью, насупив брови, они разглядывали каждую бумажку, ища в ней тайные замыслы свержения правительства.

Самый большой обыск был у нас в 1955 году — самый большой по количеству взятых книг и затраченному на него времени. Обыск продолжался весь день с раннего утра и до ужина. К концу дня, утомленные умственным напряжением, без еды, без выпивки, двое из Тайной полиции успели осмотреть только нашу гостиную. Набралась груда книг — 369, брошюр и газет, а другие комнаты еще не начали обыскивать.

— Есть у вас еще книги в доме?

— Да, во всех комнатах.

Они прошли по всему дому и взяли наугад по две книжки из каждого шкафа.

Родной язык этой парочки был африкаанс, и даже на африкаанс им вряд ли приходилось читать что-нибудь, кроме газет и популярных журналов.

Листая наши книги и бормоча что-то себе под нос, они продолжали обыск.

— Вы на самом деле читали все это? — спросил один.

— Что тут у вас, библиотека?—спросил другой.

Они переговаривались между собой, обсуждая наши книги. Самое количество их казалось им подозрительным: если у тебя есть одна книжка, зачем тебе другая?

Приговаривая что-то, насупившись, один из них снял с полки книгу, осмотрел обложку и корешок, прочел титульный лист, перелистал несколько страниц, засомневался, поглядел на своего партнера.

— Про Россию берем?

— Да.

Книга брошена в груду, скопившуюся на полу. Это были «Русские сказки».

Следующая. Долгое, мучительное обследование, листаются страницы.

— Про философию нужно?

— Да.

Он взял «Капитал» Маркса в издании «Эвримен». Раскрыл его и уставился в титульный лист. Перекинул две-три страницы. Захлопнул, поставил на полку и взял следующую...

Еще три книги, и вдруг в мозгу у него что-то забрезжило. Глаза снова вернулись к «Капиталу».

— Книжки Маркса берем?

— Да.

Рука тянется к «Капиталу», и он летит в кучу на полу.

Из шкафа вынут список учебных фильмов, распространяемых бесплатно Ин-

формационным агентством Великобритании.

— Про фильмы берем?

— Да.

Книга Неру, книга о послевоенной перестройке английских городов, роман Толстого...

Нашли ли они то, что искали? Кто знает? Книги, журналы и газетные вырезки фигурируют в качестве вещественных доказательств на судебных процессах. Пишущие машинки месяцами стоят в Тайной полиции, книги пропадают там долгие годы — некоторые возвращают, другие исчезают бесследно. Утренние обыски, дневные, вечерние, ночные. Обыски в половине третьего утра. На столе в кухне кофе, сигареты и снова кофе. Огни горят в нашем доме, когда у всех соседей темно и тихо.

Некоторые полицейские, особенно в прежние годы, говорили примирительным тоном: «Ну, зачем же грубить?» (Рэсти всегда держался вызывающе, и это заставляло их обороняться.) «Мы делаем свое дело». Или: «Приходится — такая наша работа».

Они словно примерялись к той отговорке, которая ждала их впереди: «Я только выполнял приказ. Такая была моя работа».

Кухонная дверь открыта. Клод предостерегает меня:

— Полиция.

И я отвечаю:

— Знаю, Клод,— и вхожу в дом.

Рэсти стоит в комнате Тони — небритый, с припухшими веками, а двое из Тайной полиции ведут обыск. Они позволили мне обнять Рэсти. Он говорит:

— Ты знаешь, что случилось? Арестованы...

Но я перебиваю его:

— Да. Знаю. Арестованы все. Мы так за тебя беспокоились! — В присутствии агентов Тайной полиции я не могу добавить: «Мы догадались».

— Тебе не сказали, что я арестован?

— Нет. Мы ждали, ждали тебя всю ночь.

— Я просил позвонить, сказать. Они обещали,— говорит Рэсти с ненавистью.

— Ничего.

Пока идет обыск, Рэсти объясняет мне, как поступить с его работами. Полицейские водят Рэсти из комнаты в комнату, и я следую за ним, держась в отдалении, потому что мне не велено мешать. Мы переговариваемся с Рэсти. Сержант раздражен, поглядывает на нас злобно, но позволяет. Чаще всего общение с арестованными запрещается. Мы сводим наш разговор до минимума, чтобы его не пресекли совсем.

Обыск самый тщательный. Им нужно все — документы, газеты, фамилии и адреса. Сержант велит показать ему мою сумочку, в которой теперь ничего нет, кроме кошелька, гребенки и очков.

Обыск в гараже (Рэсти, наверно, стоял там, окаменев на месте). Находят и забирают ящик со старыми газетами и брошюрами. Документ, спрятанный там накануне, не обнаружен.

Я все-таки ухитрилась поцеловать Рэсти, прежде чем его уведут, и снова повторяю:

— Не беспокойся о нас. Мы проживем.

Уходят.

9 октября 1963 года, за двое суток до истечения девяноста дней, Рэсти и других арестованных в Ривонии выпустили на свободу и тут же снова взяли под стражу по обвинению в организации диверсионных актов и подготовке вооруженного восстания против южно-африканского правительства.

Они предстанут перед судом.

Судебный процесс будет вестись в Претории, ибо «необходимо соблюдать порядок и безопасность». В Иоганнесбурге судилище над ними привлекло бы в зал суда толпы народа. Ни запрещения «сборищ», ни полицейские собаки, ни демонстрации военной мощи — ничто не помешало бы людям прийти. Таков опыт предыдущих политических процессов.

9 октября 1963 года одиннадцать человек ненадолго появились в Верховном суде, именуемом Дворцом юстиции. Семеро из них были арестованы на ферме «Лепесток лилии» в Ривонии. Это Рэсти, Уолтер Сисулу, Гавэн Мбеки, Ахмед Катрада, Боб Хеппл и Реймонд Млаба — все задержаны в сарае на территории фермы — и Денис Голдберг, который арестован в самом доме.

Среди обвиняемых не было ни Артура, ни Хэзел Голдрейх. Совершив побег из тюрьмы, Артур живет в Лондоне, а Хэзел освобождена после трехмесячного заключения. Полиция использовала все известные ей способы, чтобы заставить эту мягкую мужественную женщину заговорить о людях, которые бывали в Ривонии. Ей подсовывали письма, подлинные или сфабрикованные, стараясь поссорить ее с Артуром, запятнать годы, прожитые с ним. Сломить спокойное мужество этой женщины никому не удалось. Теперь Хэзел на свободе, но прокурор предупредил ее, что она может понадобиться как свидетельница. Паспорт у нее отобрали.

Вместе с семерыми из Ривонии к суду привлекаются еще четверо — среди них президент Африканского национального конгресса Нельсон Мандела, отбывающий пятилетний срок тюремного заключения.

Рано утром на обвиняемых надевают наручники и сажают в «Черную Марию» с отделением для белых в передней части. Около тюрьмы выстраиваются грузо-

вики с вооруженной полицией, несколько машин с тюремным персоналом, включая начальника преторианской тюрьмы. Все они следуют ко Дворцу юстиции по заранее определенной дороге, охраняемой вооруженной полицией. Конвой въезжает на задний двор здания суда, широкие ворота, которые обычно стоят открытыми, захлопываются, запираются на замок, и обвиняемые три часа сидят в камерах под залом судебных заседаний.

При виде такой демонстрации вооруженной силы кровь стынет в жилах. Полицейские в форме и в штатском шеренгами стоят около Дворца юстиции; мрачные, враждебные лица, глаза подмечают малейшее движение в толпе, следят, кто с кем здоровается. Широкоплечие, грузные молодчики вслушиваются в каждое произнесенное шепотом слово. У процесса, который ведется в такой обстановке, исход может быть только один. Здесь охраняют не тишину и порядок, а подавление и смерть.

Вид одиннадцати человек ужаснул нас, когда они, в сопровождении тюремной стражи и агентов Тайной полиции, поднялись из нижних камер в специально поставленную для них загородку. Первым вышел почти неузнаваемый Нельсон Мандела. Он потерял сорок фунтов веса. Его великолепная фигура словно ссохлась, кожа приобрела серо-зеленый тюремный оттенок. Одет он в рубашку и шорты защитного цвета, на босых ногах сандалии. Вот что сделали с политическим вождем и крупным адвокатом восемнадцать месяцев тюрьмы, сидение в камере по двадцать три часа из двадцати четырех и оторванность от других заключенных.

Рэсти постарел, вид у него скверный. Он старается не смотреть на публику. Гавэн Мбеки начал седеть еще до тюрьмы, а теперь он совсем седой.

Одиннадцать человек обвиняются в совершении 222 диверсионных актов, в том, что они подготавливали гражданскую войну, революцию и вооруженное вторжение в Южную Африку.

Выступает от имени почти всех обвиняемых адвокат Абрахам Фишер: «Согласно Уголовному кодексу одиночное заключение назначается не чаще двух раз в неделю, а эти обвиняемые провели в одиночках восемьдесят восемь дней. Кроме того, защите требуется время, чтобы подготовиться к делу, к которому государство готовилось около трех месяцев. Вчера защитнику было сказано, что обвинительный акт не закончен».

Он требует отсрочки на шесть недель.

Судья де Вет быстро и невнятно бормочет, что трех недель вполне достаточно, и переносит слушание дела на 29 октября.

На дороге в Преторию везде заставы. Полицейские знаками приказывают нам остановиться для осмотра.

Мы сворачиваем на обочину, полицейские заглядывают в машину и разрешают ехать дальше. Магическое действие белой кожи! Белые женщины в легких летних костюмах и платьях и в шляпах для полной респектабельности.

Не мы им нужны. Их интересуют африканцы. Сегодня открытие процесса; они знают, что белых там будет мало, и любой ценой стараются задержать африканцев. Если в машине сидят небелые, пассажирам велят выйти и проверяют у них документы. Требуют предъявления пропусков. Придираются ко всему: просроченная налоговая повестка, неправильно наклеенная гербовая марка — все служит поводом для того, чтобы арестовать африканца.

Мы въезжаем в город, минуем тюрьму и всюду видим полицейских. Претория кишит ими. Полицейские стоят на каждом углу, группами выстроились на дороге ко Дворцу юстиции; пикапы с немецкими овчарками, связки слезоточивых бомб в дополнение к наганам.

Вот она, фашистская диктатура во всей ее страшной наглядности — точно знакомые кадры из фильмов о нацистской Германии.

Лестница суда забита журналистами и фотокорреспондентами. Есть и представители зарубежного телевидения (в Южной Африке телевидения нет). Через дорогу, на площади, начинают собираться африканцы, которым нет доступа в зал суда, но если им разрешат, они будут терпеливо ждать здесь, снаружи. Там женщины в одеяниях своих племен, индианки в развевающихся легких сари и даже шаман при всех своих регалиях — в кожаном плаще, в перьях, бусах и обезьяньих хвостах.

За час до начала деревянные скамьи без спинок — по одну сторону для белых, по другую для небелых — заполнены до отказа. Нам негде сесть, теперь в зал никого не пускают, кроме близких родственников подсудимых. Большинство скамей для белых занимают агенты Тайной полиции со своими дружками. Мы просим их подвинуться и дать место нам. Они делают это, хотя и очень неохотно. Полицейские следят за всеми, ни одно слово, ни одно движение не ускользает от них. На скамьях для небелых я вижу жену Нельсона — Винни и жену Сисулу — Альбертину. Винни запрещено общаться с белыми; мы смотрим друг на друга, но не смеем поздороваться даже шепотом. Альбертина недавно вышла из тюрьмы, где ее держали заложницей за мужа, на нее такое запрещение не распространяется, и я подхожу к ней. Как только мы поздоровались, рядом со мной вырастает полицейский.

— Вам нельзя здесь быть.

— Когда слушание дела начнется, я перейду на ту сторону,— говорю я ему.

— Вам нельзя здесь быть, это скамьи для туземцев.

Я отхожу к скамьям для белых. Во всей Претории нет места, где мы с Альбертиной могли бы сесть и поговорить. Мы знаем друг друга очень давно, вместе работали в Женской федерации. Сейчас, на процессе, где речь пойдет о жизни наших мужей, Альбертина и Винни сидят рядом, но мне сесть там нельзя.

Судья, прокурор и другие официальные лица занимают свои места. В набитом людьми зале стоит полная тишина.

Обвиняемые входят в зал из нижних камер. Вот над полом вырастает голова и плечи Нельсона, он поднимает кулак в — приветствие, принятое у членов Африканского национального конгресса. Собравшиеся отвечают ему глухим «Amandla!»* и повторяют это слово при появлении каждого обвиняемого.

Абрахам Фишер начинает свою тщательно обдуманную и сокрушительную атаку на обвинительный акт. Он указывает на его дефекты: расплывчатость, несовпадение дат и мест, упомянутых во вступительной части, с датами и местами в тексте обвинения; обвинительный акт не сообщает подсудимым, в чем их, собственно, обвиняют. Недопустимо только заявить им, что они заговорщики, надо указать, когда, где и как каждый из них стал заговорщиком.

Прения сторон об отмене обвинительного акта продолжаются двое суток. Наконец судья де Вет приступает к своей длинной, еле слышной в зале речи. Судя по обстоятельствам, обвинительный акт следует отменить, что де Вет и делает. Вслед за тем он встает и уходит. Полное смятение в зале. По закону подсудимые свободны. Мы бросаемся к ним. Перевешиваемся через барьер. Вокруг нас собираются агенты Тайной полиции. Один из них врывается за загородку и, ударяя каждого из обвиняемых по плечу, заявляет:

— Вы арестованы по обвинению в совершении диверсии.

Через несколько минут все кончено. Полицейские окружают арестованных и толкают их вниз, в камеры. Люди в зале стоят молча.

11 июня 1964 года. Прошло одиннадцать месяцев со дня арестов в Ривонии.

Все повторяется снова, как в начале процесса — заставы на дорогах, всюду в Претории полиция, забитое народом здание суда, попасть туда трудно, хотя мы приехали рано.

Ровно в 10 утра судья де Вет занимает свое место, секретарь провозглашает:

— Дело «Государство против Манделы и других».

Подсудимые встают. В зале все замерли, тишина. Судья начинает читать по своему обыкновению быстро и невнятно:

— Обвиняемый номер один признан виновным по всем четырем пунктам. Обвиняемый номер два признан виновным по всем четырем пунктам. Обвиняемый номер три .

Катрада пятый, Рэсти шестой. Все зависит от того, что ждет Катраду. Если его не признают виновным, значит, не признают и Рэсти.

Я стою не шелохнувшись, не дышу. Кажется, даже сердце перестало биться.

— Обвиняемый номер пять признан виновным по пункту второму, не виновен по пункту первому, третьему и четвертому. Подсудимый номер шесть не виновен, из-под стражи освободить. Подсудимый номер семь...

Но я уже ничего больше не слышу. В мозгу у меня только несколько слов, произнесенных скороговоркой: «Подсудимый номер шесть не виновен, из-под стражи освободить». Я ничего не испытываю, я спокойна, потому что внутри у меня пустота.

— Сегодня я не намерен говорить о приговоре,— продолжает де Вет.— Подсудимые и их защитники получат возможность выступить по этому вопросу завтра в десять утра.— Он встает, судебное заседание закончено.

Я знаю, что Рэсти отбивается сейчас от полицейских, слышу его яростный голос. Полицейские держат его крепко. Я подбегаю к нему, мне хочется тронуть его за руку, но вокруг нас толпятся агенты полиции. Они ведут его вниз, в камеру, а он сопротивляется, ему нужно во что бы то ни стало добраться до стола адвоката. Сквозь толпу к нам пробиваются репортеры. Сверху, с галереи кричит Айвон, муж Тони:

— Что происходит?

И я во весь голос отвечаю ему так, чтобы слышали представители прессы:

— Он освобожден, но его снова арестовали!

Какое безумие было думать, что нам удастся отнять Рэсти у Тайной полиции! Вот один из них положил руку ему на плечо. Они окружили его кольцом и засосали, как то растение в джунглях, которое хватает, заглатывает и пожирает свою жертву.

Следующий день, пятница, назначен для вынесения приговора.

Судья де Вет знаком приказывает подсудимым встать и начинает свою речь. Он говорит:

— Во время этого процесса я много слышал о страданиях неевропейского населения в Южной Африке. И сами подсудимые и их адвокаты уверяли меня, будто подсудимые, которые все были лидерами неевропейского населения, руководствовались в своих действиях тем, что стремились умерить эти страдания. Но я не убежден, настолько ли бескорыстны

* Сила *(африкаанс)*.

были их мотивы, насколько они хотят представить это суду. Люди, подготавливающие революцию, обычно свергают существующее правительство, и тут нельзя не учитывать соблюдения личных интересов. Задача нашего суда — поддерживать закон и порядок в стране. Заговорщическая деятельность, то есть государственная измена — вот преступление, участие в котором подсудимых доказано. Но государство наше не хочет расценивать ваше преступление по этой статье. Учитывая все вышеизложенное и все взвесив, я решил не выносить высшей меры наказания, но это единственное, на что я могу пойти. Все обвиняемые по этому делу получат пожизненное заключение.

Речь кончена. Но мы не все расслышали!.. Я уловила несколько фраз: «Задача суда... Не выносить высшей меры...» Мы стоим ошеломленные, растерянные, обращаемся к людям вокруг, слышим, как кто-то говорит:

— Жизнь!

Но кому ее дали, жизнь?

Уходя, осужденные в последний раз улыбаются женам и близким, а полиция уже толкает их вниз по лестнице. Энни кричит в отчаянии:

— Деннис! Что тебе дали?

И Деннис широко, почти радостно разводит руками и громко отвечает ей:

— Жизнь! Жизнь! Будем жить!

Они ушли. Толпа, собравшаяся снаружи, ждет молча, но вот на лестнице появляется Винни Мандела и, подняв обе руки в приветственном жесте, произносит:

— Жизнь!

В толпе запевают песнь и разворачивают лозунги, спрятанные от полиции. Вот что написано на них: «Вам не придется отбывать весь срок, пока мы живы», «Мы не отступимся от вас», «Мы гордимся нашими вождями».

Мы присоединяемся к толпе в глубине двора и час, а за ним и другой ждем машину, в которой осужденных перевезут из суда в тюрьму. В последний раз увидеть их сквозь зарешеченное окошко, увидеть чье-нибудь лицо, поднятую руку или кулак! Пусть и они услышат наше последнее приветствие. Африканцы, индийцы, белые стоят тесно один к другому под горячим преторианским солнцем. Хулиганы из белых пытаются завязать драку в толпе, разбили камеру у фотокорреспондента, вылили воду и помои людям на головы. Женщины на площади выстроились колонной и с пением, с развевающимися на ветру запретными стягами АНК двинулись в глубь двора. Полицейские собаки кусали их за пятки, стяги у них выхватили, разорвали, бросили в канаву. А мы стоим и ждем. Наконец тяжелые ворота распахиваются, и на площадь стремительно вылетает конвой — на мотоциклах, в машинах — и за ним крытый фургон. Но вместо того чтобы повернуть направо, как это было все последние месяцы, он круто сворачивает влево, так что мы лишаемся возможности увидеть своих. Толпа во дворе взрывается мощным криком «Amandla!», и кто-то видит руку в окошке машины, поднятую в приветственном жесте.

В субботу утром мы едем в Магистратуру, куда должны доставить Рэсти, чтобы предъявить ему новые обвинения. Прокурор заявляет, что он будет возражать против выпуска на поруки. Завязывается спор. Сегодня суббота, неприсутственный день, ни до кого не доберешься. Наконец прокурор соглашается на залог в 1000 фунтов, и в телевизионной и газетной шумихе Рэсти возвращается домой. Мы так счастливы, что забываем про новые обвинения, которые еще не уточнены — нарушение Акта о противозаконных организациях, Акта о подавлении коммунизма. Мы так счастливы, что не обращаем внимания на навязчивых газетных и телевизионных репортеров и позволяем им проникнуть в дом и сфотографировать нас.

Но как нам быть дальше? Хотя прохладными июньскими вечерами мы дружной семьей сидим у камина, все у нас в жизни распалось, исчезло, погибло. Мы ни с кем не связаны, каждодневная дисциплина ушла из нашего быта; единственное, что вносит размеренность в нашу жизнь, это ежесуточные отметки Рэсти на Маршалл-сквере; единственное, что дисциплинирует нас, это необходимость соблюдать режим домашнего ареста.

Нам нельзя даже обсуждать дела, мысль о которых не выходит у нас из головы ни днем, ни ночью. В стенах нашего дома мы ни о чем таком не говорим, боясь подслушивающей аппаратуры. Мы боимся говорить в машине, не веря, что машину нельзя взять на подслушивание, как нас кто-то уверял, и переговариваемся наспех, шепотом, стоя у незалитого бассейна с сухими листьями по углам, с голыми виноградными лозами, торчащими сквозь проволочную сетку, а на улице зима, и спасительная зелень с деревьев и кустарника сорвана, так что центр нашего сада пуст и открыт.

Чтобы поговорить как следует, нам приходится уезжать далеко от дома на поиски такого места, где никто нас не увидит и откуда наш разговор не попадет в эти мощные дьявольские приспособления.

26 июня Рэсти вызывают в суд. Новых улик не прибавилось; слушание его дела назначено на 9 сентября. Впереди у нас два с половиной месяца. Казалось бы, времени много. Но время бежит быстро. Некий доброжелатель предупредил нас, что Тайная полиция готовится к новой большой операции. Снова начнутся аресты, массовые обыски; дата неизвестна. Эта информация была пущена по кругу на следующий день после вызова Рэсти в суд. И тут мы призадумались...

В понедельник Рэсти уехал в город на свидание с человеком, встречаться с ко-

торым ему было запрещено. Днем пришла знакомая женщина за книжками для детей.

— У вашей калитки полицейская машина,— говорит она мне.

Полицейский фургон стоит за изгородью. Один человек в форме, второй в штатском и полицейская собака. Что им нужно? Время идет. Рэсти запаздывает — ему следовало вернуться до половины седьмого. Полицейская машина стоит за калиткой.

После шести в доме все смолкло; дети перестали разговаривать. Тони молча смотрит на меня, а я стараюсь избегать ее взгляда. Я иду на кухню готовить ужин. На этот раз я не вынесу, я умру. умру.

В четверть седьмого, не в силах больше сдерживать напряжения, я сажусь в машину и доезжаю до угла; за мной двигается и фургон. Среди деревьев в перспективе темнеющей улицы появляется Рэсти. Я отворяю дверцу ему навстречу и заливаюсь слезами. Мы объехали квартал, фургон шел следом за нами, потом исчез. А я чувствую, что еще один такой случай. и сердце у меня разорвется.

Спим мы плохо. На рассвете я просыпаюсь... Рэсти стоит у окна и смотрит на улицу, чуть отодвинув занавеску.

— Что случилось?

— Скорее,— говорит он.— Беги. Они здесь.

Снаружи доносятся какие-то звуки. Я накидываю халат, шарю ногами туфли.

— Я задержу их, насколько возможно,— шепчет Рэсти.

Я сбегаю вниз, в подвал. Что другое, а это было у нас подготовлено сразу после того, как мы оба попали в тюрьму в 1960 году. Полицейские подходят одновременно к передней и к задней двери. Но из подвального помещения открывается окно в ту часть сада, которая скрыта выступом стены от обоих входов в дом. Отсюда можно вылезти в огород и не встретиться с полицейскими, если они будут заняты только домом. Рэсти перепилил железные прутья оконной решетки так, что они выглядят на первый взгляд как бы целыми. Их можно забрать внутрь, а окно на уровне земли открывается наружу. Под окном стоит столик. Я влезаю на него и тяну на себя заскрежетавшие прутья. Мне не страшно, только почему-то воздуху не хватает. Окно широко распахивается, и я вылезаю в сад. До меня доносится пронзительный звонок у нашей входной двери, я бегу по мокрой траве и перебираюсь через садовую проволочную ограду, что мне совсем не по возрасту.

А теперь куда? У ближайших наших друзей, должно быть, тоже идет обыск. Я бегу через соседний сад — нет, здесь меня могут увидеть из дома. Еще одна изгородь поддается моему нетерпению, и вот я на улице. Сквозь холодный серый туман зимнего утра пробивается свет. Я стою на тротуаре в ночной рубашке, сбрасывая, растрепанная.

Решаю идти к знакомым, довольно далеко от нашего жилья.

Прислуга-африканка только что вошла на кухню. Я долго стучусь в окно, прежде чем она открывает мне дверь. Хозяин дома, видимо, понял, что лучше всего для него будет, если он отвезет меня к другим знакомым. Мы едем; я лежу на полу машины и вылезаю на углу в далеком от нас пригороде.

Друзья принимают меня, дают мне во что одеться, кормят завтраком. Рэсти догадался, где я, и в то же утро установил со мной связь. Полиция взяла у нас обе пишущие машинки и больше ничего. Визит был мимолетный. Меня, видимо, не собирались арестовывать, и, не послушав совета своих друзей, я возвращаюсь домой.

Мы уже забыли, что значит спокойный сон. Лежали ночами и прислушивались к машинам, проезжающим по улице, к шагам за окнами. Зимний рассвет в половине седьмого возвещал, что еще одна такая ночь подошла к концу. Однажды я сказала:

— Ну, и эту пережили,— и начала субботнюю смену постельного белья и подготовку к стирке. Потом положила все для супа в герметическую кастрюлю и принялась готовить еду на уик-энд. Звонит телефон

Приторно-вежливый голос с английским акцентом спрашивает меня и называется Майком Бейном.

— Майк Бейн?

— Да, миссис Бернстайн. Вы меня не знаете, но я знаком с вашими друзьями в Дурбане. Они просили кое-что передать вам.

— А что именно?

— Мне бы не хотелось по телефону.

Голос звучит скромно, мелодично и все-таки фальшиво. Последние слова его выдали.

То, что нас подслушивают, знают все, и кто стал бы говорить, будто привез мне какие-то известия из Дурбана, которые нельзя передать по телефону! Во всяком случае я ничего не жду из Дурбана. И никакого Майка Бейна не знаю.

Звонили, видимо, из Тайной полиции. Но что они затевают, угадать трудно.

Майк Бейн сказал, что он придет к нам. Я спросила, знает ли он дорогу? Майк Бейн притворился, будто не знает. Я объяснила ему, как к нам пройти, и добавила, что буду дома весь день.

Я кладу трубку и говорю Рэсти:

— Подозрительный звонок.

Рэсти предлагает:

— Давай уйдем из дому, сводим куда-нибудь ребят.

— Хорошо Вот кончу стирать и тогда пойдем,— говорю я.

Он уходит в гостиную и становится у окна, куря сигарету за сигаретой, глядя на улицу внимательно, напряженно.

Проходит четверть часа, и я слышу:

— Ты готова?

— Почти. Еще несколько минут,— отвечаю я.— Последний раз закладываю.

Двумя минутами позже Рэсти снова окликает меня — настойчиво, резко:

— Хильда! Где ты?

— Здесь, на кухне.

— Беги! Скорее. Через черный ход.

И не проходит и тридцати секунд, как я стою среди деревьев в глубине сада, а полицейские входят в дом с двух концов.

Где-то там на кухне, в которой мне уже никогда больше не бывать, в стиральной машине полощется белье, герметическая кастрюля выпускает из-под крышки клубы пара, дети не догадываются, что я ушла. Яркое зимнее солнце освещает обычный субботний день в одном из пригородов Иоганнесбурга.

Даже Рэсти не знал, где я нахожусь. Ему доставили записку, в которой было сказано, что все в порядке. Мы установили между собой связь. Идя в понедельник на курсы, Тони берет с собой письмо и небольшой сверток с бельем. Оставляет все это в раздевалке. С женщиной, которая возьмет передачу, она не разговаривает, а только шепчет, встретив ее в коридоре:

— Сверток в раздевалке.

Его берут и доставляют в чей-то дом. Вечером передают дальше. В конце концов он попадает ко мне. И эти записки и письма, прошедшие через многие чужие руки, помогают нам принять решение.

Рэсти писал мне: «За тобой приходили в субботу вечером и в воскресенье с утра».

Бечуаналенд (теперь Ботсвана) и Южная Африка на сотни пограничных миль разгорожены колючей проволокой. Там, где границу пересекают дороги, выставлены посты и патрули, а белые фермеры по ту и по другую сторону изгороди немедленно передадут нас южно-африканской полиции, если мы попадемся им. Страны, соседние с Бечуаналендом, враждебны к эмигрантам. Границу надо пересекать ночью, чтобы не наткнуться на полицейских с собаками. Нужны проводники, иначе попадешься в руки белых фермеров или затеряешься в зарослях. Первый пункт, до которого надо добраться каждому эмигранту, это Лобаци в 240 милях от Иоганнесбурга. Мы рассчитываем быть там к утру.

Мне предстоит встретиться с Рэсти в семь часов вечера на дороге недалеко от Планетария. Машина, которую ведет африканец, довозит меня до назначенного места ровно к семи часам. Шофер не знает, кто я такая, куда я еду, но, отъезжая, он говорит мне:

— Всего вам хорошего. Желаю удачи.

Я стою и жду под высокими деревьями. Через дорогу — Выставка. Там много народу, слоняются здоровенные молодцы, похожие на агентов Тайной полиции. Что если шофер моей машины выдал нас и эти люди ждут появления Рэсти? Рэсти запаздывает. Может быть, его уже взяли? Что мне делать, если он не появится? Я ухожу дальше в гущу деревьев, держа в руке чемодан с одеждой, которую дали мне в дорогу. Вглядываюсь, не идет ли он. Вот, наконец-то! Но машины нет. Кто ее дал? Рэсти не знает. О ней договорились через цепочку. Рэсти попросил А., который передал его просьбу Б., который сходил к В., и только В. нашел машину и шофера.

Проходит еще несколько минут, и машина появляется, сворачивает к нам. Я выхожу из-за деревьев. Она останавливается. Рэсти открывает мне дверцу. Та самая.

Та самая? Тот самый мощный автомобиль, который домчит нас до границы, ускользая от преследования полиции и огибая дорожные заставы?.. Дребезжащий старенький «седан», послевоенная модель, и за рулем крупный бородатый африканец.

Машина и такой шофер неизбежно привлекут к себе внимание полицейских. Ее остановят и будут искать в ней гашиш, спиртные напитки или краденые вещи, а найдут на заднем сиденье двух белых. Опаснее ничего не придумаешь.

Рэсти вычернил свои обесцвеченные солнцем брови и светлые волосы, и шляпа на нем незнакомая мне. Он низко надвигает ее на лоб и садится в глубь машины. У меня лицо закрыто прозрачным черным шарфом.

— Кто он такой? — шепотом спрашиваю я.

— Не знаю Какой-то Мак-Клиппер. Он уже перевозил людей. За плату.

— Сколько?

— Семьдесят пять фунтов. Риск большой — это не дорого.

Я спрашиваю Мак-Клиппера, как мы поедем.

— Обычно я езжу через Зираст,— отвечает он.— Но сегодня поедем через Лихтенбург.

— Почему?

Он слишком часто ездил на Зираст. Лихтенбург вернее. Заставы? Когда на одной дороге, когда на другой, а когда и вовсе нет. Словом, как повезет.

Никогда в жизни не приходилось мне испытывать такой мучительный страх. Он не утихал, а вгрызался в меня с каждым часом все сильнее и сильнее. Почему? Слишком многое было поставлено на карту. Выйдя из дому после шести тридцати, Рэсти нарушил режим домашнего ареста, не посчитался с запретом на выезд из Иоганнесбурга. Выдачу на пору-

ки, конечно, отменят. Мне ничто не инкриминируется. Я получу сначала девяносто дней, потом предъявят обвинение, потом будет судебный процесс. Мы слишком многим рискуем.

Огни Иоганнесбурга остались позади, мы едем по темной дороге. Все хорошо, пока нет других машин, но как только далеко впереди показываются фары встречной или, что еще хуже, догоняющей нас машины, меня охватывает острое чувство страха. Я вся сжимаюсь, я закрываю глаза.

Около десяти часов мы подъезжаем к Лихтенбургу, маленькому городку с алмазными копями. Мак-Клиппер нарушает свое долгое молчание:

— Не люблю я этот городишко,— говорит он.— Всегда остановят, обыщут. Полиция здесь очень уж ретивая.

Мы видим, что у дороги стоят две полицейские машины, едем мимо них. Чтобы нас не заподозрили, Мак-Клиппер сбавляет ход. Все проходит благополучно, полицейские не трогаются за нами.

Впереди Мафекинг, последний город перед пограничной полосой.

— Через Мафекинг мы не поедем,— говорит Мак-Клиппер,— там может быть застава.

Из Рамосади машина сворачивает к Пицани, и скоро мы выйдем из нее и пойдем к границе пешком. Мак-Клиппер едет медленно, внимательно приглядываясь к обочине. Где-то здесь он вбил кол в землю, чтобы отметить место. В такой темноте разглядеть что-нибудь трудно, но он знает примерно, где это, и наконец находит. Стоит только мне вылезть из машины, как разъедающий меня страх утихает, хоть я и спешу сойти с дороги в заросли кустарника.

— Теперь пойдем пешком,— говорит Мак-Клиппер.

Полночь. До границы миль семь, по меньшей мере два часа ходьбы. А сколько оттуда до Лобаци? Ответ я получаю неопределенный:

— Мили три-четыре, может, немного больше. Половину дороги я пройду с вами, а потом вы уж сами пойдете. Мне так далеко не дойти. У меня ноги больные.— Он задирает штанину и показывает перебинтованную ногу.

Ночь темная, хоть глаз выколи; полная тишина; луны нет; кое-где звезды на небе. Мы бредем в этой черноте по жесткой траве, между невысокими изогнутыми деревьями северного Трансвааля. Мак-Клиппер шагает легко, и мне приходится поспевать за ним — шаг у него гораздо шире, чем у меня. Иногда он останавливается, поднимает руку, останавливая и нас, и слушает, слушает. Мы тоже прислушиваемся. Но в этих мертвых местах не слышно ни звука. Странно! Даже насекомые молчат. Обычно южно-африканская степь ночью полна жизни, всегда в ней что-то шуршит, движется. Здесь этого нет. Здесь все безжизненно, даже среди деревьев, даже в траве. Я никогда не видела более мрачной, притихшей, мертвой страны.

После часа безостановочной ходьбы Мак-Клиппер шепотом говорит, что мы дошли до того места, откуда он повернет назад, и показывает общее направление, которого нам надо держаться. До пограничной изгороди еще около часа ходьбы. И пока мы стоим все трое, откуда-то из темноты до нас долетает слабое кукареканье, потом далекий отклик на него.

Мак-Клиппер говорит торжественным тоном:

— Вы слышали петуха?

— Да.

— А другого?

— Да.

— Если пойдете как раз посередке между ними, тогда все будет хорошо.

Можно ли запомнить два петушиных кукареканья и пойти между ними? Мы пытаемся определить направление по звездам. Тропинки больше нет. Под ногами у нас то песок, задерживающий наши шаги, то вспаханная земля, по которой мы еле ковыляем. Постоянная помеха — это кусты с длинными, как кинжалы, колючками. Их не видно в темноте до тех пор, пока не войдешь в то, что режет тебе руки и ноги, рвет одежду. Стараешься выдраться из этих капканов, а они держат тебя, точно крючками.

Время, когда мы должны подойти к границе, давно прошло. Эта проволочная изгородь — какой-то мираж, призрак, который появляется на виду чуть впереди, но стоит только приблизиться к нему, как он сразу же расплывается в темноте. Мы меняем направление, решив, что идем параллельно границе. Вот кустарник исчезает и впереди виднеется холм, освещенный слабым отблеском отраженного света в небе. Это Лобаци! Другого города поблизости не может быть. И мы идем на эти отблески час, два... Потом холм исчезает, за ним встает другой — далекий, недостижимый, отблески остаются позади нас, а границы все нет и нет.

Вдруг Рэсти говорит:

— Свет, видный на таком расстоянии... Лобаци маленький городишко. Это, наверно, Мафекинг.

Неужели же мы столько времени шли в обратном направлении, назад к Мафекингу? Может быть, все это было хождением по кругу?

— Дождемся рассвета,— говорит Рэсти.— Какой смысл идти дальше?

Я несколько раз падала. Земля вся в ямах. Рэсти проваливался по пояс.

— Мы переломаем себе ноги,— говорит он.— Это бессмысленно.

Наконец что-то меняется вокруг. Звезды потухли, небо сереет, открывая перед нами унылую, плоскую равнину, совер-

шенно бесплодную после трех засушливых лет

Ни пограничной изгороди, ни хижин, ни тропинки, ни людей — ни малейших признаков жизни.

Теперь мы понимаем, что сбились с дороги. Шли всю ночь, а куда пришли, неизвестно.

Светло, но солнца нет. Мы идем дальше и вдруг нападаем на тропу, которая должна привести нас куда-то. Сворачиваем на нее, и вдруг Рэсти говорит:

— Смотри! Следы шин...

Тут, видимо, проезжал патруль. Мы ищем, где бы спрятаться, и видим вдали какие-то хижины. Это ферма, и, наверно, хозяин ее белый. Чуть подальше африканский крааль. Мы садимся и ждем. Вскоре из крааля появляется человек, и Рэсти идет ему навстречу. Оба подходят ко мне. Неизвестный показывает, как пройти к границе.

— Это недалеко, изгородь вон там.

Еще минут десять, и не веришь глазам своим — вот она, изгородь — двойной ряд колючей проволоки с полосой ничейной земли между ними. Последние двести-триста метров мы почти бежим. Перелезаем через первый ряд проволоки, за ним второй — и мы в Бечуаналенде.

Проволока позади, но мне уже невмоготу идти дальше. Рэсти оставляет меня с чемоданами под терновником, и, прижавшись к его стволу, я тщетно пытаюсь укрыться там от палящего солнца и холодного ветра.

Как только он ушел, я начинаю дремать. К действительности меня возвращает отрывистый собачий лай. Из-за холма ко мне идет женщина. Она как-то странно прихрамывает, припадая на одну ногу. С ней Рэсти. Женщина берет мои чемоданы и ведет меня в крааль. Это две глинобитные хижины, крытые соломой. Стоят они на пыльном дворе, огороженном забором из перевитых веток. Посреди двора растет терновник.

Женщина когда-то работала в Иоганнесбурге и немножко говорит по-английски. У двоих мужчин, которые сидят на земле у маленького костра, нет средств общения с нами.

Женщина приносит два грубо сколоченных стула, но колено и нога у меня так болят, что сижу я с трудом. Женщина замечает это, уходит в хижину, выносит оттуда одеяла, расстилает их на земле и знаком приглашает меня лечь. Потом подает нам кувшин с водой и извиняется, что у нее не осталось ни чая, ни еды. В этом краале нет ничего съедобного, кроме мучнистой каши, которую мужчины варят в котелке на костре.

— Где Лобаци?

— Далеко, очень далеко.

— Если выйти сейчас, когда мы там будем?

— Если выйдете сейчас, то пройдете весь день и всю ночь, и все еще не будет Лобаци.

Мы с Рэсти обсуждаем, как быть дальше. В Лобаци у нас есть друзья. Надо дозвониться до них, может быть, они достанут нам машину.

— Где здесь у вас ближайшая лавка?

— Далеко, очень далеко.

— Телефон там есть?

— Нет.

— Где ближайший телефон?

— В Рамабатлане. (Пограничный пост, патрулируемый южно-африканской полицией.)

— А школы? Есть здесь школы?

— Школа есть, но очень далеко.

— А телефон в школе?

— Телефона нет.

— А ослов можно нанять?

Два осла, запряженные в деревянную повозку с хворостом, принадлежат одному из мужчин у костра.

Женщина смеется:

— Нет, нет, разве на ослах кто ездит!

— А что тут такого?

— Нет, нет, на ослах никто не ездит.

— А лошади у кого-нибудь есть?

Женщина задумывается, отвечает, что лошади есть, но дадут ли их? Она ковыляет к мужчинам у костра. Говорит, говорит им что-то, и они спорят с ней. В конце концов один из них — должно быть, муж — уходит за лошадьми. Мы лежим на солнце и ждем.

Он возвращается не скоро и говорит, что лошадей нельзя достать, они в поле.

Женщина снова подсаживается к костру и что-то втолковывает мужчинам. Наконец один из них встает, приводит велосипед и едет в местечко, называющееся Добрая Надежда, на поиски человека, у которого, кажется, есть машина.

Проходит еще час. Мужчина возвращается и говорит, что не застал того человека дома.

Снова быстрая речь женщины. Мужчины сидят не шелохнувшись. Женщина не дает им покоя, она хлещет их словами, она изливает потоки слов на их безвольные плечи. Они противятся, у них нет ни малейшего желания отойти от костра, они больше ничего не хотят делать, мы их не интересуем.

Но женщина не успокаивается. Припадая на одну ногу, она ходит взад и вперед по краалю, тормошит мужчин, пытается достать нам какой-нибудь транспорт. Она не знает нас, но ей нужно двигаться, думать, что-то устраивать, как-то жить, ибо вон ее ребенок играет в пыли посреди двора. Она не хочет быть заодно с живыми мертвецами у костра.

Она посылает мужа к другому человеку, у которого, говорят, есть лошади. Потом ставит пустое ведро на голову и идет за три мили за водой. Вода какая-то густая, желто-зеленого цвета и отдает бензином. Женщина ставит ее на костер — подогреть, сливает в таз, приносит стул за ограду из веток, заставляет меня снять брюки, опустить ноги в воду. Потом сильными, крепкими руками растирает мои распухшие ступни, охая при

виде засохшей крови и царапин, оставленных колючками.

Приходит и уходит полдень. Мы рассчитывали быть в Лобаци до двух часов дня, потому что когда Рэсти не придет отметиться в полицию к двум часам, там поймут, что он бежал. И Тони надо показать телеграмму от нас, иначе она не будет знать, что говорить.

Но женщина не сдается. Время идет, мужчины сидят у костра, она продолжает донимать их.

Уже ближе к вечеру я слышу за оградой какие-то звуки — будто едет тележка. Мы смотрим и видим пару лошадей и некое подобие телеги — две-три доски и колеса. На этой тележке, говорит нам женщина, нас отвезут в поселок, где живет человек, у которого есть машина и который, может быть, поедет в Лобаци.

Мы благодарим ее, даем ей денег и прощаемся. Она ни о чем нас не спрашивала, не ждала, что ей заплатят. А я даже не знаю, как ее зовут.

На узком сиденье рядом с возницей мне едва хватает места. Рэсти сидит сзади и обеими руками держится за доски. Я предупреждаю его, когда вижу впереди кочки, не то он слетит. Мы подъезжаем к маленькому поселку из нескольких хижин. Наш возница останавливает тележку, высаживает нас с вещами и уезжает. Где мы находимся, неизвестно. Если этот поселок близко от границы, нежелательные встречи могут быть опасны и даже гибельны для нас.

Рядом с хижиной, около которой мы слезли с тележки, стоит машина. Рэсти говорит:

— Там белый...

Мы колеблемся — входить или нет, но отступать поздно. Он нас видел, надо идти на риск.

Сидя в хижине за столом, африканец и белый считают деньги. Когда мы входим, африканец встает, пожимает нам руки, представляется, представляет белого. Все это не так, как в Южной Африке, где чернокожий не смеет заговорить раньше белого.

— Нам сказали, что нас подвезут отсюда в Лобаци,— говорим мы.

Белый отвечает:

— Я еду туда через двадцать минут. Если согласны подождать, можете ехать со мной.

Мы выходим к машине. Африканец снова пожимает нам руки и бросает так, между прочим имя одного южно-африканского политического эмигранта, который пересек границу несколько недель назад. Таков его способ внушить нам, что он понимает, почему двое белых, запыленные, немытые, очутились в этой деревушке, где живут только африканцы.

Через час мы уже в Лобаци. Просим остановиться у почтового отделения. Наш шофер не задавал нам никаких вопросов и не догадывался, кого он вез. Мы проехали в машине сорок миль.

Знали ли вы об этом, Мак-Клиппер? Видимо, нет. Предупреждая, что нам придется идти долго, всю ночь, и направив нас между двумя петушиными кукареканьями, вы, должно быть, имели самое смутное представление о том, сколько миль до Лобаци.

Лобаци — это две улицы, которые образуют букву «Т». На соединении их стоит железнодорожная станция.

Здешняя полиция знает все, что ей нужно знать. Южно-африканские полицейские свободно переезжают через границу, и чуть ли не все белые здесь с охотой выполняют те обязанности, которые властям не совсем удобно брать на себя, а полиция Протектората печется только об одном — как бы у нее было поменьше осложнений. С политическими эмигрантами много хлопот, и поэтому чем раньше они уедут отсюда, тем лучше.

Можно ли ждать помощи от людей, которые не знают вас? Нам нужно было разыскать индийца Азада и связаться через него с нашим другом Молви Качалиа. У Азада должна быть лавка в Лобаци. Мы заходим в первую попавшуюся и спрашиваем хозяина, где нам найти Азада.

— Здесь его нет.

— А где его лавка?

— Не знаю.— Мотают головой, переглядываются.

— Как его разыскать?

Молчание Отворачиваются и делают вид, что заняты за прилавком.

Мы выходим на улицу и заглядываем в следующую индийскую лавку. Наконец мальчик, не такой подозрительный, как другие, показывает нам, где торгует Азад.

Азад говорит, что пешком до Молви Качалиа не дойти, и дает нам грузовик с шофером, который и довозит нас до белого домика, стоящего на пыльном дворе. Этот домик — центр, куда стекается вся эмиграция. Здесь живут Молви Качалиа и Дэн Тлуми, которые несколько месяцев назад вместе перешли границу.

Представитель АНК в Лобаци, Фиш Кейтсинг, везет нас утром в участок бечуаналендской полиции.

Беседу с нами проводит Шеппард — самый вежливый полицейский из всех, с которыми мы встречались в жизни. Он берет у нас дактилоскопические отпечатки, фотографирует у себя в кабинете на фоне стены, под ослепительными лучами солнца, заполняет с наших слов анкеты и выдает Рэсти и мне право на политическое убежище в Лобаци сроком на три месяца.

Шеппард задает нам вопросы, но ответы наши никак не комментирует. Вопросы эти самые обычные, и все же опыт подсказывает нам — их надо остерегать-

ся. Мы не думаем, чтобы полицейские в Лобаци передавали полученные ими сведения южно-африканской Тайной полиции, но каким-то образом информация, добытая бечуаналендскими властями, попадает в картотеку Тайной полиции Южной Африки.

Мы отвечаем только на самые безобидные вопросы. К какой организации принадлежали? Указываем время, когда она была легальной. Какой политической деятельностью занимались? Почему уехали нелегально? Что заставило вас решиться на отъезд? Каким образом добрались до границы? Где ее пересекли? Кто вас вел? С кем говорили по дороге? Наши ответы неопределенны и уклончивы. Их перемежают длинные паузы, когда мы молчим, а Шеппард не настаивает на ответе. Основной его комментарий: «Та-ак! Прекрасно!»

Когда мы выходим из полицейского отделения, с нами здоровается, называя нас по имени, грязный, небритый малаец, но мы не знаем, кто это. Вид у него совершенно изможденный, он, того и гляди, упадет замертво на землю.

Мы прожили в Лобаци неделю, а возможность выбраться отсюда, кажется, еще дальше от нас.

Эмигрантский лагерь есть во Франсистауне, и вместе со всеми здесь мы ждем транспорта. Один грузовик готов давно, а второй в ремонте. Скоро и его отремонтируют, по словам Фиша. На север, после Франсистауна, машины должны ходить по две — иначе опасно в этой безлюдной стране.

Всю неделю почти каждый день мы навещаем гараж — узнать, как двигается ремонт. И всякий раз новая задержка: будет готов через три-четыре дня; нужна запасная часть, за ней пошлют в Мафекинг; запасная часть будет в Лобаци только через неделю; в Мафекинге таких частей нет, посылают в Иоганнесбург; в машине обнаружены новые неполадки.

Каждый день, а иногда и по два раза на дню Шеппард, или его помощник Хиггинс, или оба заходят к нам справиться, как у нас обстоит дело с отъездом. Они немногословны, держатся вежливо, но им явно нетерпится, чтобы мы поскорее уехали отсюда.

Шеппард следит за нами в оба глаза, ему все нужно знать о нас, но с нашей стороны было бы глупо думать, что власти Бечуаналенда будут защищать политических эмигрантов.

Мы часто ходим из гостиницы в город, заглядываем по пути в лавку Азада, пьем там чай с молоком и говорим с Юсефом Омаром, который помогает Азаду в лавке, ожидая решения своей судьбы.

Юсеф Омар — тот самый небритый малаец, которого мы видели в день приезда у отделения полиции. Он пересек границу в одну ночь с нами, но чтобы добраться туда из Иоганнесбурга, ему понадобилось восемь ночей. Восемь ночей! А днем «отдых» в ямах подальше от дороги. Омар входил в подпольную группу Африканского движения Сопротивления, все члены которого сидят сейчас по тюрьмам или уехали из страны. Он знал, что полиция разыскивает его, и решил бежать. Год в заключении он уже отбыл, сидел в одиночке, его били, пытали электрическим током. И нет в нем больше уверенности, что он выдержит новые пытки.

— Я заговорю, друг, я не вынесу этого.

В субботу, через три дня после нашего приезда, мы были у Дэна и Молви, в их домике. Дэн включил радио послушать последние известия из Иоганнесбурга. «Иоганнесбургский архитектор Лайонель Бернстайн, недавно оправданный на процессе задержанных в Ривонии, прибыл в Лобаци вместе со своей женой Хильдой...»

Итак, затишье кончилось. Дэн сказал:

— Теперь вам надо соблюдать осторожность.

Какое счастье, что ни меня, ни Рэсти не было в тот час в гостинице! Пресса накинулась на отель после радиопередачи и весь день одолевала телефонными звонками.

Как всегда в субботу, недалеко от гостиницы показывают фильм. Сегодня идут «Пушки Навароне». Жесткие стулья в холодном, пронизанном сквозняками помещении; хозяин продает билеты, сидя в дверях зала. Опасность нашего положения, полная неизвестность, что с нами будет дальше, мешают мне сосредоточиться на том, что показывают на экране.

В середине фильма к нам подходит хозяин и шепчет Рэсти, что его вызывают Шеппард и Хиггинс.

— Ну, что вы решили?

— Пока ничего.

— Не узнавали у местной авиакомпании, когда у них будет самолет на север?

— Нет.

— И не говорили с ними?

— А вы думаете, нужно? — спрашивает Рэсти.

Шеппард еще ни разу не дал нам прямого ответа на вопрос.

— Советовать вам я не берусь. Но в городе поговаривают... Сами знаете...

— О чем поговаривают?

— Да будто собираются бросить бомбу на взлетную дорожку...

Мы снова заверяем его, что ни о чем не говорили и не собирались говорить с местной авиакомпанией. Действуйте осторожно, дает нам понять Шеппард. Может быть, это все пустые разговоры, но кто их знает...

В ту ночь мы запираемся у себя в номере и даже поворачиваем ключ в балконной двери.

Понедельник. Самое опасное время — уик-энд — миновало. Мы снова идем в

гараж и узнаем о новых задержках. На ремонт грузовика потребуется еще неделя. Выходим из гаража и видим большой желтый «форд» с тремя здоровенными белыми мужчинами в нем.

Эмигранты должны отмечаться по понедельникам в полиции. Выйдя оттуда, видим все тот же «форд» у забора. Из полиции идем к Азаду. Когда выходим от него, «форд» ждет нас у лавки, включает мотор и медленно едет по улице следом за нами. Мы заходим в аптеку купить кое-что. Снова выходим на улицу, и «форда» нет. Вместо него стоит «фольксваген» с южно-африканским номерным знаком.

На следующее утро мы снова идем узнать, как подвигаются дела с ремонтом грузовика. Заходим в дом для эмигрантов и видим, что он неузнаваем: вся мебель из него вынесена и стоит снаружи, полы вымыты, окна широко раскрыты. Там наводят порядок три только что приехавшие эмигрантки. Это жена Дума Нокве — Тайни, Регина — жена Альфреда Нзо и Тэнди — скромная, молчаливая женщина из Порт-Элизабет, которой удалось пересечь границу только со второго раза. В первый раз ее задержали и посадили в тюрьму на девяносто дней.

— А вчерашняя машина? — сказал Молви.— Помните вчерашнюю машину, она всюду за вами следила?

— Желтый «форд»?

— Нет, «фольксваген». Знаете, что было? Вам нельзя разгуливать по городу.— Волнуясь, Молви чуть заикается.— Н-нет! Как хотите устраивайтесь. Ждать грузовика не имеет смысла.

— Что же случилось с «фольксвагеном»? — допытываемся мы.

— Вчера днем Тайни и Регина пошли в полицейский участок заявить о своем приезде. И пока они там сидели, полицейский привел во двор красный «фольксваген» вместе с шофером. Машину обыскали и нашли в ней дробовик.

— Откуда Тайни и Регина знают об этом?

— Сами видели — вот, спросите. Дробовик отобрали при них.

Тайни говорит:

— Шофера отправили с его «фольксвагеном» назад в Южную Африку.

Одного человека, выслеживающего нас с ружьем, нет. А сколько их еще осталось?

Да, здесь место небезопасное.

Молви, Дэн и Фиш убедили нас, что нам нельзя уезжать из Лобаци наземным транспортом. Наш отъезд попадет на страницы газет и будет у всех на устах. Дорога между Франсистауном и Касани длинная, безлюдная, мало ли что может случиться с машиной. Мы несем с собой опасность другим людям.

— Даже если грузовик будет готов,— говорит Дэн,— вам теперь нельзя на него рассчитывать. Если бы выехать сейчас, до того как это попадет в газеты... И не ходите по городу, не ждите, когда грузовик отремонтируют. На это уйдет слишком много времени.

После нашего приезда в Лобаци прошла неделя, и мы делаем попытку уехать другим способом. Звоним в авиакомпанию Северной и Южной Родезии. Заказывать телефонные разговоры из гостиницы нам не хочется, так как слишком многие могут вникнуть в наши планы. На каждое соединение уходит уйма времени — полчаса, час. Рэсти вызвал Ливингстон. Там не сказали ни да, ни нет и просили позвонить позднее. Звоним в Солсбери. Приходится запрашивать о самолете Южную Родезию, хоть это и неприятно, но у них есть такие, которые летают и до Кейптауна. Солсбери не может сказать, будет ли у них самолет в Бечуаналенд, и направляет нас в Ливингстон. Наконец мы добираемся до Ливингстона, до той самой конторы, куда звонили в первый раз. Нам отвечают, что сейчас зафрахтовать самолет нельзя. Да, компания сдает самолеты по фрахту. Да, у них бывают такие самолеты. Но в данный момент они ничего не могут нам предоставить. Когда же? Неизвестно.

Звонок в Лусаку — и снова отказ. На все это уходит два полных дня, и постепенно мы приходим к выводу, что телефонная книга дает номера одной компании с разными названиями или же все они работают согласованно. И нам, эмигрантам из Южной Африки, имена которых известны, никакого самолета не получить.

В Лобаци знают, кто мы такие, и относятся к нам некоторые с симпатией, некоторые с ненавистью. Сейчас в городе находится британская парламентская делегация, представляющая консервативную, либеральную и рабочую партии; они обследуют протектораты. Мы им хорошо известны, но эти люди делают все от них зависящее, чтобы не здороваться ни со мной, ни с Рэсти. Исключение составляют только двое членов рабочей партии, которые как-то поздно вечером приходят поговорить с нами в тиши нашего номера.

В углу ресторана сидит огромный тучный южно-африканец, поглощающий невероятное количество мяса. Он то и дело посматривает в нашу сторону и отводит глаза, и мне кажется, что ему доставило бы немалое удовольствие всадить нам нож в спину. Но ранним утром на следующий день этот человек заходит в наш номер и представляется. Он едет обратно в Иоганнесбург, спрашивает, нет ли у нас поручений, может быть, передать что-нибудь детям, и желает нам удачи.

...Официант проходит мимо и дружелюбно бормочет что-то или предостерегает.

ХИЛЬДА БЕРНСТАЙН
ЭТОТ МИР БЫЛ НАШ

— Будьте осторожнее,— чуть слышно говорит он, огибая как-то утром наш столик.— У дверей стоят две с о б а к и. Вы меня извините, это мерзавцы, грязные свиньи.

Сегодня утром холодно. Снова подул ледяной ветер. Городок окутан пылью, смерчи пыли крутятся и пляшут по вельду. Мы сидим на гостиничной веранде, пригретые солнцем, читаем, ждем телефонных звонков.

Шеппард навещает нас дважды. Утренний визит — дело обычное, но днем он приходит снова и говорит, что ему надо кое-что сказать нам с глазу на глаз. Оказывается, по правительственным каналам ему сообщили, что власти Северной Родезии разрешили нам проезд через свою страну.

Вечером, часа на два мы забываем про грузовик и недостающие запасные части к нему, которые так и не пришли, про эмигрантов, томящихся во Франсистауне, про «форд» и про «фольксваген». Тайни, Регина и Тэнди готовят нам ужин в эмигрантском доме. Дэн разжигает в камине огонь, такой жаркий, что его пламя поджаривает нас и мы почти не видим друг друга из-за дыма. И в памяти у нас встают дни, когда мы могли работать и работали вместе. Митинги в локациях, митинги в крошечных, освещенных свечами комнатушках, митинги в машинах, в зарослях кустарника, на вельде. Громкие голоса и веселый смех африканцев. Их оптимизм, вера, неугасимое жизнелюбие. Где же теперь все наши друзья? В тюрьмах, в изгнании. Товарищество, надежды, общая цель — все это мы покидаем.

Том Нкоби звонит нам из Лусаки. Он зафрахтовал самолет, который в понедельник утром вылетает в Палапай и возьмет нас на борт. Мы должны быть в Палапае рано утром. Палапай — селение к северу от Лобаци, по дороге во Франсистаун; там есть посадочная площадка.

Мы советуемся, как попасть в Палапай.

— Будь у меня грузовик, я бы отвез вас туда,— говорит Фиш.

Другой способ — ехать поездом, который прибывает из Мафекинга в Лобаци ежедневно в половине двенадцатого ночи, а в Палапай в четыре часа утра. Билетов заранее не брать, прийти на станцию за полчаса; войдя в вагон, ничего не бояться, дальше все пойдет хорошо; рано утром выйти в Палапае; самолет прилетит и возьмет нас, прежде чем кто-либо сообразит, где мы.

Совет как будто бы разумный. Рэсти полагается на него. И, может быть, только напряжение последних нескольких недель настораживает меня против этого путешествия в поезде.

По дороге в гостиницу проходим мимо станции, и Рэсти останавливается посмотреть расписание. Поезд есть каждый вечер, кроме воскресенья. Значит, нам надо будет выехать в субботу и провести сутки в Палапае.

И вот в субботу утром мы едем в город повидаться с друзьями. Сидим в грязном кафе, где черно от мух, обсуждаем все детали нашего отъезда. Потом идем в гостиницу и складываем вещи. Выпишемся только после ужина, в последнюю минуту. Фиш заедет за нами и отвезет в эмигрантский дом, где мы дождемся времени, когда надо будет ехать на станцию.

Мое беспокойство растет.

Мы стоим с чемоданами в темноте и ждем Фиша. Он приезжает без четверти девять, как всегда жизнерадостный, и везет нас в эмигрантский дом. Мне не хотелось покидать гостиницу. Я чувствовала, что пока мы там, с нами ничего не сделают. Ночью можно было уходить к себе в номер и запираться там на ключ. Тяжело было вылезать из этой норки навстречу новой опасности, новым трудностям.

Сегодня агенты южно-африканской Тайной полиции пересекли границу и появились в Лобаци. Они привезли с собой из Иоганнесбурга шурина Омара с нижеследующим: Омар, возвращайся в Иоганнесбург. Ответишь на наши вопросы, и даем тебе слово, что тебя не арестуют. Мы гарантируем твою безопасность. Но если ты откажешься, будет арестована твоя жена, и ее посадят в тюрьму без определения срока. Сейчас сержант Деркер сидит у тебя дома и ждет наших указаний.

Шурин Омара говорит:

— Меня просто взяли и привезли сюда, чтобы я сказал тебе это. Посоветовать я ничего не могу, ты сам понимаешь, что делать.

— А твоя жена знает что-нибудь? — спрашиваем мы Омара.

— Нет, нет! Она не принимала никакого участия в наших делах.— Омар не допускает мысли, что его жену сделают заложницей.

Но можно ли верить обещаниям Тайной полиции? Если им будет угодно, они и не подумают сдержать свое «честное» слово. Омар нужен как свидетель против кого-то. Если он не даст показаний, не будет отвечать на вопросы должным образом, помогут ли ему в Иоганнесбурге эти словесные заверения? Дело кончится тюрьмой. Если его жена действительно ничего не знает, ее могут арестовать, но держать ее в тюрьме бессрочно вряд ли им удастся, а взять под стражу можно и без Омара.

Все сходятся на том, что возвращение в Иоганнесбург будет для Омара гибелью. Сам полковник Клиндт приехал в Мафекинг вместе с группой полицейских и остался там, а остальные под началом полковника Брица проследовали в Лобаци. Они возвращаются обратно сегодня

вечером, и Омар должен принять какое-то решение к этому времени.

В половине одиннадцатого Фиш снова приходит за нами. Провожать нас будет Молви. Мы едем по тряской дороге, и пыль клубами встает позади грузовика и уносится в темноту. Фиш высаживает нас неподалеку от станции, справа от железнодорожной линии. Для него ночь выдалась хорошая — луны нет, стелется туман.

Тишина и темень. И мне страшно. Платформа одна в оба направления. На одном ее конце небольшой квадратный домик — билетная касса, над окошечком горит в туманном ореоле электрический фонарь. Ни начальника станции, ни носильщиков, ни пассажиров. Мы единственные ждем этого поезда. Кто и куда поедет из Лобаци? Никто и никуда.

Втроем — Рэсти, Молви и я — мы пересекаем пути, и наши башмаки скрежещут по камням, на которые уложены рельсы. К платформе подходим с того конца, что дальше от кассы и от света. Взбираемся на нее, становимся с краю под высокие акации, опускаем чемоданы на землю и ждем. Молви идет по платформе к кассе — взять нам билеты.

Поезда еще не слышно. Он, вероятно, только что отошел от Мафекинга. За акациями — станционный двор, дальше главная улица городка. Все здесь спит, все хранит молчание. Ни света, ни людей, ни машин, ни единого звука. Только прямая узенькая спина Молви, удаляющаяся от нас на свет фонаря.

И в эту минуту — нет, в секунду! — мне почудился шум поезда. Но это не поезд, а яркий, точно прожектор, луч, словно бог знает откуда дотянувшийся до платформы. На станционный двор влетает машина, останавливается со скрипом тормоза, фары ее тухнут. Сразу следом за ней подъезжает вторая. Дверцы открываются, из обеих машин выходят люди.

Это не пассажиры, спешащие к поезду. Выглядывая из-за стволов акаций, мы стараемся угадать, кто они такие.

— Белые или черные?

Рэсти отвечает:

— Белые.

Их шестеро — все широкоплечие, рослые. Слов мы не разбираем, но слышим, что говорят на африкаанс. Это явно агенты Тайной полиции.

Они идут к платформе и останавливаются, все шестеро, у билетной кассы. Один из них, в пальто с поднятым воротником, медленно шагает по направлению к нам.

Фонарь горит ярко, поезда все нет и нет; эти люди переговариваются, стоя на свету, изо рта у них вылетает пар.

Можно крикнуть: «Проснись, Лобаци, проснись! Нас схватят сейчас!» Но кто меня услышит? Где Шеппард со своими людьми? Шеппард, который ежедневно, а то и по два раза в день навещал нас, который знает, что агенты южно-африканской полиции здесь, в Лобаци, знает, что этот поезд должен увезти нас. Мы вглядываемся в темноту, но на платформе, кроме полицейских, никого нет.

Скорее, скорее, поезд!

Полковник Бриц медленно шагает по платформе; шаги у него размеренные, четкие. Он минует акации, в тени которых я стараюсь раствориться, доходит до края, поворачивается на каблуках и так же медленно идет назад. Проходя мимо нас, он не смотрит в нашу сторону, но голова его делает чуть заметное движение... увидел!

Поезд придет через пять минут.

И вдруг к нам быстро идет Молви.

— Я не взял билетов. Это из Тайной полиции. Вам нельзя на поезд.

А мне кажется, что там наше спасение. Если до прихода посзда нас не схватят, мы выберемся отсюда.

Но что же делать? Как отвязаться от них?

— Только в вагоне,— настаиваю я.

— Нет, нет! Вас схватят. Может, не сразу, но дальше на линии схватят обязательно. Так было с М. Его сняли с поезда и избили.

Молви рассказывает нам, что произошло у билетной кассы. Увидев подъезжающие машины, он остановился посмотреть, кто это. Увидел, как из них вышли люди, а минуты через две кто-то тихонько окликнул его: «Ш-ш!»...— из-за угла кассы. В полосе тени стоял человек — знакомый Молви. Он шепнул ему: «Это Тайная полиция. Им известно, что Бернстайны сегодня уезжают. Поэтому они и нагрянули сюда. Предупредите!»

Но вот вдали слышен шум поезда. Он подойдет к станции, и мы убежим.

— Прыгайте вниз,— говорит Молви,— вот сюда.

С лязганьем, ослепляя ярким светом, поезд останавливается на станции Лобаци.

— Прыгайте!

И мы прыгаем с высокой платформы в песок позади акаций, бежим мимо полицейских машин, бежим по улице, распахиваем калитку и вбегаем на задний двор чьего-то дома.

Неужели они видели нас? Спрыгнув с платформы, мы очутились в кромешной тьме. И что, собственно, они могли бы сделать с нами? Помешали бы сесть на поезд? Или, как говорил Молви, просто удостоверившись, что мы сели, стали бы придумывать, как задержать нас дальше на линии? Поездная бригада вся из Южной Африки; железнодорожные служащие все сторонники апартеида. Лобаци, вероятно, слишком людное место, но там, куда идет этот поезд, можно сделать все что угодно. Никто ничего не узнает. Свидетелей не будет.

Прижавшись друг к другу в темноте

на крыльце чужого дома, мы слышим, как поезд отходит: хлопают вагонные дверцы, свисток; потом неспешный перестук колес, набирающих ритм и скорость.

Мы снова сидим в доме Азада вместе с Омаром и одну за другой курим скверные сигареты. Омар все еще расстроен и сбит с толку шантажом, который затеяли против его жены, и говорит — без внутреннего убеждения — об отъезде в Южную Африку. Молви предлагает нам вернуться в эмигрантский дом и провести там остаток ночи. Но меня страшит мысль о долгой дороге через кромешную тьму локации. Молви уходит «разведать обстановку».

Сколько лет я знаю этого человека и никогда не считала его храбрецом. Правда, когда-то он принимал участие в больших кампаниях пассивного сопротивления и протеста против несправедливых законов и буквально напрашивался на тюремное заключение. Но все это делалось заодно с товарищами. Все мы были храбрецами, когда черпали силу в единении, все мы были бесстрашны, когда держались вместе. Сегодня Молви наедине с самим собой, и смел он тоже наедине с самим собой. Он спокойно выходит на неосвещенные улицы Лобаци проверить, не опасно ли там, и подыскать нам место, где мы сможем провести остаток этой загубленной ночи.

Сворачивая за угол, он слышит, что за ним идет машина, а появление машины в Лобаци в ночное время ничего хорошего не сулит.

— Молви! Молви! — Это Шеппард. Что делает тут Шеппард в предрассветные часы воскресного утра? — Вы не знаете, где Бернстайны? — спрашивает он. Шеппард, конечно, уже осведомлен о том, что Бернстайны не сели на поезд.

— Бернстайны все еще в Лобаци,— следует ответ. Шеппард ждет, что завтра утром мы явимся к нему.

Комнату нам Молви нашел в доме одного индийца недалеко от гостиницы. Мы берем у Азада одеяла и досыпаем остаток ночи, не раздеваясь, прикорнув на каких-то диванчиках.

Задача, вставшая перед нами на следующий день: как попасть в Палапай и не упустить самолета. Аннулировать заказ мы не можем. Сегодня воскресенье, отделение АНК в Лусаке будет закрыто, телефона у них нет, адреса их мы не знаем, только номер ящика на почте.

Во всем Лобаци не найти ни грузовика, ни легковой машины напрокат. На грузовике, который время от времени нанимает Фиш, можно сделать самое большее несколько миль. Владельцы машин — у Азада, например, есть новый грузовик — побоятся последствий, которые могут ожидать их, если они помогут нам выбраться из Бечуаналенда. Мы-то уедем, а они останутся в трех милях от Южно-Африканской Республики, завися от нее во всем — в своих торговых делах, в поставке товаров. А необходимость ездить время от времени в Иоганнесбург и Мафекинг? Эти люди помогли бы нам, но они боятся. Мы спрашиваем Шеппарда, нельзя ли нам уехать на полицейском фургоне. Нет, это невозможно. С помощью Молви мы опросили всех индийцев в Лобаци — всех, кто мог бы помочь.

Вот, например, Хаффаджи.

— Я бы вас отвез, с удовольствием, но у меня сцепление не в порядке...

— У тебя новая машина,— строго перебивает его Молви.

— Да, но вот сцепление плохо работает. Знаете, какие у нас дороги — песок по ступицу. Если бы не песок, да если б дороги были получше и сцепление не подводило, я бы с удовольствием вас отвез, с превеликим удовольствием...

Воскресенье мы проводим в том же доме, где ночевали. Хозяева-индийцы кормят нас и великодушно дают нам полотенца, ставят стулья на веранде, чтобы мы могли погреться на солнышке. Их молчаливые хмурые женщины подают на стол — мы едим вместе с мужчинами, убирают посуду, прячутся на кухне и в задних комнатах. Они не одобряют нашего присутствия, они знают, что мы приносим беду.

Долгое утро уходит на бессмысленные споры и ожидание. Во время завтрака, когда мы садимся за стол, в дом входит высокий молодой человек — белый. Он спрашивает:

— Кого тут нужно подвезти в Палапай?

Мы подозрительно оглядываем его. Говорит он с сильным южно-африканским акцентом.

— А почему вы спрашиваете?

— У меня грузовик,— поясняет он.— Я могу отвезти вас в Палапай.

Мы не решаемся принять его предложение. Он рассказывает о себе, говорит, что тоже перешел через границу, спасаясь от ареста. Мы относимся к нему недоверчиво: это типичный африкандер. Придирчиво расспрашиваем его. История, которую он рассказывает, вполне правдоподобна, может быть, все так и случилось на самом деле. У него был роман с черной девушкой (нарушение Закона о нравственности), им заинтересовалась полиция, он бежал, потом вернулся в Южную Африку, попал под суд и получил четыре месяца тюрьмы. По освобождении снова уехал в Бечуаналенд — уехал легально, с паспортом, женился на своей девушке и обзавелся домом.

Может быть, это и правда, а может, и подвох Мы просто не смеем рисковать и отказываемся от его предложения.

Ближе к вечеру, когда ничего другого не остается, у меня вдруг созревает решение:

— Я пойду к Азаду и попрошу его, чтобы он дал нам свой грузовик.

Азад наш друг, он так хорошо принял

нас и Омара, но грузовика нам не предложил. Все до последней мелочи в его лавке идет из Южной Африки. Другим эмигрантам он помогал; мы дело иное. «Слава» процесса задержанных в Ривонии и наша связь с Нельсоном Манделой заносят нас в особую категорию. Мне тяжело ставить его в такое положение, когда он должен будет отказать, а отказывать неприятно, или согласиться, а это не принесет ему ничего хорошего, но нас уже охватывает отчаяние.

Мы идем к Азаду, и, став посреди его двора, я говорю:

— Дай нам свой грузовик.

Азад смотрит на Молви, переговаривается с ним и соглашается.

Идут наши последние приготовления перед отъездом. Фиш поедет с нами, а потом приведет грузовик обратно. Если на самолете окажется свободное место, Омар тоже полетит. Фиш подбирает людей, которые будут охранять нас дорогой. Выезд назначен часов в одиннадцать вечера.

Снова возвращаемся в эмигрантский дом. Там стоит тишина, женщины пошли на прогулку, и мы ложимся отдохнуть. Я почти ликую. Ко мне возвращается чувство уверенности: с Фишем и его друзьями нам будет не страшно.

Ближе к ночи Омар приводит грузовик Азада, и после одиннадцати мы прощаемся с Дэном, Молви, с женщинами и уезжаем, вооруженные ломами.

Едем ночью, в темноте. Других машин на дороге нет. Пыль, клубы красной пыли. И справа и слева, в свете фар грузовика, кривые кусты терновника и засохшие деревья. Эти призраки надвигаются на нас из черноты и мгновенно исчезают, а на их место приходят все новые и новые. Глухой мир, лишенный жизни, только пыль, полупустыня, освещенный фарами кустарник и снова тьма.

Дорога плохая, но лучше, чем мы думали. Рэсти, Омар и Фиш ведут грузовик по очереди. Мы поем — то песни свободы, то я начинаю английские народные. Пыль и песни ночью на дороге в Палапай. В половине четвертого утра мы останавливаемся. Быстро, слишком быстро доехали. Нам не хочется въезжать в Палапай до рассвета. Собираем валежник с обочины дороги и разводим костер — огромный костер, пылающий в сердце Бечуаналенда. Костер этот — наш опознавательный знак. Пока в него подбрасывают сухих сучьев, пока они трещат и загораются, мы существуем. Мы существуем в кружке света от нашего костра, а за ним нет ничего.

Около шести мы подъезжаем к Палапаю. Глинобитные хижины с соломенными крышами, окруженные изгородями из веток терновника для защиты от леопардов и львов. Поселок только-только просыпается, из краалей на его центральную улицу выходит скот.

Аванпост Империи. Отделение полиции, над его рифленой железной крышей развевается британский флаг. Мы должны доложить о себе начальнику — некоему Деннису, который держится неприязненно и сухо. Шеппард был по крайней мере неизменно любезен, хотя его «Та-ак! Прекрасно!» не очень-то нам помогало.

Солнце стоит высоко. Ветер дует по-прежнему, вздымая охряную пыль. Мы бродим с места на место, пытаясь укрыться от ветра. Потом я сажусь в кабину грузовика и пытаюсь читать, а Омар и Рэсти ложатся спать сзади. Мы ничего не ели все это время и пили только воду. Несмотря на две бессонные ночи, уснуть мне не удается. Я слишком устала.

Денниса известили, что летчик в пути и прилетит утром, но позднее. Я сижу и прислушиваюсь, стараясь уловить шум самолета, мечтая о шуме самолета, но его все нет и нет. Время идет медленно. Мы ждем.

Уже далеко за полдень. Сведений о самолете Деннису больше не поступало, но он считает, что нам лучше доехать до аэропорта и ждать там. Деннис верит, что самолет прилетит, Рэсти, Омар и Фиш верят, что самолет прилетит, а я не верю в его существование. Я ничего не говорю им, но самолета нет, это вымысел, фантазия...

Мы едем в так называемый аэропорт. Это пустое поле с ветровым конусом. Веселый Фиш везет нас туда прямо по вельду, пробираясь сквозь кустарник, виляя среди скота. Деннис приезжает на легковой машине хоть и окольной, но лучшей дорогой, а за ним идет грузовик с африканской полицией.

Все слушают, не летит ли самолет. Мы стоим кучками: Деннис со своим помощником, в сторонке африканская полиция, Рэсти, Фиш и наши товарищи. Полицейские смотрят на нас как завороженные. Такова реакция африканцев, привыкших в лучшем случае к покровительству или опеке белого человека и впервые почувствовавших, что к ним относятся по-дружески, на равных правах.

Я снова сажусь в кабину грузовика...

И так, точно во сне, проходит еще час. Ветер не стихает, солнце печет, глаза наши ничего не видят — открытое, пустое небо, открытая, пустая земля, бесцветный покорный ветру мир. И вдруг в позах людей, которые стоят посреди поля, происходит какая-то перемена. Мне не слышно их голосов, но даже по спинам видно, что они напряженно вслушиваются. Я вылезаю из грузовика и тоже слышу намек на далекий гул, который становится то сильнее, то затихает и кажется просто плодом воображения, потом вдруг звучит все явственнее, все громче. Этот звук — чуть слышный, тонкий, далекий, дрожит и бьется в воздухе, как лист на ветке.

Маленький красный с белым самолет делает круг над полем и приземляется. Из него выходит юноша, светловолосый, лет девятнадцати на вид, и идет к нам.

Так вот какое оно, последнее звено в той цепи, в той подпольной дороге? Этот юноша, даже не знающий, кого он повезет, тоже ее часть. А позади него... женщина в краале — та, что ковыляла за водой по высохшей, мертвой земле, чтобы вымыть мне ноги, и все подбивала равнодушных мужчин что-то сделать для нас; позади него Мак-Клиппер, он ведет машину по опасным дорогам; друзья, которые прятали и перевозили меня с места на место; Дэн и Молви, Омар и Фиш; те, кто носил передачу и записки; все, все, кто помогал,— каждый был звеном, без которого цепь порвалась бы.

Теперь мне понятно, почему я не верила в существование самолета. Этот самолет — их успех, и он же — наше поражение. Этот самолет порывает последнюю связь и уносит нас из мира, где мы делали все, что могли, из мира, общаться с которым мы будем теперь только издали.

Места для Омара нет, он вернется в Лобаци и уедет оттуда позднее, другим путем. Мы благодарим всех за помощь, со всеми прощаемся.

И вслед нашему самолету, подскакивающему на неровностях взлетной дорожки, поднимаются сжатые кулаки и несутся голоса: «Amandla! Amandla!» — и мы тоже взмахиваем руками и кричим: «Amandla».

Наши голоса тонут в реве мотора, ветер уносит их прочь. Мы видим друзей, стоящих там внизу с поднятыми руками, они становятся все меньше и меньше по мере того, как самолет поднимается вверх, подрагивая на встречном ветру. И вот они уже как крошечные отметинки на этой бескрайней земле, и мы одни, и с нами только неутихающий ветер и белокипенное сверканье африканского неба.

О книге Хильды Бернстайн

Пульс южно-африканской жизни нам почувствовать трудно. Куда труднее, чем биение сердец во многих других государствах.

Ведь за последние полвека, в течение жизни двух-трех поколений, лишь считанное число людей из нашей страны смогло побывать на территории Южно-Африканской Республики. Правда, когда-то, в 1942 году, во время борьбы с гитлеризмом, тогдашний южно-африканский премьер-министр фельдмаршал Смэтс согласился на создание советского консульства в Претории. Но деятельность сотрудников представительства южно-африканские власти старались ограничить до минимума, а в феврале 1956 года вообще закрыли консульство. И с тех пор лишь китобойная флотилия «Слава» да еще несколько советских кораблей побывали у причалов Кейптауна и Дурбана.

Ни один из корреспондентов московских газет не допускается в Трансвааль и на мыс Доброй Надежды. Да что уж говорить о московских — даже многим журналистам из Великобритании давно заказан путь на юг Африки.

А по книгам, издающимся в Кейптауне, Претории и Иоганнесбурге, не многое можно узнать: все написанное просеивается через частое цензурное решето.

Вот и получается, что о жизни на юге Африки можно составить представление, в сущности, только по рассказам тех, кто вырывался из этой страны. Зачастую это повествования о своей собственной судьбе, но по ним можно судить и о судьбе всего государства.

Книга «Этот мир был наш» — одно из последних свидетельств такого рода. Хильда Бернстайн рассказывает о том, как ей пришлось стать эмигранткой, покинуть страну, где прошла вся ее жизнь. В центре книги — трагедия одной семьи. Но, по существу, это картина жизни на юге Африки, история превращения ЮАР в государство, где официально регламентированные порядки уже не оставляют места таким людям, как Хильда и ее муж.

Сама Бернстайн в предисловии к своей книге говорит:

«Я написала о последних двух годах моей жизни в Южной Африке потому, что, как мне кажется, общую обстановку легче понять через судьбу одной семьи.

То, что я написала,— правда, но вся правда не увидит света еще много лет.

Я называла подлинные имена, за исключением тех случаев, когда необходимо было оградить людей от возможных последствий. По этой причине я не могла упомянуть и о друзьях, чью верность и поддержку невозможно забыть,— они поймут...»

В книге Хильды Бернстайн впервые подробно рассказывается о крупнейшем южно-африканском политическом процессе последних лет — суде над группой лидеров революционного подполья, схваченных 11 июля 1963 года во время их встречи в Ривонии, северном пригороде Иоганнесбурга, на принадлежащей художнику и архитектору Артуру Голдрейху ферме с поэтическим названием «Лепесток лилии».

Официальная печать ЮАР тогда громко торжествовала победу. Писали, что арестован чуть ли не в полном составе Центральный Комитет Южно-Африканской компартии.

Среди арестованных были люди, широко известные и в ЮАР, и за ее пределами, в том числе и муж Хильды. Почти всех их осудили на пожизненное заключение и отправили на остров Роббен (близ Кейптауна), который с незапамятных времен превращен здесь в место ссылки наиболее опасных «политических». Лишь нескольким удалось бежать из тюрьмы или добиться освобождения во время суда — среди последних оказался и Лайонель.

Процесс, описанный Хильдой Бернстайн, был действительно очень важным событием в жизни ЮАР.

Это судилище помогает понять тех, кто стоит в Южной Африке по разные стороны баррикад.

Местами книга напоминает политическую статью — рассказывается история борьбы между правительством и оппозиционными силами на протяжении целого ряда лет. А по временам текст живостью изложения приближается к художественной прозе — там, где речь идет о трагедии самой семьи Бернстайнов. И эти части составляют единое целое — видишь, как та или иная политическая кампания, тот или другой закон сказываются на жизни людей.

Облаву в Ривонии организовала «Полиция безопасности» (она была создана три десятилетия назад, но тогда именовалась «Специальным отделом»). Функции главного режиссера выполнял человек, о котором и Хильда Бернстайн, и любой из ее друзей не могут говорить без ненависти. Это Балтазар Форстер. С сентября 1966 года — премьер-министр и всевластный хозяин страны. А тогда — во время облавы и процесса — министр юстиции. Этому человеку организация «ривонийского дела» помогла подняться на последнюю ступеньку государственной иерархии — стать главой правительства.

В карьере Форстера «ривонийское дело» было кульминацией длинного ряда весьма сходных же услуг. Юрист по образованию, он был во время второй мировой войны «генералом» полусекретной прогитлеровской организации. Тогда он сформулировал свое кредо так: «Мы стоим за христианский национализм, который является союзником национал-социализма. Вы можете назвать это антидемократическим принципом диктатуры, если вам хочется. В Италии он носит имя фашизма, в Германии — немецкого национал-социализма, а в Южной Африке — христианского национализма».

Форстер не только выступал с заявлениями, он и действовал — тайно готовил вооруженное восстание на юге Африки в пользу держав «оси». Ему, как и его сообщникам, пришлось тогда познакомиться с концлагерем.

Но потом, как наглядно показала Хильда Бернстайн, времена изменились. И вот Форстер уже заместитель министра просвещения, искусства, науки... Его заботам поручена интеллигенция, которая так беспокоит правителей ЮАР. И Форстер настолько преуспел во вверенном ему деле обуздания, что в качестве следующей должности получил пост министра юстиции. Само это ведомство он вскоре переименовал в министерство юстиции, полиции, тюрем... И сразу же ввел в стране новые кары, в частности, закон, по которому без предъявления какого бы то ни было обвинения можно арестовать человека и держать в одиночной камере 90 дней. А выпустив, сразу же, у входа в тюрьму, задержать снова и «дать» еще 90 дней — и так до тех пор, пока органы секретной службы не соберут достаточного числа «улик», чтобы предъявить наконец какое-нибудь обвинение.

Арест в Ривонии целой группы лидеров подполья еще больше утвердил за Форстером славу наиболее умелого искоренителя крамолы и сразу выдвинул его в ряду единомышленников. И когда парламентский служащий Дмитрий Стафендас зарезал Фервурда в здании парламента, нанеся ему четыре раны ножом в лицо и шею, Форстер занял место Фервурда.

Книга Хильды Бернстайн показывает, как трудно выдержать, не надломиться, как «раскалывают» подчас и таких, которые казались очень мужественными и стойкими. И как все-таки люди уходят в подполье — отлично сознавая, что существующая в стране система слежки и сыска рано или поздно почти наверняка обнаружит их и что им грозит гибель от пыток, инсценированное «самоубийство» и лишь в лучшем случае суд, возможно, с приговором к смертной казни или пожизненному заключению...

Таких людей на юге Африки немало. Некоторых из них Хильда Бернстайн называет на первой странице своей книги, в посвящении, которое гласит:

«Эта книга посвящена людям Ривонии:

Нельсону Ролинлале Манделе
Уолтеру Максу Ульяте Сисулу
Ахмеду Мохамеду Катраде
Денису Теодору Голдбергу
Гавэну Арчибальду Мбеки
Реймонду Млаба
Элиасу Мотсоаледи

Эндрю Млангени
Лайонелю Бернстайну

и их адвокату

Абрахаму Фишеру».

В этом списке и черные, и белые, и метисы, и живущие на юге Африки индийцы. Здесь коммунисты и члены давно уже поставленных вне закона крупнейших национальных организаций страны, таких, как Африканский национальный конгресс, Южно-Африканский индийский конгресс или Конгресс цветного населения.

Друг семьи Бернстайнов — Абрахам Фишер, который был защитником на «ривонийском процессе», принадлежит к тому же народу, что и Балтазар Форстер. Он — африкандер (бур). Его дед когда-то был премьер-министром Оранжевого Свободного Государства. А сам Фишер, как и Бернстайны, еще в 30-х годах вступил в компартию. Вскоре после «ривонийского процесса» он сам перешел на нелегальное положение, работал в подполье, а затем был схвачен и подобно своим «ривонийским» подзащитным приговорен к пожизненному заключению на острове Роббен.

Фишеру — первому из южно-африканцев — была присуждена Международная Ленинская премия мира.

Суд над самим Фишером Хильда Бернстайн не описывает. Он состоялся уже в 1966 году.

В своей обошедшей весь мир речи на заседании суда 57-летний Фишер рассказал, с каким трудом он пришел к своим нынешним взглядам, и твердо заявил, что даже угроза смертной казни не заставит его отказаться от них.

Говоря о своей молодости, Фишер вспомнил, как когда-то ему, воспитанному в духе самых расистских традиций, трудно было первый раз пожать руку африканцу:

— Это потребовало громадного усилия воли. В ту ночь я много часов размышлял, почему мне так трудно протянуть ему руку... У меня появилось враждебное отношение к черному, причины которого я не мог объяснить.

А когда приговор был оглашен, Фишер повернулся к переполненному залу и с улыбкой поднял сжатый кулак с поднятым вверх большим пальцем — приветствие Африканского национального конгресса, организации тех самых людей, которым когда-то, в молодости, он не хотел подавать руку.

Случай, о котором Фишер вспомнил на суде, дает, пожалуй, больше для понимания жизни в Южной Африке, чем некоторые газетные статьи с перечислением бесконечных расистских законов.

Хильда Бернстайн рассказывает и о таких людях, и о таких организациях. Они представляют разные народы и даже разные расы, но выступают сообща — в стране, где расовая ненависть насаждается в течение жизни многих, многих поколений. Это уже само по себе не может не вызвать уважения.

И еще большим уважением проникаешься к подобным людям и их организациям, когда приходят сообщения о боях партизанских отрядов Африканского национального конгресса на территории Южной Родезии. Эти вооруженные столкновения начались, когда книга Хильды Бернстайн уже была написана. В августе 1967 года конгресс подписал совместную декларацию с крупнейшей (и тоже запрещенной) национальной организацией африканцев Южной Родезии о начале объединенных партизанских действий.

На помощь войскам и полиции Южной Родезии пришли военные подразделения Южно-Африканской Республики. Но и на протяжении всего 1968 года, несмотря на громадное неравенство сил, на территории Южной Родезии то тут, то там происходили вооруженные схватки.

Это снова опровергает бытующее иногда мнение, будто в ЮАР уже все задавлено и никаких сил сопротивления не осталось.

Большинство южно-африканских политэмигрантов продолжало на родине борьбу вплоть до момента, когда все возможности для них оказались уже закрыты — когда политическая деятельность каждому из них запрещалась специальным («персональным») решением властей; когда пребывание в тюрьме или под так называемым «домашним арестом» становилось для них обыденной формой существования, а в моменты пребывания «на свободе» непрестанный надзор службы безопасности закрывал пути к переходу на нелегальную деятельность.

Каждый из них мог бы избежать преследований. Достаточно было отречься от своей прошлой жизни — и власти оставили бы их в покое, тем более что многие из этих людей принадлежат к самой привилегированной расовой группе в ЮАР — они «белые». Но сотни, тысячи предпочли участь изгнанников, страшную угрозу, что до свержения нынешнего режима им вообще уже не видеть родины. И на чужбине они целью своего существования считают борьбу за свободу юга Африки, делают для этого все, что в их силах.

Пример тому — сама Хильда Бернстайн. Южно-африканская «белая», которая вместе с африканцами продолжает отстаивать интернационалистское будущее для страны, где сейчас сам воздух пропитан ядом расизма.

А. ДАВИДСОН

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ ЗАРУБЕЖНЫХ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ

«САМОВЫРАЖЕНИЕ» ИЛИ ПРОТЕСТ?

«На сцене аллея. Двое переодетых полицейских избивают человека. Приближается английский писатель.

Человек. Помогите!

Английский писатель. Может быть, это как раз то, что вам необходимо, но я должен самовыражаться.

Человек. Помогите!

Полицейские бьют его ногами.

Английский писатель. Поверьте, мне это не нравится так же, как и вам. Но я должен следовать моей интуиции художника.

Человек *(выплевывая выбитые зубы)*. Что ж, это и есть истинный критерий вашей творческой индивидуальности?

Избиение продолжается.

Английский писатель удаляется под сень струй, чтобы писать стихотворение о муравьях.

Занавес».

Что это? Отрывок из очередной пьесы так называемого «театра жестокости»? Нет, Это всего лишь драматизированный ответ поэта Адриана Митчелла, одного из участников анкеты, предложенной ряду английских писателей журналом «Лондон мэгэзин». Редакция журнала задала, по существу, один развернутый вопрос:

«В большинстве стран Европы и Америки писатели оказываются вовлеченными в те или иные формы выражения общественного протеста. Чувствуете ли вы, что вам как английскому писателю важнее самовыражение, нежели практическое участие в создании общественного мнения?

Иными словами, считаете ли вы, что в постоянных спорах о расовых и классовых проблемах, о насилии, войне, финансовом положении, то есть о том, что решающим образом определяет нашу жизнь, писатель должен участвовать в качестве полемиста, или вы убеждены, что только лишь интуиция — истинный критерий творческой индивидуальности?»

Прежде всего симптоматичен и заслуживает внимания сам факт обращения такого респектабельно-консервативного ежемесячника, как «Лондон мэгэзин», к подобного рода вопросам. Очевидно, появление этой анкеты можно непосредственно связать со все возрастающей в странах Запада политической активностью масс. Прогрессивная общественность Англии часто выступает против политики правящих кругов. Свидетельства тому — многотысячные демонстрации протеста против войны во Вьетнаме, очевидное недовольство попытками правительства Вильсона прийти к «полюбовному» соглашению с режимом Смита, резкая отповедь возмутительным откровениям парламентария-расиста Энока Поуэлла.

Как будто все эти проблемы и имеет в виду «Лондон мэгэзин». Но в том, как сформулирован основной вопрос анкеты, заключено, на наш взгляд, ложное противопоставление. «Самовыражение» писателя противопоставляется «созданию общественного мнения». Читателю, воспитанному на традициях русской и советской литературы, которые немыслимы без органически присущей им высокой гражданственности, это противопоставление должно показаться странным и искусственным. Однако не следует забывать, что в Англии еще в первой четверти нашего столетия наряду с эстетикой крити-

ческого реализма развилась и приобрела влияние модернистская эстетика Вирджинии Вульф и группы Блумсбери. В. Вульф призывала писателей, отойдя от решения социальных проблем, углубиться в свой внутренний мир. Несмотря на то, что принципы построения романа, которые были разработаны В. Вульф, оказались малоэффективными и ни один английский писатель в своей художественной практике им не следует, ее теоретические воззрения на творчество как на некую независимую от жизни общества область применения человеческого духа время от времени вновь проявляются в высказываниях «высоколобых» английских интеллигентов. Хотя с тех пор как В. Вульф обнародовала свою программу, прошло без малого полвека, сакраментальный вопрос: «Как же писать — самовыражаться или создавать общественное мнение?» — все еще ставится перед английскими писателями. Решают они его по-разному, но все же подавляющее большинство не сомневается в целесообразности и даже необходимости справедливого протеста против того, что в английской действительности вызывает возмущение.

Однако среди английских писателей, отвечавших на поставленный перед ними вопрос, нашелся все-таки человек, действующий по известному способу: средь бела дня закрой глаза и доказывай окружающим, что наступила ночь. Именно такова система убеждений, используемая Кингсли Эмисом. Начав с порции традиционной для определенных политических кругов антисоветчины, он далее с открытым забралом переходит в атаку на своих соотечественников, которые (о ужас!) осмелились высказать недовольство по поводу «государства всеобщего благосостояния». Атака эта ведется так, что стоит привести слова Эмиса целиком:

> «...Я имею право прочесть нотацию английскому писателю, который протестует, потому что система, против которой он протестует, в целом хороша. Те же, кто участвует в «выражении общественного протеста», либо негодяи и прохвосты, либо одураченные ими. Естественно, я протестую против протестов. И буду делать все, чтобы привлечь общественное мнение на свою сторону».

Еще раньше, в 1967 году, Кингсли Эмис публично объявил о своем разрыве с «левыми» со страниц газеты «Санди телеграф» в статье с красноречивым названием «Исповедь экс-радикала, или Почему Счастливчик Джим повернул направо». Лютую злобу антикоммуниста Эмис, не долго думая, распространил и на лейбористское правительство, «левизна» которого уже давно вызывает сомнение у рядовых англичан.

> «В современных условиях быть антилевым означает быть антилейбористом,— заявил Эмис.— Я мог бы по-иному мыслить, если бы м-р Уилсон сделал то, что должен был сделать и что, я надеялся, он сделает, получив большинство в прошлом году: раздавил бы свое проклятое левое крыло, выставил из лейбористской партии полдюжины коммунистов, членов парламента, и пригрозил остальным исключением, если они станут коммунистами, объяснив при этом, почему он *так поступает*». (Подчеркнуто Эмисом.)

В довершение Эмис предложил ограничить доступ в университеты детям рабочих; систему высшего образования в Англии он счел излишне демократичной.

Надо ли напоминать, что Эмис был одним из немногих английских интеллигентов, открыто выступивших с поддержкой американской агрессии во Вьетнаме; в письме в «Таймс» он требовал, чтобы английские войска поддержали американцев.

Откровения Эмиса заслужили резкую отповедь Элена Брайана на страницах еженедельника «Нью стейтсмен». Брайан с полным основанием заметил, что Эмис «не стал ни правым, ни левым, а просто уничтожил свое «я». Что же касается того, насколько Эмис был левым, то и на этот счет Брайан высказывает верное суждение:

> «Мистер Эмис, как многие раскаявшиеся грешники, страдает патологической потребностью преувеличивать свои былые провинности,— пишет он.— Собственные описания его деятельности могут создать впечатление, будто он был более верным попутчиком коммунизма, чем нам казалось».

Ироничность этого высказывания совершенно очевидна.

Очевидно и то, что «самовыражения» Эмиса способствуют «созданию общественного мнения», причем крайне реакционного. Но это не мешает ему в ответе на анкету утверждать, будто он, конечно, не «писатель-полемист» и будто все, что он пишет, определяется только лишь его «творческой интуицией».

Мы видим, куда привела Эмиса его «творческая интуиция». Та социальная система, которая казалась достойной сатирического осмеяния Эмису — автору романов «Счастливчик Джим», «Это неопределенное чувство» и «Лига против смерти», сегодня защищается Эмисом с таким пылом, как будто он хочет рьяной службой искупить «грехи» недавних лет. Между прежним Эмисом и нынешним, принявшим из рук покойного Флемминга эстафету откровенно антикоммунистической «Бондианы»,— дистанция огромного размера. В анкете «Лондон мэгэзин» Кингсли Эмис, в недавнем прошлом «рассерженный молодой человек», занимает крайне правое крыло и, покрикивая на своих собратьев по перу, стремится доказать недоказуемое: дескать, в нашей доброй старой Англии все в порядке.

Ответы других писателей можно разделить на две группы, в зависимости от того, признает ли писатель необходимым для себя лично участвовать в различных формах «общественного протеста» или он предпочитает от этого права отказаться, считая себя по тем или иным причинам к этому неспособным. Среди последних известный английский романист Энтони Пауэлл. Следует, однако, учесть, что Пауэлл, в теории принципиально отвергающий политическую «завербованность», в одном из своих последних романов «Долина костей» (1964) дал острую критику милитаризма и военщины. Кроме того, Пауэлл говорит только от своего имени и не стремится возвести свои взгляды в канон, как это делает романист и критик Энтони Бёрджесс, который утверждает, что «настоящему писателю не к лицу превращаться в полемиста» и что «политические взгляды не следует связывать с творческой личностью» писателя.

Бёрджессу вторит поэт Майкл Холройд, который тоже против участия писателя в общественной жизни страны. Ход мыслей у Холройда как будто бы самый безобидный: «Чем больше он (писатель) протестует, тем меньше он пишет». Однако далее, развивая эту идею, Холройд добавляет:

> «Большинство людей, работающих, чтобы обеспечить свое существование, не могут позволить себе уделять много времени расовым, классовым, половым и интеллектуальным антагонизмам, о которых мы так много читаем, хотя эти антагонизмы могут искусственно раздуваться с помощью телевидения и газет».

По Холройду выходит, что протестовать в самом деле ни к чему. Никаких противоречий ни между классами, ни между расами вообще не существует — их специально придумывают газеты и телевидение. Вряд ли есть надобность комментировать подобную точку зрения.

Очень наглядно показывает путаницу в понятиях, царящую в стане противников вмешательства писателя в общественную жизнь, ответ Саймона Рейвена, который считает, что

> «создание общественного мнения — не занятие для писателя, его дело — писать».

Но тут же Рейвен, опровергая самого себя, добавляет:

> «Если писатель обладает даром полемиста, в его произведениях будут непосредственно выражены его собственные (либо его нанимателя) мнения по политическим вопросам».

Внутренние противоречия содержатся и в дальнейших рассуждениях Саймона Рейвена.

> «Поэт или романист,— утверждает он,— должен заботиться лишь о том, чтобы писать хорошие стихи и романы и рассчитывать на справедливую оплату затраченных усилий».

Однако следующая фраза вновь опровергает предыдущую, ибо Рейвен вынужден признать, что и в романах и в стихах политические взгляды писателя все-таки находят отражение, хотя

> «назначение художника в том, чтобы доставлять наслаждение, а не обращать читателей в какую-нибудь веру».

Как же быть с лозунгом «полной свободы индивида», провозглашенным уже упомянутым нами Э. Бёрджессом? Как согласуется столь любезная сердцу либерального западного интеллигента «свобода творчества» с наличием без особого ханжества признаваемого Рейвеном «нанимателя»? А что, если «нанимателю» вдруг не понравятся взгляды писателя, откуда же возьмется «справедливая оплата затраченных усилий»? Этот, казалось бы, естественно вытекающий из всех рассуждений Рейвена вопрос у него почему-то не возникает. Что ж, ему можно только позавидовать — как видно, его взгляды всегда счастливо совпадали со взглядами его «нанимателей». Вывод из ответа Рейвена один. Даже те, кто на словах против «завербованности» писателя, по сути не только «завербованы», а просто закуплены своими «нанимателями» на много лет вперед. Как известно, кто платит, тот и заказывает музыку.

Среди тех, кто признает необходимым для писателя участвовать в общественной жизни страны,— маститый либеральный критик и романист Филип Тойнби. Признавшись в том, что он «сам лично давно отказался от участия в демонстрациях, митингах и т. д.», Тойнби оставляет за собой право высказываться по поводу общественно важных вопросов в письменной форме. Что же касается своего художественного творчества, то там никакой полемической направленности он не допускает. Талантливая романистка Айрис Мердок хотя и считает гражданским долгом писателя, «быть может, особенно важным сегодня, активное участие в политической жизни страны», но никак не связывает это участие с творческой деятельностью.

Однако в анкете журнала «Лондон мэгэзин», в которой, заметим, участвовало не так уж много крупных английских литераторов, высказываются и иные точки зрения. Так, например, Элизабет Тейлор верит в то, что можно совместить «самовыражение и создание общественного мнения».

«Когда я оглядываюсь назад, мне кажется, что именно это я и делала и продолжаю делать»,— добавляет она.

Еще более определенно высказывается на этот счет прозаик и поэт Рой Фуллер:

«Я не понимаю и никогда не понимал, почему тот факт, что человек является писателем, освобождает его от политической ответственности и от участия, когда приходит необходимость, в политическом действии. Точно так же я верю, что произведения писателя, независимо от того, созрел ли в обществе протест, должны показывать его отношение ко всему, что «решающим образом определяет нашу жизнь».

С этими справедливыми словами нельзя не согласиться. Жаль только, что Э. Тейлор и Р. Фуллер оказываются в меньшинстве. Близки им по духу мысли М. Ричлера, который не видит необходимости противопоставлять «самовыражение созданию общественного мнения», и Ф. Маркуса, который считает, что «взгляды писателя наиболее полно выражаются в его произведениях...» Но в мыслях их ощущается горечь сомнения в эффективности непосредственного участия писателя в общественной борьбе. Так, Ф. Маркус считает, что «слово «протест» ассоциируется сегодня с определенным типом песен, а «петиция» обозначает письмо в «Таймс». М. Ричлер чувствует, что этого недостаточно. Тем не менее он говорит:

«Если бы я жил в Америке, я считал бы необходимым участвовать в демонстрациях и протестовать против войны во Вьетнаме и положения негров».

Конечно, гражданственность наиболее мужественных английских литераторов проявляется не только на бумаге. Известный романист Норман Льюис еще несколько лет назад действием ответил на настоящую анкету «Лондон мэгэзин». Все английские газеты, хотя каждая по-своему, не могли не отметить вызов, брошенный писателем-гражданином американскому империализму: в период широкой эскалации бомбардировок мирного населения Вьетнама Н. Льюис заявил командиру базы американских ВВС, что не считает возможным далее сдавать дом офицеру армии агрессоров. Отвечает он на эту анкету и своим творчеством.

Г. АНДЖАПАРИДЗЕ

В БИТВЕ ИДЕЙ

«И всегда рядом с книгой винтовка на изготовку!» — писал кубинский революционный поэт Мануэль Наварро Лу́на. Это не только поэтическая фраза, это и реальная действительность. Буквально не разлучаясь с оружием, вместе со всем народом отстаивая завоевания революции, бойцы культурного фронта ликвидировали в стране неграмотность, а поэты и прозаики начали создавать литературу новой Кубы.

«Революция,— отмечает журнал «Уньон», орган Союза писателей и деятелей искусств Кубы,— явилась могущественнейшим стимулом для развития кубинской литературы. До 1959 года наша литературная продукция, зачастую достигавшая заметных успехов, все же не была обильной... А ныне, по истечении этих — не столь долгих — лет борьбы и утверждения, наша литература стала более значительной, обогатилась вкладом, внесенным в нее все возрастающим числом писателей. Встреча с новой действительностью вызвала иное восприятие человека и окружающего... Явно заметно стремление наших писателей отобразить новые социальные отношения, противоречия переходного периода, продвижение к будущему — к тому, что мы строим каждый день».

Кубинская литература набирает силы — это бесспорно, однако путь становления ее нелегок, и трудности не ограничиваются «болезнями роста» — понятными и, надо полагать, неизбежными.

Существует «внешний» фактор, с наличием которого приходится считаться.

Потерпев неудачу в акциях военно-экономического характера против революционной Кубы, империалисты активнее пускают в ход оружие идеологической диверсии. В своем идеологическом наступлении они используют всевозможные каналы: нужную им агентуру они находят в кубинской контрреволюционной эмиграции, окопавшейся в США и других странах, и среди притаившихся на Кубе контрреволюционно настроенных элементов, а также пытаются привлечь к себе кое-кого из колеблющихся, политически неустойчивых.

Естественно, в свете всего этого вопросы идеологической борьбы, проблемы решительного повышения идейного уровня литературы — а следовательно и литераторов — приобретают исключительную важность. К этим вопросам в последнее время стали все чаще обращаться и кубинская печать, и руководящие деятели культуры.

Недавно центральный орган Коммунистической партии Кубы газета «Гранма», подчеркнув, что публикуемый материал представляет собой «очевидный интерес», перепечатала из журнала Революционных вооруженных сил «Верде оливо» большую статью

видного публициста Леопольдо Авилы «О некоторых течениях в литературе и критике на Кубе».

Леопольдо Авила в своей статье, нашедшей большой отклик на Кубе, считает чрезвычайно нужным и своевременным обратить внимание на то, что в ряде художественных произведений и критических работ, опубликованных за последние годы, стала проявляться «явная аполитичность»

Причину этого автор статьи в «Верде оливо» усматривает, в частности, в том, что некоторое время назад в определенных литературных кругах возникли опасения,

> «будто Революция будет покровительствовать лишь произведениям, созданным на злобу дня — памфлету... да и к тому же находящемуся на уровне политической схемы».

Жупел «памфлета», по утверждению автора статьи в «Верде оливо», заставил кое-кого отступить на «позиции аполитичности». Отдельные писатели, выступая против сведения литературы к «памфлету», отошли от «тематики и возможностей революционной литературы», а отдельные критики «глубокий анализ произведения в свете интересов Революции» заменили «общими разглагольствованиями».

Страхи перед «памфлетизацией» литературы, убеждает автор статьи, совершенно не обоснованны:

> «Кто понимает суть нашей Революции, кто правильно воспринимает ее динамику, тот не должен опасаться, что официальное руководство попытается втиснуть литературу в рамки директив».

Проблемы «памфлета» и всего, что с ней связано, коснулся и заместитель председателя Национального совета культуры Кубы известный романист Лисандро Отеро, выступивший на совещании молодых писателей в городе Сьенфуэгосе.

> «Революционную действительность, то есть общество, которое мы строим общими усилиями, вы должны отображать в художественных произведениях самого высокого качества,— сказал он,— писателю недостаточно быть только политически сознательным человеком, ему необходимо обладать творческим умением, профессиональным навыком».

Лисандро Отеро объясняет, что упрощенческая литература — а именно ее в некоторых литературных кругах и именуют «памфлетной» — исходит из догматических представлений, согласно которым все краски жизни сводятся к двум: белой и черной. Тот, кто смешивает понятия революционной и «памфлетной» литературы, совершает ошибку.

> «Те, кто воскрешает призрак догматизма,— сказал Лисандро Отеро,— делают это не бессознательно Иногда они пытаются оправдать своею проповедью страха и недоверия свой собственный отход от Революции. Но они не введут нас в заблуждение. Жизнь Революции должна отображаться действительно литературно».

Таким образом, точки зрения Авилы и Отеро в данном случае совпадают. Однако Авила говорит не только об аполитизме, но и о ложной политической ориентации некоторых литераторов. И тут, как он показывает, помимо внутренних вступают в силу причины внешние.

Обращая внимание на то, что «идеологическая мягкотелость, полная аполитичность могут привести к глупости, а порой и к контрреволюции», Авила резко критикует тех, кто считает возможным «восхвалять предателей, хитроумно втаскивать на пьедестал мастеров» писателей, изменивших родине и революции.

В связи с этим он приводит имена Лино Новаса Кальво, которому «было бы так же странно воздвигать монумент, как и Каину» (Новас Кальво бежал в США в дни кубинской революции), Севэро Сардуи, Адриана Гарсиа. Упоминает он и Гильермо Кабреру Инфанте, примыкавшего в первые годы к «Движению 26 июля», а ныне переметнувшегося в лагерь реакции и антикоммунизма, обливающего грязью кубинскую революцию из-за границы (кстати, автор статьи в «Верде оливо» ясно дает понять, что к предательству Кабреры Инфанте причастно Центральное разведывательное управление США).

> «Надо отметить,— уточняет Авила,— что горстка писателей, поступивших в услужение к врагу, весьма незначительна, а своим фальшивым реноме они зачастую обязаны восхвалению лиц, находящихся с ними в сговоре внутри нашей страны, что так прекрасно сочетается с восхвалением их со стороны империализма за пределами нашей страны».

Автор статьи в «Верде оливо» заявляет, что речь идет не о дискуссиях эстетического порядка, например, о полемике между фигуративистами и абстракционистами,— речь идет «о проблеме революции или контрреволюции». И об этом не следует забывать.

> «Революция не стремилась и не стремится ограничивать творческое воображение либо художественный эксперимент, однако она не перестанет сражаться

против тех, кто пытается использовать в дурных целях ту свободу, которую *народ — и только народ — своей кровью вначале завоевал, а теперь отстаивает;* она не перестанет сражаться против тех, кто пытается воспользоваться этой свободой, чтобы нанести удар в спину революции»...

Авила цитирует высказывание одного государственного деятеля США:

«В настоящее время вторжение на Кубу осуществить нельзя, зато можно сделать кое-что другое, в частности, оказать содействие контрреволюционерам за пределами страны, чтобы поддержать и усилить дипломатическую и экономическую блокаду».

Этот же деятель, напоминает Авила, в свое время декларировал: «Нельзя допустить существования революционной Кубы». Авила считает, что подобные высказывания должны быть известны всему кубинскому народу, в том числе и писателям.

«Это полезно знать, чтобы верно оценить ситуацию...— говорит он.— Сколь великими бы ни были наши задачи, каким бы обширным ни был наш фронт сражений, мы не можем упускать из виду идеологическую борьбу, бдительность в области идеологии. Небрежность в этой области — недопустимый риск».

Леопольдо Авила подчеркивает:

«Мы рассматриваем все с точки зрения Революции, с точки зрения Нации в войне. И это реалистическая точка зрения».

Статья, напечатанная в «Верде оливо», затрагивает и проблему литературной молодежи:

«Мы не предлагаем форсировать появление молодого поколения революционных писателей. Оно придет. Его создает сама Революция. Оно выйдет из ее рядов, без какой-либо поспешности, как логическое производное нового общества... И это новое поколение следует оградить от отрицательных влияний».

Лисандро Отеро в своем выступлении, о котором уже упоминалось выше, как бы продолжает разговор о литературной молодежи. Он особо отмечает, что в Сьенфуэгосе

«впервые в организованном порядке собрались вместе писатели, выросшие и сформировавшиеся в годы Революции, писатели, чьи творческие способности развились после Революции и в силу Революции, писатели, у которых нет конфликтов с Революцией, которые не сводят личных счетов с Революцией. Именно отсюда и вытекает историческое значение этой встречи...»

Значительную часть своего выступления Лисандро Отеро посвятил вопросу ответственности писателей всех поколений перед революцией:

«Писатель в буржуазном мире довольствуется тем, что отражает этот мир, ибо перестройка этого мира для него, в сущности, запретна. Писатель в революционном обществе может созидать как словом, так и делом. Мы не требуем, чтобы он пожертвовал своим призванием, ведь писать — это значит участвовать в революционной стройке. Однако подлинно революционным писателем можно считать лишь того, чьи слова подтверждаются делами».

В числе тех писателей, кто отдал свой талант делу революции, Лисандро Отеро назвал прежде всего Рауля Роа, Николаса Гильена и Алехо Карпентьера, а также погибшего в боях с фашизмом на испанской земле Пабло де ла Торриэнте Брау, безвременно угасшего в подпольной борьбе против диктатуры руководителя Коммунистической партии Кубы поэта Рубена Мартинеса Вильену, вдохновителя битв за освобождение кубинского народа Хосе Марти.

Говоря о том, что кубинская революция предоставила писателям свободу творчества, Лисандро Отеро указывает, что государство, защищающее и поощряющее творческую деятельность, со своей стороны, лишь принимает меры, «касающиеся защиты безопасности революционного государства».

Лисандро Отеро резко отозвался о

«тех немногих, кто старается выделиться, чтобы создать фалангу антиконформистов», претендующих на особую «критическую миссию писателя», хотя, по его словам, «подобная узкая каста, которая-де должна возвышаться над обществом, не заслужила такой роли, ибо не проливала за это ни свою кровь, ни свой пот».

В связи с этим он сказал:

«Критиковать нужно с революционных позиций, а не наоборот; критиковать нужно своими повседневными действиями, а не пустыми словами».

Лисандро Отеро предостерегал и против

«притаившихся контрреволюционеров, которые пытаются раздуть в нашей стране ажиотаж вокруг чехословацких проблем или вокруг проблем социалистического

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
За рубежом

Из работ монгольских художников

Г. ДУНБУРЭ. На перекрестке, 1967.

Г. СОСОН. **Портрет девушки,** 1967.

О. МЯГМАР. **Конец, 1967.**

Б. ЧОГСОМ. **Дума,** 1967.

У. ЯДАМСУРЭН. **Разговор по душам, 1967.**

С. ДОНДОГ. **Вьетнамские друзья, 1966.**

реализма и стараются вызвать противоречие между писателем и революционной властью. Этим элементам нужно дать бой».

Все выступление заместителя председателя Национального Совета культуры Кубы в Сьенфуэгосе явилось призывом к тому, чтобы молодое поколение кубинских писателей встало в авангарде борьбы за новое, социалистическое общество.

Союз писателей и деятелей искусств Кубы, со своей стороны, опубликовал декларацию, в которой, отмечая напряженность идеологической борьбы, подтвердил верность принципам социалистической революции,

«одним из которых несомненно является ее защита как от явных и открытых врагов, так и от тех — особо опасных,— которые в своей деятельности используют наиболее хитроумные и коварные средства».

Д. ВЛАДИМИРОВ

О ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПИСАТЕЛЯ

В последнее время основной темой писательских дискуссий в Польше, выступлений литераторов в печати и на встречах с читателями был вопрос о взаимопроникновении литературы и социалистической идеологии, о «творчестве и политике», о «писателе и политике». В широком смысле слова речь шла о связи литературы с современностью, то есть со строительством социализма в Польше, о гражданской ответственности писателя, о политической и общественной роли Союза польских писателей.

Возникла ли эта проблематика случайно? Разумеется, нет. Она связана с состоявшимся в феврале прошлого года собранием варшавских писателей, на котором политическая оппозиция выступила с резкими нападками на народную Польшу и культурную политику правительства, со студенческими демонстрациями в марте, во время которых некоторые писатели участвовали в составлении подстрекательских резолюций, а также с выступлениями отдельных писателей в западной печати, имевшими антипатриотический и антисоциалистический характер.

«Против этой группы подстрекателей и политических демагогов, которых поддержали вражеские центры пропаганды,— писала «Трибуна люду»,— решительно выступила здоровая часть литературной общественности, общественное мнение, рабочий класс как во время мартовских событий, так затем и во время общенародной дискуссии, предшествующей V съезду ПОРП».

Таким образом, в ходе острой идеологической борьбы минувшего года выдвинулась проблематика, которая оказалась в центре внимания не только писателей, но и широкой польской общественности.

В дни подготовки к V съезду ПОРП, затем во время съезда и незадолго до XVII съезда Союза польских писателей проблема гражданской ответственности писателей и связи литературы с действительностью народной Польши оказывается в центре всех писательских выступлений.

Еженедельник «Культура» поместил обширный отчет о прошедшей в редакции дискуссии на тему: «Писатель — профессия и призвание». В этой дискуссии приняли участие известные польские писатели: Ст. Р. Добровольский, Е. Путрамент, Ю. Ленарт, С. Гроховяк, Б. Чешко, В. Залевский и другие.

Открывая дискуссию, прозаик Витольд Залевский сказал, что в связи с приближением съезда Союза польских писателей редакция «Культуры» считает дискуссию, которую она проводит, особенно важной, что по затронутым в ней проблемам выступят и другие писатели. Залевский добавил, что, по его мнению, самой насущной потребностью стало определение роли и функций литературы в социалистическом обществе, ее участия в формировании этого общества.

В развернувшейся затем дискуссии каждый из выступавших стремился проанализировать причины возникновения в организации польских писателей политической оппозиции, определить роль и задачи Союза польских писателей.

Поэт и прозаик Ст. Р. Добровольский считает ошибкой, что Союз писателей избегал широких дискуссий на животрепещущие темы, во время которых можно и нужно было высказывать партийную точку зрения. Вообще Добровольский считает, что партийная организация не занимала того места в Союзе писателей, которое ей полагалось по праву.

Писатель Е. Путрамент, член ЦК ПОРП, полагает, что Союзу мешала работать политическая оппозиция, которая, используя высокий авторитет писателя в социалистическом обществе и довольно широкую автономию внутри Союза, устраивала демонстрации против культурной политики правительства. Уже в конце 50-х годов, замечает Путрамент,

«началась эволюция части писательской общественности от социализма вправо, в буржуазно-либеральном направлении».

Прозаик Леслав М. Бартелеский в связи с этим сказал, что все писатели, и партийные и беспартийные, должны чувствовать ответственность за все, что происходит в Союзе писателей.

«Это необычайно важная проблема,— пояснил он,— я говорю о позиции писателя и человека. Как беспартийный, не связанный с какой-либо партийной организацией, я должен отвечать сам за себя... Однако я в полной мере отдаю себе отчет в том, что пребывание в Союзе польских писателей возлагает на меня нравственные, общественные, гражданские обязанности».

Поэт и прозаик Станислав Гроховяк в своем выступлении обратил внимание на великую ценность литературного наследия польских писателей минувших веков, чье творчество может служить примером гражданского пафоса.

Писатель и видный общественный деятель Богдан Чешко заметил, что в последнее десятилетие под напором социально-экономических, научно-технических и организационно-административных задач, требовавших быстрейшего решения, проблемы идеологической борьбы отодвинулись на второй план, и это привело к опасным последствиям, в частности к политической дезориентации некоторой части писателей.

«Необходимо,— заявил Чешко,— признать ценность писательского творчества, обязательное участие писателей в решении стратегических задач идейного, идеологического фронта и сделать из этого соответствующие выводы в политической практике».

Дискуссия в еженедельнике «Культура», прошедшая накануне V съезда ПОРП, свидетельствует о патриотической позиции ее участников, о присущем им чувстве ответственности за состояние современной польской литературы.

Это же чувство пронизывает выступления литераторов Л. Вантулы и В. Махеека на V съезде ПОРП. Писатель-шахтер Леон Вантула, представитель промышленной Силезии, говорил о необходимости создания такой современной литературы, которая бы «продолжала лучшие традиции гражданской литературы, обращенной к социальным проблемам». Он напомнил о творчестве Пруса, Ожешко, Свентоховского, молодого Сенкевича, Бжозовского, о том, что они прокладывали пути в будущее. Социалистическая литература, которая идет этими путями, должна, по мнению Вантулы, обратиться к изображению человека труда, рабочего.

Главный редактор еженедельника «Жиче литерацке», прозаик Владислав Махеек, в своем слове на партийном съезде подчеркнул неразрывное единство политики и литературы, взаимозависимость литературы и социалистической идеологии.

«Опыт учит,— сказал он,— что идеологическая вооруженность народа в значительной мере зависит от того, хотят ли и каким образом писатели служить обществу...»

Махеек остановился и на практике «похищения душ», к которой прибегают реакционные круги ФРГ и США. В. Махеек сказал, что те из польских писателей, которые попались на удочку этой идеологической диверсии, изменяют своему народу и нации. Мастера литературы в социалистическом лагере, отмечал далее Махеек, вместе со всеми коммунистами накопили богатый опыт, который не всегда бывал позитивным, но который проник в наше сознание и многому нас научил. Реализованный в политических дискуссиях и в литературе, если он содействует познанию добра и зла, этот опыт вселяет оптимизм и вместе с тем предостерегает от повторения ошибок.

«Для нашей литературы,— добавил он,— самые большие моральные ценности — это социализм и народ».

В стране развернулась деятельная подготовка к писательскому съезду, намеченному на февраль 1969 года — в юбилейный год 25-летия существования Польской Народной Республики. Одним из самых интересных событий последнего времени были встречи писателей Варшавы с коллективами крупных промышленных предприятий столицы.

В этом «диалоге варшавских рабочих с писателями», пишет «Трибуна люду», шел разговор о состоянии и задачах современной литературы, происходило взаимное знакомство и обмен мнениями. В «диалоге» приняли участие писатели Алина и Чеслав Центкевичи, Моника Варненская, Антони Ольха, Алойзы Срога, Михал Русинек, Янина Дзярновская и другие.

В этой дискуссии между писателями и читателями взаимно переплелись две проблемы: воспитание общества с помощью художественного произведения и вытекающий отсюда уровень мировоззрения художника, создающего такое искусство.

Журналист и писатель Алойзы Срога, выступая на Механическом заводе № 2, говорил о значении ежедневных контактов писателя с жизнью, со средой, о которой он хочет писать, о том, что писатель должен быть соавтором жизни, а для этого деятельно участвовать во всех ее проявлениях.

Вице-председатель Союза польских писателей прозаик Чеслав Центкевич, выступая на одном из рабочих собраний, заявил, что большинство писателей тесно связаны и будут развивать и укреплять эти связи с рабочим классом в строительстве социализма.

Общее собрание варшавских писателей, избравшее делегатов на писательский съезд, также прошло под знаком высокой гражданской ответственности литераторов.

Ежи Путрамент в своем выступлении подчеркнул:

«Мы хотели бы, чтобы быдгощский съезд, который состоится в 25-летний юбилей народной Польши, самым широким образом представлял различные направления нашей писательской общественности. Однако этот съезд не может быть форумом для противников народной Польши.

Мы должны сделать важнейший в истории нашего союза выбор, выбор между двумя концепциями союза — февральской, ставшей основой оппозиционной партии и рассматривающей союз как трибуну для политических авантюр, и концепцией такого союза, который является объединением писателей, стоящих на почве народной Польши, на позициях социализма, союза как неотъемлемого, важнейшего звена современной польской культуры. Только такой союз по-настоящему может заботиться о судьбах писателя и литературы».

Участники общего собрания варшавских писателей приняли резолюцию, в которой заявили:

«Мы хотим, чтобы съезд всесторонне и справедливо оценил участие писателей и литературы в формировании облика национальной культуры и способствовал сохранению высокого общественного ранга литературы».

Готовясь к предстоящему съезду, польские писатели выражают уверенность, что он, наряду с творческими дискуссиями внутри СПП, приведет к политической нормализации отношений в писательской среде, создаст условия, благоприятствующие деловому контакту между писателями и руководителями культурной политики, будет способствовать дальнейшему расцвету литературы народной Польши.

А. ПИОТРОВСКАЯ

НАШИ ГОСТИ

БУНТ ПИСАТЕЛЯ

Итальянский писатель Гоффредо Паризе приехал в Москву ненадолго, дней на десять — освежить в памяти «русские картины», запавшие в душу во время первого посещения Москвы и Ленинграда зимой 1959 года, встретиться с советскими литераторами.

Одна из таких встреч состоялась в редакции журнала «Иностранная литература», который впервые познакомил советских читателей с творчеством Паризе, опубликовав в 1966 году (№ 8) его последний роман «Хозяин». (На русском языке в «Новом мире» № 8 за 1968 г. был опубликован также очерк Паризе «Несколько слов о Вьетнаме».)

Коллективное интервью наше началось со стереотипного, но кардинально важного вопроса о том, над чем в настоящее время наш гость работает. Признаться, ответом своим Паризе нас несколько озадачил и заставил призадуматься. Он сказал:

— Я очень обрадовался, узнав, что «Иностранная литература» опубликовала мой роман «Хозяин». Книга эта очень важна для меня, я рассматриваю ее сегодня, более чем когда бы то ни было, как революционную. В ней идет речь о чудовищной власти человека над человеком, граничащей подчас с садизмом-мазохизмом, о порождаемой ею неврастении, столь характерной для отношений между людьми у нас, на Западе. Западный мир охвачен кризисом. Чем все это кончится, не знаю, я ведь всего лишь писатель. Но именно как писатель я вижу: надо разоблачать насилие, господствующее вокруг нас.

Я было собрался выпустить сборник рассказов на ту же тему — о повседневной безвременной изнашиваемости человека. Эта тема не дает мне покоя. И все-таки решил, что верстку подписывать не буду. Более того, хочу обратиться ко всем европейским писателям с призывом отказаться от публикования своих книг.

Заметив на лицах присутствующих недоумение и чувствуя, что его точка зрения нуждается в подкреплении, Паризе поясняет:

— Предположим, мои рассказы выйдут в свет. Они насыщены полемикой, направлены против того идеологического и нравственного вакуума, в который погружена значительная часть западного мира. Но на прилавках книжных магазинов сборник мой смешается с кучей макулатуры, выпускаемой на потребу невзыскательному читателю. Скажу вам больше: то, что я предназначаю для своих единомышленников, попадет в руки тех, кого я критикую и осуждаю. Ведь покупает книги в Италии главным образом буржуазия. Трудовой интеллигенции, студенту, рабочему они не по карману.

Отсюда Паризе делает вывод: чтобы книги стали достоянием всех граждан Италии, чтобы раз и навсегда покончить с имущественным цензом, фактически определяющим доступ к культуре в Италии, необходимо объявить войну мультимиллионерам-издателям, являющимся, к сожалению, полновластными хозяевами книжного рынка.

После некоторой паузы кто-то из присутствующих с тревогой в голосе спросил:

— Но не печататься... не значит ли это уступить поле боя?

— Нет, напротив, это значит занять боевые рубежи! Я ведь не сказал — «отказаться от публикования художественной прозы навсегда». Такой бойкот необходим как временная мера.

— Есть ли у вас единомышленники?

— Надеюсь, что будут.

Однако такой демарш, как отказ от публикаций, нам представляется сомнительным.

— Согласитесь ли вы, чтобы ваши рассказы были напечатаны у нас, в СССР?

— Конечно, Советский Союз всегда может рассчитывать на меня, как на писателя. Но только не Италия, не Франция, не США. Культура там почти утратила значение. Сейчас в Москве я разговорился с одним инженером-конструктором. Это по-настоящему культурный, начитанный человек. На Западе он был бы представителем буржуазной интеллигенции и наверняка не имел бы даже отдаленного понятия о художественной литературе. Если бы из десяти итальянских инженеров хоть один знал бы о существовании Моравиа, я считаю, было бы неплохо.

Четыре года тому назад «Хозяин» разошелся тиражом в 65 тысяч экземпляров (для Италии это много). Всего вышло девять изданий. Роман был переведен на английский, французский, немецкий, финский, чешский, венгерский, японский языки. Издан он был и в США (где, по понятным причинам, успеха не имел). Сегодня в Италии вряд ли разошлось бы больше десяти тысяч экземпляров. Книжная торговля у нас совсем захирела.

Что изменилось за эти четыре года? Среди прочего сказывается пагубное влияние телевидения. Телепередачи, как правило низкопробного свойства, отодвинули на второй план и книгу, и даже кино. Число кинозрителей сократилось за последний год на 30 процентов. Таким образом, та часть мелкой буржуазии и рабочего класса, которая еще не доросла до того, чтобы пользоваться плодами подлинной культуры, теперь и подавно лишена перспектив роста.

— О чем спорят итальянские писатели?

— Как правило, они мало встречаются друг с другом. Я могу сказать лишь о своих ближайших коллегах и друзьях — о Моравиа, Вольпони, Пазолини. Нас удручает сознание, что писательский труд не находит отклика, не достигает цели. Не случайно никто из нас четверых за последние два года не издал ни одного произведения художественной прозы. Моравиа много разъезжал, писал путевые заметки, занялся театром. Пазолини работает в кино. Я много путешествую, пишу репортажи: выпустил книжку о Китае, очерки о Вьетнаме, о «Биафре». Побывал на Кубе, во время студенческих волнений — во Франции, сейчас собираюсь еще раз съездить в Нигерию — хочу видеть своими глазами, что происходит на свете. Для писателя это важно, очень важно.

Кто-то просит гостя рассказать, что он думает по поводу отказа Итало Кальвино от присужденной ему в этом году крупнейшей литературной премии Италии «Виареджо» (Гоффредо Паризе возглавляет жюри этой премии).

— Кризис литературных премий — одно из проявлений общего кризиса, охватившего итальянскую культуру. Я сражался за то, чтобы премию «Виареджо» получил именно Кальвино, это была победа культуры над бескультурьем. Кальвино знал, что получит премию, а когда ему ее дали, прислал телеграмму с отказом. Очевидно, из духа противоречия. Каждый бунтует как может. Положение действительно нетерпимое; издатель у нас всемогущ: стоит ему захотеть, и писателя либо вознесут до небес, либо предадут забвению.

В словах нашего гостя много горечи, скепсиса, разочарования, хотя его личная писательская судьба сложилась более чем благополучно.

Написанные им шесть романов постоянно переиздаются (его бестселлер — роман «Прекрасный священник» — выдержал с 1954 года четырнадцать изданий!); его работа в кино, особенно, совместная с Феллини, над сценарием «$8^1/_2$», получила высокую оценку; пьеса «Абсолют натурального» принята к постановке.

Но Гоффредо Паризе, остро переживающий все, что происходит в его «благоденствующей» Италии,— не из тех, кто почивает на лаврах. На горячо дискутируемый вопрос: «для кого же в Италии пишутся романы и сочиняются стихи?» — он отвечает своим творчеством.

Ю. ДОБРОВОЛЬСКАЯ

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

ПОЭТИЧЕСКОЕ СОЗВЕЗДИЕ ДВУХ КОНТИНЕНТОВ

Мы живем на одной планете. Стихи поэтов Азии и Африки. Составители и редакторы Зульфия, Е. П. Челышев, С. Л. Северцев. Ташкент, Издательство художественной литературы им. Гафура Гуляма, 1968. 544 стр.

В горах Кабилии мне показали причудливого очертания скалу, похожую на кисть руки, и тут же поведали удивительную легенду о том, что гора притягивает к себе слова на всех языках мира и непрерывно повторяет их. В подтверждение легенды рассказали о мужестве алжирского партизана, которому скала якобы помогла совершить подвиг. Молодой партизан, заметив грузовую машину с колонизаторами, крикнул на все ущелье: «Взвод, к бою!» — и выскочил из леса на дорогу с автоматом в руке. Скала, похожая на кисть руки, десятикратно повторила команду. Грохочущее эхо наполнило ущелье. Враги подумали, будто в самом деле они попали в засаду, и... сдались одному-единственному партизану.

Так это или не так, но легенда звучит хорошо. Об этой горе напомнила мне книга «Мы живем на одной планете», изданная в Ташкенте, в которой представлено двести пятьдесят семь поэтов из сорока одной страны Азии и Африки. Вот уж в самом деле здесь звучат слова едва ли не на всех языках мира, хотя сборник издан на одном — русском.

В этой книге читатель найдет имена крупнейших поэтов, самых ярких звезд в поэтическом созвездии двух континентов. Это и Бернар Дадье с Берега Слоновой Кости, и Шанкара Куруп из Индии, и президент Сенегала Леопольд Седар Сенгор, и Мухаммед Махди аль-Джавахири из Ирака, и Марселину Душ Сантуш из Мозамбика, и египтянин Салах Абдель Сабур, и многие, многие другие.

Открывает книгу мудрость великих поэтов, чей образ ассоциируется с образом держателя огня дружбы между народами: Рабиндраната Тагора, Садриддина Айни, Мухаммеда Икбала. «Но только в братстве и любви освобожденье мы найдем»—это строка Мухаммеда Икбала. Надежда на лучшее будущее сопутствует каждому поколению, она живет в сердцах людей всех континентов, и нет языка, на котором не повторялись бы слова Тагора:

Упразднят триумфаторов статуи,
Арки, шлемы, солдатские каски,
Былью войн, стариной бесноватою
Будут заняты детские сказки.

(Перевод Б. Пастернака)

Уже война втягивала в свою орбиту новые и новые страны, резкий ветер с запада хлестал в лицо народа, «из тайных убежищ» на дорогу разбоя выходили империалистические хищники, когда поэт бросил свое знаменитое «Опомнись!» Это был призыв к разуму века, к его совести.

Характерно, что книга поэтов стран Азии и Африки от первой страницы и до последней пронизана социальной активностью, высокой гражданской ответственностью за судьбы народов. На каком бы языке ни писал поэт, на каком бы континенте ему ни досталось место под солнцем, он говорит от имени угнетенных народных масс, отстаивающих право на жизнь, от имени людей, чей плач слышится «в тысячелетьях скотской жизни». Национальный герой конголезского народа Патрис Лумумба, бывший в то же время выдающимся поэтом, прожил всего три десятка лет, но его жизнь, словно Млеч-

ный Путь, светится в черном африканском небе, указывая дорогу людям. Лумумба мечтал показать всему миру, на что способен «черный человек, когда он трудится в свободной стране». Поэт писал:

Пусть берега широких рек, несущих
В грядущее свои живые волны,
Твоими будут!..
Пусть жаркое полуденное солнце
Сожжет твою печаль!
Пусть испарятся в солнечных лучах
Те слезы, что твой прадед проливал...

(Перевод П. Антокольского)

Алжир. Небо над Африкой очищается от свинцовых облаков, таящих в недрах своих и град, и грозу. За берега «широких рек» на своей земле алжирцы вели упорную войну целое десятилетие, и редко можно встретить в этой стране семью, где не вспоминают родного или близкого, погибшего в войну минувшую за то, чтобы испарились «в солнечных лучах» слезы, пролитые дедами, и люди трудились в свободной стране.

Об этом хорошо сказал Анри Крса в стихотворении «Будет день».

Сердце Алжира
Для всех открыто.
Мы вас ждали
Сто тридцать лет.
Посмотрите на небо:
Синева и свет —
Нашей кровью
Оно омыто.

(Перевод М. Курганцева)

Я видел их труд, самоотверженный труд нефтяников, добывающих «белое золото» в африканской пустыне, труд крестьян-виноделов, труд рабочих химических предприятий — это труд людей, вырвавших из хищных рук колонизаторов право владеть благами своей земли. Помню вдохновенный взгляд поэта и большого общественного деятеля Башира Хадж Али. Его, устремленного в завтрашний день освобожденного народа, интересовал вопрос о путях развития литературы, создании широкой сети школ, в которых обучение будет вестись на арабском языке. Он слушал с огромным интересом, когда мы рассказывали ему об опыте народов нашей страны, получивших письменность в советскую эпоху.

Башир Хадж Али клянется «молчанием захваченных» селений, «неизбежностью дня, что из сумрака должен родиться»: его народ не таит злобы против французского народа, не питает к нему чувства мести. Сила его гнева направлена против колонизаторов, которые не хотят, чтобы из сумрака родился светлый день возрождения его народа.

Поэты неотделимы от своих народов, в их органической слитности и единстве — постоянный источник гражданственности поэзии, ее горения. В этом еще раз убеждаешься, читая полные драматизма, упругие стихи ангольских поэтов, активных руководящих деятелей национально-освободительной борьбы. Это стихи Кошта Андради, Агостинью Нету, Мариу ди Андради. Большая взрывная сила с огромным эмоциональным зарядом заключена в «Песне Сабалу» Мариу ди Андради, принимавшего участие в Ташкентской конференции писателей стран Азии и Африки.

В книге «Мы живем на одной планете» широко представлены вьетнамские поэты, Это и понятно.

Правофланговый вьетнамских поэтов Хюи Кан, счастливо сочетающий поэтическое творчество с государственной деятельностью, снискал заслуженную известность произведениями «Священное пламя», «Небо с каждым днем светлей», «Земля расцветает». К нему с полным основанием можно отнести его же строки:

Я — станция между
вчера и сегодня,
людскую надежду
я на руки поднял.

(Перевод П. Антокольского)

Поэты Вьетнама — в гуще событий. Они и пахари, и воины, они и рядовые, идущие в атаку, и организаторы, увлекающие своим примером народ. Один из них — Нгуен Динь Тхи, поэт и прозаик. В книге всего лишь одно его стихотворение—«Люди Фу-Лоя», полное гневного протеста против агрессоров и нежной, сердечной любви к своему народу. Стихотворение «Мост на плечах» Ле Ань Суан посвятил двадцати девушкам, державшим на плечах мост, пока бойцы переходили реку. В этом эпизоде заключено не только беспримерное мужество, в нем — секрет того, что вот уже который год озверелые агрессоры не могут сломить народ, отстаивающий свою независимость.

Об этом очень точно сказал То Хыу:

Пять континентов, вся земля,
Узнав сражения масштаб,
Заглядывает под поля
Зеленых, мягких ваших шляп.
Всем очень хочется узнать,
В чем заключается секрет
Геройства, мужества, побед?

(Перевод Е. Долматовского)

О мужестве маленьких связных пишет и молодой южновьетнамский поэт Тхань Зианг в стихотворении «Ножки».

При всем различии пятнадцати вьетнамских поэтов, с которыми знакомит сборник, все они — поэты-воины, чье пламенное слово разит врага, зовет на бой.

Традиции лучших выразителей дум народа развивают молодые поэты Ганы. В этом можно убедиться, сопоставляя хотя бы стихи одного из известнейших в своей стране поэтов, автора книг «Строки из Африки», «Какао идет в Мампонг», «Африка говорит» — Майкла Дей Ананга с произведениями представителя поэтической молодежи Джона Окая.

Символично, как, очевидно, уже успел заметить читатель, что поэты очень часто сочетают поэтическое творчество с общественно-политической деятельностью.

Гвинея. Мне довелось ехать в машине вместе с президентом Ахмедом Секу Туре. Мы проезжали мимо одной из школ Конак-

ри, и ребята, шедшие домой после занятий, бросились к машине, увидев в ней президента и поэта.

Ахмед Секу Туре, сидевший за рулем, затормозил. Детвора облепила машину, громко декламируя стихи.

— Это мои стихи, — ответил президент, когда я спросил его, чьи стихи ребята читают...

Африка прозрела, и колонизаторам не удастся повернуть колесо ее истории вспять. Африка требует свободы и равенства.

...И поэтому я
ТРЕБУЮ! — не прошу! —
СВОБОДУ раздели пополам:
половину — тебе, половины мне хватит вполне.
А тебе — твоей, ибо я, как и ты —
ЧЕЛОВЕК.

Так говорит гвинейский поэт и ученый Рай Отра в стихотворении «Я — Человек!», переведенном Н. Горской.

Тема борьбы за социальный прогресс пронизывает поэзию всех континентов, а для поэтов стран Азии и Африки она звучит как призыв к социальным преобразованиям, к борьбе против агрессии и колониализма. Поэзия стала социально активной силой, она отражает все события, происходящие в жизни стран и континентов. Характерно, что традиционные поэтические формы подвергаются изменениям, если они не соответствуют новому содержанию. В этом отношении весьма интересен бенгальский поэт Бишну Де, испытанный в боях антифашист.

Развивая традиции крупнейшего индийского поэта Назрула Ислама, он стал подлинным новатором бенгальского стиха.

Новаторски звучит и голос Али Сардара Джафри, его лирика обогащена гражданственностью, политической целенаправленностью. Стихи Джафри, посвященные Ленину, словно натянутая тетива, направляют каждое слово в цель.

Я не могу привести целиком его стихотворение, для этого оно слишком большое, приведу лишь начальные строки:

Для друзей — как пароль, как заздравная речь — Ленин.
Для врагов это гибель, карающий меч — Ленин.
Будет в жилах рабочего пламенем течь — Ленин.
Капиталу на грудь должен тяжестью лечь — Ленин.
Для дехкан это имя — дыханье весны, свежий ветер.
Все империи может, как молния, сжечь — Ленин.
Свет его, как оружье Советской страны, блещет.
Вечно молод средь юных расправленных плеч — Ленин.
Всем народам и странам дорогу открыл к свету,
Во всемирном застолии держит он речь — Ленин.

(Перевод А. Ревича)

Алмазная звезда спасенья и расплаты упала на землю арабов, борющихся против агрессоров и вставших на путь национального возрождения и процветания. Об этом хорошо говорит египетская поэтесса Малак Абд аль-Азиз: «Это наша заря, мы ее сотворили, чтобы дети и внуки свободны и счастливы были».

Читая книгу поэтов стран Азии и Африки, все больше и больше проникаешься мыслью, что поэзия этих стран берет новые рубежи мастерства, социальной значимости, ломаются старые формы, не пригодные для больших обобщений и широких общенародных и общечеловеческих тем.

И невозможно заставить замолчать народы, поднявшиеся на борьбу за правду. Поэтому пакистанский поэт Фаиз Ахмад Фаиз, сделавший весомый вклад в мировую прогрессивную литературу, обращается к поэтам:

Говори, пока голос твой громко звучит.
Говори, непреклонною правдой дыша.
Говори, пока смелое сердце стучит.
Говори, пока в теле трепещет душа...
Говори, пока яркая правда жива,—
В стаю вражью бросай огневые слова!

(Перевод В. Державина)

В книге «Мы живем на одной планете» и по количеству и по качеству достойно представлена советская многонациональная поэзия. Многими гранями она обращена к читателям всего мира, ее хорошо знают в нашей стране, и потому в этой короткой рецензии скажу о ней лишь одно: поэты всех континентов, о чем бы они ни писали, к кому бы ни обращали свое поэтическое слово, полное гнева и любви, чувствуют — и это ощущение передает книга, — что рядом с ними огромная духовная сила—советская поэзия, на которую они могут опереться, как на каменную скалу.

И в заключение хочется выразить сердечную благодарность составителям и редакторам этой удивительной книги, в которой слились воедино искры поэтического горения Азии и Африки. Свет этого огромного костра виден с любой точки земного шара.

АЛИМ КЕШОКОВ

КАК В КАПЛЕ ВОДЫ

Альва Бесси. Инквизиция в раю. Перевод с английского Л. Завьяловой. Москва, «Искусство», 1968. 289 стр.

Горькая и ироническая книга Альвы Бесси — не только документальный рассказ о Голливуде с детальным описанием быта киностудий, со множеством портретов деятелей кино и литературы, не только зарисовки нравов обитателей и администрации техасской тюрьмы Тексаркана, но и горячая, искренняя исповедь современного художника, пытающегося сопротивляться законам чуждого ему по духу общества. Именно эта лирическая тональность делает книгу волнующей и убедительной.

Трудно определить ее жанр. Мемуары? Исповедь? Сценарий? Памфлет? Вернее всего, мемуары, замаскированные почти пародийной формой сценария с «наплывом», «на-

ездами камеры» и прочими нарочито кинематографическими приемами. Композиция книги двуплановая. Последовательный автобиографический рассказ перебивается сценами в техасской тюрьме, куда автор попал в результате усилий маккартистской комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. Это построение продиктовано вовсе не стремлением к изощренной форме или к контрастам между сверкающим Голливудом и мрачной тюрьмой, затерявшейся в техасских прериях. Наоборот. Такое сопоставление как бы символизирует главную мысль автора, по сути Голливуд — та же тюрьма для художника. Писатель откровенно обнажает свой прием в маленьком эпизоде в начале книги. Когда Альва Бесси, приглашенный киностудией братьев Уорнер, появляется в Голливуде и товарищи по работе приветствуют его, штатный остряк провозглашает тост:

«— Добро пожаловать в концлагерь Уорнеров!

...Все расхохотались.

— Познакомьтесь со своими собратьями-арестантами, Бесси».

Этот эпизод мог бы служить эпиграфом ко всей книге.

И дальше — без предвзятости, не слишком удивляясь и не слишком негодуя — автор ведет рассказ о своей работе в голливудском «раю», где писателю предоставлены все блага жизни—деньги, роскошные виллы, автомобили новейших марок, общество кинозвезд и знаменитых писателей, — все кроме самого главного—свободы творчества. Вопрос, о чем писать и как писать, решают невежественные продюсеры, полностью подчинившиеся не только рыночной, но и политической конъюнктуре.

До приглашения в Голливуд жизнь Альвы Бесси была цепью тягостных неудач и изнурительной борьбы за существование. Он перепробовал множество профессий — писательским трудом он не мог прокормить семью. Участвовал добровольцем в войне в Испании, написал серию очерков, но они не находили издателя — слишком мало экзотики, слишком много горькой правды. Приглашение из Голливуда застало его в радикальном нью-йоркском журнале «Нью мэссиз», где он был театральным рецензентом.

С большим тактом, не прикрашивая себя и не самоуничижаясь, писатель повествует о своей голливудской эпопее. Он пришел в кинорай, не ослепляясь розовыми иллюзиями, но и не теряя надежды создавать фильмы, выражающие его прогрессивные взгляды, дающие правдивое изображение жизни. Кое-кто из друзей уверял, что при некоторых дипломатических способностях это возможно.

Надежды не оправдались. Работа в Голливуде оказалась бесконечной чередой компромиссов со своей совестью и убеждениями. Даже в годы войны, когда страна была охвачена антифашистскими настроениями, трусливые боссы вымарывали из сценариев любой эпизод, в котором, по их мнению, чувствовалась симпатия к коммунистам, к Советскому Союзу.

Неприкрашенный рассказ о голливудских буднях шаг за шагом разоблачает мифы о свободолюбивой демократической Америке.

Миф о свободе творчества. Но чего стоит хотя бы сцена с продюсером Лу и писателем-антифашистом Леонгардом Франком. Сцена, в которой малограмотный делец навязывает свои пошлые соображения писателям. И когда после недельных мучительных поисков они находят какой-то очередной компромисс, Лу ликует: «Покупаю! Мне, мальчики, лишь бы сцена в постели!»

Миф о высокоорганизованном кинопроизводстве. Из двадцати семи сценариев, над которыми работал Альва Бесси, двадцать три легли на полку только потому, что продюсеры сами не знали, чего хотели.

Миф о независимости интеллигенции. Бет Дэвис, кинозвезда с мировым именем, не решается подписать протест против неправильного проведения выборов в штате Нью-Йорк, хотя вполне с ним согласна.

И, наконец, миф о беспристрастном правосудии. Под нажимом маккартистской комиссии суд заранее решил исход дела о крамольной голливудской десятке. Вместе с Альвой Бесси к ответственности были привлечены и такие прогрессивные писатели, как Альберт Мальц, Джон Говард Лоусон, Ринг Ларднер-младший и другие. Допросы на комиссии и в суде велись с циничным нарушением общепринятых норм следствия и судопроизводства. Выступали только свидетели обвинения, произведения писателей, в которых якобы содержались «подрывные» идеи, комиссия отказалась читать, обвиняемых лишали слова. Поиски истины никого не интересовали. И хотя на самом деле писателей судили за «подрывную» деятельность, они были лицемерно осуждены за отказ давать показания о своей принадлежности к политическим партиям и профессиональным организациям, то есть за неуважение к государственным учреждениям, которые представляла комиссия.

Можно было бы очень просто, пишет Альва Бесси, «ответить на вопросы: «Разумеется, я состою в гильдии сценаристов»; или: «Я состою в коммунистической партии, ну, а что дальше?»; или: «Нет не состою, а вам-то какое дело?»

Но мы решили, впервые за всю грязную историю этой комиссии, оспаривать законность самого ее существования. Ответ на задаваемые ею вопросы — каким бы он ни был — явился бы, по существу, признанием ее полномочий».

Цепь мелких голливудских компромиссов оборвалась, и в решительную минуту писатель проявил большое мужество, отстаивая свои убеждения до конца.

«Инквизиция в раю» была восторженно встречена прогрессивной американской прессой, и даже официальный орган американской кинопромышленности еженедельник «Верайети» должен был признать, что это «одна из самых серьезных книг о Голливуде».

Но Бесси говорит не только о Голливуде и о себе. В книге, как в капле воды, повторяется и вся современная Америка, а судьба главного героя книги — не только история известного писателя Альвы Бесси, это судьба рядового американского интеллигента, если он, как и автор книги, считает, что «надо, как всегда, любить и помнить людей, быть рядом с ними, рассказывать об их жизни, где бы они ни находились, какого бы цвета ни была их кожа и какой бы ни была национальная экономика их страны. И, право же, только это и должно волновать честного человека».

Е. НИКОЛАЕВ

ГОСТЕПРИИМСТВО РУССКОЙ МУЗЫ

Зарубежная поэзия в русских переводах от Ломоносова до наших дней. Составители и редакторы издания Е. Винокуров и Л. Гинзбург. Предисловие Н. Вильмонта. Москва, «Прогресс», 1968. 400 стр.

В журнале «Сын отечества» за 1849 год появилось стихотворение «Любовь» — малоискусное переложение мучительных строк Шелли:

One word is too often profaned
For me to profane it,
One feeling too falsely disdained
For thee to disdain it.
One hope is too like despair
For prudence to smother,
And pity from thee more dear
Than that from another

и т. д.

Хотя переводчик А. Бородин и оградил себя от придирок педантов смиренными скобками («из Шелли»), чужеродность перевода и подлинника слишком вопиюща, чтобы не поспорить с ней:

Есть слово — но его искажено значенье,
Мне страшно за него твой заслужить укор;
Есть чувство — но его так часто ждет
презренье,
Я помрачить боюсь и твой приветный
взор...

Если первая и третья строки еще перекликаются с оригиналом, то все остальное безбожно далеко. Беда не только в словах, притянутых за уши. Беда в том, что в оригинале стихи сдержанно страстны и строго соразмерены. В переводе они жеманны и расплывчаты.

Вытащенная мною из забвения «Любовь» — первый в России перевод Шелли. И, вероятно, за одно это мы должны быть признательны переводчику. Впрочем, и под пером более виртуозным стихи Шелли упорно не принимали русского выражения лица. Так, Бальмонту удалась начальная строфа, но она же навязала ему ошибочный размер, мешковатый для краткой выразительности английского поэта. Пришлось заполнять его жидкими пояснениями:

И слова состраданья, что с уст
твоих нежных сорвались,
Никому я отдать не хочу,
И за счастье надежд, что с отчаяньем
горьким смешались,
Я всей жизнью своей заплачу...

После таких словесных перехлестов, которые еще разительнее во второй половине стиха, четкий перевод В. Меркурьевой, выполненный в 30-х годах, может показаться верхом точности, пределом поэтической мобилизованности:

Есть слово — о нем умолчим:
И так осквернили.
Есть чувство — не смейся над ним:
И так презирали...

Но этот по-военному подтянутый стих скоро начинает хромать — хромать уже потому, что у Шелли слова многозначнее, образы многомернее. То, что переводчица пытается выразить на плоскости, у него едва размещается в пространстве.

Переводя заколдованное стихотворение заново, Борис Пастернак был верен своему главному принципу: отойти, чтобы приблизиться. Снять не гипсовую маску с иноязычного шедевра, а вернуть ему всю игру жизни, весь блеск поэзии:

Опошлено слово одно
И стало рутиной.
Над искренностью давно
Смеются в гостиной.
Надежда и самообман —
Два сходных недуга.
Единственный мир без румян —
Участие друга.

Любви я в ответ не прошу,
Но тем беззаветней
По-прежнему произношу
Обет долголетний.
Так бабочку тянет в костер
И полночь к рассвету,
И так заставляет простор
Кружиться планету.

Перевод Пастернака, увенчавший старания нескольких переводчиков, недаром включен в книгу «Зарубежная поэзия в русских переводах». Об этой книге и пойдет разговор.

Я позволила себе столь пространное вступление, дабы еще раз напомнить, что за окаянная работа — поэтический перевод. Проследить весь его тернистый путь от Ломоносова до наших дней, выбрать из переводчиков достойнейших и достойно представить их — работа тоже не из легких. Взяться за нее — значит, навлечь на свою голову массу упреков, наиболее вероятные из которых начинаются с язвительного «а почему?»:

— А почему в антологии не представлен Вересаев?

— А почему так много переводов из Гейне?

— А почему 66-й сонет Шекспира «отобрали» у Маршака — ведь все уже при-

выкли: «Зову я смерть. Мне видеть невтерпеж...»?

— А почему знаменитый «Ворон» монополизирован Зенкевичем? Следовало показать и другие переводы...

Эти и подобные им упреки, обращенные к составителям сборника, кажутся мне скорее всего мнимыми. Начну с того, что сборник — не антология. От антологии его выгодно отличает изящество комплекции. К тому же Е. Винокуров и Л. Гинзбург и не думают скрывать своих пристрастий, своей «вкусовщины». Если порой они идут против течения, значит, их подстегивает внутренняя необходимость.

Я не случайно выношу на воображаемый спор имя Генриха Гейне — немецкий поэт действительно царит в этой книге. Гейне переводили А. К. Толстой и Михайлов, Мей и Плещеев, Анненский и Григорьев... Многие переводы Гейне стали популярными стихами: «Довольно! Пора мне забыть этот вздор», «Бей в барабан и не бойся», «Хотел бы в единое слово» и т. п. Завидна участь поэта, которого без малейшего ущерба для его цельности «расхватали» русские собратья. Чьи стихи так органически вписались в роман одного из самых национальных наших художников: в «Обрыв» Гончарова. В чьем творчестве находили для себя хлеб насущный и романтический Блок, и саркастический Тынянов.

Царение Гейне в сборнике лучших переводов безусловно оправданно. Мало того— оно показательно для гостеприимнейшей по духу своему отечественной поэзии.

Нет спору, было бы весьма любопытно прочитать «Ворона» Эдгара По не в одном, пусть первоклассном, а в нескольких переводах. И не только «Ворона», но и десятки других, особенно магнетических произведений. Но это — уже другая книга. Книга-состязание, книга-турнир, где подчас нелегко будет обнаружить победителя. Надеюсь, что со временем и такое оригинальное издание появится в нашем книжном свете.

Я отвергла многие мнимые упреки к составителям, чтобы сосредоточиться на одном подлинном. Зарубежной поэзии сиротливо без примечаний! Читатель не знает даже, с какого языка и когда переведены стихи. А ведь это просто необходимо. Хочется знать, какой момент творческой жизни Пушкина или Тютчева, Багрицкого или Асеева, Эренбурга или Цветаевой способствовал появлению тех или иных переводных строк. Ибо, когда Тютчев переводил из Микеланджело:

Молчи, прошу — не смей меня будить.
О, в этот век преступный и постыдный
Не жить, не чувствовать — удел завидный...
Отрадно спать, отрадней камнем быть,—

он страстно выговаривался и как поэт.

Мне не очень нравится полное название сборника: «Зарубежная поэзия в русских переводах от Ломоносова до наших дней». Во-первых, оно громоздко. Во-вторых, Ломоносов невольно соотносится не с «русскими переводами», а с «зарубежной поэзией»— неточность раздражает. В-третьих, понятие «зарубежная поэзия» сейчас настолько всеобъемлюще, что представительство литератур даже в таком насыщенном сборнике кажется недостаточным.

И последнее. В своем предисловии Н. Вильмонт выражает надежду, что поэты-переводчики среднего и молодого поколений войдут во вторую книгу, естественно сомкнувшись с отрядом старейшин советского перевода: Тихоновым, Антокольским, Сурковым, Шервинским и другими. А может быть, желательнее второе издание той же книги, не столько пересмотренное, сколько щедро дополненное? И обязательно — с комментариями.

ТАМАРА ЖИРМУНСКАЯ

НОВЕЛЛИСТЫ ОСТРОВА СОКРОВИЩ

Сома. Новеллы современных писателей Цейлона. Перевод с сингальского и тамильского. Составитель Н. Г. Краснодембская. Москва, «Наука», 1968. 85 стр.

Во все пополняющейся интересной серии «Современная восточная новелла», недавно отметившей пятилетие, вышли рассказы цейлонских писателей. Это уже второй на русском языке сборник* новеллистов Львиного острова, или Острова сокровищ, как в старину называли Цейлон.

Цейлонская проза еще очень молода и в огромной степени обязана своим появлением распространению национально-освободительных идей и культурному возрождению страны, начавшемуся двадцать лет назад после обретения независимости.

Значительное развитие получают роман, повесть и рассказ. Короткий рассказ, или новелла, как жанр цейлонской литературы—сингальской и тамильской,—по мнению местных литературоведов, возник благодаря знакомству с переводной французской, английской и русской литературой. Пройдя период подражания, цейлонские новеллисты, черпая материал из жизни и фольклора, превратили новеллу в главное средство выражения своего самосознания.

В составе рецензируемого сборника пять сингалов и только один тамил, что, конечно, не отражает реального соотношения сил в этих литературах. Без сомнения, тамильская цейлонская литература могла бы быть представлена несколько богаче (например, можно было включить что-то из последних новелл К. Дэниэла, В. А. Ираджараттинама, чьи рассказы уже знакомы нашему читателю). Собранные здесь новеллы написаны

* Первый сборник переводов сингальских и тамильских писателей Цейлона «Цвет чая» вышел в издательстве «Художественная литература» в 1964 году.

за последние десять лет. Некоторые из участников сборника — опытные писатели, другие не успели выпустить еще и одной книги и только начинают публиковаться в периодической печати Коломбо, Джафны.

Почти треть сборника «Сома» предоставлена признанному главе современной сингальской литературы, автору многочисленных романов и блестящему новеллисту, литературному критику и литературоведу, большому другу Советского Союза Мартину Викрамасинге, которого хорошо знают у нас в стране (кстати, он написал книгу «Расцвет Страны Советов»*). Отобранные для перевода рассказы подтверждают укрепившуюся за ним славу «певца цейлонской деревни». Как живых, мы видим крестьян с их наивной верой в сверхъестественное, в «карающую силу», что не минует ни одного виновного, с их верой в неизбежность перевоплощений в «будущей» жизни («Луна-свидетель», «Смерть крысы»). В память врезаются фигуры покорного судьбе бедняка, чем-то напоминающего своего безропотного буйвола («Рабы»), и безобразно скупого деревенского богатея Симана-мудалали, который носит пиджак, сшитый тридцать лет назад еще к свадьбе, и постоянно пересчитывает, сушит на печке деньги («Испорченное тесто»).

Известный цейлонский писатель Гунадаса Амарасекара, чьи произведения также печатались в русских переводах, выступает как мастер тонкого проникновения в сокровенные человеческие переживания, обнажая то тревожную грусть («Скорбь матери»), то призывая нас в свидетели чистой и искренней любви. Твердость морально-религиозных устоев заставляет смирить нахлынувшую бурю чувств и даже пожертвовать жизнью, чтобы не впасть в грех прелюбодеяния, один из тяжелейших в буддизме («Сома»). Терзания романтической студенческой любви, ее страхи и стыдливость он описал в другом рассказе, названном «Вечер, дождь и письмо».

Дигода Пиядаса также пробует вторгнуться во внутренний мир человека. Но его рассказ «Отец» не лишен дидактики и излишней сентиментальности. Когда же писатель обращается к юмору (искрометный смех, порой безудержный, пронизывает рассказ «В понедельник утром», герой которого страдает от тяжелого характера жены, превратно понявшей эмансипацию женщин) — его ждет удача.

Маленький трогательный рассказ Ивы Рапавиры «Кокосовый орех» о судьбе немого батрака и о бездумной детской жестокости свидетельствует о больших возможностях молодой писательницы, которая старается пробудить в людях добрые чувства.

Свой первый сборник, из которого взят рассказ «Запах молока», Асоки Коломбаге выпустил три года назад. «Запах молока»— это рассказ о сегодняшнем Цейлоне, о том, как медленно, но неуклонно рушатся старозаветные обычаи и порядки, как потихоньку расшатываются даже религиозные устои. И вот уже родители признают брак сына по любви, заключенный вопреки их воле.

Еще более острые социальные вопросы пробивают себе дорогу в новеллистике тамильского писателя Нирвая Поннайяная, печатающегося уже более десяти лет. Переведенные рассказы из сборника его избранных произведений направлены против капиталистической эксплуатации, усугубленной колониальными пережитками. Это новелла «Процессия» о судьбе пролетария Субайи, чья жизнь — «крик нужды и ярмо долгов», или «Холм и лощина» о батраке Ганапати, у которого помещик беззастенчиво отнимает последние деньги и последний рис. И писатель, чье творчество во многих отношениях публицистично, подводит ход событий к неизбежному выводу: единство—вот средство трудящихся помочь самим себе, солидарность — вот путь к решительной победе и реальной независимости.

Переводы для этого сборника сделаны с языка оригинала, так сказать, без участия посредников, что, несомненно, помогло точнее передать местный колорит. Переводчики очень умеренно пользуются реалиями, давая их лишь в самых необходимых случаях, чтобы не затруднять чтение и восприятие. Все же, по нашему мнению, для таких слов, как «копра» (стр. 25), теперь уже, наверное, не требуется подстрочных примечаний, а вот о дереве «асока» (стр. 37) надо было бы рассказать русскому читателю. А длинный описательный перевод «место для сожжения трупов» (стр. 52), пожалуй, лучше бы заменить транслитерацией с соответствующим примечанием. Однако это мелкие замечания. В целом же сборник «Сома» — интересная работа группы ленинградских индологов и цейлонистов, познакомивших нас с последними достижениями молодой цейлонской новеллистики.

В. МАКАРЕНКО

* Рецензия на эту книгу была опубликована в «Иностранной литературе» № 8 за 1963 г. Рецензия на его роман «Последний век» опубликована в № 9 за 1966 г

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

МЕМУАРЫ ЭНДРЕ ШИКА

Sík Endre. Próbaévek. Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1967.

«Годы испытаний» Эндре Шика во многом отличаются от обычной мемуарной литературы — по стилю и манере повествования эта книга больше напоминает роман, хотя отсутствие вымысла и полная документальность не позволяют отнести это произведение к жанру исторического рома-

на. Основная сюжетная линия книги—жизнь самого автора в годы революции, гражданской войны и становления советской власти в Сибири (1917—1923 гг.).

Незадолго до первой мировой войны Эндре Шик окончил юридический факультет будапештского университета и был призван в австро-венгерскую армию в чине младшего офицера. После пленения в 1915 году Шик содержался в офицерском лагере, где у него почти не было друзей и единомышленников. Отношения военнопленных в лагере к известиям об Октябрьской революции было двояким: пролетарская революция не могла прийтись по вкусу большинству венгерских офицеров, но выход Советской России из военной коалиции и Брест-Литовский мир пробудили надежду на скорое возвращение домой.

Иначе обстояло дело в солдатских лагерях. Венгерские солдаты, охваченные революционным пылом, шли сражаться за советскую власть. Интернациональные части, состоявшие в Сибири преимущественно из военнопленных бывшей австро-венгерской армии — среди них были чехи, словаки, сербы, венгры,— сыграли большую роль во время гражданской войны в России. Эндре Шик тоже хотел стать бойцом Красной Армии, но предубеждение против офицерского состава было столь сильно, что ему отказали.

Немало мытарств пришлось претерпеть Эндре Шику, прежде чем ему удалось выбраться из лагеря и найти работу в городе.

Перед читателем встают картины жизни в далекой Сибири, объятой пламенем гражданской войны. В мемуарах огромное количество имен, и за каждым — живой человек. В этом сказывается мастерство Шика, умеющего несколькими чертами, мелкими деталями поведения передать особенности характера. Когда колчаковцы, банды атамана Семенова, Каппеля и других творят расправу над большевиками, в том числе и над венгерскими интернационалистами, Шика спасает офицерское звание и тот факт, что он не был в Красной Армии. Только после освобождения Сибири от белых Шик активно включается в политическую работу среди бывших венгерских военнопленных.

Идет массовая репатриация людей, на долгие годы оторванных от родины, тоскующих по ней и страстно желающих возвратиться как можно скорее и во что бы то ни стало. Известия о двух венгерских революциях, буржуазной и пролетарской, о Венгерской советской республике, о белом терроре, наступившем после ее разгрома, о фашистском режиме Хорти доходили до венгерских военнопленных отрывочно и с опозданием. Большинство из них плохо представляли себе реальное положение в Венгрии, а бойцы-интернационалисты мечтали о новой венгерской революции, которая продолжит Октябрьскую и приведет к окончательному установлению советской власти в их стране.

Глубоко и разносторонне вскрывает автор причины, заставлявшие одних, вопреки всем доводам здравого смысла, возвращаться домой, где их ждали лагеря и тюрьмы (многие в это не верили), а других — оставаться в Советской России или эмигрировать, скажем, в Америку. Эндре Шик показывает людей дифференцированно. Среди репатриантов много коммунистов, которые либо недостаточно политически развиты, чтобы понять реальную обстановку в Венгрии, либо тоска по родине подавляет в них доводы рассудка. Шик показывает и монархиста-реакционера, не желающего возвращаться в Венгрию, где нет законной королевской власти. Не то чтоб его устраивала советская власть в России, но он уповает сначала на Колчака, потом на Дальневосточную республику и на нэп, со всем этим он уже знаком, а режим Хорти таит для него неведомые опасности.

Для коммуниста Эндре Шика решающее в споре с самим собой: вернуться на родину или остаться в Советском Союзе, аргумент— где ты нужнее. Последняя его должность в Сибири — член революционного трибунала. Среди коммунистов, вершивших в те годы советское правосудие, мало было людей с юридическим образованием, и Шик выполнял свое нелегкое дело бок о бок с испытанными в борьбе русскими большевиками.

Эндре Шик вернулся на родину в 1945 году, он ведет большую государственную и общественную работу, является выдающимся борцом за мир и в 1968 году удостоен почетного звания лауреата Ленинской премии мира.

Мемуары кончаются отъездом Шика с женой и ребенком в Москву, где его посылают в Институт красной профессуры. Перед Эндре Шиком открывается новый жизненный этап.

Вклад бывших венгерских военнопленных в революцию и гражданскую войну в России сравнительно мало освещен в художественной литературе, поэтому книга Эндре Шика, очевидца и участника этих событий, представляет немалый интерес.

Е. БОЧАРНИКОВА

«НЕНАСТОЯЩИЕ» ПО-НАСТОЯЩЕМУ

V. S. Naipaul. The mimic men. London, Andre Deutsch, 1967.

«Ненастоящие» — довольно условный перевод названия нового романа тринидадского писателя Найпола. Сам роман — тоже «ненастоящий», это роман-эссе, роман-размышление, роман-памфлет.

Достаточно нескольких строк, чтобы пересказать его содержание: индиец из довольно состоятельной семьи, живущей на тропическом острове Изабеллы, отправляется после окончания школы продолжать образование в Лондоне. Женится на англичанке. Возвращается на родину. Удачно

вкладывает деньги в градостроительный проект. Расходится с женой. Начинает заниматься политикой. Сначала добивается успеха, потом терпит поражение. Опять уезжает в Лондон. Живет в пригородном пансионе, пишет роман. Все.

Вместе с тем трудно найти хоть одну из великого множества проблем, осаждающих интеллигенцию так называемого «третьего мира», которой так или иначе не коснулся бы в этом романе Найпол.

В городах Изабеллы нет центральных улиц, нет трущоб, рассказывает Найпол, здесь все перемешано. Вперемежку живут индийцы, негры, китайцы, карибы, мусульмане, христиане, даосисты. Они посылают детей в одну школу, но не смешиваются — они рядом, но не вместе. Население Изабеллы не образует ни нацию, ни народ, ни племя. Дядя героя увешивает веранду своего дома изображениями индусских богов и фотографиями индийских кинозвезд, создавая себе ненастоящую Индию — на Изабелле, а младшее поколение семьи и переиначивает свои имена на английский лад, и зачитывается исследованиями о миграциях арийцев. Оно пытается соединить ненастоящую Индию с ненастоящей Англией и этим «обратить в ненастоящесть» Изабеллу. Изабелла никому не нужна — она так незначительна.

До сих пор Найпол довольствовался точными и хлесткими зарисовками тринидадской жизни и только сейчас, в «Ненастоящих», он пытается анатомировать природу политической и социальной структуры, которая вежливо называется «слаборазвитыми странами», и понять, что в ней неладно. Мне кажется, именно поэтому исчезли с его страниц реальные Тринидад, Британская Гвиана, Индия. Их заменило некое синтезированное в писательской лаборатории построение — остров Изабеллы. И еще — фраза, рефреном звучащая в романе: «Так происходило в двадцати странах».

«Ненастоящий» Кирпал Сингх вспоминает, как в школьном сочинении он написал, что принес учителю яблоко. Яблоки не растут на тропическом острове Изабеллы, но дети Изабеллы пишут о никогда ими не виданных яблоках, и это — только начало того комплекса неполноценности, который будет им внушаться на протяжении всей жизни.

Страницы учебников, прочитанные книги, услышанные имена — все говорит о «чистом настоящем мире. А мы жили на своем острове, читали книги, отпечатанные в том мире, покупали вещи, импортированные оттуда, мы — никому не нужные, всеми забытые. Мы притворялись, что мы настоящие, что мы учимся, готовимся вступить в жизнь, мы — ненастоящие люди Нового Света, одного из далеких уголков Нового Света, окруженные коррупцией, которая так легко приходит в новое».

Маленький китаец Хок бегает в городскую библиотеку и читает о Китае, а во время школьной прогулки приводит учителя в состояние негодования и ужаса тем, что проходит мимо матери, притворяясь, будто не узнает ее. Стыдно быть соотнесенным с реальным миром Изабеллы, реальность мелка и унизительна; в выдуманном мире живется легче. Так входят в роман Найпола маски.

Если гриновские «Комедианты» сами выбирают себе роли и потом играют их в меру своего умения, то «ненастоящие» Найпола лишены возможности свободного выбора. Их роли навязаны им средой, в которой они живут. Как в традиционном восточном театре — актер появляется в маске, и его костюм сразу поясняет зрителям, кто вышел на сцену: победоносный полководец или злой дух, справедливый правитель или король-убийца.

«Ненастоящим» чудится, будто экипаж ждет их в Лондоне, и они мечтают о побеге с тоскливой страстностью чеховских сестер: бежать, бежать в Лондон, бежать, чтобы найти себя!

А что же Лондон? Там столько чужих жизней, что найполовские герои теряются, дробятся в этом водовороте и уж конечно в Лондоне им не приходится мечтать ни о какой значимости, ни о какой цельности.

Лондон надевает на героя новую маску— сынок туземного набоба чуточку учится, больше развлекается, ведет подробный дневник своей сексуальной жизни. Он надевает эту маску, не противясь: сопротивление, борьба — это понятия, вообще незнакомые найполовским героям.

В Лондоне Кирпал Сингх узнает о смерти отца и решает вернуться на Изабеллу — не потому, что живой отец как-то мешал его планам, просто ему это известие кажется какой-то вехой.

Отец героя — маленький чиновник из министерства просвещения — неожиданно для всех, включая себя, стал лидером народного движения. Обиженный всеми на свете, несчастный и невыговорившийся, он обращается с речью к бастующим докерам, и они уходят за ним из города.

«Двадцать человек,— говорит герой Найпола,— твердят одно и остаются всего только двадцатью дурачками. Но приходит двадцать первый, и он почему-то становится героем, вожаком, святым. Качество человека или свойство минуты?.. Такие движения, как то, что возглавил мой отец — лишенные целеустремленности, которая могла бы превратить их в подлинные революции,— были выражением отчаяния, но были и позитивными. Они рождали ярость в людях, считавших, что они уже и на ярость не способны; они рождали чувство товарищества. Но — что всего важней — они порождали беспорядок на месте привычной иллюзии порядка».

Возвращение на остров будто и вправду оправдывает все его надежды — появляются деньги, место в обществе, появляются чуть не сами по себе, безо всяких усилий. Но — «я страшился окружившей меня нереальности страхом человека, чувствующего, как одна за одной спадают завесы, за которыми скрыты его затаеннейшие чувства; человека охватывает паника, потому что не в силах он одолеть нереальность и ухватиться

за что-нибудь твердое, конкретное, что сделало бы жизнь простой, обыденной, не ускользающей от прикосновения».

Политическая жизнь таких банановых республик, как Изабелла, представляется Найполу ненастоящей, потому что подлинная боль, неустроенность, отчужденность людей от смысла жизни выливается в импортные формы, которые в другом мире, в иных условиях полнозначны, а на искалеченной Изабелле просто подражательны.

«Мы сразу поняли,— вспоминает его герой,— что зависим от толпы и что наша власть над толпой очень ненадежна. Я понимал даже больше. Я видел, что в нашей ситуации толпа, ничего не умеющая толпа, ничего не может произвести, ничего не может дать и что в конечном счете опора на нее не дает власти. Спалить город толпа могла. Но толпу расстреливают, а власть денег заставляет город подняться из пепла. В час победы мы удивлялись, почему никто не разоблачает нас. Скоро мы поняли: в разоблачениях не было нужды — вся наша власть была фикцией. За нами не стояли ни профсоюзы, ни организованный капитал. Даже национализма не было за нами».

Так же беспощадно характеризует Найпол и лидеров этой толпы: «Они боялись, что богатый мир, так чудесно им открывшийся, может в любую минуту исчезнуть. Поэтому каждый торопился обратить в реальность ненастоящую власть... По-настоящему нами управляли извне».

Это дистанционное управление осуществляется прежде всего экономически. Ненастоящие политики Найпола, хорошо усвоившие формы буржуазной демократии и необходимый набор политически демагогических фраз, не имеют ни малейшего представления об экономике. Найпол с горьким сарказмом рассказывает о том, как в попытке добиться экономической независимости от Лондона Изабелла строит собственную фабричку по расфасовке маргарина. Маргарин — импортный, банки — тоже, но фабричка — эмбрион изабеллской индустриализации, поэтому неважно, что «местный» маргарин дороже импортного.

Англичане не тревожатся из-за маргариновой фабрики или производства местных пластмассовых изделий, но, когда Изабелла пробует пересмотреть условия, на которых некий лорд Стокуэлл разрабатывает бокситы на острове, английская рука твердо указывает островку на его место.

Незачем и говорить, что бокситовые прибыли лорда Стокуэлла остаются неприкосновенными. Наоборот, бокситы становятся концом политической карьеры найполовского героя.

Однако в иных ситуациях Лондон готов оказать любую помощь бывшим своим колониям — посылкой экспертов по любым вопросам. Но когда национальное правительство Изабеллы пытается отправить их обратно, заменяя своими людьми, то оказывается, всей изабеллской казны недостанет, чтобы уплатить неустойку по их контрактам, а, кроме того, национальное правительство не без оснований побаивается, что ненастоящая интеллигенция Изабеллы не сумеет заменить подлинных европейцев.

Круг замыкается.

И в предыдущих книгах Найполу нравилось быть только телеглазом — не больше, но где-то за камерой все-таки был человек, направлявший ее, редактировавший отснятое. В «Ненастоящих» Найпол — еще отрешенней: ни любви, ни ненависти, ни раздражения. Естествоиспытатель в белом халате, отсвечивающем холодом, помещает подопытных героев в заданные ситуации и ждет результатов. При данных им параметрах результат всегда равен нулю. Что и требовалось доказать.

«Ненастоящие» — а может быть, уже появляются среди них настоящие?

Хотя в романе Найпола их нет, сами сомнения героя наталкивают читателей на эту мысль. Он хочет найти причину неудачи, понять типичность своей судьбы:

«...нам не хватает силы. А мы не понимаем, что не хватает нам — силы. Слова и признание слов мы ошибочно принимаем за силу. Как только обман обнаружится — мы погибли».

И Найпол приходит к выводу о неизбежности самой коренной перестройки государственных институтов в странах «третьего» мира, о необходимости борьбы за подлинную государственную независимость, и не только государственную — за независимое мышление каждого человека.

М. САЛГАНИК

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

АВСТРИЯ

АДВОКАТЫ НАЦИСТОВ

Прежде подобные книги ввозили из ФРГ. Теперь в самой Австрии их выпускают столько, что эта продукция идет на экспорт. Особенно старается владелец одного из венских издательств Франц Й. Шайдль, автор книги «Германия и евреи в прошлом и теперь», вызвавшей решительные протесты со стороны участников движения Сопротивления и жертв нацизма.

Речь идет, как нетрудно догадаться, об изданиях, оправдывающих преступления нацистов. В них искажаются цели движения Сопротивления, всячески очерняются его участники и в то же время — снимается ответственность с гитлеровцев за преступления против человечества. Одна из «любимых» тем — реабилитация гитлеровского аншлюса Австрии в 1938 году.

В настоящее время Шайдль занят выпуском восьмитомного издания под названием «История того, как Германия была объявлена вне закона». В ней он называет «вполне оправданными с международно-правовой точки зрения мероприятия Германии по массовому уничтожению евреев в годы войны». Шайдль заведомо фальсифицирует историю, называя «вымыслом» существование в те годы организованного антигитлеровского движения Сопротивления. По его словам, 80 процентов узников концлагерей были уголовными преступниками и социально опасными элементами, а поэтому организация таких лагерей «представляется вполне обоснованной». Шайдль, однако, на этом не останавливается. Он требует начать в наши дни преследование участников движения Сопротивления, так как, по его мнению, «их сотрудничество с врагом, с партизанами подвергало угрозе жизнь сограждан, а это является прямым предательством родины». Разглагольствуя об агрессивной войне, развязанной Гитлером, Шайдль пишет: «Германия начала войну только против Польши и против большевиков... Война была жизненно необходимой и неизбежной».

Между тем издание и распространение в Австрии пронацистской литературы противоречит обязательствам, взятым ею на себя в соответствии с Государственным договором. Как известно, статьи договора прямо и недвусмысленно требуют искоренения всех последствий нацизма из политической, экономической и культурной жизни Австрии. Организации участников движения Сопротивления и жертв нацизма решительно требуют запрещения издания и распространения такой литературы в стране.

АНГЛИЯ

ЗАВЕРШЕНИЕ ДИЛОГИИ ПРИСТЛИ

Вышел в свет второй том дилогии Джона Б. Пристли «Лондон-энд», задуманной как сатира на современные английские нравы и институты (о первой части — романе «За городом» — «Иностранная литература» сообщала в № 6, 1968). Во втором томе профессор Салтана и доктор Тьюби продолжают свою «научную» деятельность в созданном ими «Институте социальной имэджистики», выкачивая деньги из разного рода политиканов и бизнесменов, стремящихся к «паблисити».

Обозреватель еженедельника «Нью стейтсмен» пишет, что эту книгу Пристли вряд ли можно назвать «уничтожающей сатирой», однако остроумная критика в ней различных проявлений социальной и культурной жизни Англии без сомнения удачна. Тонкая наблюдательность, юмор, увлекательная фабула делают, по мнению обозревателя, «Лондон-энд» интересной и злободневной книгой.

«ПОКА НЕ РАЗЛУЧИТ НАС СМЕРТЬ»

Алф Гарнетт — герой сатирических телевизионных передач—недавно «перешел» в полнометражное кино. Режиссер Норман Коэн поставил фильм «Пока не разлучит нас смерть» по сценарию известного писателя-сатирика Джонни Спейта. автора одноименной серии телевизионных передач.

Алф Гарнетт, как пишут критики, в блестящем исполнении Уоррена Митчелла — олицетворение грубого, воинствующего мещанина. Он гордится своей безграмотностью, глуп, чванлив и самовлюблен, эгоистичен, труслив и жаден. Алф Гарнетт обожает монархию и всегда голосует за консерваторов. Он набожен, но практичен даже в этом: «Если ты мне поможешь,— обращается он к богу,— я жертвую церкви два с половиной шиллинга. Если нет — не обессудь».

Действие фильма начинается незадолго до второй мировой войны, когда английские правители проводили политику «умиротворения» германского фашизма. Поражение англичан под Дюнкерком Алф называет «выдающейся победой» и призывает собутыльников «идти на фронт». Когда же он сам получает повестку, то делает все, чтобы доказать свою непригодность к военной службе.

Алф Гарнетт — образ собирательный. Его популярность у английских зрителей необычайна. «Наш мир полон такими, как Алф Гарнетт»,— писал критик газеты «Файнэншл таймс». Именно гарнетты выходят на улицы с плакатами в поддержку расистских выступлений консервативной партии. Именно они стараются задушить в Англии все новое, все прогрессивное.

Критики отмечают, что «переход» Гарнетта на большой экран позволил перенести действие из замкнутого помещения на улицы города, где герой сталкивается уже не только со своими соседями и близкими, но и с представителями разных классов.

Внимание критиков привлек новый фильм «Если бы...», созданный Линдсеем Андерсоном, в котором остро ставится вопрос о необходимости преобразований в английской системе образования и воспитания молодого поколения. В главных ролях — Малкольм Макдоуэлл и Кристина Нунам (на снимке). «Линдсею Андерсону, не сделавшему никаких уступок традициям и коммерческим соображениям,— писала критик Нина Хиббин в газете «Морнинг стар»,— удалось создать нечто редкостное для английского кино—подлинное произведение искусства». *(Газета «Морнинг стар»)*

АКТЕРЫ В БЕДСТВЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ

Ассоциация английских актеров представила специальному парламентскому комитету доклад о тяжелом положении актеров в Англии. Значительная часть актеров, сообщает Ассоциация, страдает от частичной или полной безработицы. Труд актеров оплачивается весьма скудно. Особую озабоченность и тревогу вызывает безработица среди значительной части одаренных молодых актеров. Согласно данным Ассоциации, около 80 процентов актеров, не достигших двадцатилетнего возраста, зарабатывают в неделю менее десяти фунтов стерлингов, что едва позволяет им сводить концы с концами.

Даже актеры известного лондонского театра «Ковент-гарден», где дает спектакли королевская оперная труппа, по свидетельству членов специального парламентского комитета, побывавших там, находятся в «ужасающем положении».

В докладе, переданном

комитетом парламенту, указывается, что положение, сложившееся в английских театрах, «не может быть терпимо в цивилизованном обществе, где искусство ценят и понимают».

БОЛГАРИЯ

СОВРЕМЕННОСТЬ И СОВРЕМЕННЫЙ ГЕРОЙ

В Союзе болгарских писателей прошла теоретическая конференция на тему: «Современность и современный герой».

Во вступительном слове поэт и прозаик Николай Зидаров отметил, что с проблемой современности в болгарской литературе связаны главные нерешенные вопросы, главные трудности болгарских литераторов. «Мы все еще в долгу перед положительным героем нашей современности,— сказал оратор,— перед его делами и подвигами, перед его трудной, но полной исторического смысла повседневной деятельностью. Мы должны показать духовный рост строителя нового общества».

На конференции было прочитано четыре доклада. В трех из них — «Поэзия и современность» Стояна Илиева, «Беллетристика и современность» Чавдара Добрева и «Вопросы болгарской драматургии» Юлиана Вучкова — рассмотрены проблемы, связанные с болгарской современной литературой; четвертый доклад был сделан Цветаном Стояновым: «Проблема героя и современная западная литература».

Выступившие вслед за тем писатели Емилиян Станев, Анна Каменова, Евтим Евтимов, Иван Давидков, Божидар Божилов, Дора Габе, Никола Инджов, Дамян Дамянов, Васил Колевский, Георгий Караславов и другие говорили о патриотической теме в современной литературе, о партийности литературы, об активном отношении писателей к современной жизни и поискам современного героя.

Председатель Союза болгарских писателей Георгий Джагаров в заключительном слове на конференции говорил об усилении идеологических диверсий буржуазной пропаганды против социалистических стран и задачах болгарских писателей.

«В центре нашего писательского внимания,— сказал Георгий Джагаров,— всегда был и останется человек, тот человек, который ценой бесчисленных жертв и страданий стремился к освобождению от варварства эксплуататорского строя; человек, который осознал свои права и в борьбе стал героем; тот человек, который в условиях социалистического общества нашел себя и ныне, свободный и уверенный в собственных силах, преобразует мир под знаменем коммунизма. Вот в каком направлении должны идти наши творческие поиски».

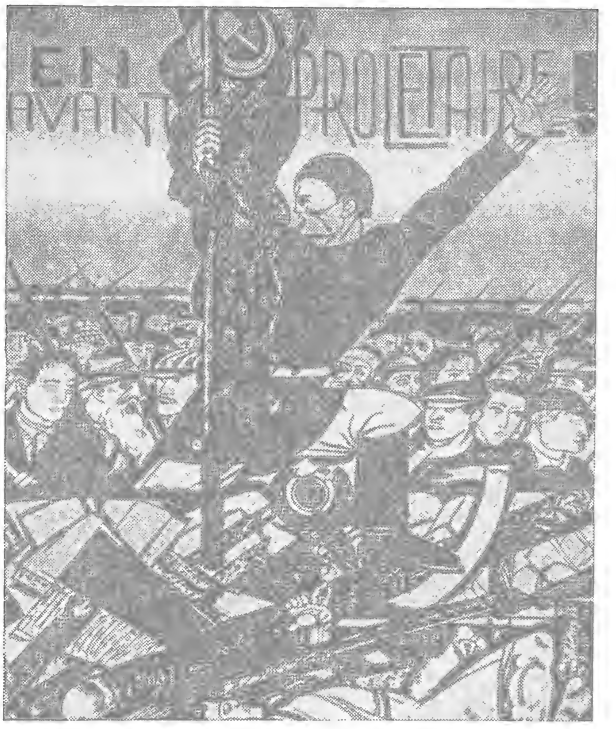
ВЕНГРИЯ

ВЫСТАВКА РАБОТ БЕЛЫ УИТЦА

Газеты и журналы Венгрии широко комментируют выставку работ художника Белы Уитца, экспонируемых ныне в залах столичной Национальной галереи.

Представленные на выставке работы отражают наиболее важные вехи творческого пути художника: здесь и плакат времен революции 1919 года «Вперед, пролетарии!», и созданные в Вене известные картоны к фрескам «Рыбаки», «Человечество», «Строители», и знаменитая серия гравюр на меди «Генерал Лудд». В Советском Союзе (после падения Венгерской советской республики он эмигрировал и жил в Вене, Париже, Москве) Уитц больше всего работал в области монументальной жи-

Работа Белы Уитца «Вперед, пролетарии!»
(Журнал «Уй ираш»)



вописи, поэтому, естественно, многие работы не могли быть представлены на нынешней выставке (он, например, расписывал стены павильонов Сельскохозяйственной выставки в Москве). Из числа работ этого периода венгерский зритель смог познакомиться с серией гравюр «Русские иконы», с циклом картин «Русское барокко», с картонами к фрескам, сделанным во время войны в г. Фрунзе и отражающим героические трудовые дела советских людей, с многочисленными портретами, среди которых — портрет деятеля венгерского и международного рабочего движения Белы Куна.

«В картинах Белы Уитца,— писал рецензент газеты «Непсабадшаг»,— сочетаются реальность и фантазия. Ему присуще умение передавать сложную динамику жизни. Опираясь на классические традиции, он достиг совершенства в современной живописи. Бела Уитц — художник-коммунист, художник-политик, об этом свидетельствуют все его работы».

Эржебет Хази (Офелия) и Ференц Сёни (Гамлет) в опере Шандора Соколаи «Гамлет».
(Еженедельник «Фильм-синхаз-мюжика»)

В ЧЕСТЬ 50-ЛЕТИЯ КОМПАРТИИ

Книжная полка венгерских юбилейных изданий пополнилась еще одним томиком — альбомом, посвященным 50-летию Коммунистической партии Венгрии. Фотографии, документы и комментарии рассказывают о важнейших и характерных событиях на том пути, который прошла партия венгерских коммунистов, провозгласивших в марте 1919 года Венгерскую советскую республику. Альбом, выпущенный издательством имени Кошута, состоит из трех частей, отражающих основные этапы борьбы пролетарской партии за социальное раскрепощение трудящихся: период организационного сплочения революционных сил и образования Венгерской советской республики, годы подпольной борьбы против контрреволюционного хортистского режима и период деятельности партии после Освобождения.

«Издание, которое только что получили наши читатели,— пишет критик журнала «Таршадалми семле»,— актуальная и ценная книга, живо воскрешающая наше историческое прошлое».

«ГАМЛЕТ» ШАНДОРА СОКОЛАИ

В Будапештском оперном театре с успехом идет новая опера известного венгерского композитора Шандора Соколаи «Гамлет». Первую свою серьезную творческую заявку в этом жанре Соколаи сделал в 1964 году, создав оперу «Кровавая свадьба» по одноименной трагедии Гарсиа Лорки. С тех пор она получила признание не только на венгерской сцене, но и за рубежом (см. сообщения в «Иностранной литературе» № 8, 1966 и № 4, 1968).

Опера «Гамлет» — новое большое творческое достижение автора оперы «Кровавая свадьба», писал музыкальный критик еженедельника «Фильм-синхаз-мюжика».

Соколаи — автор музыки и либретто, которое написано им по переводу трагедии Шекспира, выполненному классиком венгерской поэзии Яношем Аранем. В тексте либретто монологи оставлены почти без изменений.

В интервью корреспонденту еженедельника «Фильм-синхаз-мюжика» Соколаи подчеркнул, что философская глубина трагедии Шекспира, ее композиционное построение не противоречат музыке. Напротив

даже, монологи являются внутренним отражением драматических ситуаций и, следовательно, открывают возможности для музыкального воплощения, сохраняя свои важные функции. «В общем музыкальном звучании голос и оркестр сливаются воедино и равноценны,— сказал Соколаи.— Однако монологи Гамлета решаются при минимальном оркестровом сопровождении. Оркестр никак не может конкурировать с весомостью натуры Гамлета и его слов».

Критика и сам автор отмечают, что стиль и средства музыкального выражения в опере «Гамлет» иные, чем в «Кровавой свадьбе».

Постановку «Гамлета» осуществил главный режиссер театра Андраш Мико. По традиции новая опера идет при наличии двойного состава исполнителей. В роли Гамлета выступают Ференц Сёни и Шандор Палцо. Образ Офелии с равноценным талантом и успехом воплощают Эржебет Хази и Ева Андор.

Венгерская театральная критика единодушно считает оперу «Гамлет» и ее постановку значительным событием в культурной жизни страны и заметной вехой в развитии венгерского оперного искусства.

ГДР

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ГЕЙНЕ

Присуждены ежегодные премии имени Генриха Гейне за 1968 г. Их удостоены писательница Инга фон Вангенхейм и поэт Уве Бергер.

Согласно традиции, приветственную речь во время торжественной церемонии произнес лауреат премии Гейне за предыдущий год; на этот раз им был Йенс Герлах.

«Произведениям Инги фон Вангенхейм присуща публицистическая страстность Генриха Гейне, дух великого писателя,— сказал Йенс Герлах.— В мудрых и смелых стихах Уве Бергера живут традиции Гейне. .. Литературная деятельность обоих лауреатов служит процветанию нашего народного государства. Они с честью выполняют нелегкие и в то же время благородные задачи писателей нашего времени».

На сцене берлинского театра «Фольксбюне» поставлена пьеса Хорста Клейнея «О великанах и людях», посвященная важным общественным проблемам современной жизни ГДР. Режиссер спектакля — Карл Гассауэр. В одной из главных ролей актриса Аннекатрин Бюргер (на снимке).

(Еженедельник «Зонтаг»)

В ответной речи Уве Бергер сказал: «Творчество Гейне учит нас, что прекрасное лишь тогда прекрасно, когда служит правде и добру. Мы стараемся следовать заветам великого поэта. Честь, которую нам сегодня оказали и за которую мы сердечно благодарим, — доказательство того, что наши усилия не напрасны. Мы не пожалеем сил в нашей дальнейшей работе».

ПИСАТЕЛИ — БОРЮЩЕМУСЯ ВЬЕТНАМУ

Союз немецких писателей опубликовал обращение «Ко всем, кто симпатизирует героическому народу Вьетнама», в котором призывает принять участие в кампании по сбору средств под названием «Электроэнергия для Вьетнама». Это вторая кампания такого рода, организованная Союзом немецких писателей (первая называлась «1 000 велосипедов для Вьетнама»).

Всякий, кто принимает участие в сборе средств, получает квитанцию в виде художественно оформленной книжной закладки с обозначением суммы пожертвования и количества ватт, соответствующих этой сумме. На каждой такой закладке — автограф одного из писателей.

К концу 1968 года сумма, собранная Союзом писателей, составляла около одного миллиона марок.

Издательство «Фольк унд вельт», как сообщает печать, готовит большую антологию «Литература Вьетнама».

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ»

Так называется новый научный труд, выпущенный Институтом славистики Немецкой Академии наук в Берлине. Книга, полемически заостренная против методов буржуазной компаративистики, вносит немалую лепту в осмысление принципов марксистского сравнительного изучения литератур.

Основу книги составляют доклады и выступления ученых ГДР, Советского Союза, Венгрии, Польши, Чехословакии и Югославии, сделанные на международном коллоквиуме в Берлине (1966 г.). Но это не просто стенографический отчет; материалы коллоквиума были дополнены и доработаны. Перед нами подлинно коллективный труд ученых разных социалистических стран. Книгу открывает статья, принадлежащая перу советских литературоведов М. Б. Храпченко и В. М. Жирмунского. Среди ее участников — видные ученые разных стран — Ю. Доланский (Чехословакия), Г. Вальчев (Болгария), Л. Илеш, Д. Вайда (Венгрия), А. Флакер (Югославия),

А. Клейн, Н. Тун (ГДР) и др.

Три тематических центра, внутренне неразрывно связанные друг с другом, образуют структуру книги. Это прежде всего многочисленные исследования немецко-славянских литературных связей разных веков, но преимущественно в период после Октябрьской революции; анализ развития сравнительного литературоведения в таких странах, как Венгрия, Польша, Болгария, Чехословакия; и, наконец, статьи проблемно-теоретического содержания, формирующие методологию современного марксистского сопоставления литератур.

«Предлагаемый читателю труд,— отметил в своем предисловии к книге доктор Герхард Цигенгейст (ГДР),— отчетливо показывает, насколько важна и плодотворна совместная деятельность литературоведов-марксистов Советского Союза, ГДР и других европейских социалистических стран. Она укрепляет наши силы для решения растущих национальных и международных задач».

ФРГ

О ТЕХ, КТО НЕ ПРОПАЛ БЕЗ ВЕСТИ

«Воспитанный горничной» — новый роман западногерманского писателя Роберта Шнеля, выпущен недавно издательством «Лухтерханд»; автор—член дортмундской «Группы-61».

«Роберт Шнель родился в 1916 г. в Бармене; действие романа происходит в соседнем городе Эльберфельде в дни детства автора,— пишет рецензент газеты «Франкфуртер рундшау».— В семье фабриканта Брюка, человека отнюдь не реакционных убеждений, но строго соблюдающего буржуазные традиции, растет маленький сын Эрнст. Трехлетний мальчик, не отличающийся крепким здоровьем, всецело предоставлен попечению горничной Анны, которая становится как бы второй матерью ребенку. Со временем Эрнст узнает от Анны, что у нее есть друг, революционер, и что он сидит в тюрьме. Вскоре домой возвращается дядя Куно, которого в семье фабриканта считают «паршивой овцой», возвращается с красной нарукавной повязкой восставших моряков Киля. Дядя Куно становится героем детства мальчика и, в сущности, его вторым отцом. Дом Брюков усилиями дяди Куно превращается в боевой штаб красногвардейцев; они освобождают из тюрьмы политзаключенных, в том числе друга Анны. Революционные события тех лет автор показывает преломленными в сознании мальчика, который воспринимает их гораздо живее и непосредственнее многих взрослых. Революция терпит поражение; войска социал-демократического правительства расправляются с восставшими. Друг Анны расстрелян, дядя Куно вынужден скрыться. Маленький Эрнст впервые сталкивается с большим человеческим горем, которое оставляет в его душе неизгладимый след на всю жизнь...»

Отмечая строгий, лаконичный язык автора, чуть окрашенный вуппертальским диалектом, рецензент подчеркивает глубокую правдивость романа Шнеля и жизненность не только главных персонажей, но и второстепенных — кучера Бока, пастора Флимана, поэта Гастера, лейтенанта Шмиделя.

В заключение рецензент цитирует концовку романа: «...Время детской скорби прошло, уступив место взрослым, сухим слезам. Что стало с Анной, я не знаю. События прошлого смешались с другими воспоминаниями детства... Великие сражения классов захлестнули весь мир, и сколько еще на земле таких людей, как Анна, пропадают без вести; но считать их пропавшими без вести нельзя, пока они учат детей жить, повинуясь голосу сердца. Голосу, который с годами становится образом мышления».

ДЕТИ ОБ ОТЦАХ

Издательство «Фишер ферлаг» (Франкфурт-на-Майне) выпустило сборник под названием «Отцы». Составитель его Петер Хертлинг обратился два года назад к многим известным писателям и поэтам четырех поколений в ГДР и ФРГ с просьбой написать — в любом литературном жанре — о своих отцах. Среди авторов из ГДР, принявших участие в антологии,— ныне покойный Арнольд Цвейг, Эдуард Клаудиус, Гюнтер Кунерт, Петер Хухель, Рольф Шнейдер; из западногерманских — Мария Луиза Кашниц, Герман Кестен, Ганс Эрих Носсак, Ганс Вернер Рихтер, Пауль Шаллюк, Габриэла Воман, Карл Цукмайер и другие.

«В очерках, эссе, рассказах, воспоминаниях, отрывках из романов и повестей, представленных в сборнике,— пишет рецензент гамбургского еженедельника «Ди андере цейтунг»,— отражена чуть ли не вековая история Германии... Тема отцов и детей не приведена здесь упрощенно к общему знаменателю конфликта поколений. Эта тема проанализирована с учетом социальных и политических условий, приведших к конфликтам».

ГОЛЛАНДИЯ

ИСТОРИЯ ОДНОЙ СКУЛЬПТУРЫ

Прогрессивная общественность страны недавно отметила 75-летие скульптора Фредерика Сигера. На выставке его работ в Амстердаме, которая была открыта в небольшом саду рядом с мастерской Сигера, внимание многочисленных посетителей привлек высеченный из темного камня бюст В. И. Ленина.

Сигер рассказал посетителям и корреспондентам необычную историю создания этой скульптуры. Когда в России победила Октябрьская революция, молодой Фредерик Сигер работал штукатуром на стройке.

Юноша увлекался ваянием, мечтал о поступлении в художественное училище, что было чрезвычайно трудно для простого рабочего. Товарищи по работе, знавшие его как активного участника и организатора забастовок, человека талантливого и смелого, пришли к нему и сказали: «В России — революция. Во главе российского пролетариата, поднявшегося на борьбу за свои права, стоит Ленин. Имя Ленина дорого всем рабочим. Мы просим тебя сделать его скульптурный портрет».

Мастерства и опыта у юноши Сигера не хватало, но велико было желание выполнить просьбу товарищей. Он долго и тщательно работал над бюстом В. И. Ленина. Когда скульптурный портрет вождя русской революции был готов, дом Сигера стал традиционным местом сбора членов стачечных комитетов, профсоюзных активистов, коммунистов. Это было в 1920 году.

В дни гитлеровской оккупации Сигер с опасностью для жизни хранил скульптурный портрет В. И. Ленина: гестаповцы не раз наведывались в дом художника.

После освобождения Голландии Сигер установил скульптуру Ленина в саду, где она находится и поныне.

ИТАЛИЯ

КНИГА О «ДЕЛЕ ДЖУЛИАНО»

В центре внимания итальянской общественности — вновь дело сицилийского бандита Джулиано, которого в послевоенные годы использовали в целях отторжения острова Сицилия от Италии сепаратисты и американская разведка, а затем — мафия, превратившая банду Джулиано в орудие подавления крестьянского движения. В числе кровавых преступлений Джулиано — расправа с крестьянами, собравшимися на первомайский митинг 1947 года в Портелла делле Джинестре, убийства профсоюзных деятелей, нападения на секции левых партий. Ныне — двадцать лет спустя — продолжаются судебные процессы над некоторыми в свое время избежавшими наказания членами банды, выясняются довольно запутанные обстоятельства смерти Джулиано, убитого во время ареста (он слишком много знал о связях мафии с высокопоставленными лицами в Италии и Америке). О Джулиано существует обширная литература, в которой важное место занимают книги о мафии писателя и журналиста-коммуниста Феличе Киланти, большого знатока сицилийских проблем. Сейчас вышла новая работа Киланти, озаглавленная «Три знамени для Сальваторе Джулиано».

Книга Киланти встречена читателями с большим интересом, тем более что ее выход был приурочен к возобновлению процессов над членами мафии, а также совпал с демонстрацией по итальянскому телевидению нашумевшего в свое время фильма режиссера Франческо Рози «Сальваторе Джулиано». Повествование Феличе Киланти строго документально и рассчитано в первую очередь на молодого читателя, не знающего истинного хода событий и их политической подоплеки. Так же как и фильм Рози, эта книга развеивает романтический ореол, созданный вокруг сицилийских бандитов, и вскрывает их связи с верхушкой мафии, с сицилийскими латифундистами и «Антибольшевистским фронтом». Киланти указывает на прямую ответственность этой организации, созданной после войны на Сицилии американской секретной службой, за бойню в Портелла делле Джинестре и другие злодеяния банды Джулиано.

Как отмечает рецензент газеты «Паэзе сера», новая книга Киланти помогает прояснить многие факты, связанные с преступной деятельностью, а также со смертью Джулиано, которые правая печать пытается замалчивать или еще более запутывать.

ПСЕВДОДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ НА РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИИ

Руководство Итальянского радио и телевидения (РАИ-ТВ) провело в Турине встречу молодых пи-

---

Известный драматург и театральный режиссер, лауреат многих премий Джузеппе Патрони Гриффи снимает свой первый фильм «Приходи вечером к ужину» по одноименной пьесе, автором которой он является. Его герои — современная итальянская молодежь, которая сложными путями идет по жизни. На снимке: кадр из фильма.

(Газета «Унита»)

сателей и художников-юмористов. Цель встречи, как было официально объявлено, состояла в том, чтобы, с одной стороны, «укрепить сотрудничество между молодыми авторами и РАИ-ТВ, а с другой, продемонстрировать якобы существующий на итальянском радио и телевидении «дух свободной дискуссии».

Встреча, собравшая около 50 участников, прошла, однако, совсем не так, как хотели ее устроители. Участники встречи говорили об усиливающейся дискриминации в отношении прогрессивных деятелей культуры, писателей, артистов, художников, журналистов со стороны РАИ-ТВ. Это имеет далеко идущие последствия. Итальянцы не получают правильного представления об окружающей действительности вследствие крайне тенденциозного подбора передач на радио и телевидении. Все это целиком относится к юмористическим и так называемым «развлекательным» программам. «Программы радио и телевидения показывают итальянцам псевдодействительность, а не нашу реальную жизнь»,— заявил, например, молодой преподаватель эстетики в Туринском университете Джанни Ваттино.

Опасаясь, что критика в адрес руководства РАИ-ТВ будет предана гласности, устроители встречи не допустили в зал заседаний представителей прессы, разрешив им присутствовать лишь на церемониях открытия и закрытия. Это, как подчеркивала демократическая печать, еще один показатель того, какого сорта «дух свободы» господствует на итальянском радио и телевидении.

«Прошедшая встреча,— писал корреспондент газеты «Унита»,— наглядно показала, что среди молодых писателей, артистов и художников-юмористов есть свежие силы, которые могут способствовать демократизации порядков на радио и телевидении». Этому упорно препятствует руководство РАИ-ТВ. Именно поэтому, пишет корреспондент, итальянская прогрессивная общественность требует коренной реформы РАИ-ТВ.

ВРУЧЕНИЕ «ПРЕМИИ ПИРАНДЕЛЛО»

Основанная недавно, но уже получившая в стране широкое признание «Премия Пиранделло» (за лучшую, еще не поставленную и не опубликованную пьесу) присуждена Томмазо Ландольфи за пьесу «Фауст 67».

Жюри «Премии Пиранделло», куда входят Скуарцина, Гинзбург, Кодиньола, Кьяромонте, Радиче и др., рассмотрело 211 работ. В финал конкурса, помимо Ландольфи, вышли также Пьер Паоло Пазолини, Фортунато Паскуалино, Энцо Сичилиано и Джованни Гуаита.

В постановлении жюри сказано, что пьеса «Фауст 67» характеризуется высоким художественным уровнем» и, кроме того, ставит проблемы, издавна привлекавшие писателей и драматургов, в том числе Пиранделло, в честь которого учреждена премия. Пьеса, как пишет критик газеты «Унита», раскрывает страдания современного человека, который переживает тяжелую жизненную драму.

После церемонии вручения премии, по уже установившейся традиции, литератор Карло Бо прочел лекцию на тему «Пиранделло сегодня».

КИТАЙ

НА СЦЕНЕ — «ОБРАЗЦОВЫЕ ПЬЕСЫ»

Корреспондент газеты «Жэньминь жибао» сообщил, что «Рабочая бригада по пропаганде идей Мао Цзэ-дуна» заняла Пекинский театр «цзинцзюй» и руководит работой труппы. В духе решений «XII расширенного пленума ЦК КПК» она развернула «яростную критику Лю Шао-ци и кучки ревизионистов в труппе». Бригада начала занятия с артистами в соответствии с «16 пунктами о культурной революции», сочиненными Мао Цзэ-дуном. После трех лет «культурной революции», сказано в этом сочинении, «узурпатор» Лю Шао-ци лишен власти, и сейчас главная задача — истребление «ревизионистского идеологического яда». В труппе Пекинского театра выражением такого «яда», по мнению членов бригады, является убеждение артистов в том, что «самое главное — мастерство». Жестокой проработке подвергаются те артисты, которые стремились к совершенствованию своего профессионального мастерства. Им инкриминируется то, что они «отставали в овладении идеями Мао Цзэ-дуна».

Именно эта труппа впервые поставила пьесу «Шацзябан» под руководством Цзян Цин. Теперь на многочисленных собраниях расследуется деятельность тех, кто был против постановки, кто выражал сомнение и недовольство, кто предлагал ставить пьесы классического репертуара.

Цзян Цин недавно дала работникам литературы и искусства два новых указания: увязывать критику с собственными личными взглядами и сочетать критику ревизионизма с критикой собственного эгоизма. В качестве примера приводится артистка Ли Гуйсэнь, которая прежде мечтала стать «известной» и ценила мастерство превыше всего, а потому с пренебрежением относилась к исполнению «образцовых революционных пьес», насаждаемых Цзян Цин. Теперь артистка раскаялась и дала торжественное обещание «всю жизнь выступать только в революционных образцовых пьесах».

Это и понятно: ведь китайские театры шестой год подряд дают одни и же же «образцовые пьесы».

ЛИВАН

ЛИТЕРАТУРА СОПРОТИВЛЕНИЯ

Как сообщает корреспондент газеты «Аль-Ахбар», в Бейруте вышел специаль-

ный номер журнала «Аттарик», посвященный литературе арабов, живущих в Израиле. В номере опубликованы интервью с ведущими представителями современной арабской поэзии в Израиле Махмудом Дервишем и Самихом аль-Касемом, в которых поэты подробно рассказывают о своей жизни и борьбе, о своем творчестве.

Там же помещены новые стихи и рассказы арабских поэтов и писателей — уроженцев Палестины и исследования арабских литературоведов об их творчестве.

В связи с выходом в свет специального номера «Аттарик» газета «Аль-Ахбар» напечатала статью критика Мухаммеда аль-Итани «Вопрос, на который ответили лучи солнца». В статье дается чрезвычайно высокая оценка творчеству Махмуда Дервиша, Самиха аль-Касема, Тауфика Зияда и других поэтов арабского Сопротивления в Израиле и говорится об их выдающемся значении для всей школы современной арабской поэзии. «Подобно тому,— пишет аль-Итани,— как солнце раскалывает своим лучезарным огненным топором зимний лед, прогоняя холода и туманы, поэмы Махмуда Дервиша и его сподвижников раскололи лед поэтического кризиса в нашей современной поэзии».

Произведения этих талантливых поэтов, по выражению критика, стали знаменем борющегося арабского народа.

КОНЧИНА БЕШАРЫ ЭЛЬ-ХУРИ

Скончался один из крупнейших поэтов Ливана и всего арабского мира Бешара Абдуллах эль-Хури, или «Аль-Ахталь ас-Сагир» — «Младший Ахталь», как его называют, сравнивая с прославленным поэтом эпохи Омейядов Ахталем (ок. 640 — ок. 710 г. н. э.).

Бешара эль-Хури родился в Бейруте в 1885 году. С юных лет он принимал активное участие в борьбе за освобождение Ливана и других арабских стран от турецкого владычества. В 1908 году им была основана газета «Аль-Барак» («Молния»), ставшая трибуной прогрессивной арабской интеллигенции, борющейся за свободу своих стран.

Бешара эль-Хури был замечательным лирическим поэтом. Как пишет известный ливанский критик Хусейн Мурувве в своей статье, посвященной памяти поэта в газете «Аль-Ахбар», творчество Бешары эль-Хури было «вершиной арабской лирической поэзии в первой трети XX века». Бешару эль-Хури обычно называют «певцом любви и красоты», но он был, считает критик, еще и «певцом правды». В его поэзии находила постоянный отклик борьба ливанцев и других арабских народов за свободу, независимость и национальное достоинство. В 1961 г. на всеарабском фестивале поэзии он был избран «эмиром поэтов».

МЕКСИКА

НОВЫЙ ПЕРЕВОД «ГАМЛЕТА»

В Мексике в новом переводе на испанский язык вышел шекспировский «Гамлет». Текст этой знаменитой трагедии великого английского драматурга представлен читателю на языке оригинала (четные страницы книги) и на испанском (нечетные страницы). Количество строк и содержание английского и испанского текстов на каждом развороте совпадают, так что читатель, знающий оба языка, может в любой момент сравнить оригинал с переводом.

«Это издание явилось осуществлением мечты всей моей жизни»,— сказал переводчик «Гамлета» Альваро Кустодио, по профессии — театральный режиссер. Перевод сделан белым стихом. По отзывам специалистов, Кустодио сохранил ритмический рисунок стиха Шекспира.

В книге дан также широкий историко-библиографический комментарий, охватывающий период с XVII века до наших дней. Альваро Кустодио подробно анализирует другие переводы «Гамлета» на испанский язык, включая переводы Леандро Фернандеса де Моратина, Луиса Астрана Марина, Антонио Буэро Вальехо, Сальвадора де Мадариаги...

Это издание, отмечает рецензент нью-йоркского журнала «Вижн», поместивший рецензию на кустодиовского «Гамлета», содержит «не просто талантливый перевод белым стихом, это также глубокое литературное исследование».

ПОЛЬША

«НАПРАВЛЕНИЕ — БЕРЛИН»

На экраны польских кинотеатров вышел фильм под названием «Направление — Берлин», поставленный известным кинорежиссером Ежи Пассендорфером, автором многих фильмов о войне: «Покушение», «Цвета борьбы», «Опаленные огнем», «Взорванный мост», Их герои — солдаты и партизаны, сражавшиеся против гитлеровских захватчиков, за свободу Польши.

Однако, как отмечает польская критика, в этом цикле как бы недоставало главного звена — фильмов об участии польских воинов в окончательном разгроме немецко-фашистских войск.

Нынешняя работа Пассендорфера как раз и восполняет этот пробел. Действие фильма «Направление— Берлин» развертывается между 10 и 20 апреля 1945 года, во время заключительного, решающего наступления Советской Армии на столицу гитлеровского рейха.

Герои фильма — солдаты первого пехотного полка первой дивизии им. Тадеуша Костюшко, действовавшей бок о бок с частями Советской Армии. Они вышли на берег Одры — историческую границу Польши,— чтобы форсировать

Эпизоды из фильма «Направление — Берлин».
(Еженедельник «Польское обозрение»)

этот трудный водный рубеж. Ночью под огнем противника они вбивают в землю польский пограничный столб и рядом закапывают бумагу с текстом: «Мы, солдаты первой роты первого пехотного полка, вышли на берег Одры и вбили здесь пограничный столб, установив на веки вечные границу Польши».

«Направление — Берлин» — первый фильм из двух задуманных Ежи Пассендорфером в соавторстве с писателем Войцехом Жуковским. Второй фильм «Победа» расскажет о капитуляции гитлеровской Германии. При создании сценариев фильмов «Направление — Берлин» и «Победа» использованы воспоминания ныне живущих участников боев, документы и мемуарная литература.

В фильме заняты такие известные актеры, как Войцех Семен, Кшиштоф Хамец и другие.

«СПАРТАК» НА ПОЛЬСКОЙ СЦЕНЕ

«Арам Хачатурян относится к числу тех немногих современных композиторов, которым дано было обрести мировую славу, популярность среди самых широких масс слушателей»,— писал обозреватель газеты «Трибуна люду» Юзеф Каньский в связи с премьерой балета «Спартак» в варшавском Большом театре. «Спартак» — первый балет Хачатуряна, который поставлен на польской оперной сцене. Поэтому, как писал обозреватель, премьера балета (постановка осуществлена советским хореографом Евгением Чангой) стала поистине событием в культурной жизни Польши.

«Представить исключительно музыкальными и хореографическими средствами столь обширную и идейно насыщенную тему, как история бунта гладиаторов, который перерос в великое восстание рабов под водительством Спартака, потрясшее основы древнеримского государства; показать в форме балетного спектакля историю героя, ум, воля и возвышенные идеалы которого, преодолев столетия, превратились в бессмертный символ борьбы угнетенных классов и народов против поработителей,— такая задача была необыкновенно трудной и ответственной»,— писал Юзеф Каньский.

«Варшавская премьера «Спартака», — продолжал он,— стала не только большим достижением композитора (публика сердечно приветствовала его аплодисментами), но также одним из важнейших в последнее время успехов коллектива Большого театра. Нынешний репертуар театра обогатился ярким спектаклем, который может рассчитывать на длительный успех».

Обозреватель отмечает большую творческую удачу молодого солиста Большого театра Герарда Вилька, выступившего в роли Спартака.

ВОСПОМИНАНИЯ О ГАЛЧИНСКОМ

Общественность Польши отметила недавно 15-ю годовщину со дня смерти выдающегося польского поэта Константы Ильдефонса Галчинского. Корреспон-

дент газеты «Жице Варшавы» Беата Совинская беседовала по этому случаю с дочерью поэта Кирой, которая поделилась воспоминаниями об отце.

— Стихи военных лет были написаны отцом в лагере для военнопленных в Альтенграбове, — рассказала Кира.— В Польшу они попадали разными путями, но главным образом — на официальных немецких бланках для переписки с лагерной печатью. Некоторые тексты отец привез с собой.

Память запечатлела момент его возвращения из лагеря. Я помнила отца молодым, с густой, черной шевелюрой. А в 1946 году к нам приехал старый, седой человек. А ведь прошло каких-нибудь семь лет...

Два года назад,— продолжала рассказчица,— мы узнали новые подробности о пребывании отца в лагере от доктора Джона Бертона, который ныне работает в Женеве, во время его визита в Варшаву. Он был узником Альтенграбова и выполнял там обязанности фельдшера. Как оказалось, Бертон совместно с Галчинским выдумывали различные несуществующие болезни, чтобы таким образом спасать жизнь пленным. Заполняя больничные бланки, они пользовались латынью, так что немцы принимали их «диагнозы» за чистую монету...

После возвращения Галчинского его семья некоторое время жила в Кракове, а затем — в течение года — в Щецине. Поэт оставил там по себе добрую память — ведь именно рабочие щецинской судоверфи выступили с предложением назвать именем Галчинского один из построенных ими кораблей.

— За последние пятнадцать лет произведения Галчинского вышли в Польше тиражом более 500 тысяч экземпляров,— рассказала в заключение Кира.— Мы очень благодарны «Чительнику» — это издательство относится к наследию Галчинского заботливо, сердечно, можно сказать, с пиетизмом.

СИРИЯ

СОЮЗ АРАБСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

В Дамаске состоялись заседания подготовительной комиссии по созданию Союза писателей и работников культуры. Было принято решение создать организацию творческих работников Сирии, которая будет называться Союз арабских писателей. В подготовительную комиссию входят видные сирийские писатели и деятели культуры.

США

«ВЕЛИКАЯ НАДЕЖДА БЕЛЫХ»

На Бродвее в Элвинтиэтр идет новая пьеса Говарда Секлера «Великая надежда белых». Она построена на реальных фактах жизни первого негритянского чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Джека Джонсона.

«Великая надежда белых» — это белый боксер в тяжелом весе, которого ищут дельцы. Белым нужен боксер, способный победить Джека Джонсона (в пьесе его имя — Джек Джефферсон) после того, как Джонсон выиграл мировой чемпионат в 1908 году. После первых побед Джонсона дельцы, финансировавшие профессиональный бокс, а также официальные лица сфабриковали обвинение против чемпиона-негра. Однако Джонсону удалось бежать в Канаду, затем в Европу.

Вначале Джонсон еще выступал на ринге. Но американские расисты не оставили его в покое; они сделали все, чтобы не допустить новых матчей с участием Джонсона. В конце концов чемпион-негр и его белая жена лишаются всего своего состояния и терпят жестокую нужду.

В пьесе Секлера дельцы предлагают Джеку Джефферсону встретиться с новой американской «надеждой белых». Если Джеффер-

Сцена из спектакля «Великая надежда белых».
(Газета «Дейли уорлд»)

сон позволит победить себя и лишится тем самым титула чемпиона, ему гарантируют возвращение в США и самый короткий срок тюремного заключения по старому обвинению. Вначале Джефферсон отвергает эту унизительную сделку, но затем, после самоубийства жены, на все соглашается. В финале пьесы очередную «надежду белых» объявляют чемпионом...

Интерес к пьесе, идущей с большим успехом, усиливают споры о том, действительно ли Джек Джонсон умышленно проиграл матч с «надеждой белых» Джесси Уилардом в Гаване в 1915 году. По свидетельству бывших членов профсоюзной организации «Индустриальные рабочие мира», находившихся в тюрьме вместе с Джонсоном, негритянский чемпион неоднократно говорил о том, что позволил нанести себе поражение в соответствии с заключенной «сделкой».

Спектакль получил высокую оценку прогрессивной критики. Так, Майк Девидоу пишет на страницах «Дейли уорлд мэгэзин»: «Герой пьесы ведет неравную борьбу с продажной прессой, продажными судьями и тенденциозным законодательством — и печальный итог ее предрешен. Негритянский чемпион — символ достоинства, смелости и мужества. Сцены, показывающие торжество и ликование негров во время побед Джефферсона и их гнев, когда он становится объектом гонений,— это не просто сцены, воскрешающие историю более чем полувековой давности. Они звучат вполне современно. Это зеркало, поднесенное к лицу расистской белой Америки наших дней».

Большой успех выпал на долю исполнителя главной роли Джеймса Эрла Джонса. Критик газеты «Нью-Йорк пост» Ричард Уоттс называет пьесу «исключительно сильной», а игру Джонса — «захватывающей».

В интервью корреспонденту газеты «Нью-Йорк таймс» Джонс заявил, что доволен успехом спектакля, который привлек внимание черных и белых зрителей, но не согласен с тем, что его называют «новой звездой Бродвея». «Счастливее всего я чувствую себя в тот момент, когда участвую в спектакле, поставленном на самые скудные средства в каком-нибудь подвальчике вдалеке от Бродвея,— сказал актер.— Успех на Бродвее не меняет моих взглядов. Я намерен вернуться в театры, находящиеся в стороне от Бродвея».

БИОГРАФИЯ ЛЭНГСТОНА ХЬЮЗА

В Нью-Йорке вышла книга Мильтона Мельцера под названием «Лэнгстон Хьюз». Это биография выдающегося негритянского поэта Америки, борца за лучшую долю своего народа.

Автор биографии, лично знавший Хьюза, начинает свое повествование с детства поэта (Хьюз родился в Джоплине, штат Миссури, в 1902 году), описывает его юные годы, проведенные в Кливленде, начало сознательной жизни в Гарлеме.

Проучившись некоторое время в колледже, Лэнгстон нанимается на торговое судно и едет в Африку, посещает Европу. Какое-то время он живет в Париже, работая поваром и швейцаром. Потом ненадолго поселяется в Советском Союзе, совершает путешествие на восток. И все это время он пишет и печатает стихи. Вернулся Хьюз в США уже известным поэтом.

Все свое творчество, думы и чаяния Хьюз связывал с надеждами и чаяниями простых американских негров, пишет Мельцер. Помимо стихов, он писал пьесы, народные оперы, инсценировки, романы. В любом произведении Хьюза звучит мотив сочувствия и любви к черным «униженным и оскорбленным», которым он стремился «осветить словом» путь к будущему «царству справедливости».

Литературное наследие Хьюза (он скончался в 1967 году) составляет более сорока различных книг. Сборник его стихов «Ягуар и плеть» вышел посмертно.

«Литературный высший свет» Америки всегда игнорировал поэтов с черной кожей, отмечает Мельцер. Не признавал он и Лэнгстона Хьюза. Однако среди простых американцев это имя было очень популярно. Трудовая Америка, весь прогрессивный мир, пишет автор книги, всегда чтили и будут чтить творчество этого выдающегося сына негритянского народа.

РОКУЭЛЛ КЕНТ СЕГОДНЯ

Известный художник и писатель, лауреат Ленинской премии «За укрепление мира между народами» Рокуэлл Кент почти безвыездно живет на своей ферме в Адирондэксе. Корреспондент газеты «Дейли уорлд» Эллен Перло, посетившая Кента в его доме, рассказала, что, несмотря на преклонный возраст и жизнь в отдалении, художник не отрывается от актуальных проблем современности. Он неоднократно выражал свой протест против американской войны во Вьетнаме. 10 тысяч долларов из Ленинской премии мира, присужденной ему в 1966 году, он передал Национальному фронту освобождения Южного Вьетнама в помощь женщинам и детям.

Рокуэлл Кент поддержал акцию Советского Союза и других стран Варшавского договора, которые ввели войска на территорию Чехословакии. «Сохранение социалистической системы и прогресс социализма,— сказал он,— немаловажные факторы... Если бы Соединенные Штаты,— продолжал художник,— обеспечили выполнение Западной Германией Потсдамских соглашений, вместо того чтобы поощрять ее перевооружение и проводить совместные с ФРГ военные маневры, то чехословацкого кризиса могло бы вообще не быть».

Кент обеспокоен внутренним положением Соединенных Штатов. Если бы колоссальные средства, которые идут на войну во Вьет-

Рисунки из «Гренландского альбома» Рокуэлла Кента.
(Еженедельник «Дейли уорлд мэгэзин»)

наме, подчеркнул он, были использованы для ликвидации безработицы, на жилищное строительство, больницы, образование и т. д.— в первую очередь на удовлетворение нужд черных американцев,— то положение не было бы столь острым.

Когда разговор перешел на творческие темы, Рокуэлл Кент высказал мнение, что искусство во всех его проявлениях — живопись, музыка, литература — должно приближать людей к жизни, должно отражать жизнь человечества. «Абстрактное искусство — это обман,— заявил художник,— столь преувеличенная тяга к самовыражению, весьма теперь распространенная, не что иное, как нонсенс: подлинный художник думает о мироздании, о боге, о людях, о любви, о чем угодно, только не о себе. Заслуживают извинения лишь люди больные, нуждающиеся в помощи психиатра и получающие от него советы облегчать свои страдания посредством самовыражения в живописи. Поэтому абстрактное искусство можно назвать терапевтическим...»

Таков Рокуэлл Кент сегодня, пишет Эллен Перло: «В свои 86 лет он по-прежнему горячо любит жизнь и людей. Он изображает человека, природу — с достоинством, серьезно и реалистически».

ФРАНЦИЯ

НОВЫЕ ЛАУРЕАТЫ

Печать сообщила о присуждении многочисленных литературных премий страны. Наиболее значительная премия — Гонкуровская (65-я по счету) — присуждена Бернару Клавелю (родился в 1923 году) за роман «Плоды зимы» — четвертый том эпопеи «Большое терпение» (издательство Робера Лафона).

Клавель — известный прогрессивный писатель Франции, участник Сопротивления. На его творческом счету — около пятнадцати опубликованных романов, преимущественно автобиографического характера. Клавель сотрудничал в еженедельнике «Юманите-диманш», работал на радио и телевидении.

Роман «Плоды зимы» повествует о жизни престарелой супружеской пары в период гитлеровской оккупации Франции. «Плоды зимы» — одна из моих любимых книг,— сказал писатель.— Это портрет моих родителей. Я пишу не для элиты, а для всех. Я верю в литературу для людей, предмет изображения которой — простые труженики, народ. Утверждают, что роман «скончался». Я говорю — нет. Я ищу материал для романов в вечных человеческих чувствах».

Критики дали высокую оценку роману «Плоды зимы», единодушно отметив человеческую теплоту и душевную щедрость писателя. Рецензент «Юманите» писал, что безрадостное детство и трудовая юность, выпавшие на долю Клавеля, вдохновили его на создание прекрасных книг.

Любопытная деталь: за десять дней до Гонкуровской премии Клавель получил Большую литературную премию города Парижа за творчество в целом. Согласно же давней традиции премия Гонкуров не присуждается тем, кто в текущем году уже добился какой-либо другой литературной премии. Тем не менее жюри решило сделать исключение для романа Клавеля.

Премия Теофраста Ренодо была присуждена 28-летнему малийскому писателю Ямбо Уологену за роман «Долг насилия». Это первый роман Уологена, посвященный, как пишет критик «Юманите-диманш», Африке, «близкой и одновременно далекой, знакомой и неизведанной». Действие романа развертывается в вымышленной африканской империи Накем. Автор рас-

сказывает о различных этапах истории этой части Африки, которая добивается независимости. Ямбо Уологен, пишет обозреватель газеты «Комба»,— «подлинный талант, открытый в нынешнем сезоне». «Монд» ставит малийского писателя наряду с поэтом Леопольдом Седаром Сенгором, президентом Сенегала, в ряд африканских писателей с мировым именем.

«Гран при» Французской академии досталась одному из старейших французских писателей Альберу Коэну, живущему ныне в Женеве. Премии удостоен его большой роман «Божественная красавица». Это, по отзывам критиков, остроумная сатира на нравы чиновников международных организаций в Женеве. Целыми днями они заняты, как пишет рецензент газеты «Комба», «изучением дипломатического еженедельника и подсчетами своих доходов».

В отличие от всех «мужских» премий, которые присуждались в обстановке ожесточенных споров и дискуссий, жюри премии «Фемина», состоящее из десяти женщин, единодушно решило увенчать своей премией роман «Творение во мраке» Маргериты Юрсенар (издательство Галлимара) с первого тура. Такого не случалось с «Фемина» с 1904 года. Юрсенар — одна из старейших французских писательниц, автор популярных романов из истории античного мира и раннего христианства. «Творение во мраке» — одна из лучших исторических книг. Она посвящена Фландрии средних веков.

Присуждены и другие, менее значительные литературные премии. Как сообщает печать, во Франции, в дополнение к существующим, учреждена премия имени Луи Фердинанда Селина, которая будет присуждаться начиная с 1969 года.

«Я НЕ УМЕЮ ПЕТЬ О СЧАСТЬЕ»

Известный киноактер и певец, «номер один» французской эстрады Шарль Азнавур, знакомый советским зрителям по гастролям в Советском Союзе и по кинофильму «Дьявол и десять заповедей», дал недавно интервью еженедельнику «Синемонд».

«Синемонд»: Ваше определение самого себя — Азнавур — это...

Азнавур: ...рабочий агрегат, один из самых работящих тружеников нашего времени.

«Синемонд»: Вас называют «абсолютным монархом французской песни», кружит ли это вам голову?

Азнавур: Со мной это иногда случается, вернее, случалось, как ни странно, еще до того, как я приобрел настоящую известность. Обо мне заговорили, и я поверил в собственную гениальность. Это длилось несколько месяцев, потом опьянение прошло... Я понял, что шум, поднятый вокруг меня, смешон и ненужен.

«Синемонд»: В чем секрет вашего успеха?

Азнавур: Вероятно, в чувстве юмора, которым, говорят, я обладаю.

«Синемонд»: Однако в ваших песнях очень мало веселого и смешного, они рассказывают о грустной любви, о безвозвратно уходящем времени.

Азнавур: Это легко объяснимо, ведь чаще всего поют о том, что начинается или завершается, а не о том, что происходит в промежутке. Возможно, потому, что счастье молчаливо. Я, во всяком случае, не умею петь о нем.

«Синемонд»: Какую из принадлежащих вам вещей вы цените более всего? Что бы вы взяли с собой, спасаясь при кораблекрушении?

Азнавур: Спасательный пояс, конечно. Если же говорить серьезно, то, поверьте, я меньше всего ценю вещи. Люди — другое дело; я бы мог назвать бесконечно много дорогих мне имен. Спасаясь при кораблекрушении, помимо спасательного пояса, я, наверное, захватил бы с собой мою жену Уллу.

«Синемонд»: Много ли усилий вам стоит оставаться в течение столь долгого времени «номером первым» французской песни?

Азнавур: Еще бы, служение искусству — это каторжный труд. Актеру не прощают промахов, для публики, которая приходит смотреть и слушать, ты являешь собой совершеннейшую современную машину, некое подобие вечного двигателя. Публика не терпит поломок. Но я не жалуюсь на то, что мне приходится работать на износ, ведь если бы я работал на заводе, никого бы это не удивило. Играть в кино и петь — такой же труд.

ЭФИОПИЯ

ПРЕМИЯ СОВЕТСКОМУ АФРИКАНИСТУ

Фондом имени императора Хайле Селассие I ежегодно присуждаются международные премии зарубежным ученым за их вклад в дело изучения африканских проблем — за труды, посвященные Африке, в разных областях знаний.

Как сообщает печать, недавно в конференц-зале Дома Африки в Аддис-Абебе диплом лауреата Международной премии Фонда имени Хайле Селассие I за 1968 год был торжественно вручен советскому ученому-африканисту, члену-корреспонденту Академии наук СССР, профессору Д. А. Ольдерогге, крупнейшему специалисту в области изучения языков африканских народов, этнографии и истории Африки.

ЮГОСЛАВИЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР ЖУРНАЛА «МОГУЧНОСТИ»

Журнал «Могучности», выходящий в городе Сплите, посвятил недавно свой сдвоенный номер советской литературе. Журнал выходит в издательстве «Матица хорватская»; ответственный редактор «Могучности» — известный поэт, прозаик, эссеист Живко Еличич. Совместно с хорватскими уче-

ными И. Бадаличем, А. Флакером, Ю. Беденицким, а также переводчиками и поэтами Н. Миличевичем, В. Флакер, В. Геричем и Б. Трбоевичем редколлегия подготовила для публикации произведения русской и украинской советской лирики и прозы.

Номер открывает «Вступительное слово» Константина Федина на пленуме Союза писателей СССР и РСФСР, посвященном 50-летию Октября. Затем следует отрывок из «Травы забвения» В. Катаева — «Клавдия Заремба». Из русской поэзии представлены С. Кирсанов, Л. Мартынов, М. Алигер, Б. Слуцкий, А. Межиров, Р. Рождественский, Е. Евтушенко, А. Вознесенский и Б. Ахмадуллина, из украинской — В. Коротич, И. Драч, М. Винграновский. Переводы сделаны по последним советским изданиям, о каждом из авторов дана небольшая заметка, включающая биографические данные и краткую характеристику творчества.

Во второй части журнала опубликованы статьи ученых об истории взаимоотношений хорватской и русской литератур. Среди них — статья Й. Бадалича «Хорватское художественное творчество в русской литературе» и составленная им подробная библиография переводов югославской литературы в Советском Союзе. Об откликах на русскую литературу и о ее переводах в далматинских изданиях до 1916 года рассказывает Ш. Перичич. Перу А. Флакера, известного пропагандиста, переводчика и исследователя русской и советской литературы, принадлежит статья «Зенит» и советская литература», рассказывающая о первых откликах на молодую литературу Страны Советов, о первых переводах произведений советских писателей и о первых их контактах с прогрессивными деятелями югославской литературы в начале 20-х годов, а также о той роли, которую в этом сыграл загребский журнал «Зенит». В этом же разделе напечатаны перевод очерка Ю. Нагибина о знаменитом югославском скульпторе И. Мештровиче и заметки о работах советских кроатистов и вышедших в СССР переводах хорватских писателей.

Помимо сдвоенного номера журнала «Могучности», в Югославии в последнее время вышли такие книги, как «Поэты и Октябрь» М. Бабовича (Белград, 1968), работа словенского ученого Задравца «Октябрьская революция и словенская литература» (Мурска Собота, 1968), сборник статей А. Флакера «Литературные параллели», в который наряду с материалом о русско-хорватских литературных связях вошло исследование о советской литературе в Югославии.

ЯПОНИЯ

«КУРЭХА» ПРОЩАЕТСЯ СО ЗРИТЕЛЯМИ

Театр «Курэха» в городе Икэда префектуры Осака — один из немногих оставшихся в стране чисто национальных театров — в январе показал зрителям свою прощальную программу. Нет, его труппа не уезжает в длительное заграничное турне. Театр прощается со зрителями навсегда... Он закрывается.

Дело в том, что театр «Курэха» на протяжении нескольких последних лет находился в бедственном финансовом положении. Накануне закрытия ежемесячный дефицит театра составлял 50 тысяч иен. Театр нуждался в государственной или частной дотации, которая, несомненно, оправданна с точки зрения сохранения одного из старейших театров и нужд эстетического воспитания молодежи.

«Курэха» был создан около ста лет назад. В нем нет обычных для европейских театров бельэтажа, балконов, нет даже рядов кресел. Зрители сидят прямо на полу, устланном «татами» — искусно сплетенными соломенными подстилками. Все это создает специфический японский колорит, своеобразную гармонию сцены и зала.

Некогда в нем играли выдающиеся актеры, и театр пользовался широкой известностью. Да и сейчас у театра много поклонников. Тем не менее его никто не может спасти.

«Я снесу здание театра и устрою на его месте платную стоянку для автомашин»,— с грустной улыбкой сказал владелец театра «Курэха» Ясума Наката корреспонденту ТАСС. Видимо, в нем еще теплилась какая-то надежда на лучший исход, и он добавил: «Я был бы рад подарить кому-либо свой театр без всякой компенсации, если бы его сохранили как реликвию».

Авторы этого номера

В цикле стихов венгерских поэтов, которым открывается этот номер, представлены:

ГАБОР ОЛАХ — OLÁH GÁBOR (1881-1942).

Поэт, романист, драматург, автор многих поэтических сборников, в числе которых «Под знаменем жизни» («Az élet lobodója alatt», 1908), «Военные стихи» («Haborús versek», 1917), «Революционные стихи» («Forradalmi versek», 1919) и др. В 1957 году вышел сборник его избранных произведений.

ЖЕНИ ВАРНАИ — VÁRNAI ZSENI (род. в 1891 г.).

Поэтесса и прозаик, с юности участвовавшая в рабочем движении Венгрии. В своих стихах воспела революционную борьбу венгерского пролетариата в дни Венгерской советской республики, в трудные годы подполья, окончательную победу народа. Стихи Жени Варнаи составили около двадцати сборников, среди которых наиболее значительные: «Моему сыну-солдату» («Katonafiamnak», 1914), «Красная весна» («Vörös tavasz», 1919), «Книга боли» («A fájdalom könyve», 1921), «Будь счастлив, мир» («Légy boldog te világ», 1961), «Живые, берегитесь!» («Elök, vigyázatok!», 1962). Ее литературная работа отмечена премией Аттилы Йожефа.

ЗОЛТАН ШОМЬО — SOMLYÓ ZOLTÁN (1882-1937).

Поэт и романист, особенно популярный в дни Советской власти в Венгрии; несколько стихотворений были тогда положены на музыку и исполнялись на вечерах и концертах. Известны его сборники: «Роковые строки» («Végzetes verssorok», 1916), «Открытая книга» («Nyitott Könyv», 1916), «Под красными знаменами» («Vörös zászlókkal», 1919) и др. В освобожденной Венгрии неоднократно выходили сборники его избранных произведений.

МЕНЬХЕРТ САС — SZÁSZ MENYHERT (1893-1939).

Поэт, романист, публицист, автор нескольких книг стихов, в их числе: «На нашем этаже» («Az emeletünkön», 1913), «Песня о немых костылях» («Ének a néma mankókról», 1915), «Из плоти и крови» («Húsból és vérból», 1933).

АНТАЛ ФАРКАШ — FARKAS ANTAL (1875-1940).

Поэт и журналист, сотрудничавший в социал-демократической газете «Непсава», автор широко популярных агитационно-политических стихов.

ДЁРДЬ ШАРКЁЗИ — SARKÖZI GYÖRGY (1899-1945).

Выдающийся поэт и прозаик, в тридцатые годы был в числе организаторов группы «народных» (крестьянских) писателей; погиб в нилашистском лагере. Основные стихотворные сборники: «Избавленною душой» («Váltott lélekkel», 1927), «Верь в чудо» («Higgy a csodába», 1941) и др. После освобождения страны неоднократно выходили сборники его избранных стихотворений.

АЛАДАР КОМЬЯТ — KOMJÁT ALADÁR (1891-1937).

Поэт, критик, публицист. После поражения революции 1919 года жил в эмиграции, где вел большую работу как публицист и редактор различных изданий компартии. Основные поэтические сборники: «Крик» («Kiáltás», 1917), «Новый Интернационал» («Új internacionalé», 1919), «Стронулась земля» («Megindul a föld», 1937), а также вышедшие посмертно после освобождения Венгрии «Сочинения» («Összes művei», 1957) и «На рубеже двух миров» («Két világ mezsgyén», 1962).

ШЕРЛИ ЭНН ГРАУ — SHIRLEY ANN GRAU (род. в 1929 г.).

Американская писательница, уроженка Юга. Получила известность благодаря своей первой книге — сборнику рассказов «Черный принц» («Black Prince»), изданному в 1955 году. Затем вышли в свет романы «Суровое синее небо» («The Dark Blue Sky», 1960) и «Дом на улице Колизей» («The House on Coliseum Street», 1961).

Мы впервые знакомим читателей с творчеством Шерли Энн Грау, публикуя роман «Стерегущие дом» («Keepers of the House»), за который писательнице была присуждена Пулитцеровская премия 1965 года.

МЕША СЕЛИМОВИЧ — MEŠA (MEHMED) SELIMOVIĆ (род. в 1910 г.).

Югославский романист, новеллист, литературный критик. Окончил философский факультет в Белграде, работал учителем, с 1941 года был участником борьбы югославского народа с фашизмом. Печататься на-

чал после войны. Наиболее известен его роман «Дервиш и смерть» («Derviš i smrt», 1966), отмеченный несколькими литературными премиями страны. Он также автор романов «Тишина» («Tišina», 1961) — о жизни послевоенного Белграда, «Туман и лунный свет» («Magla i mesečina», 1962) и ряда литературоведческих статей.

Мы впервые знакомим наших читателей с творчеством Меши Селимовича, публикуя его рассказ «Чужая земля» («Tuda zemlja»). Перевод выполнен по тексту, напечатанному в сборнике новелл югославских писателей «Непреходящее время» («Време непролазно», 1966).

РЕЙНГАРД ФЕДЕРМАН — REINHARD FEDERMNAN (род. в 1923 г.).

Австрийский писатель, драматург. Автор пьесы «Глупец и мир» («Narr und Welt», 1950), сборника рассказов «Не все тут вымысел» («Es kann nicht ganz gelogen sein», 1951), романа «Небесное царство лгунов» («Das Himmelreich der Lügner», 1959) и др.

Рассказ «Голос» («Die Stimme») был напечатан в Альманахе «Группы-47» (Almanach der Gruppe 47, 1947-1962).

ЛУЧАНО ДЕЛЛА МЕА — LUCIANO DELLA MEA (род. в 1924 г.).

Итальянский писатель, журналист, общественный деятель. Автор повести «Жизнь Тобиа» («Vita da Tobia», 1951), сборника рассказов «Полковник велел сказать» («Il colonello mi manda a dire», 1962), откуда взят публикуемый рассказ, и др.

АНТОНИО МАЧАДО — ANTONIO MACHADO Y RUIZ (1875-1939).

Выдающийся испанский поэт-антифашист. Первый сборник его стихов «Томления» («Soledades») появился в 1903 году. Вышедшая в 1907 г. поэтическая книга «Поля Кастилии» («Campos de Castilla») выдвинула поэта в первый ряд испанских литераторов. В 1917 году вышло «Собрание стихотворений» поэта («Poesías completas»), неоднократно переиздававшееся, в 1924 году — сборник «Новые песни» («Canciones nuevas»), в 1933 году — «Последние жалобы Абеля Мартина» («Ultimas lamentaciones de Abel Martín»).

С первых дней национально-революционной войны в Испании Антонио Мачадо отдал свой талант делу защиты Республики. Он печатал стихи и статьи, посвященные борьбе против фашизма. После поражения республиканской Испании поэт эмигрировал во Францию, где вскоре умер в лагере для перемещенных лиц в Кольюре.

ЭЛЬВИО РОМЕРО — ELVIO ROMERO (род. в 1926 г.).

Парагвайский поэт, автор нескольких поэтических сборников.

Публикуемая статья написана для нашего журнала.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Б. С. РЮРИКОВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
С. А. ГЕРАСИМОВ, Л. П. ГРАЧЕВ, С. А. ДАНГУЛОВ (первый зам. главного редактора), **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Б. Л. СУЧКОВ, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ, К. ЯШЕН.**

Художественный редактор **С. И. Мухин.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова**

Адрес редакции: Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47

А 04517. Сдано в производство 7/I-69 г. Подписано к печати 6/II-69 г.
Бумага 70×108¹/₁₆=9 бум. л.=18 п. л. (25,2). Уч-изд. листов 27,6. Зак. 129.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394